ISSN 0321—1878

Звезда

1
1989

Звезда
1989

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Звезда

1
январь
1989

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАД

«...Политбюро рассмотрело обращение в ЦК КПСС Союза писателей СССР и Ленинградского обкома КПСС об отмене постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Отмечено, что в указанном постановлении ЦК ВКП(б) были искажены ленинские принципы работы с художественной интеллигенцией, необоснованной, грубой проработке подвергались видные советские писатели. Проводимая партией в условиях революционной перестройки политика в области литературы и искусства практически дезавуировала и преодолела эти положения и выводы, доброе имя видных писателей восстановлено, а их произведения возвращены советскому читателю. Политбюро отменило постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» как ошибочное».

«В Политбюро ЦК КПСС» («Правда», 21 октября 1988 года).

© «Звезда», 1989

Сурен Газарян

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Документальное повествование

ОТ РЕДАКЦИИ

В 1937 году Сурен Оганесович Газарян, в то время ответственный работник НКВД Грузии, был незаконно репрессирован. Отбыв десятилетний срок тюремного заключения, он прошел через все испытания ежовско-бериевской мясорубки — допросы, пытки, фальсифицированные обвинения в контрреволюционной деятельности, в шпионаже. Плюс трагедия семьи, семьи «изменника Родины»...

В 1955 году С. О. Газарян был полностью реабилитирован.

Обо всем этом он написал книгу, начав работать над ней после XX съезда партии. Но, пока книга писалась, а затем готовилась к печати, обстановка в стране переменилась: тема культа личности опять стала запретной. Автор умер, так и не дождавшись выхода своей книги в свет.

Ниже мы приводим текст письма, которое написал С. Газаряну главный редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский.

Глубокоуважаемый Сурен Оганесович!

Мне представилась возможность прочесть рукопись Ваших воспоминаний «Это не должно повториться», и они оставили во мне большое и значительнейшее впечатление. Должен сказать, что я перечитал немало мемуаров, посвященных тому ужасному периоду в жизни нашего общества, который мы обозначаем тридцать седьмым годом (Вы правы, что это не понятие одного года), но я затруднился бы сравнить с Вашими записками что-нибудь из прочитанного ранее. Глубокая правдивость при сдержанности, исключающей какое-либо преднамеренное нагнетение страшных вещей, стремление поразить читателя (такое стремление можно было бы понять: человек прошел бог весть через какие испытания, и ему кажется, что это еще не производит достаточного впечатления на не испытавших ничего подобного, и невольно сгущает краски. У Вас этого, повторяю, нет).

И замечательно, что Вы, по-видимому, человек, необычайно сильный духом, способный выдержать жуткие пытки, но не совершать хотя бы и вынужденного бесчестья, в то же время отнюдь не рядитесь в тогу классического героя, защищенного от страданий душевных и телесных броней условности, и предстаете перед читателем как равный ему, читателю, человек, которому по-человечески может быть и больно, и страшно, и горько, и мучительно одиноко. В этом смысле особенно сильны главы, описывающие периоды допросов и позднейшего одиночного заключения. Отсюда — безоговорочное доверие читателя ко всему, о чем Вы повествуете, и та самая высокая мера воздействия книги на читателя, когда он вместе с автором — героем книги — как бы самолично проходит через все, что тому досталось пережить.

Мне незачем, думается, объяснять Вам, что об опубликовании Ваших записок сегодня не может быть речи, но я ни на минуту не сомневаюсь, что они, подобно некоторым другим работам, непременно увидят свет и послужат делу коммунизма, то есть воспитанию людей, особенно молодых, в человеческом смысле. Они, эти записки, несмотря на все

тягостное и порой ужасающее, что в них содержится, не приводят к отчаянию, не угнетают безысходностью, но, наоборот, вооружают силой духа, волей, облагораживают.

Да, это не должно повториться, ибо эти «формы» и «методы», эти «средства» начисто уничтожают цель, ставят под удар идею коммунизма, и тот, кто ратует о забвении, о «нерастравлении ран», а такие есть еще среди нас,— тот, вольно или невольно, хранит про запас эти «формы» и «методы». Ваша книга — выполнение долга, заслуга и своеобразный подвиг, потому что для написания ее мало было одного позыва — нужна была огромная сосредоточенность, воля, готовность вновь пропустить через свою душу все то, что уже оставило в ней такие жестокие следы, наконец, труд, затрата психо-физиологических сил, напряжение.

Спасибо Вам за все это, дорогой Сурен Оганесович.

Не могу не отметить, хотя при чтении рукописи не за этим следил и не этому придавал значение, что и со стороны собственно литературной — записки совершенно незаурядное явление: чувство меры, точность и достоверность деталей, натуральность живой речи, ясность неусыпной мысли.

Желаю Вам доброго здоровья, спокойного сознания, что Вы сделали большое благородное дело.

Ваш А. Твардовский.

13.III.1967

Матери, Любе и друзьям —
невинным жертвам 1937 года

1
АРЕСТ

Июль 1937 года в Тбилиси был особенно жарким. Я только что вернулся из отпуска. Болела перевязанная нога: не рассосался сгусток в венах.

Еще в Кисловодске нас, отдыхающих, оглушило сообщение о расстреле Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка и других. Какие имена!

Позже, в Москве, я узнал, что арестован бывший нарком внутренних дел Грузии Тите Лордкипанидзе. Он тогда работал в Крыму. Вызвали по служебным делам и арестовали. Его секретарь Гайк Агабалян просил разрешения вернуться в Крым, но ему сказали: «Подождите, погуляйте в Москве». Через три дня его тоже арестовали и вместе с Лордкипанидзе отправили в Тбилиси.

За что могли арестовать этих людей?

В Москве, как обычно, я остановился у моего близкого друга Сурена Аршакуни. Мы знали друг друга с 1921 года — вместе работали в Александропольском подполье во время турецкой оккупации.

Аршакуни был неузнаваем. Прежде веселый, жизнерадостный, теперь он стал раздражительным, угрюмым.

Он был начальником Московского управления Дальстроя.

Аршакуни говорил, что в Москве совершаются ужасные дела. Ежедневно арестовывают руководящих работников предприятий, партийных и советских организаций, командиров армии. Он нервничал еще и потому, что многие начальники отделов НКВД уже были арестованы и сам он не знал, что будет с ним через час.

— Но у тебя ведь нет оснований беспокоиться! — сказал я наивно.

— Да, у меня нет никаких оснований к беспокойству, я себя хорошо знаю, но, вместе с тем, у меня имеется достаточно оснований к тому, чтобы беспокоиться. Ты не знаешь, как изменилось все за последний месяц, особенно после расстрела командиров Красной Армии. Закон перестал существовать, нет прокурорского надзора, прокуроры формально санкционируют незаконные аресты руководящих работников, и все это делается под маркой защиты советского государства от врагов, под маркой борьбы с контрреволюцией. Это не только в Москве. Всюду. В Ереване арестованы Саак Тер-Гариелян, Арсен Есаян, Драстамат Тер-Симо-

нян, Нерсик Степанян и много других товарищей. Этих людей ты знаешь не хуже меня... Кто выдумал так называемые «ежовые рукавицы»? Эти «рукавицы» губят страну, уничтожают честных людей. Когда же поймут это, когда?

Тяжело было все это слышать, тяжело было сознавать правоту этих слов...

Я должен был приступить к работе 8 июля, но вызвали меня накануне вечером. Вызвали на минутку. Видите ли, нарком захотел поговорить со мной по какому-то «неотложному делу».

После почти двухмесячного перерыва я вошел в свой служебный кабинет. Ничего не изменилось. Настроение было тревожное — под влиянием последних событий. Я не знал, что делается в Тбилиси, но ответ на этот вопрос я получил... в арестантской камере.

Неожиданно вошли в кабинет двое моих подчиненных — начальники отделений Михаил Михайлов и Сергей Давлианидзе. Они стремительно подошли ко мне, схватили меня за руки, чтобы я не мог полезть в карман, и заявили, что по распоряжению наркома я арестован. Они отобрали крошечный карманный револьвер, с которым я никогда не расставался, предложили мне выйти из кабинета и без шума (да, без шума, как будто я собирался шуметь) следовать с ними в комендатуру.

В комендатуре меня тщательно обыскали, отобрали партийный билет, деньги, часы, сняли пояс.

Повязку с больной ноги тоже сняли. Мои протесты не помогли.

— С повязкой мы разрешаем быть в камере только в том случае, если она сделана медицинскими работниками тюрьмы.

Открыли обитую железом дверь, соединяющую комендатуру с тюремным корпусом, и я очутился во внутренней тюрьме.

Узкий коридор был освещен тусклым электрическим светом. Сопровождающий меня вахтер большим ключом беспрерывно стучал по бляхе своего пояса и получал откуда-то ответные сигналы. Эти сигналы означали, что путь свободен и мы можем двигаться дальше. А дальше — спуск вниз, в подвал.

Маленькая лампочка едва освещала небольшой коридор. К нам подошел дежурный вахтер, принял меня, открыл какую-то дверь со страшным скрипом, я перешагнул порог, и дверь за мной захлопнулась.

Сперва мне показалось, что у меня потемнело в глазах. Но нет. Это плотный, спертый, насыщенный человеческими испарениями и густым табачным дымом воздух создал полумрак в слабо освещенной камере.

Меня сразу окружили обросшие, голые, в одних трусах люди. Некоторые узнали меня:

— Сурен, это ты?

— Скажи, что делается на воле?

— Кто еще арестован?

Какого-то ярого болельщика футбола интересовал вопрос, чем кончилась игра с басками. Испанские футболисты играли в Москве, но болельщик накануне матча был арестован, и ему не удалось узнать результат...

Я удивительно равнодушно воспринял все, что произошло со мной, а в камере у меня начался приступ зевоты. Не хватало воздуха, мне захотелось спать.

— Товарищи, я хочу спать.

Кто-то уступил мне свое место, кто-то подсунул под голову какую-то тряпку, и я... не то заснул, не то забылся.

Меня разбудил окрик:

— Вставай, оправка!

— Что, разве уже утро?

Да, утро.

Раньше поговорку «хоть топор вешай» я находил бессмысленной. Теперь я понял ее значение.

Я огляделся вокруг. С трудом узнавал знакомых. Вот высокий, широкоплечий, с открытым лбом, большими карими глазами под густыми черными бровями Михаил Лакоба, начальник республиканской милиции Абхазии, брат Нестора

Лакобы, бывшего председателя ЦИК Абхазии. Но какой-то он странный, будто голова у него стала больше: то ли оттого, что оброс, то ли распух.

Вот секретарь партийной организации Тбилисской макаронной фабрики Мкртич Хачатуров — маленький, тщедушный, с птичьей головой. Черные быстрые глаза. Он мало изменился.

Вот Хачик Нахапетов, коммерческий директор спортивного общества «Динамо». Всегда веселый, остроумный, с неисчерпаемым запасом реплик по всякому поводу, Хачик был любимцем всех тех, кто его знал.

Ко мне подошел единственный одетый здесь высокий худой человек.

— А вы меня не узнали? — спросил он.

Я рассмотрел его внимательно, но не узнал.

— Неужели я так сильно изменился?

Остриженная голова, небольшая, черная, как смоль, борода, узкое лицо, острый нос, маленький рот и тонкие губы мне ничего не говорят. Но глаза, черные, как маслины, глаза... Я их видел... Они мне знакомы.

Но молодой талантливый профессор Вадачкория, с которым я хорошо знаком, так изменился, что я его не узнал.

— Ты, Сурен, у нас двадцать седьмой,— сказал Нахапетов.

— Получается так, что одни коммунисты сидят в этой камере,— недоумеваю я.

— Нет, почему же, ты сильно преувеличиваешь,— улыбается Нахапетов.— Есть среди нас и беспартийный, правда, единственный. Вот он, наш Векслер, узнаешь?

Кто не знал Векслера! Он был очень популярен в Тбилиси, директор роскошного обувного магазина «Люкс». Но где же он? Оказывается, Векслер занят: сидит на корточках у дверей и через щель смотрит в коридор.

— Ничем нельзя отвлечь его от этого занятия,— поясняет Нахапетов.

— Увели Сосо Буачидзе,— сообщает Векслер.— Он ходить не может, двое его волокут.

Буачидзе — старый большевик, начальник грузинской дивизии.

— Привели Шамше Лежава, он еле-еле двигается.

Лежава — старейший член партии.

— Лункевич тоже рядом, вот сейчас его увели куда-то,— докладывает Векслер.

Лункевич — главный консультант Совнаркома Грузии.

Но не только любопытство приковало Векслера к этой щели. Он страдал одышкой и тяжелее всех остальных переносил отсутствие воздуха, а через щель все же был какой-то, пусть незначительный, приток воздуха из коридора.

Странное дело. Что за красные полосы почти у всех на спинах, на ногах, синяки под глазами, кровоподтеки? Что это такое? Лакоба, Нахапетов, Хачатуров, Векслер — все «раскрашены», одни больше, другие меньше. Страшная догадка пронизывает мозг, но я сразу же отбрасываю ее. Нет, этого не может быть!

Медицинская сестра вошла в камеру. Она совершает обход.

— Больные есть?

Один за другим молча подходят к ней и показывают синяки. Раздевается и Вадачкория. Кровавые полосы и у него на спине.

— Мелаша, намажь ушибы,— распорядилась медсестра.

Мелаша, пожилая женщина с небольшим ведерком и кисточкой, как маляр, закрашивает иодом «ушибы».

— Что же это такое, товарищи, что за «ушибы»?

— Понимаешь, здесь лестницы очень крутые,— с грустной улыбкой говорит Нахапетов,— вот когда мы поднимаемся на допрос, спотыкаемся, падаем... и вот ушибы.

Мне стало жутко. Душили спазмы...

— Видишь, как усердствуют твои товарищи — чекисты,— сказал Хачатуров.

— Что мне сказать вам, мне стыдно за них.

Итак, я двадцать седьмой в этой камере. Нет, камерой ее назвать нельзя. Это было подземелье. Подсобное помещение банно-прачечного хозяйства внутренней тюрьмы теперь было превращено в камеру, куда сажали людей для устрашения.

Толстые матовые квадратики выходящего на тротуар небольшого окна не пропускали дневного света. Никакого доступа воздуха не было. Во время оправки мы старались подольше побыть в уборной, чтобы хоть немного подышать там «воздухом».

Нас двадцать семь человек. Из них двадцать шесть — члены коммунистической партии, старые большевики, за их плечами большая революционная работа, царские тюрьмы и ссылки, борьба за создание и укрепление советского государства.

Чьей-то чудовищно преступной рукой вырваны эти люди из общества, с тяжким обвинением в антигосударственных преступлениях. Их ожидает гибель. Я пишу «чьей-то» потому, что тогда мы многого не знали, не могли правильно оценить положение. Все недоумевали, в тысячный раз задавали друг другу один и тот же вопрос: «Что происходит? За что должны погибнуть эти люди?» Спрашивали, но не находили ответа.

Но какие бы догадки ни строили, вывод был один: все это какое-то кошмарное недоразумение. Мы должны оставаться настоящими большевиками, сохранить бодрость духа, перенести это тяжелое испытание. Партия разберется, что к чему, скажет свое слово, все станет на свое место, и мы все вернемся к нашим делам...

Однако ни Нахапетов, ни Лакоба, ни Вадачкория, ни многие-многие другие не дожили до торжества правды, в которое так твердо верили...

Получил я первую арестантскую пайку хлеба.

Она осталась нетронутой. Не смог я дотронуться и до баланды. Казалось, это прошло незамеченным. Но когда и на следующий день я не смог заставить себя поесть чего-нибудь, на меня посыпались упреки и наставления.

— Нет, браток, так не годится, ты должен есть, чтобы сохранить себя. Может быть, хлеб и обед не по твоему вкусу, но изволь есть.

Мне было не до еды. Я думал. Напряженно думал...

Я разбирал всю мою сознательную жизнь, критически рассматривал каждый этап, но ничего не находил. Я никогда, никогда не злоупотреблял оказанным мне доверием, я был честен. За это я был любим и уважаем в коллективе. Так за что же власть, в установлении и укреплении которой есть и моя скромная доля, посадила меня в это страшное подземелье?

Власть? Нет. Здесь орудует чья-то преступная рука. Но чья?

«Ежовые рукавицы» губят страну, уничтожают честных людей. Когда же поймут это, когда? — повторяет память слова Сурена Аршакуни.

2
ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Хотя эти строки пишутся много лет спустя после тех страшных событий, но несколько дней, проведенных в склепе с двадцатью семью замурованными в нем людьми, не забыты и останутся в памяти на всю жизнь.

Больше всего мы страдали из-за отсутствия воздуха. В нестерпимую июльскую жару в небольшом помещении двадцать семь человек задыхались в буквальном понимании этого слова. Пот лился градом у всех, все страдали потницей. Лица, тела густо покрывались красными прыщами, и каждое прикосновение к ним причиняло боль. Воздух был насыщен влагой настолько, что хлеб быстро плесневел, соль и сахар растворялись и превращались в полужидкую массу. От параши исходило отвратительное зловоние. У многих, в том числе и у меня, не было даже полотенца. Как правило, аресты производились внезапно. Обычно вызывали к начальнику или в партийный орган и там арестовывали, и люди оказывались в камере без всяких вещей, а никакие передачи не принимались.

Допросы начинались поздно вечером и продолжались всю ночь. Каждый раз, когда вахтер засовывал тяжелый ключ в скважину замка и со скрипом отворял дверь, моментально умолкали разговоры. Все напряженно ждали. За кем пришли?

Казалось, каждый должен был радоваться вызову на допрос. Ведь допрос приближает дело к развязке... Но не тут-то было. Ведь, по существу, не было никаких допросов, а были пытки, жестокие избиения, унижающие человеческое

достоинство, надругательства, матерщина и плевки. Вполне понятно, что люди предпочитали ждать, томиться, чем подвергаться избиениям, истязаниям, оскорблениям.

Люди не верили в серьезность предъявляемых им обвинений, страшная действительность воспринималась как кошмарный сон, все происходящее считалось недоразумением. Верили, что вот-вот все это выяснится, страшное недоразумение разрешится. Многие сетовали, что на воле остались неразрешенные вопросы, и беспокоились за них.

О семьях говорили спокойно. Каждый утешал себя:

— Ничего, скоро все кончится...

А следователи думали о другом... Они изобретали средства, чтобы заставить свою жертву оговорить себя и других.

Практиковался странный провокационный метод следствия: заранее от имени заключенного составляли протокол допроса, предъявляли заключенному и пытали до тех пор, пока тот не подпишет. В этих протоколах обвиняемые признавали себя виновными в контрреволюционных преступлениях против государства, диверсиях, вредительстве, террористической деятельности, шпионской, троцкистской и тому подобных действиях. Следователи, добившись подписи заключенного под протоколом допроса, изменяли свое отношение к обвиняемым, становились вежливыми, обходительными с ними.

Вернувшегося с допроса товарища засыпали вопросами, если только он в состоянии был говорить, заботливо ухаживали за ним, если его приволакивали в камеру избитым, окровавленным.

Человек удивительно вынослив. Даже в такой страшной обстановке мы старались отвлекаться от действительности и предаваться... играм.

Играли в спички — очень популярную и единственно доступную игру в камере. Двадцать спичек рассыпаются на стол. Орудуя одной спичкой, надо собрать со стола остальные, причем можно трогать только ту спичку, которую намерен поднять. Когда заденешь другую спичку, сдаешь игру противнику. Кто раньше соберет обусловленное количество спичек, тот и выигрывает.

Хачик Нахапетов, по натуре жизнерадостный человек, настолько специализировался в игре в спички, что стал непобедимым.

Игра эта увлекла и меня. Очень быстро я стал одним из опаснейших противников Нахапетова.

Играли также в шашки, которые мастерили сами из хлебного мякиша.

Шли четвертые сутки моего ареста. 11 июля днем вызвали Нахапетова. Он вернулся только вечером. Я оговорился: он не вернулся, а его приволокли двое вахтеров. Он не мог стоять на ногах. Один глаз распух и закрылся, все лицо было покрыто синяками, кровоподтеками, все тело в кровавых полосах. Молча окружили его, уложили как могли и ни о чем не спрашивали.

Через некоторое время тишину нарушил сам Нахапетов.

— Здорово отделали меня сегодня. Пять человек, целая бригада. Так и называют: «бригада». Смешнее всего то, что я собирался убить Берию, в общем, как и все. Я говорю следователю: «Поймите, если бы я хотел убить Берию, так убил бы двадцать раз, у меня была такая возможность, я с ним встречался почти каждый день, я с ним ходил на охоту...»

Помолчав, Нахапетов продолжал:

— Нет, товарищи, если так будет продолжаться, я не выдержу. Я больше не могу... Но и оговаривать ни себя, ни других тоже не буду, ни за что не буду.

Затем Нахапетов обратился ко мне:

— Давай играть, Сурен, давай играть, ну их всех к лешему.

Однако начавшаяся игра не состоялась. Дверь открылась, вахтер назвал мою фамилию. Помню, как сегодня. Это было 11 июля, в субботу, около 9 часов вечера. Оделся и пошел.

Меня привели в кабинет Керкадзе. Он был помощником начальника экономотдела, затем его назначили начальником особой инспекции отдела кадров.

За столом сидел Керкадзе, а на диване у противоположной стены один из младших сотрудников.

Керкадзе жестом предложил мне сесть на стул, поставленный в некотором отдалении от письменного стола, около круглого столика, на котором что-то было покрыто белоснежной салфеткой.

Керкадзе, не сказав ни слова, подошел к круглому столику, сел на стул лицом ко мне и поднял салфетку. Стол был накрыт: жареная курица с картофельным гарниром, хлеб, лимонад и большой торт. Я отвернулся, но аппетитный запах курятины мучительно щекотал нос. В ушах раздавался хруст нежных косточек. Мне показалось, что Керкадзе нарочно громко чавкал.

Я глотал слюну. Теперь-то я вспомнил, что уже четвертый день почти ничего не ел. Я почувствовал сильный голод.

Керкадзе не спеша поужинал, встал, занял свое место за письменным столом.

— Ну, Сурен, как дела, почему ты отвернулся?

Я резко повернулся к нему, посмотрел на него и ничего не ответил. Я не знаю, прочел ли Керкадзе в моих глазах то, что я хотел сказать: «Как тебе не стыдно, кто дал тебе право так издеваться над человеком? На каком основании ты ужинаешь перед голодным человеком, которого ты вызвал на допрос? На каком основании ты разговариваешь со мной на «ты»?»

— Я сейчас допрашивать тебя не буду, а ограничусь предъявлением обвинения,— сказал Керкадзе.—Прочти и подпиши.

Он протянул мне бумагу.

Я, стараясь казаться хладнокровным, взял бумагу и прочитал ее содержание. Черным по белому было написано, что я занимался контрреволюционной, троцкистской, вредительской работой. Я подписал, что обвинение мне предъявлено, проставил дату, усмехнулся и протянул ему бумагу.

— Мне кажется, что тебе не до смеха. Неужели до твоего сознания не дошла вся серьезность предъявленного обвинения?

— Нет, дошла, поэтому я смеюсь. Послушай, Керкадзе, неужели ты сам веришь в то, что здесь написано? — Я нарочно обратился к нему на «ты».

— Да, верю. И верю на основании неопровержимых материалов, которыми располагаю. А впрочем, я же сказал, что сегодня я не намерен допрашивать тебя, но я очень советую тебе, как только начнется допрос, подписать все то, что тебе *предложат*. Ты человек больной, не следует доводить дело до того, чтобы тебя мучили. Имей в виду, что все равно с тебя *возьмут* то, что *им* нужно. Послушайся доброго совета.

Тон Керкадзе был скорее тоном доброго советчика, но не следователя. Странно: почему «предложат», «возьмут», «им», а не «предложим», «возьмем», «нам»? Ведь он же следователь!

— Заранее скажу, что, каким бы ни было следствие, оно не заставит меня оговорить ни себя, ни кого-либо другого.

— Думай хорошо о том, что я тебе сказал. Вот сейчас пойдешь в камеру, подумай как следует, а в следующий раз мы поговорим.

— Я уже четыре дня думаю. Думаю напряженно, до того, что вот-вот с ума сойду. Я думаю не только о себе, но и о других коммунистах, замурованных со мной в лишенном света и воздуха склепе. Думаю о пытках, которым они подвергаются для того, чтобы оговорили себя и других. Что случилось? Почему честные люди превращены в «контрреволюционеров» и подвергаются издевательствам? Почему ты издевался надо мной своим ужином? Кто дал тебе это право? Кому все это нужно?

— Твое счастье, что я сегодня не веду допроса, иначе я не позволил бы говорить со мной таким тоном. А теперь иди в камеру и думай.

Вызванный вахтер доставил меня в камеру.

— Товарищи, я очень хочу есть.

В ответ раздался дружный хохот.

— Скажи нам, а что ел твой следователь? — спросил Лакоба.

— Курицу. Жареную курицу с картошкой и торт. Нет, он съел только курицу, а торт, большой, с кремом, он так и не тронул. Но из чего вы заключили, что следователь что-то ел?

— Мы уже прошли этот этап. Психологическое воздействие,— ответил Лакоба.— Хоть ты и старый чекист, но многому еще должен научиться.

К моему хлебу Лакоба любезно добавил большую луковицу, и я с наслаждением уплетал хлеб с луком и солью.

— А где Хачик?

Оказывается, его снова вызвали на допрос, несмотря на тяжелое состояние.

— Кто твой следователь? — спросили меня.— Надо полагать, что тебя еще не допросили.

— Следователь — бывший мой помощник Михаил Керкадзе. Но из чего вы заключили, что я еще не допрошен?

— Я же сказал, что тебе еще надо многому научиться,— усмехнулся Лакоба.— Неужели ты вернулся бы в камеру таким чистеньким?

После первой ночи, когда я впал в состояние нервного шока, наступили бессонные ночи. Лежишь и думаешь обо всем. Думаешь о семье, о детях, думаешь о товарищах, с которыми работал бок о бок. А что думают эти товарищи о тебе?..

Невольно задавал сам себе вопрос: «А что ты думал о тех товарищах, которые были арестованы до тебя?»

До меня были арестованы двое моих товарищей: Акакий Кохреидзе и Губен Гюзалян. Арест Кохреидзе я объяснял его прежним делом. Три-четыре года назад он был арестован по обвинению в связях с троцкистами, но был реабилитирован, восстановлен в правах и продолжал работать в НКВД начальником одного из отделений экономотдела. Когда же был арестован Рубен Гюзалян, мой близкий друг, товарищ по работе, я тяжело переживал его арест. Он сразу же был отправлен в Ереван. Впоследствии я узнал об аресте наркомпроса Армении Драстамата Тер-Симоняна и нескольких его товарищей. Рубен Гюзалян обвинялся в том, что находился в «преступных связях» с этой группой. Я хорошо знал Драстамата Тер-Симоняна, старого большевика, активного борца за создание советской власти в Армении. Знал также, что Гюзалян был близок с Тер-Симоняном. Почему я не думал о том, что и Тер-Симонян, и Гюзалян могли стать жертвами клеветы и оговора, жертвами состряпанного «дела»? Почему я не выступил где следует с заявлением о том, что Гюзаляна я знаю, как самого себя, и могу ручаться за него? Почему? Видимо, потому, что я не допускал возможности необоснованного ареста. Узнав об аресте Гюзаляна, я обвинил себя в близорукости. Я ругал себя за то, что, находясь с ним в близких отношениях, видите ли, не разгадал его «подлинное лицо».

Теперь в камере я часто думал о нем. Он стоял передо мной, и его умные глаза упрекали меня за мои сомнения...

Гюзалян совсем молодым человеком поступил на работу в органы ВЧК—ОГПУ—НКВД и всю свою сознательную жизнь посвятил напряженной, трудной, опасной, ответственной работе, не зная личной жизни.

Гюзалян был человек культурный, воспитанный. Он хорошо знал музыку, играл в шахматы, много читал, сочинял стихи, был веселым, остроумным собеседником.

Гюзалян связал свою судьбу с коммунистической партией и в рядах первых чекистов-дзержинцев включился в борьбу с контрреволюцией.

В первые годы установления советской власти среди наших товарищей, к сожалению, находились такие, которые считали неэтичным тратить время на чтение художественной литературы, переживать чье-то горе и радость. «Коммунисту не к лицу заниматься такими делами»,— говорили они.

Гюзалян вел беспощадную борьбу против проповедников такой «этики».

Молодой чекист Гюзалян познакомился в Батуми с Анаидой Фетваджян. Она только что вернулась из-за границы, где училась. Воспитанная на иных традициях, дочь обеспеченных родителей, она была совершенно не знакома с моралью советского человека, а тем более — с бытом чекиста. Гюзалян все больше и больше привязывался к Анаиде, и они полюбили друг друга. Товарищи старались убедить его в том, что эта «заграничная фифа» не может стать другом чекиста, что у нее, кроме танцев и развлечений, в голове ничего нет. Другие предупреждали Рубена, что если он свяжет себя с этой девушкой, то едва ли такое можно совместить с пребыванием в партии. Да, были и такие!

В это дело вмешался также начальник Рубена, председатель ГПУ Аджаристана Михаил Степанов.

Он позвал к себе Гюзаляна и спросил:

— Вы действительно намерены жениться?

— Да.

— На ком?

— Но вы ее не знаете, и если я назову фамилию, то вряд ли это что-нибудь вам скажет.

— Нет, я ее знаю, иначе не было бы этого разговора. Она вернулась из-за границы? Училась в Вене?

— Да.

— А вы не находите, что этот ваш поступок может скомпрометировать вас как работника наших органов?

— Скомпрометировать? Но почему же? — недоумевал Гюзалян.— Нет, я этого не нахожу.

— Я считаю, что ее воспитание не позволит ей воспринять мораль и традиции советского человека. Я считаю, что она чуждый нам человек и, безусловно, эта связь скомпрометирует вас.

— Нет, товарищ Степанов, я считаю, что, наоборот, женившись на ней, я следую указаниям Ленина.

— Каким образом? — искренне удивился Степанов.

— Разве вы не знаете, как говорил Ленин: если бы каждый коммунист мог перевоспитать хотя бы одного человека, то было бы очень хорошо. Так вот, в порядке выполнения указаний Ленина я хочу заняться перевоспитанием моей будущей жены.

Степанов был обезоружен.

Будущее показало, что эта «заграничная фифа» не только превратилась в верного друга Рубена, но и стала передовой советской женщиной.

Вспоминаю один эпизод. Это было в Ереване. В моем служебном кабинете собралось несколько человек. Среди них Рубен Гюзалян. На столе у меня лежала составленная мною, но еще не отправленная телеграмма жене в Степанаван по случаю дня ее рождения. Один из собравшихся, Арам Маркарян, прочел телеграмму и изрек:

— Телеграфно поздравляете свою жену с днем рождения. Это мещанство, коммунисту не подобает заниматься такими делами, а вы не только поздравляете, но и целуете телеграфно. Это неэтично.

— Ты прав, Арам, я поступил неправильно,— серьезным тоном ответил я.— Я написал тут «целую», а надо было «целую крепко, крепко». Вот и исправлю свою ошибку.

Все засмеялись. Многие осуждали «философию» Маркаряна.

Гюзалян прищурил глаз, посмотрел на него и сказал:

— Послушай, Арам, ты настоящий ханжа!

— Что? Ханжа? Какой это ханжа?

— Да вот такой, самый обыкновенный. Если не понял, объясню!

Недоумевающий взгляд Маркаряна выдал его. Он так и не понял, что значит ханжа, а спросить не решился.

Мысли снова перенесли меня домой... Мне жаль мою мать. Как несправедливо распределены между людьми горе и радость! Сколько горя досталось в жизни моей матери, сколько несчастий испытала эта маленькая худая женщина!..

А Люба? Как она перенесла мой арест? Как она относится ко мне? Неужели тоже сомневается в моей честности и откажется от «недостойного мужа», как это делали многие жены, выступая через газету. Мы не знали тогда, каким способом принуждали жен делать такие заявления.

Что делают дома? Наверно, спят, а я вот заснуть не могу. Камера притихла: одни спят, другие думают... Нахапетова еще нет... Как долго его мучают...

— Оправка!

Окрик вахтера возвестил конец ночи.

Оправка! Это хорошо. Можно подышать несколько минут.

Начался пятый день моего пребывания в тюрьме, что же он принесет?

3
ЧАЛМАЗ

— Соберитесь, с вещами!

Этот окрик вахтера относился ко мне. Меня охватила сильная тревога. Куда? Что ожидает меня? Я наивно подумал: может быть, убедились, что нелепо держать меня под замком, и отпускают на свободу. Нет, тогда всех должны отпустить, почему одного меня?

— Не нервничай, Сурен,— успокаивал меня Лакоба,— хуже места, чем эта камера, не найдется. По всей вероятности, кто-то решил вырвать тебя из этого ада. А вот что будет с нами, неизвестно...

— Ну как, готовы? — спрашивает через форточку вахтер.

Странный вопрос. Ведь сами же отлично знают, что никаких вещей ни у кого нет.

— Готов, давно готов.

— Не забудьте забрать свою пайку,— напомнил Вадачкория.

Да, пайку надо забрать, день еще впереди.

Тепло попрощавшись со всеми, я взял пайку и вышел из камеры.

С Нахапетовым я не смог попрощаться, он еще не вернулся с допроса.

— Руки назад! — приказал вахтер.

Знакомым стуком ключа по бляхе он предупреждал, чтобы никто не попадался нам навстречу. Мы поднялись на четвертый этаж, прошли по чистому, окрашенному в красный цвет коридору, застланному мягкой дорожкой, заглушающей шаги. Мы остановились перед камерой 47. Вахтер сдал меня дежурному по коридору, тот отпер камеру. Я удивился, что дверь открылась почти бесшумно.

Единственный человек, находящийся в камере, даже не изменил позу. Он сидел на краешке ничем не застланной койки и прикрывал лицо руками. Он даже не заметил появления нового человека. Положив свою пайку на стол, я подошел к нему и поздоровался. Он поднял голову, встрепенулся от удивления, посмотрел на меня...

— Сурен!

— Чалмаз!

Если бы мы встретились на воле, то ограничились бы обычным рукопожатием, но здесь мы обнялись и крепко поцеловались. Несколько минут сидели молча.

Чалмаз — старый член партии, заместитель председателя ЦИК и наркомзем Абхазии. Долгие годы Михаил Чалмаз работал с Нестером Лакоба — председателем ЦИК Абхазии.

Маленький, худой человек с маленькой головой на длинной шее, теперь он казался еще меньше, как-то осунулся, сжался, резко выступили морщины на смуглом лице, поседел. Только маленькие, черные, подвижные глаза по-прежнему блестели.

— Да, Сурен, вот какие дела,— первым начал Чалмаз.— Разве мы могли предполагать, что встретимся в такой обстановке? Дай закурить.

— Я тоже очень хочу курить, но ничего нет, ни папирос, ни табака.

— Жаль. Спички есть, а курить нечего. Откуда тебя приволокли?

Я рассказал о подземелье и о людях, которые там остались.

Чалмаз был арестован в Сухуми, несколько дней назад переведен в Тбилиси и все время сидел в подвале, рядом с нами. В эту камеру его перевели за несколько минут до меня.

— А где же твои вещи? — спросил я.

— Там, где и твои,— ответил Чалмаз.— Разве я знал, что меня арестуют? Забрали из служебного кабинета и не разрешили сообщить домой. Впрочем, теперь лето, можно обойтись без всяких вещей. А когда наступят холода, эта катавасия кончится и каждый из нас вернется на свое место.

— Я тоже хочу думать так, хочу верить в это, но логика подсказывает мне, что если бы эта «катавасия» так быстро кончилась, то ее вряд ли следовало начинать,— возразил я.

— Если бы меня обвиняли в том, что я украл у соседа курицу и съел ее, то у меня было бы больше оснований для беспокойства. Мне было бы труднее доказать, что я не украл курицу. Меня обвиняют в антигосударственных преступле-

ниях, в том, что я с первого дня установления советской власти в Грузии и Абхазии занимался антигосударственной, антипартийной, шпионской, диверсионной, террористической и черт его знает еще какой деятельностью...

— И, конечно, ты должен был убить Берию,— прервал я его.

— Ну разумеется, в первую очередь. Ты не смейся. Ну скажи, пожалуйста, как же после всего этого не быть совершенно спокойным. Ведь мне не надо никаких доказательств, что все это чепуха. Вся моя жизнь — убедительное доказательство, что все это чепуха. Я уверен, что все выяснится, эта неслыханная провокация против честных людей прекратится, а виновники провокации получат по заслугам. А впрочем, лучше будет, если мы изучим наше новое обиталище. Мы же с тобой попали из ада в рай.

Да, это верно. Это была камера-одиночка размером около четырех квадратных метров. Окно, почти под потолком, выходило во двор тюремного корпуса. Пол цементный, крашенный в красный цвет. Одна железная койка без постели, небольшой столик, табуретка, чайник, две глиняные кружки, две такие же миски и, конечно, неизменная параша. Вот и вся обстановка камеры.

На одной из боковых стен под потолком было небольшое квадратное отверстие, по всей вероятности, вентиляционное устройство. Из этого отверстия что-то торчало. Я поднялся на табуретку, сунул руку в отверстие и вытащил оттуда скрученное полотенце длиной около двух метров. Раскрутив полотенце, мы увидели, что оно мастерски вышито украинским орнаментом. Да, крепко было скручено полотенце. Средство вполне надежное, чтобы покончить все счеты с этим миром. Кто-то приготовил его, но не успел воспользоваться — что-то помешало. Почему-то мы оба тщательно искали в камере место, за которое можно было бы зацепить полотенце, но ничего не нашли.

— Давай, Миша, разделим пополам, и каждый из нас станет обладателем добротного полотенца,— предложил я,— а может быть...

— Да, именно так, выкинем ко всем чертям это орудие смерти из камеры и больше не будем думать о нем,— продолжил мою мысль Чалмаз.

Решение состоялось. Стуком в дверь был вызван вахтер.

— Эту штуку мы нашли в отдушине, возьмите.

Вахтер невозмутимо взял полотенце и, не сказав ни слова, захлопнул форточку.

— Значит, ты тоже голый, как и я,— заговорил Чалмаз.

— Да, меня тоже арестовали в служебном кабинете.

— Для вашего брата это очень удобно,— съязвил Чалмаз.— И на улицу не надо выходить: прошел по коридору, спустился вниз, и готово... И следователь свой, в обиду не даст...

За окном виден только кусочек неба. Само окно застеклено затемненным стеклом, а снаружи закрыто жестяным козырьком. Очень жарко и в этой камере, но все же здесь есть слабый приток воздуха, и мы довольны.

Мокрая рубашка прилипла к телу. Мы остаемся в одних трусах.

Маленькое тело Чалмаза было исполосовано.

— Что, Миша, тебя тоже?

— А что я, рыжий?

— Но это же ужасно, а ты шутишь.

— Да, шучу. А что мне остается делать? Но ты, как вижу, совсем не тронут. Я же сказал, что хорошо вашему брату, следователи свои, в обиду не дадут. Видишь — тебя пожалели — чистенький. Как-никак товарищи, неловко ведь.

— Но мне тоже твердо обещано.

— Теперь уже все. Больше меня пытать не будут. Между мной и следователем установилось полное согласие.

— И ты признал себя виновным во всем, в чем тебя обвиняют?

— Я подписал протокол допроса...

— А кто твой следователь? — спросил я.

— Чичико Пачулия, ты должен его хорошо знать.

— Футболист?

— Да, он.

— Но он же никогда не вел следствие, а только играл в футбол.

— Зато он сильный, умеет пытать... Нет, я поступил правильно.

— Но пойми же, Миша, только подлец, злоупотребляя своей властью, может поднять руку на беззащитного человека. Не понимаю, как ты решился оговорить себя и других.

— Чепуха. Никто всерьез не может принимать мои показания. Никто не поверит ни единому написанному там слову. Все, знающие меня, будут смеяться, прочитав мои показания. Разберутся, я твердо уверен, что разберутся. Сейчас творится непонятное, но так продолжаться не может. Кто утверждает обратное, тот потерял веру в партию.

— Но я не понимаю, для чего нужно тебя, меня и других под пытками превратить в преступников, контрреволюционеров, чтобы потом, как ты говоришь, «разобраться», где правда, где ложь? Собственно говоря, о каком разборе может идти речь, если ты сам своей рукой расписался, кто ты такой. Нет, ты напрасно надеешься на какое-то «разбирательство». А как разбирались с Тухачевским, Якиром и другими? Расстреляли как врагов народа.

— Ничего, зато больше пытать не будут. Придет время, дело дойдет до суда, мне не трудно будет высмеять свои же показания. Ведь судить же будут люди, не идиоты?

— Да. По твоим показаниям будут арестовывать людей и пытать до тех пор, пока они сами в свою очередь не оговорят себя и других.

— Я считаю, что мои показания не будут причиной ареста ни Иванова, ни Петрова, все равно их арестуют, если кто-то решил это.

— Но ты своими показаниями оказал услугу преступникам!

— Нет, с этим я не согласен. Я твердо верю в партию. Откуда бы ни исходило это преступление, все равно партия поставит все на свое место. А моим показаниям никто не поверит.

— Я тоже верю в партию, верю в правду, но очень боюсь, что эта правда опоздает.

— Не будь пессимистом,— слабо сопротивлялся Чалмаз.

— При всех обстоятельствах ты не имел права оговаривать себя и других, как бы тебя ни пытали.

— Ты не понимаешь простой вещи. Пытки тут ни при чем. Я многое вытерпел в царское время. Если бы я находился в царской тюрьме, я нашел бы силы сопротивляться пыткам. Сознание того, что ты стоишь перед врагом, удесятеряет силу сопротивления. Так поступали наши товарищи, когда переносили репрессии и преследования, шли на смерть с гордо поднятыми головами. Великое чувство — доказать, что ты сильнее врага. Наше положение совсем другое. Сознание того, что я нахожусь здесь в роли «посягателя» на интересы Советского государства, ослабляет мою сопротивляемость. Я не в состоянии противопоставить себя следствию. Ты не видишь логики в моих суждениях, но я считаю вполне логичным, что несерьезно отношусь ко всему происходящему вокруг, к тому обвинению, что мне предъявляют, и, естественно, не могу выносить, когда меня бьют. Я сегодня подпишу любую нелепость и заставлю себя терпеливо ждать и верить, что запутанный клубок будет распутан. Я верю в партию, она не допустит нашей гибели.

— Ты не смог объяснить мне одно: кому все это нужно? Для чего создаются эти провокационные дела? Для чего мы должны подвергаться пыткам и унижениям? Это только на руку врагам Советского государства, и я обязан сопротивляться, насколько позволяют мне мои силы. Сопротивляться до конца. Я не знаю, как запою после пыток, но я твердо решил: никогда, ни за что не оговорю ни себя, ни другого.

Окрик коридорного прервал наши рассуждения:

— Получайте обед.

Он налил баланду в протянутую миску и собрался закрыть форточку.

— Нас двое,— заявляю я.

Он посмотрел какой-то список и сказал:

— Чалмазу принесут другой обед, специальный.

— Да... Чичико Пачулия господин своего слова,— сказал Чалмаз.— После того, как я подписал протокол допроса, Пачулия сказал мне, что теперь ко мне будет совсем другое отношение, что он будет кормить меня особо. Не понимаю, ничего не понимаю.

Обед Чалмазу принесла белокурая девушка Соня. Она работала в столовой для сотрудников и мне была хорошо знакома. Соня удивленно посмотрела на меня, но мы оба отлично знали, что нам нельзя разговаривать.

Обед Чалмаза состоял из трех блюд: суп, шницель и компот. Аккуратно нарезанные ломтики белого хлеба. Все в фаянсовых тарелках, как в столовой, но ножей и вилок, разумеется, не полагалось.

— Ну что ж, Сурен, давай обедать.

— Нет, Миша, кушай на здоровье, ты же видел, я уже съел свой обед.

— Или ты со мной покушаешь, или сию же минуту весь обед уйдет в парашу.

Это было сказано с такой категоричностью, что если бы я промедлил с ответом хоть секунду, то он привел бы в исполнение свою угрозу.

— Ты с ума сошел! Как можно такой обед отправлять в парашу?

Дружно мы отдали должное «специальному» обеду.

— Теперь бы закурить,— почти одновременно выразили мы наши желания.

Эти желания исполнились с быстротой сказки. Открылась форточка, и Чалмазу вручили коробку папирос.

— «Казбек», вот здорово! Об этом Пачулия мне ничего не сказал,— удивился Чалмаз.

Курили молча.

Вечером, после раздачи кипятка, неожиданно открылась форточка, и та же Соня предложила Чалмазу получить ужин.

Ужин добротный. Большой кусок жареного мяса с гарниром, кисель, белый хлеб.

— Дай, Миша, папироску, я закурю, а ты ужинай.

— Забыл условие?

— Нет, мне просто не хочется кушать.

— Дурака не валяй, ты думаешь, мне очень хочется есть?

Еще не был съеден ужин, как Чалмазу принесли стакан мацони и свежую, еще теплую булочку.

— Пачулия и этого мне не обещал,— сказал Чалмаз.— Совсем как в первоклассном санатории... Когда скотину кормят на убой, это понятно, хозяин хочет иметь жирное мясо — оно дороже. А чем можно оправдать такое расточительство нашего хозяина? Ты любитель искать логику во всем, так объясни мне, пожалуйста, все это.

— Мои суждения мрачны, Миша, а на ночь не следует поддаваться мрачным настроениям. Давай оставим логику в стороне и поиграем в спички. Это будет лучшим занятием перед сном.

Наигравшись, мы легли спать. Оба отказались от койки и устроились на полу.

— Больше всего на мою психику действует вот эта лампочка,— сказал Чалмаз.— Никак не могу привыкнуть спать при свете. Это моя дополнительная пытка, и самая невыносимая.

— А мне все равно. Пускай горит хоть тысяча свечей, я буду спать, если захочу.

— Но на кой черт до утра горит эта лампа? Кому она нужна?

— Без лампочки нельзя, Миша. Коридорный ежеминутно смотрит в глазок, следит за нами, охраняет нас, отвечает за нас. Спи, Миша, спи.

Мы не спим. Я знаю, что Чалмаз закрыл глаза и замолчал, но не спит. Он тоже знает, что я не сплю. Но мы не мешаем друг другу.

Мало мы жили с Чалмазом в одной камере, всего несколько дней. Однажды после очередного вызова он больше не вернулся.

Позже, находясь в тбилисской тюрьме после моего осуждения, я узнал о том, что Чалмаз, Лакоба и все участники так называемого «абхазского дела» были расстреляны. Я узнал о том, что в газетных отчетах об этом «судебном процессе» приводились показания Чалмаза, в которых он рассказывал о своих «контрреволюционных преступлениях». Как же так? Ведь он твердо заявлял, что если дело дойдет до суда, то ему не трудно будет высмеять свои же показания. Почему Чалмаз не сделал этого?

4
МЕБУКЕ

Он вошел в нашу с Чалмазом камеру в безукоризненно чистой украинской рубашке, в щегольски выглаженных брюках и с какой-то глуповатой улыбкой. Иосиф Мебуке, управделами Совнаркома Грузии. В руках он держал небольшой сверток. Это было маленькое детское одеяльце. Мебуке искренне обрадовался, что попал в камеру к знакомым людям. Чалмаз и я хорошо знали Сосо Мебуке. Мы стали расспрашивать его — что нового на воле, что говорят о нас. Мебуке многое рассказал нам. Он говорил, что беспрерывно идут аресты руководящих работников-коммунистов. Арестован председатель Совнаркома Грузии Герман Мгалоблишвили, председатель Тбилисского исполкома Ниорадзе, его заместитель Трдатян, секретарь ЦК комсомола Георгобиани, управляющий «Самтрестом» Кухалейшвили, наркомы, руководящие работники ЦК КП Грузии, НКВД, профессора университета и институтов Грузии, писатели...

— Недавно состоялось собрание тбилисского партийного актива,— сообщил Мебуке.

— И что?

— Ничего. Берия сделал сообщение о том, что органами НКВД раскрыта широко разветвленная контрреволюционная, террористическая, шпионская и так далее организация, что в ней принимали участие многие видные партийные, советские и военные руководящие работники, что все они разоблачены и «будут стерты в порошок». Он так и сказал.

— А что ты думаешь обо всем этом?

— А что думать? Ничего не думаю. Все это чепуха. Чепуха и несерьезно. Если все враги такие, как я, то, конечно, здесь какое-то страшное недоразумение и скоро все выяснится.

— Ты сегодня думаешь так. А что ты думал тогда, когда на партактиве слушал сообщение Берии?

— То, о чем я думал, неважно. Интересно то, что, когда Берия угрожал стереть в порошок всех, я аплодировал ему и кричал: «правильно».

— И, конечно, не думал о том, что завтра ты сам окажешься в числе «стираемых в порошок».

— Ну ладно, бросим это,— уклонился от ответа Мебуке.— Лучше я расскажу вам, каким образом я попал в камеру вот с этим новеньким одеялом. Во-первых, поздравьте меня. Я уже папаша. Моя Варя подарила мне сыночка. Только вчера жена выписалась из больницы. Сегодня я купил сыну вот этот подарок. Первый подарок, но, как видите, не успел передать его по назначению. Когда я выходил с работы с этим одеялом, у подъезда Совнаркома подошли ко мне двое из НКВД и сказали, что мне необходимо с ними поехать на минутку «по одному делу». Я сразу догадался, что очередь дошла и до меня. Я знал, что всех приглашают «на минутку», «по одному делу», «на совещание» и так далее. Это уже перестало быть секретом. Я просил разрешить сперва поехать с ними домой, оставить это одеяло и кое-что взять с собой. «Зачем это надо? — возражали они.— Ведь вы не задержитесь там». В результате я очутился в камере с этим одеялом. Ну что ж, оно может и мне оказать услугу.

Настроение Мебуке было бодрое, он улыбался, был весел и не проявлял никакой озабоченности.

— Судя по твоему настроению, можно полагать, что ты не в тюрьму попал, а к тете на блины или на званый обед по случаю рождения твоего сына,— сказал Чалмаз.— Неужели ты не встревожен своим арестом?

— Ни капельки! У меня нет оснований тревожиться. Что я, враг, что ли? За какие свои поступки я должен волноваться? Я чист и ни в чем не повинен ни перед Родиной, ни перед партией, чист, как чист мой сын. Так зачем же я буду волноваться? Чепуха все это и несерьезно.

— Да, но те, которые тебя арестовали, не думают так, как ты, и после первого же допроса ты можешь вернуться в камеру вот в таком виде,— показал я на Чалмаза.

Мебуке только сейчас обратил внимание на кровоподтеки Чалмаза.

— Пытки?

Мебуке помрачнел, замолчал, но ненадолго.

— Ни за что, ни под каким видом,— решительно сказал Мебуке,— я не дам, чтобы и пальцем меня тронули. Ни за что! Чепуха какая.

— А как ты это сделаешь?

— Очень просто. Я сразу же скажу следователю: «Признаю себя виновным во всем, подпишу все, что вы мне предложите». Вот и все.

— А потом?

— Что потом? Потом ничего. Прочтут мои показания умные люди и скажут, что Мебуке сошел с ума. Тогда кто-нибудь другой меня вызовет, скажет, что я подписал чепуху, вычеркнет написанное и вытолкнет меня отсюда. Я подожду, пока это будет, это меня не беспокоит. Меня сейчас тревожит другое, как там моя Варя, как она сейчас волнуется, это более серьезно, чем все обвинения, которые навалит на меня мой следователь.

Мебуке вызвали в тот же день вечером. Он задержался на допросе не больше двух часов. Вернулся с той же глуповатой улыбкой на лице.

— Вот и все,— сказал он.

— Что все?

— Чепуха какая-то и несерьезно.

— Ну, рассказывай.

— Что вам рассказывать, ребята? У меня со следователем никаких разногласий нет. Отношения даже приятельские. Если не будете спать, так послушайте. Мой следователь любезно предложил сесть и даже спросил, как я живу, как чувствую себя. «Живу-то хорошо,— отвечаю я,— и чувствую себя ничего, но одно плохо: ваши работники не разрешили мне передать для сына купленное одеяльце и с этим одеяльцем привели меня сюда».— «Ничего, Мебуке,— говорит следователь,— одеяло вам очень пригодится в камере». Затем он перешел к делу. Он так и сказал: «Ну, давайте перейдем к делу. Сейчас я предъявлю вам обвинение, прочтите и подпишите». Я подписал бумагу, где написано, что я вредитель, террорист, шпион, диверсант... всего не помню. После того, как я подписал эту бумажку, следователь мне говорит: «Вам ясно, в чем вы обвиняетесь?» — «Ясно-то ясно,— отвечаю я,— но все это чепуха и несерьезно».— «Нет, Мебуке,— говорит следователь,— это очень серьезно и вовсе не чепуха. Что касается нашего к вам отношения, то это целиком будет зависеть от вас, а впрочем, прочтите сперва вот это». Это были показания нашего старшего юрисконсульта Лункевича. Старик совсем рехнулся. На двадцати листах, отпечатанных на машинке, он рассказывает о том, как его, Лункевича, завербовал председатель совнаркома Грузии Герман Мгалоблишвили — руководитель контрреволюционной организации, что наша организация подготовляла теракт против Берии, совершала вредительство в отраслях народного хозяйства Грузии, диверсии на заводах и фабриках, занималась шпионажем, подготовляла вооруженное восстание, отделение Грузии от Советского Союза, в общем, все что хочешь там найдешь... Лункевич признал, что он является самым активным членом контрреволюционной организации и по своей контрреволюционной работе был связан... Как вы думаете?.. Со мной. Да, с Иосифом Мебуке, управделами совнаркома. Он подробно описал, как это было. Будто вызвал его в свой кабинет Герман Мгалоблишвили, там находился и Мебуке. Мгалоблишвили обратился к Лункевичу и, показывая на меня, сказал, что я тоже являюсь членом контрреволюционной организации и Лункевич в дальнейшем должен быть связан со мной. Мгалоблишвили разъяснил Лункевичу, что это очень удобно, так как мы по службе тесно связаны друг с другом и наша нелегальная связь не вызовет никаких подозрений. Далее Лункевич показал, что личные фонды председателя совнаркома тратились на нужды контрреволюционной организации, что этими фондами ведал я, Мебуке. Лункевичу это хорошо известно, так как сам он, Лункевич, пользовался этими фондами, получал деньги у меня. В общем, все остальное в таком же духе, всего не упомнишь. Под показаниями стояла хорошо мне знакомая, четкая, разборчивая подпись Лункевича. Совсем рехнулся старик...

После некоторого молчания Мебуке продолжал:

— Удивительное дело: так убедительно было все написано, что я подумал:

а может быть, Лункевич в самом деле в чем-то был замешан. Трудно себе представить, как все это можно выдумать и для чего, спрашивается? Зря он вплел мою фамилию в свои показания, и зачем он это сделал?

— Ну, а дальше что?

— Что дальше? Ничего. Когда я вернул эти показания следователю, он спросил: «Прочли?» — «Да, прочел,— ответил я.— Зря он склоняет мою фамилию. Чепуха это и несерьезно. Врет он, вот что».— «Врет, говоришь? — изменившимся тоном, перейдя на «ты», возразил следователь.— Вот что, Мебуке, или сейчас же мы договоримся, или мы сосчитаем, сколько у тебя ребер. Понял?» — «Понял,— сказал я,— неужели все это серьезно? Неужели необходимо, чтобы я подтвердил всю эту чепуху? Предположим, я подтверждаю эти показания, что же будет дальше?» — «Вот, давно бы так,— обрадовался следователь,— а дальше все будет в порядке, и мы обо всем мирно договоримся». Он снова перешел на «вы». «Вот мы составили ваши показания. Прочтите внимательно и подпишите». Следователь вытащил из ящика стола *мои* показания и протянул мне. Сущность показаний та же, что и у Лункевича, но они написаны от моего имени. Когда я кончил чтение, следователь сказал: «Теперь подпишите, вы же убедились, что ваши показания являются подтверждением показаний Лункевича. Ничего не прибавлено, ничего не упущено».

Мебуке помолчал, вздохнул.

— И я подписал,— сдавленным голосом заключил он.— Но я не придаю серьезного значения всему этому. Никто не поверит ни моим, ни Лункевича показаниям. Все это чепуха... Как там моя Варя с сыном? Без меня она беспомощна. Я представляю, как она волнуется, ищет меня по всему городу. Может быть, по моргам ищет мой труп.

— Ты зря беспокоишься, наши жены тоже кое-что соображают, авось догадается, где ты,— говорю я.— Кроме того, ведь наверняка у вас на квартире был обыск.

— Обыск? Вот черт, я совсем упустил это из виду. А что они будут искать у меня?

— У человека, занимающегося такими страшными делами, найдется что искать: оружие, бомбы, контрреволюционная литература, шпионское снаряжение, мало ли что.

— Нет, все это несерьезно. Но если у меня был обыск, тем лучше. Варя будет знать, где я. Лучше знать, чем теряться в догадках...

Мебуке тоже стал получать «специальные» обеды и, хотя он некурящий, пачку «Казбека» в день. Я нахожусь на иждивении обоих, Чалмаза и Мебуке, и моя баланда уходит в парашу.

На следующий же день ареста Мебуке совершенно неожиданно принесли вещевую передачу: костюм, рубашку, полотенце, мыло, небольшую вышитую подушку-думку. В записке жена писала, что дома все в порядке, она и Гурам здоровы, целуют и просят о них не беспокоиться и беречь себя. Вахтер предложил расписаться на записке в получении вещей и вернуть ее. Мебуке просил оставить у себя записку, но вахтер отказал. Пришлось вернуть. Мебуке воспользовался этим и отослал жене одеяло Гурама.

— Вот это здорово,— сказал я.— Твоя «беспомощная» Варя сумела добиться того, чего не могла добиться ни одна другая.

— Да! Молодчина моя Варя. Как она смогла... И мою любимую думку принесла. Она мне подарила эту думку, сама вышила... Варя, милая Варя, будто сама вошла сюда...

Чалмаз и я приуныли. С тоской вспомнил я свою Любу, мать, детей. Мы жили рядом со зданием НКВД, не больше ста шагов отделяли меня от моих дорогих. Как близко, рукой подать и... как далеко, бесконечно далеко...

Несколько дней мы жили втроем. Никто нас не тревожил. Мебуке больше не вызывали. Чалмаза тоже. О моем существовании, казалось, забыли. Я нервничал. С большими трудностями доставал клочки бумаги и писал на них заявления. Напоминал следователю Керкадзе о моем существовании, просил о вызове. Писал на имя наркома Гоглидзе: «Вы народный комиссар, а ваш ответственный работник, который долгие годы пользовался доверием, оказался изменником, предателем. Неужели вас не интересует, каким образом он оказался им? Что

привело его к измене? Почему вы меня не вызываете и не требуете ответа?..» И все в таком духе.

Чалмаз сердился на меня.

— Ты другим даешь советы, а сам делаешь глупости. Оставь ты всех в покое, не лезь, не будь младенцем, сиди и помалкивай. Не беспокойся, очередь дойдет и до тебя.

Мебуке включился в спичечное соревнование. Он тяжело переживал каждое свое поражение и искренне болел, когда сражались Чалмаз и я.

Он продолжал скучать по жене, рассказывал о своем первом знакомстве с ней, об их взаимной любви еще с ученической скамьи, об упорном нежелании родителей Вари выдать свою дочь за «голого большевика». Они поженились, невзирая ни на что, и зажили счастливой жизнью.

— Да, родители Вари потом чувствовали себя неловко, ведь я не совсем-то голый и даже в некоторой степени ответственный работник. Теперь они с гордостью говорят: «Наш зять в самом Совете комиссаров сидит, государственные дела решает». Мне неловко от этих разговоров...

Мебуке чувствовал потребность рассказывать о своей семейной жизни, о Варе. Всегда говорил о ней с трогательной нежностью и вознаграждался тем, что мы молча и внимательно слушали его.

Так прошла неделя. Никого из нас не вызывали. Мебуке объяснял это тем, что «недоразумение кончилось» и скоро всех нас выпустят.

— Вот увидите, что я прав,— с жаром говорил Мебуке,— ведь не может же быть, чтобы такое положение долго продолжалось. Нас не вызывают, значит, колесо начало вертеться в обратную сторону, не так уж долго придется ждать. Лишь бы моя Варя...

Мебуке не договорил фразу. Дверь открылась, и вахтер приказал:

— Мебуке! Одевайтесь и пошли. Быстро.

Это было поздно вечером. Мы за неделю привыкли к спокойной жизни. Вызов Мебуке снова встревожил нас. Мы с нетерпением ждали его возвращения.

Мебуке вернулся с очень растерянным видом. Он был неузнаваем. Обычной улыбки не было. Мы не задавали ему вопросов, чувствуя, что случилось что-то необычное.

— Вот теперь я ничего не понимаю,— первым заговорил Мебуке.— Дайте, пожалуйста, закурить.

Мебуке неуклюжим движением некурящего зажег папиросу и, не затягиваясь, выпустил дым.

— Так вот, послушайте, что случилось. Сейчас мне дали очную ставку с Лункевичем.

— С Лункевичем? Ничего не понятно,— удивились мы.— Какая надобность в очной ставке с ним, ведь он признался?

— Дело в том, что Лункевич ни в чем не признался, ничего не показал... Но я должен рассказать все с самого начала. Мой следователь встретил меня очень любезно, спросил, как я живу, получаю ли специальное питание, сказал, что сегодня ему позвонила Варя. Не могу понять, как она могла узнать, кто ведет мое дело. Дальше следователь сказал, что он успокоил Варю, сообщил ей, что следствие ведется и если выяснится, что я не виноват, выпустят на свободу. После всех этих разговоров следователь достал из ящика стола мои показания и спросил, помню ли я содержание этих показаний. «Очень хорошо помню»,— ответил я.— «Скажите, больше ничего не имеете прибавить к этим показаниям?» — спросил следователь.— «А что я могу добавить? — отвечаю я удивленно.— Ведь показания-то вы сами составили, а я их только подписал. Если вы считаете, что там что-то упущено, что ж, составьте дополнительные показания, я их подпишу. Я уже поставил свою подпись под таким тяжелым обвинением, думаю, что не будет иметь никакого значения, если вы прибавите еще целый ворох других обвинений».— «Хорошо,— говорит следователь,— ограничимся тем, что есть. Ведь эти показания подписали вы собственноручно?» — «Совершенно верно»,— подтвердил я. Забыл сказать вам, что этот разговор происходил в присутствии двух незнакомых мне работников НКВД. Следователь говорит: «Так вот, Мебуке, сейчас мы учиним вам очную ставку с одним человеком, и вы должны подтвердить то, что сказали в присутствии нас троих, а именно: вы должны заявить на

очной ставке, что целиком и полностью подтверждаете эти показания».— «Я же вам сказал, что мне все равно, и если вам нужна очная ставка, пожалуйста, учиняйте, я готов».— «Вот и великолепно, сейчас мы это организуем»,— сказал следователь, позвонил в комендатуру и вызвал арестованного Лункевича. «Лункевича? — спросил я.— Что, Лункевич тоже должен принять участие в очной ставке? А с кем будет учинена очная ставка?» — «Как — с кем, вы же слышали, что я вызвал Лункевича. Очная ставка будет учинена между вами и Лункевичем»,— ответил следователь.— «Между мною и Лункевичем? Но для чего это? Ведь Лункевич до меня давал показания, и, по сути дела, мои показания являются переизложением его показаний!» — «Видите ли, Мебуке, очень упрямый старик этот ваш Лункевич. Признаться, мне его жаль. Мы изрядно потрудились над ним, считали и пересчитали его ребра, а старик крепкий и упрямый. Молчит, и все».— «Ничего не понимаю, как это молчит, ведь вы же показали мне его подпись под его показаниями, а теперь говорите, что он молчит». Ну что вам сказать, товарищи. Вышло так, что меня спровоцировали. Оказывается, никаких показаний Лункевич не давал...

— Ну, а дальше что? Чем кончилась очная ставка?

— Мне очень тяжело говорить об этом. У меня лицо горит от стыда... Лункевич плюнул мне в лицо и сказал, что я подлец и мерзавец, что я все сочинил... Дело в том, что я относился ко всему происходящему несерьезно, не придавал никакого значения этим фиктивным показаниям, а Лункевич принимает все это всерьез и ничего подписывать не хочет.

— Молодец Лункевич, какой молодец! — вырвалось у меня.

— Если бы вы видели, до чего изуродован бедный Лункевич! Ни одного живого места на его лице нет, весь он в синяках и кровоподтеках, глаза почти закрыты. Просто удивительно, как этот старик выдерживает все это.

На Мебуке сильно подействовала эта провокация. Он перестал утверждать, что все это «чепуха и несерьезно», что «скоро разберутся во всем». Теперь уже сам он стал сомневаться в правильности своего поступка, когда с такой легкостью признал себя виновным.

— А может быть, Лункевич прав, может быть, в самом деле я совершил подлость не только по отношению к нему, но и по отношению к себе? Но тогда я подлец перед десятками других людей, оговоренных мною, подлец перед партией и страной...

Мебуке очень изменился, потерял покой, молчал, закрывал лицо своей любимой подушкой и думал, думал...

5
СНОВА ДОПРОС

На следующий день после этих событий вызвали меня. Я снова очутился в кабинете следователя, но не Керкадзе, а Гургена Айвазова.

Айвазова я знал по совместной работе в Армении с 1929 года. Знал его как способного исполнительного работника. Я помог ему переехать на работу в Тбилиси, где он родился, вырос, учился. В Тбилиси жили его родные, в НКВД Грузии работал его младший брат Иван Айвазов.

Айвазов был знаком с моей семьей, часто приходил к нам домой, любил возиться с детьми. Когда Айвазов вступал в партию, я дал ему рекомендацию.

Гурген Айвазов долгое время работал в моем подчинении, занимая должность начальника отделения.

Он принял меня любезно, даже с улыбкой.

— Ну, Сурен, как жизнь? Садись. Ох и жара! Я представляю, что делается у вас внизу.

Я молчал.

Он перебирал какие-то бумаги, не обращая на меня внимания. У противоположной стены сидел на диване незнакомый мне практикант — курсант Тбилисской межкраевой школы.

— А ты знаешь, сегодня я встретил твою Любу на улице,— сказал Айвазов.— Она шла со Спартаком. Она не хотела даже поздороваться со мной, но я ее

остановил, спросил, как она живет, как дети, мать. Люба очень неохотно говорила со мной, не понимаю почему.

Я молчал. К чему все эти разговоры.

— Я сказал Любе, что если ей что-нибудь понадобится, может без стеснения обращаться ко мне,— продолжал Айвазов,— но Люба сказала, что она ни в чем не нуждается, и даже посоветовала мне не компрометировать себя общением с врагом народа. Понимаешь? Прямо так и сказала.

«Какая ты молодец, Люба»,— подумал я и, чтобы прекратить эти терзания, спросил:

— А кто будет вести мое дело? В первый раз меня вызвал Керкадзе.

— Нет, брат, теперь Керкадзе большой человек, он перешел на партийную работу — председателем партийного контроля. А твое дело поручено мне. Мы же с тобой старые знакомые и, думаю, договоримся. Давай приступим к делу. Так вот, я сейчас должен уйти. Вот тебе бумага, ручка и чернила. Сам напиши свои показания. Только имей в виду: твои показания должны быть начаты с ответов на эти три вопроса.

Айвазов протянул мне клочок бумаги, на котором были написаны следующие вопросы:

1. Кто завербовал вас в контрреволюционный заговор в НКВД Грузии?

2. Какую вредительскую работу вы проводили как член контрреволюционного заговора?

3. Кого в свою очередь вы сами завербовали в контрреволюционный заговор?

Прочитав этот «вопросник», я заявил, что если мои показания должны начаться с ответов на эти вопросы, то я в одну минуту напишу свои показания, так как никто меня не вербовал, никакой вредительской работы я не вел и никого ни в какую контрреволюционную организацию не вербовал.

— Ты все это брось, Сурен, я тебе помогу ответить на эти вопросы. Во-первых, тебя завербовал в контрреволюционный заговор Тите Лордкипанидзе. Во-вторых, ты с вредительской целью проваливал дела и добивался освобождения арестованных вредителей и шпионов. И в-третьих, что касается лиц, завербованных тобой, то мы тебе поможем и в этом. Может быть, ты забыл, кого завербовал, но мы этими данными располагаем. Я даже могу дать тебе список лиц, завербованных тобой.

— Но, может быть, ты сперва скажешь, какие именно дела я проваливал и каких вредителей и шпионов освобождал?

— Охотно скажу, почему же нет. Ты забыл о делах, возникших в экономотделе ГПУ Грузии в 1933—1934 годах о вредительстве в разных отраслях народного хозяйства Грузии? Ведь все арестованные по этим делам вредители, диверсанты и шпионы твоими стараниями получили свободу, вместо того чтобы быть расстрелянными.

— Ага, вот оно что! Здорово состряпали. Да, эти люди моими стараниями были выпущены на свободу, и это моя большая заслуга. Ведь ты сам отлично знаешь историю этих дел. Между прочим, и твоя точка зрения по этим делам мне известна. Как ты можешь обвинять меня во вредительстве, когда вопрос касается этих дел?

— Да, правильно, у меня была своя точка зрения по этим делам, но выяснилось, что я был обманут и введен в заблуждение. Я пересмотрел свою точку зрения и теперь считаю, что провал этих дел и освобождение арестованных — прямой результат твоего сознательного вредительства. Вот и все. Я же сказал, что не располагаю временем для разговора с тобой. Вот тебе бумага и все, что нужно, пиши показания, а я пошел. Смотри, начни с ответов на вопросы, что я тебе дал.

Практикант остался сидеть на диване.

Я решил изложить в виде своих показаний историю дел, о которых говорил Айвазов.

Короткая история этих дел такова.

В 1933 году в ГПУ Грузии возникли дела о вредительстве в разных отраслях народного хозяйства Грузии, главным образом, в сельском хозяйстве. Было арестовано, если не ошибаюсь, семнадцать человек. Среди них крупные специалисты, имена которых были известны не только в Советском Союзе, но и за его

пределами. Например, животноводы Джандиери и Леонидзе, биолог Элиава, создавший свой «бактериофаг», и другие. Арестовали их без ведома и санкции ГПУ Закавказья, что было серьезным нарушением установленного порядка. Когда мы протестовали против произвольных действий ГПУ Грузии, авторы этого произвола оправдывались тем, что санкция на арест этих специалистов получена персонально от тогдашнего секретаря ЦК КП Грузии Берии.

При экономотделе ГПУ Грузии была образована специальная следственная группа, в которую входили будущие заправилы беззаконий 1937 года Савицкий, Кримян, Давлианидзе.

До этого Кримян работал в экономотделе ГПУ Закавказья. Поступившими материалами он был изобличен в нечистоплотности, присвоении валюты, в мошенничестве. По моему требованию Кримяна убрали из экономотдела, но почему-то не отдали под суд. Я не знаю, какими соображениями руководствовался начальник экономотдела Грузии, когда человека с подмоченной репутацией взял к себе в отдел и включил в следственную группу. Странным и непонятным образом Кримян, очень молодой работник, вскоре занял ведущее положение в следственной группе вместе с Савицким.

Таким образом ГПУ Закавказья было поставлено перед свершившимся фактом. Нам оставалось взять под контроль эти дела и следить за ходом следствия.

Арестованным было предъявлено обвинение во вредительстве, диверсиях и шпионаже и еще в принадлежности к так называемому «Грузинскому национальному центру», который и «руководил всей контрреволюционной работой в Грузии».

Из ГПУ Грузии начали поступать к нам показания арестованных. Большинство из них признавало себя виновными в приписываемых им преступлениях. Эти показания вызывали у нас сомнения. Арестованные с удивительной легкостью принимали на себя чудовищные обвинения. Отдельные показания были похожи своей фантастичностью на сказки Шехерезады из «Тысячи и одной ночи». Следователи принимали эти показания за чистую монету, не вникали в их сущность, не проверяли. Многие показания были как бы составлены одним человеком. Выяснилось, что во время следствия арестованные привлекались к проектированию какого-то молочного комбината, собирались в одну большую комнату — «проектное бюро», общались друг с другом, сговаривались и давали согласованные, доходящие до абсурда показания в расчете на то, что, когда дело дойдет до судебного разбирательства, они докажут смехотворность своих показаний.

Нам приходилось не раз указывать ГПУ Грузии на азбуку Уголовно-процессуального кодекса, о том, что показания обвиняемого, если они не подтверждены другими материалами, документами и вещественными доказательствами, не могут служить основанием для того, чтобы его судили. Мы требовали от ГПУ Грузии вдумчивого следствия и *фактического* доказательства всего того, что показывают обвиняемые. Мы требовали прекратить использование в проектных работах подследственных арестованных. Но наши указания не доходили до цели. ГПУ Грузии толковало так, что ГПУ Закавказья своими «придирками» мешает им работать, «ставит спицы в колеса», срывает ведение следствия и так далее. Но мы настаивали, что по материалам, которыми располагает ГПУ Грузии, нельзя привлекать людей к уголовной ответственности, нельзя держать их под стражей.

Я бросил прямое обвинение следственной группе и лично заправилам этой группы Михаилу Горячеву, Константину Савицкому, Никите Кримяну, Сергею Давлианидзе в нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса, в применении недопустимых методов следствия и потребовал вмешательства прокуратуры Закавказского военного округа. В ответ на все это ГПУ Грузии решило обратиться в Москву, в ОГПУ СССР и, минуя ГПУ Закавказья, направило следственную группу с делами в Москву для доклада в ОГПУ СССР.

Еще одна деталь.

Пока велось следствие по этим делам, пока заключенные проектировали «молочный комбинат», ОГПУ и его органы на местах были реорганизованы в НКВД. Судейские функции коллегии ОГПУ были упразднены, а органы НКВД были неправомочны рассматривать дела по вредительству, диверсиям и другим

антигосударственным преступлениям. Такие дела стали подсудными Военному трибуналу.

Следственная группа хотя и не показывала вида, но отлично понимала, что никакой суд не возьмет эти дела для разбора. Как быть? Тогда следственная группа пошла на подлог. Задним числом было оформлено решение уже упраздненной коллегии ГПУ Грузии, и каждый обвиняемый был приговорен на 10 лет лишения свободы. Руководители ГПУ Грузии надеялись, что ОГПУ (уже НКВД) СССР в Москве утвердит это решение. Итак, следственная группа поспешила в Москву для того, чтобы «протащить» эти дела.

Вслед за следственной группой выехал в Москву и я, чтобы доложить точку зрения ГПУ (НКВД) Закавказья по этим делам.

В НКВД СССР ознакомились с делами, выслушали доклады следственной группы и мои сообщения, нашли все требования НКВД Закавказья правильными и потребовали от НКВД Грузии выполнить все указания НКВД Закавказья, и если документально будет доказана виновность обвиняемых, направить дела в Военный трибунал.

Таким образом, затея следственной группы провалилась.

После ее возвращения из Москвы НКВД Закавказья пригласил представителя прокуратуры Закавказского военного округа для ознакомления с делами.

Прокурор Казаринский в течение месяца подробно изучил все дела, беседовал с заключенными и решил, что в делах отсутствует состав преступления. Он потребовал немедленного освобождения арестованных и привлечения к ответственности виновников необоснованных арестов.

Надо было немедленно освобождать арестованных.

Как быть?

Я не знаю, кто был инициатором, но выход был найден. Задним числом оформленное постановление ГПУ Грузии было пущено в ход. Теперь появился другой документ — постановление ЦИК Грузии об амнистировании этих «приговоренных».

Обвиняемым одновременно предъявлялись два документа: решение ГПУ Грузии об осуждении на 10 лет и постановление ЦИК Грузии об амнистии. После этого арестованные были выпущены на свободу.

Между прочим, прежде чем предъявлять эти документы заключенным, им было предложено обратиться в ЦИК с просьбой о помиловании, но арестованные отказывались и заявляли: пусть их судят, если виновны, а просить помилования они не будут.

Таким образом, все арестованные были выпущены на свободу.

В 1937 году, когда Савицкий, Кримян, Давлианидзе оказались в роли первых скрипок на страшном шабаше беззакония и произвола в Тбилиси, они вспомнили об этих делах, снова арестовали всех выпущенных в 1934 году специалистов и добились их расстрела.

Спустя восемнадцать лет правосудие пересмотрело эти дела, и невинно погибшие люди были посмертно реабилитированы.

Такова история этих дел.

В отсутствие Айвазова я начал изложение этой истории. Я снова подчеркивал, что мои действия в 1934 году были правильными, и снова обвинял следственную группу. Я еще не закончил свое «повествование», как вошел Айвазов.

— Ну что, пишешь?

— Пишу.

— А ну, посмотрим.

Он взял исписанные листы и стал читать про себя. Прочитав несколько строк, он вырвал у меня листок с недописанной фразой и сказал:

— Кому нужна эта ерундистика? Я же сказал, как надо писать показания.

— Других показаний у меня не будет,— твердо сказал я.

— Тогда у меня будет другой разговор с тобой, и пеняй на себя.

— Пытки не заставят меня оговорить себя и других.

— Это мы еще посмотрим.

Он позвонил в комендатуру и вызвал выводного.

Через день или два меня снова вызвали. Айвазов, как ни в чем не бывало, был

со мной любезен. Улыбался и заводил разговор на посторонние темы. Жаловался, что устает, как собака, и совершенно не знает личной жизни.

Не прошло и пяти минут, как в кабинет Айвазова вошли Савицкий, Кримян и Давлианидзе.

— Вот тебе, Газарян, сразу три очные ставки,— сказал Айвазов.

Я ожидал, что Айвазов, как принято в таких случаях, возьмет бумагу, поставит вопросы мне и им и зафиксирует наши ответы в протоколе очной ставки. Ничего подобного не было. Вошедшие сразу напали на меня. Первенство в этом принадлежало Кримяну. Он обвинял меня в измене, в обмане партии и товарищей, в том, что я злоупотреблял оказанным мне доверием, что я состоял в контрреволюционном заговоре и как вредитель сознательно провалил дела и выпустил на свободу врагов советского государства. Каждая фраза Кримяна сопровождалась площадной бранью, матерщиной, размахиванием кулаком перед носом. Вслед за Кримяном Савицкий начал свои нападки теми же оскорбительными выражениями, ругательствами, размахиванием кулаком. Только Давлианидзе вел себя относительно тихо. Скажет слово в поддержку своих товарищей и снова замолчит. Пошумели, поругали, попоказывали кулаки, не дав сказать мне ни слова, и ушли.

— Ну, что скажешь? И теперь будешь упорствовать? — сказал Айвазов.

— Ничего себе, хороша очная ставка. Я до сих пор имел другое представление об очных ставках,— возразил я.

— Ваши либеральные времена прошли, ты забудь о них, теперь у нас нет ни времени, ни желания цацкаться с врагами народа, мы теперь действуем иначе.

— Я не враг народа, я честный человек, и все то, что происходит сейчас, я считаю не только вопиющей несправедливостью, но и преступлением перед партией, государством и народом. Но все это временно, правда не может долго находиться под спудом.

— Правда? Прочти и подпиши. Правда изложена вот здесь. Ты не захотел написать правду сам, за тебя это сделал я.

С этими словами Айвазов достал из ящика отпечатанные на машинке листы и протянул мне.

Это были мои «показания». Написано, оформлено как следует. Следователь ставил вопросы, обвиняемый отвечал на них. Будто в самом деле вопросы поставлены и ответы с моих слов записаны. Чего только не было наплетено в этих «показаниях». Оказывается, я в течение ряда лет являлся активным участником контрреволюционного заговора в НКВД Закавказья. Заговором руководил нарком Тите Лордкипанидзе, который, в свою очередь, был связан с «национальным центром» Грузии, руководимым Буду Мдивани. Мдивани создал боевую группу в НКВД Закавказья и Грузии. Эта группа была готова к выступлению с оружием в руках в любой момент. По указанию «национального центра» группа проводила вредительство, выпускала на свободу вредителей, диверсантов, шпионов. Группа ставила перед собой задачу свержения советского строя в Грузии и отделения ее от Советского Союза. Группа подготовляла террор против Берии и так далее, и тому подобное. Я, как участник заговора, проводил вредительскую работу по указанию Лордкипанидзе, со специальным поручением которого я ездил в Москву к начальнику экономуправления Миронову и отвез на его имя письмо от Лордкипанидзе. Разумеется, Миронов и Лордкипанидзе были связаны между собой по контрреволюционной работе. В письме к Миронову Лордкипанидзе сообщал, что Газарян является надежным членом контрреволюционного заговора и ему поручено добиться провала следственных дел. От Миронова я получил конкретные указания о дальнейшей вредительской работе. Свою контрреволюционную работу я тщательно скрывал, создал себе авторитет, занимал руководящие должности, пролез в руководство партийной организации, избирался членом бюро партийного комитета и добился того, что меня избрали ответственным секретарем партийной организации наркомата. Являясь пропагандистом, я в политкружках НКВД и Заккрайкома открыто пропагандировал троцкизм. Лордкипанидзе до того, как меня завербовать, приблизил меня к себе, относился ко мне хорошо, предоставил мне хорошую квартиру, потратив на это крупную сумму государственных денег, распорядился произвести роскошный ремонт этой квартиры. Кроме того, Лордкипанидзе часто и щедро давал мне

денежные пособия... Контрреволюционная организация устраивала тайные собрания в служебном кабинете Лордкипанидзе под видом оперативных совещаний. Я знал других участников заговора — ответственных работников НКВД, с которыми встречался на этих собраниях: Гайка Агабаляна, его брата Андро Агабаляна, Петре Мхеидзе, Олифанта Швилаву, Валериана Полюдова. Широкова, Польшина, братьев Давыдовых, братьев Думбадзе, Норина и других. Я сам завербовал в контрреволюционный заговор подчиненных мне работников: Николая Бартновского, Лазаря Хвойника, Гоги Кобиашвили, Калинина и других. Кроме того, я непосредственно руководил контрреволюционной работой давно завербованного члена заговора Акакия Кохреидзе и приехавшего из Воронежа Бабурина. Моя заговорщическая связь с Москвой осуществлялась через Макса Розенблюма. Миронов специально прислал Розенблюма на должность начальника экономотдела для ведения контрреволюционной работы. Как только Розенблюм наладил работу, установил связи с заговорщиками, он уехал в Москву, пробыв в Закавказье пять месяцев. За это время он, под видом служебных командировок, побывал в Ереване и Баку и там налаживал контрреволюционную работу. После отъезда Розенблюма в Москву работа по поддержанию связи с Москвой, в частности с Мироновым, была поручена мне. Для осуществления этих связей я систематически ездил в Москву, вплоть до своего ареста, и докладывал Миронову о проделанной контрреволюционной работе. Каждый член заговора кроме официально присвоенного ему оружия приобретал и хранил у себя по несколько револьверов и большое количество патронов к ним. Я сам приобрел более десятка револьверов, хранил их у себя дома, помогал завербованным мною членам заговора приобретать оружие...

И еще черт его знает что...

— Ну что, прочел? — спросил Айвазов, когда я положил на стол «протокол допроса».

Если бы в это время я увидел себя в зеркале, то заметил бы, как волосы поднимаются дыбом, лицо покрывается испариной.

Да. Вполне достаточно, чтобы расстрелять предателя.

— Да, прочел.

— А теперь возьми ручку и подпиши.

Овладев собой, я твердо сказал:

— Никогда не буду автором этой провокационной фальшивки. Пусть подпишет тот, кто ее сочинил, а я не буду, как хотите.

— Подпишешь, как миленький подпишешь. Если не сегодня, то завтра подпишешь; завтра не захочешь — послезавтра обязательно подпишешь. Время терпит, два дня мы можем подождать. Только совершенно зря ты занимаешь такую позицию. Не советую, ей-богу, не советую. Все равно мы возьмем с тебя все, что нам надо, понял?

— Понял. И ваши намерения мне хорошо известны. Делайте со мной что хотите, но я не подпишу, не оговорю ни себя, ни других.

— Все так говорят вначале. После того как попробуют шомпола и розги, становятся шелковыми. Не надо, Сурен, не надо доводить дело до этого, послушайся моего совета. В данном случае я говорю тебе не как следователь.

— В данном случае меня интересует твоя психология. Неужели ты сам веришь в то, что говоришь? Неужели ты, знавший меня в течение многих лет так близко, не уверен в моей невиновности? Чем ты руководствовался, когда сочинял всю эту страшную чепуху? Каким образом ты уничтожаешь все то, что было вчера? Что случилось? Кому все это нужно?

— Вчера это вчера, а сегодня это сегодня. То, что происходит сегодня, полностью уничтожает все то, что было вчера. Если вчера я знал тебя как честного человека, сегодня я уверен в обратном. У меня достаточно оснований для этого. Я очень сержусь на себя, на свою наивность и близорукость, за то, что давал себя обманывать долгое время, я злюсь и на тебя за то, что ты так ловко замаскировался и обманывал не только меня, но и других своих товарищей.

— А ты забыл, что я тебя рекомендовал в партию?

— Я уже отказался от этой рекомендации и заявил об этом в партийный комитет.

— Конечно! Как можно состоять в партии по рекомендации врага народа. Но

ты должен знать, что все то, что происходит сегодня,— временное явление. Правда восторжествует, мое честное имя будет восстановлено, а ты будешь нести ответственность за свои сегодняшние поступки.

— Ладно, ладно, замолчи, не пользуйся тем, что я беседую с тобой по-хорошему. Прекратим пустые разговоры, подпиши, и не будем больше ругаться.

— Я уже сказал: ложь подписывать не буду.

— Ну что ж, пеняй на себя. Захочешь подписать, да будет поздно.

Разговор был окончен. Айвазов вызвал выводного.

— Подумай как следует,—крикнул он мне вдогонку.— Следующий разговор с тобой мы поведем другим языком.

«Подумай как следует». Но о чем же? Я знаю себя хорошо... «Следующий разговор с тобой мы поведем другим языком...» Да, пыток не избежать. Как низко все это! Как оскорблен этими действиями наш боевой орган пролетарской революции, созданный Лениным, руководимый Дзержинским. До какой низости дошли те работники, которые не нашли в себе достаточно сил, чтобы сопротивляться злу.

Лезут в голову эпизоды прошлого...

Вспомнил 1921 год. Молодым кандидатом партии я был мобилизован на работу в Александропольскую Чрезвычайную комиссию. С направлением в руках я вошел в Чека к секретарю. Дверь в кабинет председателя была открыта. В кабинете никого не было. Около письменного стола секретаря сидел худощавый паренек, на вид не больше девятнадцати лет. На нем была старая, потертая куртка. Она была для него непомерно велика, он утопал в ней и казался еще худее.

Я обратился к секретарю, объяснил цель моего прихода и положил направление на стол. Но паренек протянул руку, взял бумагу и начал читать.

— Не лезьте не в свое дело,— строго сказал я.— Почему вы читаете не вам адресованную бумагу?

Я отнял у него бумагу и снова положил на стол.

— Кому же адресована эта бумага? — тихим голосом спросил он спокойно и снова протянул руку к бумаге.

— Что за привычка совать нос куда не следует,— сказал я, снова отнял у него бумагу и спросил: — Скоро придет председатель Чека Арсен Есаян?

— А разве я не похож на председателя Чека Арсена Есаяна? Или вы думаете, что председатель Чека должен иметь три аршина роста да еще четыре рога на лбу? Так, что ли?

Он снова взял бумагу, пробежал ее глазами и наложил резолюцию. Я сконфуженно опустил голову.

— Вы меня извините, я...

— Нечего извиняться. Конечно, я не похож на председателя Чека в этой обтрепанной куртке, но другой у меня нет. Впрочем, это пустяки, давайте поговорим о деле...

Энергичный, способный, умный, большого масштаба государственный работник Арсен Есаян занимал ряд руководящих должностей в Армении и Закавказье. Был уполномоченным наркомата тяжелой промышленности СССР в Закавказье. До застенчивости скромный был человек. Для Есаяна не существовали вопросы личного благоустройства, целиком и полностью он посвятил себя общегосударственному делу. Когда товарищи говорили ему об отдыхе, о том, что надо думать и о себе, от отвечал:

— Оставьте. Разве я имею право думать о себе, когда кругом столько дел, неотложных задач? Вот выйдем на широкую дорогу, тогда другое дело.

Страна вышла на широкую дорогу, а Арсен Есаян был уничтожен как «враг народа»...

В 1921 году, когда я заполнял первую анкету в Чека, она имела девиз: «Чека — храм революции».

Воспитанные на традициях Феликса Дзержинского, мы, старые чекисты, делали все, чтобы высоко держать имя боевого органа Октябрьской революции, грозного для тех, кто посягал на молодое Советское государство. Но вот шайка проходимцев и карьеристов, продажных исполнителей черного дела, превратила органы ВЧК—ОГПУ—НКВД в орган беззакония и пыток. Трагедия состояла

в том, что все это делалось во имя защиты интересов революции от контрреволюционеров, во имя защиты Советского государства от его врагов...

Не хочется думать обо всем том, что происходит сегодня,— что будет, пусть будет. То, что делается сегодня, слишком омерзительно, чтобы о нем думать...

Но куда же деться от этого «сегодня»?

6
БАГРАТИОНИ

Он был очень популярный человек — Давид Багратиони. Нет, это не то слово. Он был всеобщим любимцем. Все называли его любовно — Датико. Потомок имеретинского царя Соломона, правнук царя Давида по мужской линии, «светлейший князь» Багратиони был наследником обширных имений в Имеретии, в частности в Кутаиси.

Датико лишился отца, когда ему было шесть недель. Заботу о воспитании сына взяла на себя мать. Она должна была обеспечить сыну достойное для наследника престола образование и воспитание. В шесть лет Давид хорошо ездил на коне, стрелял, фехтовал, отличался храбростью, бесстрашием.

Образование сына княгиня поручила своему двоюродному брату Сергею Кавтарадзе, и последний стал домашним учителем Датико. Откуда она могла знать, что Сергей Кавтарадзе член большевистской партии, ведет подпольную работу? Под влиянием Сергея Кавтарадзе формировалось политическое мировоззрение мальчика Датико.

В доме Багратиони часто бывали большевики Мамия Орахелашвили, Николай Лордкипанидзе. Орахелашвили был двоюродным братом няни Датико Ольги Орахелашвили. Пользуясь тем, что дом Багратиони был вне подозрений, Орахелашвили и его друзья подолгу жили там и вели подпольную работу. Все это также имело большое влияние на формирование Багратиони.

При меньшевиках Давид угодил в тюрьму, но не по политическим мотивам. Он ранил кого-то. А в тюрьме он очутился в одной камере с Мамией Орахелашвили и Шамше Лежава. В результате — после выхода из тюрьмы он стал активным участником большевистского подполья, но в партию не вступил. Не так легко было человеку с таким происхождением вступить в члены большевистской партии.

Партийный билет он получил гораздо позже.

Но Багратиони не придавал этому значения. В душе он был на стороне большевиков, принимал их политическую программу.

По установлении советской власти в Грузии Багратиони сразу же включился в активную борьбу против врагов молодого Советского государства в Грузии.

Воспитание, полученное в детстве, храбрость и бесстрашие очень ему помогли, и он стал одним из активных борцов против бандитизма.

В те годы бандитизм в Грузии, как и во всем Закавказье, принял широкие размеры, многие руководители крупных банд ставили перед собой задачу политической борьбы с советской властью, и борьба с бандитизмом всегда находилась на первом плане.

Другой важной задачей была борьба с контрабандой, широко распространенной в то время в республиках Закавказья, в том числе и в Грузии.

Давид Багратиони на фронтах борьбы с бандитизмом и контрабандой не раз ставил свою жизнь под угрозу и вписал не одну яркую страницу в свою биографию. Не одна банда, не одна контрабандистская шайка были ликвидированы в Грузии при активном участии Датико.

Но Датико был в сложном положении. С одной стороны, люди его происхождения и на родине и за рубежом считали его предателем, подняли шумиху, завопили о том, что, мол, «наследник престола, светлейший князь Багратиони продался большевикам», а с другой — не все наши верили в искренность Багратиони, не понимали, что может заставить человека такого происхождения бороться в рядах большевиков. Они считали Багратиони примазавшимся, преследующим какие-то темные цели.

Но Датико не обращал внимания ни на тех, ни на других.

Огромна роль Багратиони на фронтах хозяйственного строительства страны. В 1937 году он занимал должность начальника Автодорожного (автотранспортного) управления Совнаркома Грузии.

В последних числах июля 1937 года дверь нашей камеры открылась, и высокая, всем нам хорошо знакомая фигура Багратиони шагнула в камеру. Чтобы не стукнуться головой о косяк, Багратиони вынужден был наклониться. Рослый, широкоплечий, с высоким лбом, длинными, зачесанными назад темно-русыми волосами. Кто знал его раньше, тот хорошо помнил его удивительно мягкий, ласковый взгляд. Впоследствии, в результате ранения, верхнее веко левого глаза было оперировано. Лицо потеряло симметрию, глаза смотрели как бы в разные стороны.

Вид у Багратиони был странный, как будто его загипнотизировали и он двигался по воле гипнотизера. Мы все обступили его. Он растерянно улыбался, смотрел на нас отсутствующим взглядом и никого не видел. Потом сел на табуретку и сказал:

— Ра вкна, кацо, ра вкна? (Что делать, братцы, что делать?)

— Что с тобой, Датико? Ты даже не поздоровался с нами. Рассказывай, что на воле.

— Я давно с воли, товарищи,— будто сквозь сон ответил Багратиони,— то есть не совсем давно, с утра. Позвонили на работу и срочно вызвали в ЦК. Там меня арестовали. Ждали... Я сейчас от Сосо Буачидзе... Он умирает...

И заплакал.

Багратиони не мог говорить, запинался на полуслове, останавливался, хватался за голову и повторял: «Ра вкна, кацо, ра вкна?»

Сосо Буачидзе и Давид Багратиони любили друг друга. Их связывала долголетняя дружба.

Буачидзе наотрез отказался давать показания. Его пытали. Его убили под пытками. Убийцы Буачидзе придумали способ психологического воздействия на Багратиони. Его поместили на несколько часов в ту камеру, где умирал Буачидзе. Он был без сознания и не узнал друга. Разве мог быть в сознании человек, у которого внутренности вылезали из распоротого живота?

Багратиони специально показали умирающего Буачидзе, как бы говоря этим: «Вот что ожидает тебя, если вздумаешь оказать сопротивление следствию».

Мы были потрясены рассказом Багратиони. Что ни день, то новая провокация, одна страшнее другой...

Багратиони рассказал много нового.

Я узнал от него, что одновременно со мной было арестовано семнадцать руководящих работников НКВД — начальников отделов, их заместителей, начальников отделений. Через два дня состоялось общее собрание партийной организации НКВД Грузии, на котором Александр Хазан — один из руководителей кровавой расправы — сделал доклад «о коварных методах работы классового врага». Он говорил о том, что враги народа ловко обманывали партию, притупили бдительность партии и органов государственной безопасности, проникли в руководство партийного, советского, хозяйственного и военного аппарата, занимались подрывной деятельностью, организовывали вредительства, диверсии, занимались шпионажем, подготовляли террористические акты — в первую очередь против Берии. Хазан говорил, что враги народа пролезли также в НКВД Грузии, захватили ответственные должности и активно боролись против советской власти.

Хазан перечислил на собрании всех тех, кто арестован, характеризовал каждого как врага народа, предателя, изменника.

Все арестованные чекисты, в том числе и я, исключены из партии.

Некоторые работники НКВД покончили жизнь самоубийством. Застрелился Норин, работник особого отдела; в ванной вскрыла вены Зинаида Зиновьева; застрелился Гоги Кобиашвили, оставив короткую записку: «В создавшейся обстановке я больше не могу работать. Это против моей совести». Жена Кобиашвили, Рита Джашитова, инспектор отдела кадров, после самоубийства мужа привела в порядок служебные дела, составила финансовый отчет о доверенных ей профсоюзных деньгах и бросилась с Верийского моста в Куру. Кобиашвили

и Джашитова поженились недавно, нежно любили друг друга и ожидали первого ребенка. Оба они пользовались любовью и уважением всего коллектива.

Багратиони тоже присутствовал на собрании партийного актива, о котором мне уже говорил Мебуке, но он совершенно иначе воспринял все то, что там происходило.

— Вы не можете себе представить, какая гнетущая обстановка царила там,— говорил Багратиони.— Какое было замешательство среди людей, какое подавленное настроение и недоверие. Молча слушали сообщение Берии о «врагах народа», молча проглотили угрозу, что любой может быть «стерт в порошок», и с тяжелым сердцем разошлись. Не каждый был уверен, что дойдет до дома и не будет арестован тут же по выходе с собрания... И в самом деле, кое-кто так и не дошел домой, после собрания некоторые были арестованы. Плохо, очень плохо на воле, товарищи. Никто не знает, что его ожидает через час. Уходя на работу, люди прощаются с семьями, так как не знают, суждено ли им вернуться домой.

До Мебуке не дошла вся трагичность положения, а Багратиони смотрел на все происходящее глазами умудренного опытом большевика, который мог оценить положение.

Багратиони вызвали на допрос в тот же день поздно вечером. Под впечатлением его страшных рассказов мы провели бессонную ночь. С тревогой ждали его возвращения.

Прошла ночь, настал день, а Багратиони все не было.

Вернулся он около десяти часов утра. Два вахтера приволокли окровавленный ком и втолкнули в камеру. Страшно было смотреть на него. Чистая, свежая рубашка, в которой он вчера вошел в камеру, была превращена в окровавленные лохмотья и висела на нем клочками. Из-под рубашки виднелось изуродованное, сплошь покрытое рубцами тело. Брюк на нем не было, в одних трусах... До чего был изуродован этот человек за одну ночь!

Вслед за ним швырнули в камеру брюки.

Мы молча подняли почти безжизненное тело Багратиони и уложили на кровать.

— Ра вкна, кацо, ра вкна? — стонал он.

Вопросы были излишни и неуместны, и никто их не задавал.

Молчание прервал сам Багратиони:

— Подумать только... Марк Мичурин и Арам Дошоян... Мои близкие товарищи, целую вечность знают меня... Это они меня так изуродовали.

Первый — начальник отдела, второй — его заместитель. Оба хорошо знали Датико.

— Ра вкна, кацо, ра вкна?

Да, очень тяжелый был день 25 июля в нашей камере. Полуживой Багратиони лежал и время от времени тяжко вздыхал. Мне тоже было тяжело, особенно тяжело в этот день. Ведь сегодня моей дочери Майе исполняется четыре года. В тот день я очень тосковал по дому... Дочери четыре года, а что ждет ее впереди? Как там сейчас дома? Знают ли дети, где я? Если Майя еще ничего не понимает, то Спартаку пошел восьмой год, и он понимает все...

Думал, думал свои думы... Угроза Айвазова — «следующий разговор с тобой мы поведем другим языком» — не давала мне покоя. «Вот каким языком будут говорить со мной,— думал я, не сводя глаз с Багратиони.— Выдержу ли? Хватит ли сил и мужества перенести это тяжелое испытание?»

Вдруг открылась форточка, и вахтер произнес мою фамилию. Он передал мне сверток и записку.

— Быстро прочитайте, распишитесь в получении и верните записку.

Почему-то я стал читать записку вслух. Хотя прошло много лет с того дня, но я в состоянии привести ее содержание, потому что много раз я уже повторял написанное Любой.

«Дорогой мой Сурен. Чтобы ты не чувствовал себя сегодня одиноким, я добилась передачи тебе пары сорочек, воротничков и расчески. Приготовила галстуки, но их не приняли. Сдала в кассу для тебя деньги, ты их получишь. Сегодня нашей Майечке четыре года. Мы будем считать, что ты с нами, за общим столом,

и мы все вместе отметим этот день. Мы все здоровы, всё в порядке, о нас не думай, береги себя. Мужайся, мой дорогой. Мы все крепко целуем тебя. Люба».

Чувства хлынули потоком. Я бы задохнулся, если бы прочитал записку про себя.

— «Мужайся»! Твоя жена умная женщина, Сурен,— с трудом прошептал Багратиони.— За такое слово я готов отдать половину оставшейся моей жизни. Оно сегодня ко мне относится больше, чем к тебе, и когда я выйду на свободу, то расцелую твою Любу за это слово. Будешь ревновать — черт с тобой.

Он не сказал «если я выйду», а сказал «когда я выйду». Он был уверен, что выйдет на свободу. Бедный, милый Датико, он не знал, что ему не суждено вырваться из когтей своих палачей и что он доживает свои последние дни...

«Мужайся»! Как часто я повторял потом это слово, и как оно помогло мне перенести тяжелые испытания!

Разговор не клеился. Каждый ушел в себя. Я тоже. Я закрывал глаза, чтобы лучше «увидеть» черты моих дорогих. Временами кажется, что я их забываю, но снова восстанавливаю.

Длинный июльский день подходит к концу. Потемнел кусочек неба за козырьком нашего окна. Тюремный день тоже закончен. Все обычные процедуры уже совершены, «привилегированные» получили на ночь мацони и свежие аппетитные булочки... Теперь мы с тревогой следим за движением в коридоре...

Сперва пришли за Багратиони. Пришли двое: знали, что он не может двигаться.

Спустя несколько минут пришли за мной. Но обо мне потом, чтобы не прервать рассказ о Багратиони. Меня вернули с «допроса» утром следующего дня, а Багратиони все не было. Его приволокли еще через час.

Багратиони пытали долго. Дней пятнадцать или семнадцать. Каждый вечер, почти в одно и то же время, его вызывали и утром следующего дня волокли в камеру. Я опускаю подробности этих пыток. К чему вспоминать мерзости? На наших глазах живой человек разлагался в буквальном понимании этого слова. Он издавал трупный запах, но продолжал жить только потому, что обладал исключительно здоровым сердцем.

И вот однажды с очередного допроса Багратиони вернулся рано. Он все еще не мог самостоятельно двигаться. На этот раз вахтеры не волокли его, не втолкнули грубо в камеру, как это делали обычно, а осторожно помогли добраться до койки и заботливо уложили.

Он был какой-то странный, озабоченный и вместе с тем спокойный.

Мы поняли, в чем дело, но не задавали ему никаких вопросов. Собственно говоря, мы кое-что уже знали. Мебуке, бывший на допросе, вернулся и сказал, что слышал обрывочные фразы: «кронпринц запел», «кронпринц заговорил». Мебуке понял, что речь идет о Багратиони.

— Всё,— сказал Багратиони через некоторое время.— Всё. Я подписал смертный приговор.

И зарыдал, как ребенок. Никто из нас не подумал успокаивать его. Пусть поплачет, чем больше будут литься слезы, тем больше успокоения они принесут.

— Обиднее всего то, что это делают твои же друзья,— сквозь слезы говорил Багратиони,— твои вчерашние товарищи делают и думают, что защищают безопасность Советского государства. Ра вкна, кацо, ра вкна...

Получающих специальные обеды одним человеком стало больше. Занялись восстановлением здоровья Багратиони. Приходил врач, прописал лекарства.

— Что я сделал? Что я сделал? — часто повторял Багратиони, нервно ломая себе пальцы.

Мы вмешались:

— Не терзай себя, Датико! Что сделано, то сделано. Теперь уже поздно.

— Нет, вы не знаете, друзья, я не о том. Среди оговоренных мною людей — мой заместитель Кобиашвили, брат Гоги Кобиашвили, что застрелился. Честнейший человек, преданный коммунист...

— Ну что из этого, все честные, все преданные.

— Нет, он единственный кормилец большой семьи, отец малолетних детей.

Я не должен был его оговаривать. Я причина гибели не только его, но и его ни в чем не повинных детей.

— Ты напрасно терзаешь себя. Дал бы ты показания или нет, все равно Кобиашвили должен был быть арестован. Не ты решал его судьбу, не ты включил его в список.

Наши слова не подействовали. Багратиони мучился. В конце концов он написал заявление об отказе от своих показаний. Это заявление еще не было передано дежурному, когда Багратиони снова вызвали. Он взял с собой заявление и вышел.

Когда Багратиони вернули в камеру, мы поняли, что он снова подвергся пыткам.

Так и было.

Когда его привели к следователю, тот очень любезно и предупредительно предложил сесть, угостил папироской, закурил сам, а затем заявил, что в его показаниях допущена досадная ошибка, которую надо исправить.

— Да,— заявил следователю Багратиони,— из списка оговоренных лиц надо исключить одного человека. Я вас очень прошу.

— Мы знаем,— продолжал следователь,— что Шалва Церетели, начальник республиканской милиции, ваш закадычный друг. Мы это учли, исключили из показаний фамилию Церетели. Вот вам новые показания, подпишите, а это уничтожим.

Шалва Церетели дружил с Багратиони, но вовсе не это было предметом заботы следователя. Дело в том, что Церетели — ставленник Берии, и следователь не учел этого, когда включил его в список лиц, якобы связанных с Багратиони по контрреволюционной работе. Начальник предложил исправить эту оплошность. Показания были переделаны, всюду исключена фамилия Церетели, и новые показания теперь предлагались Багратиони на подпись.

— Нет,— возразил Багратиони,— в данном случае я беспокоюсь не о нем. Он ничем не отличается от всех остальных оговоренных мною. Речь идет о другом человеке, отце большого семейства — Кобиашвили. Я не хочу быть причиной гибели его и его семьи.— С этими словами Багратиони положил на стол свое заявление об отказе от своих показаний.

— Исключите вы или нет Шалву Церетели из моих показания, дело ваше, но до тех пор, пока не будет исключена фамилия Кобиашвили, мой отказ от своих показаний я не возьму обратно.

Следователь сразу же переменился в лице, исчезли любезность и предупредительность.

Снова начались пытки, и измученный Багратиони прекратил сопротивление. Он подписал новый протокол допроса, где фамилия Церетели нигде не фигурировала.

Под конец следователь порвал заявление Багратиони и сказал:

— Сколько бы вы ни писали таких заявлений, кому бы ни адресовали, все равно дальше мусорного ящика они не пойдут.

В те дни, когда пытали Багратиони, несколько раз в послеобеденное время с улицы до нас доносился душераздирающий крик мальчика: «Паа-паа... Маамааа...» По голосу можно было определить, что ему не больше шести-семи лет.

Как только Багратиони услышал этот голос, он встрепенулся.

— Это Кока, это его голос.— И, прислушиваясь, убеждал себя, что это именно голос Коки.

Он рассказал следующую историю.

За несколько дней до ареста Багратиони были арестованы его близкий друг Коля Микадзе и его жена Бараташвили. Их единственный семилетний мальчик Кока остался беспризорным.

Голодный мальчик вспомнил о дяде Датико и пришел к нему на работу, может быть, для того, чтобы попросить у него кусок хлеба.

Когда секретарь Багратиони доложил ему о том, что пришел какой-то мальчик Кока и хочет видеть дядю Багратиони, он удивился. Датико был уверен, что

Кока находится в детском доме. Ведь когда арестовывали родителей, детей отправляли в детские дома.

В очень трудное положение поставил мальчик Датико своим появлением. Шутка ли — принимать участие в судьбе сына «врага народа»! Какое имеет значение, что ему нет и семи лет? Он сперва решил не принять мальчика, передал секретарю для него десять рублей и велел сказать, что его нет. Но тут же осудил себя за такой поступок, вернул секретаря и велел позвать мальчика. Надо что-то решить, надо устроить ребенка. Ведь у Коли — отца Коки — есть братья и сестры. Где они? Что с ними? Надо выяснить все, надо устроить Коку. Он поговорит с женой и оставит у себя Коку, если мальчику некуда деться.

Но, как говорится, пятница наступила раньше субботы. Датико не успел реализовать свои планы.

А с улицы доносился крик мальчика: «Паа-пааа... Маа-мааа...»

— Я сойду с ума, я не могу слышать этот голос, это невыносимо, это гораздо страшнее, чем все пытки,— сокрушался Багратиони.

Я знал Микадзе и его красавицу жену. Знал маленького Коку, товарища моего сына Спартака по детскому саду. Они были ровесниками и готовились пойти в школу осенью 1937 года.

Действительно ли этот мальчик был Кока или нет — не имело значения. Потерявший отца и мать, осиротевший мальчик душераздирающим криком у здания НКВД звал своих родителей: «Паа-паа... Маа-маа...»

Несколько дней Багратиони не тревожили. Он медленно поправлялся. Уже мог вставать и делать несколько шагов. Прошла еще неделя. Багратиони снова вызвали. На этот раз он задержался недолго. Вернувшись, рассказал, что ему предъявили новое обвинение в том, что он являлся руководителем «террористического центра», что под видом автомобильных запасных частей он получал ящиками оружие и хранил его на складах своего ведомства.

— Позвольте,— возразил Багратиони,— если я признаюсь в этом, то вы потребуете от меня оружие, откуда я возьму его?

— Это не ваша забота,— говорит ему следователь.

Но Багратиони не захотел признать это, и ему была учинена очная ставка.

Багратиони вернулся возмущенный.

— Ра вкна, кацо, ра вкна... Мне учинили очную ставку с Кобиашвили. Он смотрит мне в глаза и спокойно заявляет, что по моему личному распоряжению он принимал и хранил на складах оружие — винтовки и револьверы, которые прибывали в адрес автотранспортного управления в ящиках под видом запасных частей. Кобиашвили говорил, что это оружие нужно было для подготовки вооруженного восстания и для совершения террористических актов и что я, Багратиони, главный руководитель этого восстания и «террористического центра».

В конце концов Багратиони пришел к выводу, что сколь нелепо это обвинение, столь же нелепо и сопротивление. Он принял на себя и это обвинение.

В сентябре 1937 года мы расстались. Меня забрали из этой камеры, и я оставил Багратиони хотя и немного поправившимся, но все еще в тяжелом положении.

7
ПЫТКА

Вернемся к прерванному рассказу о моем вызове на допрос. Итак, через несколько минут после вызова Багратиони пришли за мной.

Я надел свежую, заботливо выглаженную, пахнущую домом чистую сорочку и отдал себя в распоряжение вахтера.

Айвазов и на этот раз был подчеркнуто любезен. Казалось, никакого неприятного разговора между нами и не было. Он снова начал с посторонних вещей:

— О, какой ты нарядный сегодня! А ты знаешь, что я помог Любе сделать тебе эту передачу, я добился разрешения на это. И записку получил, правда?

— Да, спасибо.

— Хотя ты ведешь себя скверно, но я не мог отказать Любе. Она так просила, притом ведь сегодня Майя именинница.

Чего он хочет от меня, почему терзает душу?

— У нас сейчас такая адская работа, что работаем двадцать четыре часа в сутки и не успеваем. Все на свете позабыли, и именины, и все семейные праздники. Хорошо, что я не женат, а то жена послала бы меня ко всем чертям.

Я молчал.

— Хочешь, при тебе позвоню к вам домой, передам Любе привет от тебя и поздравления Майке. Я не могу позволить тебе самому говорить, понимаешь? Ты лучше меня знаешь, что это нельзя. Но поговорить при тебе я могу. Хочешь? — и потянулся к телефону.

— Не хочу, не надо,— сказал я,— прошу тебя. И потом, как вы могли оставить телефон в квартире врага народа?

— Всему свое время. Ну, раз ты не хочешь, не будем говорить. Все это пустое, сам знаешь, что не для праздного разговора я тебя вызвал. Вот твой протокол допроса, подпиши и иди спокойно спать. Я даже согласен поужинать здесь с тобой вместе и отметить день рождения Майки. Подпиши, и дело с концом.

— Нет. Я этого не сделаю никогда. Если хочешь, чтобы я давал показания, то порви это к черту, возьми бумагу, поставь мне вопросы и точно запиши мои ответы, как это полагается правилами следствия, как ты сам делал это всегда, когда допрашивал человека.

Айвазов засмеялся.

— Нет, ты совсем ненормальный. Пойми же, правила, о которых ты говоришь, перешли в область предания. Мы уже забыли о них. Теперь у нас другие правила. Много не разговаривай, возьми и подпиши.

— Нет, не совершу я подлости ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Это мое последнее слово.

— Последнее слово будет потом. А теперь в последний раз предлагаю подписать твой протокол допроса.

— Я сказал, что подписывать ложь не буду. Сказал и еще раз повторяю, что это мое последнее слово.

— Ну что ж, пеняй на себя. Я этого не хотел. Если бог есть, то он свидетель, что я этого не хотел... По многим, многим причинам не хотел я этого, но если ты настаиваешь... — И приказал сидящему на диване практиканту: — Позови ребят.

Тот пошел выполнять приказание.

Айвазов умолк. Молчал и я.

— Ты поступаешь очень неблагоразумно, Сурен. Плохо будет, имей в виду, плохо будет. Я очень не хотел этого...

Я молчал.

— Бригада будет через несколько минут,— доложил практикант.

Айвазов собрал со стола бумаги, запер их в ящик. На столе оставил только мой «протокол».

— Ну, я пошел, бригада свою задачу знает.— И, обратившись ко мне, добавил: — Я оставлю на столе протокол допроса. Как только захочешь подписать — скажешь.

Он ушел.

После ухода Айвазова практикант обратился ко мне.

— Вы меня не узнаете, товарищ Газарян? Я из ваших курсантов. Вы читали нам лекции в Закавказской межкраевой школе. Я хорошо знаю. И советую вам: не давайте бить себя, лучше будет, если подпишете. Ваше упорство ни к чему не приведет.

— Я не сомневаюсь, что вы мне добра желаете, но я не могу поступить так.

Он вздохнул.

— Вы не можете себе представить, товарищ Газарян, как нам тяжело наблюдать все это, и не только наблюдать, но и самим участвовать. Один из наших курсантов удавился...

«Бригада» пришла. Их было пять человек. Первым вошел Яков Копецкий. Он старый работник НКВД, мы хорошо знали друг друга. Высокого роста, здоровый. Он был очень нервный человек, его называли «Яша-псих». Он знал об этом, но не обижался. За ним вошел Иван Айвазов, младший брат Гургена Айвазова. Он тоже несколько лет работал в органах и хорошо знал меня. Третьим был один из

младших работников особого отдела, в прошлом курсант межкраевой школы. Верзила с большими черными глазами, длинными усами. У него почти не было лба, чуть ли не сразу над бровями начиналась густая черная шевелюра. Фамилию его я забыл. Последние двое были практикантами межкраевой школы. Один из них держал ведро с «инструментами», как они говорили.

Да, ничего не скажешь, все на подбор, сильные, крепкие...

— Ого! Вот кого мы будем обрабатывать сегодня,— сказал Копецкий.— Это мы с большим удовольствием.

Я остался сидеть. Они окружили меня. Копецкий сзади взялся за ворот рубашки, поднял и сильным движением толкнул меня в середину комнаты. Кто-то сильным ударом ноги сшиб меня. Я упал... Третий стаскивал с меня брюки... Я вспомнил Багратиони, которого привели в камеру без брюк, в одних трусах.

Пытка началась.

Пять человек ожесточенно били. Били кулаками, ногами, розгами, шомполами, туго скрученными в жгут полотенцами, били чем попало, куда попало: в голову, в лицо, в спину, в живот... Больше всего по ногам. Кто-то заметил, что у меня больные ноги, и стали бить по ногам...

— Мы сейчас поправим тебе ноги!

И били, били. Чем больше били, тем больше зверели. Больше всего злило их то, что я не кричал.

— Будешь кричать? Будешь орать? Будешь просить пощады?! — ругал Копецкий и бил, бил...

Сколько били, я не знаю.

— Ну, ребята, перекур,— скомандовал Копецкий.

Свежая сорочка превратилась в окровавленные клочья. На полу лужа крови, лежу на мокром. Глаза заплыли. С трудом приоткрываю веки и, как в тумане, вижу моих палачей.

Курят, отдыхают. Ругаются отборной площадной бранью, оскорбляют, издеваются, хохочут...

Кто-то приближается ко мне, и тут же что-то очень больно обжигает тело. Вздрагиваю от боли и, чтобы не закричать, стискиваю зубы. А они хохочут... Потом еще ожог, еще, еще... Понял. Тушили папиросы о мое тело...

Перекур кончился, и избиение продолжалось с новой силой.

Странное ощущение. Удары становятся ожесточеннее, а боль ослабевает. Когда прихожу в себя, чувствую запах медикаментов, что-то белое маячит перед глазами.

Так. Значит, я потерял сознание, и меня приводили в чувство.

— Я пошла, все в порядке,— говорит сестра.

«Все в порядке»! Значит, можно начать все сначала. Но «бригада» курит. С ужасом думаю, что снова будут тушить папиросы о мое тело. Ожог папиросой очень болезнен, все тело горит, неужели еще? Да. Кончающий курить подходит, обязательно оскорбляет, тушит папиросу, ругается, плюет и отходит, чтобы уступить место другому.

Все чередовалось в определенной последовательности. Избиение, перекур, тушение папирос, снова избиение, обморок, приведение в чувство, снова избиение, тушение папирос...

Уже светает, но «бригада» все «трудится» и «трудится».

Явился Айвазов.

— Ну, ребята, идите спать,— сказал он, поздоровавшись.— Что ж, работа налицо.

«Идите спать». Значит, «бригада» работала ночами, а днем отдыхала.

«Бригада» ушла.

— Так будет каждый день до тех пор, пока не подпишешь. Понял?

Айвазов позвонил в комендатуру.

— Пришлите выводных, два человека.

Точно так, как вчера было с Багратиони, два вахтера приволокли меня в камеру.

Чалмаз и Мебуке подбежали, уложили...

— Господи, как изуродовали человека,— сокрушался Чалмаз.

— Честное слово, Датико и Сурен сумасшедшие люди. Зачем доводить себя

до такого состояния? Ради чего нужно переносить такие мучения? Зря, ей-богу, зря. Пиши, что хочешь, подпиши, что хочешь, грош цена всему написанному, ведь разберутся же, разберутся!

Все тело ноет, ноги гудят, каждое движение причиняет нестерпимую боль, сильно болят места ожогов от потушенных папирос, их много на теле, этих ожогов. На спине, на груди, на ногах, на руках, даже на лице... Не могу лежать долго в одном положении. В камере душно. Тело липкое от пота, и это усиливает боль.

Багратиони вернули в более тяжелом состоянии, чем вчера.

— И тебя мучили? — сказал он.— Мужайся, мужайся, вот наш девиз сегодня. Мужайся! Какая умница твоя Люба, Сурен, какая умница. Ну что ж, будем держаться до конца.

Помолчав немного, Багратиони продолжал:

— Я бы заключил с тобой договор о соревновании на выдержку, но это было бы с моей стороны нечестно, у меня очень здоровое сердце, а ты больной человек. Мне кажется, что мое сердце не перестанет биться, даже если вырвать его из груди. Что за дьявольское сердце у меня?

— Видишь ли, Датико, по всей вероятности, в тюрьме существуют другие медицинские законы. Еще месяц назад в Кисловодске профессора спорили о характере так называемого систолического шума моего сердца: одни говорили, что это результат переутомления, другие — что у меня органический порок сердца — деформация двустворчатого клапана. Второе мнение взяло верх, и мне было предложено не нервничать, не волноваться, соблюдать полный покой, ни в коем случае не переутомляться и так далее и тому подобное. А какую нагрузку выдержало это больное сердце за сегодняшнюю ночь — и ничего, бьется и бьется. Или же ноги. Целый месяц я ходил в ихтиоловой повязке, вернее, не ходил, а лежал, задрав ноги кверху. Видишь ли, образовался тромб, врачи подняли панику: если не рассосется, то может оторваться, «бродить» с током крови. Когда же дойдет до сердца — конец. С тромбом в венах я вошел в тюрьму, повязку сняли (как же, ведь на этом бинте я мог повеситься!). Мне было не до тромба, я не обращал на него внимания, а он стал все меньше и меньше и сам собой рассосался. А как досталось вчера моим больным ногам! И ничего... Ну скажи, пожалуйста, где медицинские нормы? Так что, Датико, мы можем с тобой соревноваться. Главное то, что у нас одинаковая точка зрения на положение вещей, давай мужайся и ты.

— Вы оба сумасшедшие,— настаивал Мебуке,— прекратите безумство, не давайте мучить себя, а то они очень просто убьют...

— Интересно, что с Буачидзе? Наверно, он умер, бедняга. Мне очень жаль его, хороший, честный, светлый человек...

Вечером началось повторение предыдущего.

— Ну что, передумал? — спросил Айвазов.— Может быть, достаточно? Подпишешь?

Я молчал.

«Бригада» была вызвана, снова началась пытка...

Копецкий ввел новую пытку. Карандаши... Между пальцами вкладывали граненые карандаши, за одну руку брался Копецкий, за другую — Иван Айвазов, и по команде Копецкого «раз, два, взяли!» сжимали... Сверхчеловеческое усилие требовалось для того, чтобы не кричать. Кусая губы, я терпел, и это больше всего злило палачей.

— Долго ты будешь мучить нас? — орал Копецкий.

Оказывается, это я их мучил.

— Я заставлю тебя валяться под ногами,— угрожает Копецкий.

Но ведь я уже валяюсь под ногами, под грязными сапогами, в луже собственной крови, что ему еще надо?

Так продолжалось шесть дней. Ни разу во время пыток Гурген Айвазов не присутствовал. Вызывал «бригаду», а сам уходил.

Выдержал, ничего не подписал. Очень помогла мне Люба своим «мужайся».

В соревновании с Багратиони я вышел победителем, но это не моя заслуга.

Не знаю, кому я обязан тем, что после шести дней меня перестали пытать. И не применили самого страшного — втыкания игл под ногти.

— Я не испытал боли от горящих папирос, но то, что ты избежал игл, тебя спасло,— говорил Багратиони.

Прекратились пытки, прекратились вызовы на допрос. Снова забыли обо мне.

Каждый день в установленное время появлялась медсестра и распоряжалась:

— Мелаша, намажь ушибы...

Старательная Мелаша добросовестно исполняла свои обязанности, и мы становились еще пестрее.

Ей не было дело до того, что среди «ушибов» есть и ожоги, которые йод не успокаивал, а, наоборот, раздражал.

— Мелаша, обходите ожоги, очень больно от йода,— просил я.

Каждый день во время проверки я получал восьмую долю листа, писал заявление на имя наркома и просил, чтобы он меня вызвал. Я ему писал, что он обязан меня вызвать. Я протестовал против того, что меня отдали на съедение Кримяну и Савицкому. Я писал, что как обвинял их в 1934 году, так обвиняю и сейчас. Я писал, что совершается преступная провокация, что честные люди становятся жертвой клеветы и оговора и что следователи сами создают эту провокацию.

— Какой ты наивный человек,— говорил Багратиони.— Другим советы даешь, а сам поступаешь глупее глупого. В конце концов накличешь беду на свою голову.

Да, глупо было с моей стороны думать, что я открываю глаза наркому своими заявлениями, что если он меня вызовет, выслушает, то положение изменится.

Прошло несколько дней, и меня вызвали, но не к наркому, как я ожидал, а для того, чтобы учинить очную ставку с... Романовской.

Но прежде надо сказать, кто такая Романовская.

Как-то в начале 1937 года вызвал меня к себе мой начальник Богдан Кобулов и сказал, что какая-то Романовская ему ужасно надоела и он больше не в состоянии с ней возиться.

— Прими ее, пожалуйста, она сейчас в комендатуре, ты более выдержанный человек, я измучился с ней и могу наговорить дерзостей. А потом мы вместе решим, как поступить.

— А что она хочет?

— Это долго рассказывать, прими ее и узнаешь. Скажи, что впредь ты будешь с ней заниматься.

Я принял Романовскую.

Пожилая, грузная, болезненная женщина, передвигается с трудом. У нее дочь и зять в Тбилиси, но она живет одна в отдельной квартире, предоставленной ей как жене старого профессионального революционера.

Во время своих визитов к Кобулову она сообщала ему, что знает группу людей, которые замышляют террористический акт против Берии («нашего Лаврентия», как она выражалась). Когда ей это стало известно, она пошла в ЦК КП Грузии и рассказала об этом Берии. Тот при ней позвонил в НКВД наркому Гоглидзе и предложил ему принять и выслушать Романовскую.

Гоглидзе принял ее, выслушал, позвал к себе Кобулова и предложил ему поддерживать связь с Романовской и выяснить подробности дела.

— Кобулов хорошо знает это дело,— говорила Романовская.— Я несколько раз бывала у него, и сегодня я пришла к нему, но почему-то попала к вам.

Я спросил, откуда ей стало известно о группе этих людей. Она ответила, что ей подсовывают анонимки.

— Кто их подсовывает?

— Я этого не знаю, я не видела этих людей. Кроме того, они звонят мне и угрожают, что убьют Берию.

— Но почему же эти люди сообщают вам свои планы? Ведь если человек замышляет убийство, он держит свой замысел в строгом секрете.

— А потому, что я жена старого революционера. Они знают это и угрожают мне анонимками и телефонными разговорами: «Вот увидишь, мы убьем твоего Лаврентия». Они знают, что я преданный Лаврентию Павловичу человек, и угрожают.

— А где эти анонимки?

— Они все у Кобулова. А вот и последняя. Ее подсунули мне сегодня ночью, я нашла утром...

Романовская достала анонимку и дала мне. Анонимка была составлена из букв, вырезанных из газет. Буквы, иногда слоги, даже целые слова были вырезаны из газеты и наклеены на бумагу. Анонимка была примерно такого содержания: «Скоро будет убит самый любимый вами человек, Лаврентий Берия, и если вы по-прежнему будете продолжать любить Берию, то убьют и вас».

— Как вы думаете, кто может подкидывать такие анонимки? Кого-нибудь конкретно вы подозреваете?

— Я никого из этих людей не видела, никого не подозреваю. Я думаю, что у вас есть возможность выявить этих людей.

Проверкой было точно установлено, что Романовская все это сочинила сама, что она сама вырезала буквы из газет и составляла текст «анонимок». Было установлено также, что никто никаких угроз по телефону ей не делал.

Гоглидзе и Кобулов считали, что она выжившая из ума старуха и что ею заниматься не следует.

Теперь мне учинили очную ставку с Романовской.

Айвазова не было, проводил очную ставку другой работник, я забыл его фамилию. Присутствовал представитель партийного контроля со своей стенографисткой.

Собственно говоря, вопросы ставил не следователь, а этот представитель партийного контроля. Романовская заявила, что она «давно подозревала, что в НКВД пробрались троцкисты и враги народа вроде Газаряна, которые сознательно не реагировали на такие серьезные сигналы, как подготовка убийства нашего Лаврентия».

Я ответил на поставленные мне вопросы, заявил, что Романовская провоцирует, «анонимки» — ее выдумка и никаких сигналов о подготовке убийства Берии она ни от кого не получала. На этом и кончилась очная ставка.

Эта очная ставка возмутила меня до глубины души. Я стал писать новые заявления на имя наркома Гоглидзе, возмущался, что придают значение лживым заявлениям Романовской, в то время как затеянное Романовской дело достаточно известно всем, кто имел к этому отношение. Я писал, что если меня в вопросе, связанном с Романовской, в чем-нибудь обвиняют, то я выставляю свидетелями Сергея Гоглидзе и Богдана Кобулова, которые сами считали, что ею не следует заниматься.

— Не дури, Сурен, как ты не понимаешь, что это делается для того, чтобы завтра приписать тебе обвинение — террор против Берии, что может быть подходящее этого,— говорил Багратиони.

— Я отлично понимаю, что это именно так, но все-таки протестую и буду протестовать.

— Зачем это надо, сказал же мне следователь, что все наши заявления, кому бы ни были адресованы, дальше мусорного ящика не идут.

Да, Романовская была очень удобной подставной фигурой в цепи провокаций, направленных против меня (да только ли меня?), «подтверждением» того, что готовилось убийство Берии, а «затесавшиеся в НКВД враги народа сознательно не реагировали на это».

После этой «очной ставки» обо мне снова забыли. Багратиони завидовал мне. У него появился неописуемый страх перед каждым открыванием двери, он как-то съеживался в углу, как будто это могло спасти его от вызова. Так продолжалось до тех пор, пока он не подписал протокол и, если уместно так выразиться, не вздохнул свободно.

8
ГЕГИЯ ИЗ САМТРЕДИА

У нас в камере произошли изменения. Взяли Чалмаза и привели новых людей. Временами в нашей «одиночке» находилось по 6—7 человек.

Однодневным гостем был у нас бывший секретарь Тбилисского комитета партии Ерванд Асрибеков. Когда Берия в 1932 году добрался до поста секретаря

ЦК КП Грузии, Асрибеков счел для себя невозможным работать с ним и добился своего перевода в Москву. Он поступил в Институт красной профессуры. Через год партия направила Асрибекова начальником политотдела МТС.

Асрибеков был делегатом XVII съезда партии.

В 1935 году Асрибеков был секретарем Дальневосточного крайкома и секретарем Владивостокского горкома партии, затем заведующим агитпропом Уральского обкома партии, секретарем Пермского горкома партии, затем снова Москва. ЦК направил Асрибекова в наркомздрав СССР заведующим отделом медицинских институтов.

Затем арест.

Его «на минутку» вызвали в Московский комитет партии и там арестовали. Ему не разрешили позвонить домой, взять необходимые вещи, отправили этапом в Тбилиси. Он был в одной белой рубашке, и та была использована не по назначению. По пути он, через конвоиров, купил яблоки и лук. Снял с себя рубашку, завязал рукава, в один рукав напихал яблоки, в другой — лук. В одной майке, с этим «багажом» он и вошел в нашу камеру.

Мы окружили его. Мы все его хорошо знали. Да кто не знал Ерванда Асрибекова!

Асрибеков рассказал нам о многочисленных арестах в Москве среди руководящих работников.

— Газеты пестрят крупными заголовками о «ежовых рукавицах», которые выявляют и беспощадно обезвреживают всех врагов Советского государства, под какой бы личиной они не маскировались.

Ерванд Асрибеков...

Семнадцатилетним мальчиком Асрибеков вступил в ряды коммунистической партии, работал в университетских подпольных кружках. Он дважды сидел в грузинской меньшевистской тюрьме, активно участвовал в установлении советской власти в Грузии. А затем — партийная работа.

Ерванд Асрибеков был секретарем райкома партии в Тбилиси, первым секретарем Абхазского обкома партии, а с 1925 по 1932 год секретарем Тбилисского комитета партии.

Асрибекова любили и уважали за прямолинейность, принципиальность, честность, простоту и доступность. Все те, кто лично знал его, говорили о нем с особой теплотой, с подчеркнутым чувством уважения.

Угощая нас яблоками и луком и рассказывая о своем аресте, Асрибеков часто вздыхал:

— Ох, Надя, Надя, моя родная Надюша, как ты теперь?

Вечером того же дня Асрибекова вызвали. Он вышел из камеры в майке. К нам он больше не вернулся. Что сделали с ним, я не знаю. Его сорочка осталась в нашей камере с двумя луковицами в рукаве.

Никто не трогал эти луковицы.

Около двух недель пробыл в нашей камере инженер Тбилисского горисполкома Салуквадзе. Молодой, очень талантливый инженер. Он построил мост в Тбилиси через Куру. Красивый мост, названный мостом Челюскинцев. Там, на мосту, была установлена мемориальная доска с надписью: «Построил инженер Салуквадзе».

Он пришел в нашу камеру с перевязанной ногой. Каждый день утром его вызывали на перевязку, а вечером пытки. У него на бедре зияла глубокая рана, был вырван кусок мяса. Он испытывал неимоверные страдания и боль.

Однажды, после очередного «допроса», когда Салуквадзе вернулся сильно избитый и окровавленный, он сказал:

— Я не могу больше. Я должен подписать протокол, но протокол, который предлагают мне на подпись, я не могу подписывать. В нем много нужных делу, полезных людей. Работа развалится, если их арестуют. Голову ломаю над тем, как поступить.

Он часто говорил о своей работе, несмотря на тяжелое состояние, с энтузиазмом рассказывал о планах городского благоустройства. Он был патриотом своего родного города.

Славный Салуквадзе! Вот истинно преданный делу человек. Избитый,

изуродованный, измученный и искалеченный, он думал о работе... «Как сделать, чтобы работа не пострадала?»

Салуквадзе, как и остальные, был твердо уверен в торжестве правды. Он тоже считал, что происходит какое-то страшное недоразумение, что все происходящее — дело рук отъявленного врага, что эти руки будут выявлены и отсечены и правда восторжествует.

— Необходимо проявить максимум выдержки,— говорил Салуквадзе,— чтобы сохранить себя и ждать развязки. Она наступит, так продолжаться не может.

Правда сказала свое слово. Но раньше, чем зазвучал ее голос, намного раньше перестало биться благородное сердце Салуквадзе.

Его убили в 1937 году...

Многие побывали в нашей камере, но время стерло из памяти фамилии и имена этих людей. Забыл я имя и одного очень оригинального человека, но помню его фамилию. Это председатель Самтредского исполкома Гегия. Смутно помню, что его звали Нестор...

Чтобы арестовать Гегия, из Тбилиси в Самтредиа выехал работник НКВД Грузии Абашидзе.

Там же, в Самтредском районном отделении НКВД, он произвел первый допрос в присутствии начальника районного отделения НКВД Надарая. Гегия сразу же заявил, что он знает причину своего ареста, но просил, чтобы его не допрашивали в Самтредиа, а перевели бы в Тбилиси. Он обещал ничего не скрывать и по прибытии в Тбилиси дать подробные показания. Затем Гегия сообщил Абашидзе, что в лесу зарыто им много оружия и что местонахождение этого оружия знает только он — Гегия. Он предложил вместе отправиться в лес. Он готов показать местонахождение оружия, выкопать и передать им это оружие.

Абашидзе почему-то усомнился в правдивости заявления Гегия.

— В самом деле ты закопал в лесу оружие? — спросил Абашидзе.

— А какой смысл врать? — сказал Гегия.

Абашидзе поверил его словам. Он не стал его допрашивать и сказал, что завтра поедут в лес за оружием. На следующий день Абашидзе, Надарая и еще кто-то из работников НКВД поехали в лес и взяли Гегия с собой. Гегия показывал направление, куда ехать. Машину оставили где-то и углубились в лес. Наконец Гегия остановился, показал место и заявил, что тут зарыто оружие. Начали копать. Когда они сделали порядочную яму, Гегия заявил, что он ошибся и что это место не то. Они выругали Гегия, но ничего не поделаешь, вернулись ни с чем.

— Но какую цель ты преследовал, Гегия? — спросили мы, выслушав его рассказ.

— Какие вы непонятливые люди. Самтредские леса мне хорошо знакомы. Я хотел завести их в лес и удрать, в лесу легче скрыться. Но мы неудачно зашли в лес, оттуда неудобно было удрать. Абашидзе по дороге спросил меня: «Послушай, Гегия, может быть, ты нас водишь за нос? Может, никакого оружия нет у тебя в лесу?» — «Что вы, что вы! Я же не ребенок. Как можно водить за нос такое авторитетное учреждение? Неужели сами не знаете, что очень трудно в лесу ориентироваться, с первого раза невозможно найти то место, которое ищешь, завтра обязательно найдем».— «Ты смотри! — угрожал Абашидзе.— Я с тебя шкуру спущу». На следующий день,— продолжал свой рассказ Гегия,— примерно в такое же время мы снова поехали в лес. На этот раз вошли в лес в другом месте. Побродив немного, я выбрал удобное место и твердо заявил: «Вот здесь, это уж точно, вот здесь и закопано оружие». Работа снова началась. Работники усердно копали, а Абашидзе и Надарая стояли в нескольких шагах от меня и курили. Я попросил у них папиросу и тоже закурил. Эту часть леса я знал лучше и все время думал о побеге. Наметил направление, принял удобную позу и, улучив момент, дал тягу. И ста шагов не успел сделать, как цепкие руки Абашидзе схватили меня за плечо и придавили к земле. Ох и сильный он парень! «Куда ты, сукин сын, разве не знаешь, что я футболист? Как ты мог рассчитывать удрать от меня?» — «Вот этого я не учел,— говорю.— Я не мог предположить, что футболист может работать следователем. Ну что ж, раз не удалось мне удрать, давайте вернемся обратно, и пусть парни зря не трудятся, никакого оружия в лесу никто не зарывал». Абашидзе ругал меня на чем свет стоит и обещал,

что пропустит меня через мясорубку, сделает котлеты и выбросит псам на съедение. Я просил его не трогать меня до тех пор, пока не доставит в Тбилиси, а там видно будет. Если понадобится, чтобы я своим мясом кормил собак, то я это сделаю, не моргнув глазом.

Гегия привезли в Тбилиси.

Привез его сам Абашидзе, и еще какой-то работник ему помогал.

Гегия вызвали на допрос. Абашидзе при нем аппетитно ужинал. Кончил ужин и обратился к Гегия:

— Ну, давай начнем...

— Подожди. Ты покушал, а я голодный как собака. Ты сперва меня накорми, а потом будем разговаривать, на голодный желудок какие дела могут быть?

Абашидзе выполнил эту «прихоть» Гегия.

— А теперь надо бы закурить,— сказал Гегия,— а у меня ничего нет. Дай, пожалуйста, закурить.

Закурили.

— Вот теперь можно и начинать, я слушаю.

Абашидзе достал готовый протокол допроса и предложил Гегия прочесть и подписать.

Гегия внимательно прочитал предъявленный ему документ, затем отложил в сторону и засмеялся.

— Ерунда. Вы Гегия не знаете.

— Что ерунда? — насторожился Абашидзе.

— Все, что здесь написано, ерунда. Я же говорю, что вы Гегия не знаете.

— То есть как не знаем Гегия? Все, что здесь написано, правда. Все то, что ты и твои люди замышляли против Советского государства, здесь написано.

— А я говорю, что вы Гегия не знаете, не знаете тех лиц, которых он привлек, как вы говорите, к контрреволюционной работе.

— Ну, возможно, это не все, возможно, что кое-что упущено, кое-кто пропущен. Мы потом дополним,— сказал Абашидзе,— а пока подпиши эти показания.

— Нет, возьми бумагу, я буду диктовать, ты будешь писать, а то у меня список совсем другой и дела не такие.

Абашидзе согласился. Он отложил готовый протокол допроса, взял бумагу, и Гегия начал диктовать.

Он показал, что в самом деле всю контрреволюционную работу в Самтредском районе возглавил он сам. Но его заместителем был начальник районного отделения НКВД Надарая...

— Судите сами,— говорил Гегия Абашидзе,—какая может быть нелегальная контрреволюционная работа без участия начальника НКВД. Если сразу же не вовлечь в эту работу такого человека, то всякая нелегальная работа быстро провалится, кто-нибудь донесет, и конец. Так вот, я начал с того, что завербовал Надарая, который охотно согласился быть членом моей контрреволюционной организации. Не надо было его уговаривать, он словно ждал моего предложения. Дальше я ему предложил завербовать весь состав оперативных работников НКВД, весь командный состав районной милиции и список всех завербованных представить мне. Надарая это мое поручение добросовестно выполнил. Таким образом, Надарая являлся моей правой рукой, моим верным помощником. Привлеченных к контрреволюционной работе оперативных работников и командный состав милиции по моему требованию Надарая привел в полную боевую готовность, и в любой момент они готовы были выступить с оружием в руках по первому же моему сигналу.

Далее Гегия перечислил в качестве руководящего центра контрреволюционной организации всех секретарей и ответственных работников райкома партии, заведующих отделами и ответственных работников райисполкома, районного прокурора, судью, директора МТС, а в качестве членов организации — всех тех членов партии, которых он знал.

Абашидзе молча записывал все, что диктовал ему Гегия.

Через два дня между Гегия и Надарая была проведена очная ставка. Надарая сильно избили.

На очной ставке Надарая спросил у Гегия:

— Почему ты меня губишь, Гегия? У меня семья, дети. Что плохого я тебе сделал? Совесть у тебя есть?

— Ты мне ничего плохого не сделал. Совести у меня намного больше, чем у тебя. Что касается детей, то они есть и у меня, при этом больше, чем у тебя. У других тоже есть дети, много детей. Я сделал то, что с меня потребовали. С меня потребовали показать правду о нашей контрреволюционной работе, я показал правду. Раз мы с тобой попались, нечего вилять, имей гражданское мужество и смотри трезво на все, что происходит. Сам посуди, разве мог бы я в районе вести такую контрреволюционную работу, если бы ты мне не помогал? Нет, Надарая, давай выкладывай все, ей-богу, твои жена и дети не лучше моих, да и сам ты не стоишь того, чтобы тебя жалеть.

В течение нескольких дней Гегия ходил на допрос, диктовал свои показания, оговаривал новых людей, проводил очные ставки с теми «упрямцами», которые отрицали показания Гегия...

— А как с оружием? Разве следователь не ставил вопрос об оружии? Ведь такая организация не могла обойтись без оружия? — спрашивали мы.

— Гегия не дурак. Я учел все. Я не ждал, пока Абашидзе поставит мне этот вопрос. Я сам его поднял. Это серьезный вопрос, и я его разрешил очень просто,— говорил Гегия.— Во-первых, наш основной арсенал находился в самом НКВД и в милиции. Во-вторых, я показал, что оружие я раздал членам организации. Ведь каждый районный работник имеет оружие.

Однажды Гегия вернулся с очередного допроса и сказал, что поссорился со следователем.

— Этого не может быть, Гегия,— возразили мы,— у тебя с ним такая дружба, вас водой не разольешь.

— Удивительно близорукие вы люди, дальше своего носа ничего не видите, что творится, не понимаете. Я знаю, говоря о дружбе со следователем, вы намекаете на то, что многих людей я оговорил и следователь этим доволен. Не понимаете, что это вовсе не существенно и все эти люди скоро будут возвращены на свои места, к сожалению, Надарая тоже. Вы должны понять, что в моих показаниях, кроме воды, ничего нет. Неужели мои показания не прочтет хоть один человек, у которого голова правильно сидит на плечах? Вот на это я рассчитываю.

— Но по какой причине ты поссорился со следователем?

— Так вот, я захотел еще больше разжижить мои показания. Я настаивал, чтобы в моих показаниях записали две пушки. А он не хочет.

— Какие пушки? Непонятно, что ты говоришь.

— Что тут непонятного? Я говорю следователю: «Пиши, что у нашей организации были спрятаны две пушки». Понимаете, пушки, артиллерийские орудия. А он говорит: «Нет, пушки записывать не будем». Я настаиваю: «Нет, запиши обязательно, что мы спрятали две пушки». А он свое: «Нет, Гегия, пушек не надо». Я свое: «Нет, пушки обязательно надо, и, будь добр, запиши, что я спрятал две пушки».— «Ну что ты пристал со своими пушками, на кой черт они нужны? Мы уже знаем, как ты прячешь оружие в лесу, этот номер не пройдет, мы пушек записывать не будем»,— упорствовал Абашидзе. «Как хотите, а очередное показание должно начаться с пушек,— говорю я.— А если ты не хочешь записать эти пушки, то я напишу заявление о том, что у меня спрятаны две пушки, а следователь отказывается занести в протокол это мое заявление». Следователь на это говорит: «Пиши хоть сто заявлений, они пойдут в ящик для мусора, а пушки записывать мы не будем». Вот и поругались.

— Странный ты человек, Гегия,— смеемся мы,— для чего понадобились тебе эти пушки? В самом деле, на кой черт они тебе?

— Я же говорю, что вы близорукие люди. Неужели не соображаете, что я хочу делать с этими пушками? Я же говорил вам, неужели мои показания не прочтет хоть один умный человек? Тогда тот скажет: «Что-то этот Гегия несет чепуху, а ну, вызовем его и поговорим с ним». Если за время следствия я не встречу такого человека, то найду его на суде. Ведь какой-то суд будет?

— Это легкомыслие, Гегия.

— Почему? Если суда не будет, то ради чего ведется следствие? Для чего морочат голову себе и другим?

— Для того, чтобы подвести какую-то базу под произвол и насилие. Какое это следствие? Разве следствие так ведется?

— Нет, суд обязательно будет. Я очень рассчитываю на него. Всему есть границы, беззаконию тоже. Суд — это граница беззакония. Вот я дойду до этой границы и скажу полным голосом: «Посмотрите на наших следователей, посмотрите, какое дело они состряпали, какие они идиоты, прочтите, какую чепуху они принимали за чистую монету...» И вот тогда здорово заговорят мои пушки. Понятно? Я уже заранее слышу оглушительный грохот моих пушек. Но, как видно, следователь что-то соображает, угадывает, бестия. Знает цену моим пушкам. Иначе чем же объяснить то, что он не хочет заносить их в протокол? Я тоже человек упрямый, я заставлю, чтобы эти пушки красовались в моем следственном деле. Не я в руках следователя, а, наоборот, он в моих руках. В моих показаниях я сознательно оставлял много темных мест, много недоговоренного. Пока он не запишет в протокол мои пушки, я ему ничего говорить не буду. Сперва запишем мои пушки, а потом пойдем дальше.

— А какого калибра твои пушки, Гегия? — смеялись мы.

— Самая настоящая гаубица, стомиллиметровая, что ни на есть дальнобойная,— серьезно отвечал Гегия.

— И снаряды припас?

— А то как же? Сто штук, не меньше.

Я не знаю, чем кончился спор между Гегия и Абашидзе по поводу этих пушек. Меня забрали из этой камеры.

Гегия верил, что поступает правильно, когда оговаривал людей. Он верил, что ни он, ни оговоренные им не пострадают. На очных ставках с оговоренными им лицами Гегия выступал в роли следователя и уговаривал прекратить бессмысленное сопротивление. Гегия оказался в роли хорошего помощника Абашидзе. Свое поведение он объяснял так:

— Я не хочу, чтобы люди подвергались пыткам. Я же видел, до какого состояния был доведен Надарая. Зачем все это надо?

В камере Гегия неустанно занимался «изобретательством». Из мякиша тюремного черного хлеба он мастерил какие-то детали машин, формы, конструкции. Мундштуки выкуренных папирос служили ему отличным «ватманом» для чертежей. Обгорелыми спичками он наносил замысловатые линии и тщательно их хранил.

— Что ты изобретаешь, Гегия? — любопытствовали мы.— Не перпетуум-мобиле, случайно?

— Не случайно, а именно перпетуум-мобиле. Вот мы встретимся с вами через два года, и я продемонстрирую вам свое изобретение.

Гегия так и не дождался того умного человека, на которого рассчитывал.

Я не знаю, каков был суд над Гегия, но его расчеты не оправдались. Его пушки не «загрохотали» так, как он хотел. По всей вероятности, «суд» признал показания Гегия вполне обоснованными и приговорил его к расстрелу. Он потащил с собой многих невинных людей.

Впоследствии Абашидзе также разделил участь Гегия и Надарая.

Чем-то он не угодил заправилам шабаша, в чем-то его обвинили, арестовали и расстреляли.

9
ОЧНАЯ СТАВКА

В середине сентября я был наконец вызван и приведен в кабинет... Кримяна.

Из окружающей обстановки было видно, что Кримян из рядового работника превратился в главного заправилу «по важнейшим делам».

На другом конце приставленного к столу Кримяна продолговатого стола сидел Тите Лордкипанидзе. Рядом стояли в ожидании приказаний Кримяна Михаил Михайлов (тот, который вместе с Давлианидзе арестовал меня) и Гурген Айвазов.

Меня посадили почти рядом с Лордкипанидзе.

Я был удивлен присутствием на очной ставке Альберта Погосова, одного из

руководящих работников НКВД Закавказья, начальника отдела. Мы долго работали вместе в Ереване и Тбилиси, были близкими друзьями. Дружили также наши жены. Накануне моего ареста мы провели вечер у Погосовых, много было разговоров вокруг ареста Лордкипанидзе. Мы пришли к выводу, что это проделки Берии, мстившего Лордкипанидзе за то, что он согласился уехать в Крым на работу и перетянул к себе Штэпу и Агабаляна. Мы еще не знали, что после ареста Лордкипанидзе Штэпа покончил жизнь самоубийством. Вошел в море и застрелился.

Погосов жаловался на то, что он фактически отстранен от работы, переведен в резерв отдела кадров.

Я не знал, как Альберт Погосов воспринял мой арест, не знал, в качестве кого он присутствует здесь, на очной ставке, чисто выбритый, в белоснежной рубашке с украинским орнаментом... Он сидел напротив меня, я упорно смотрел на него, но наши глаза так и не встретились. За все время очной ставки он не проронил ни единого слова...

Чувствовал ли Альберт Погосов тогда, что его дни уже сочтены? Через несколько дней он был арестован, а затем расстрелян.

Итак, Кримян вел очную ставку. Обращаясь к Лордкипанидзе, он сказал:

— Обвиняемый Лордкипанидзе! Сейчас будет учинена очная ставка между вами и обвиняемым Газаряном. Учтите, что Газарян наш бывший товарищ, уважаемый всем коллективом, авторитетный член партии. Вы обязаны показывать только правду.

— Правду, конечно, правду, а как же? — каким-то замогильным голосом ответил Лордкипанидзе.

К чему было это иезуитское вступление со стороны Кримяна, я так и не понял. Не понял также, для чего сидел рядом с Кримяном секретарь партийной организации НКВД.

После этого выступления Кримян поставил вопрос перед Лордкипанидзе:

— Расскажите, что вам известно об участии Газаряна в вашем контрреволюционном заговоре?

— Я сам не вербовал Газаряна в контрреволюционный заговор,— ответил Лордкипанидзе,— но когда приехал в Тбилиси Макс Розенблюм, а вы знаете, что он приехал для ведения контрреволюционной работы, то с его слов я узнал, что Газарян завербован им и является участником контрреволюционного заговора...

Я опускаю показания Лордкипанидзе. Он, путая факты, говорил приблизительно о том, что было написано в том протоколе допроса, который Айвазов предлагал мне на подпись.

После того, как Лордкипанидзе закончил, Кримян обратился ко мне:

— Что вы можете сказать по поводу показаний Лордкипанидзе, которые вы сейчас слышали?

— Все, что говорит Лордкипанидзе,— выдумка и ложь.

Затем я подробно рассказал, как он путает факты.

Кримян спросил у Лордкипанидзе, имеет ли он вопросы к Газаряну.

Нет, у Лордкипанидзе не было никаких вопросов к Газаряну.

Тот же вопрос Кримян поставил мне.

Я ответил:

— Я не могу ставить вопросы человеку, который стыдится смотреть мне в глаза.

В самом деле, за все время Лордкипанидзе ни разу не посмотрел на меня. Он нервно вертел в руках пузырек с валерьянкой и смотрел на него, опустив голову. Говорил безразличным, монотонным голосом обреченного человека.

Покончив с нами, Кримян распорядился привести Гайка Агабаляна. Айвазов вышел, чтобы исполнить поручение.

Признаться, я очень обрадовался. Мне очень хотелось видеть Гайка, а что он будет показывать, не имеет никакого значения.

Интересно, что осталось от этого высокого стройного человека, очень красивого мужчины с серыми бездонными глазами.

Веселый, жизнерадостный, чуткий и отзывчивый товарищ — таков был Гайк Агабалян, секретарь Лордкипанидзе.

Да, очень интересно, какова будет встреча с близким другом, хорошим товарищем.

Айвазов вернулся тотчас же. По всей вероятности, Агабалян заранее был доставлен в соседнюю комнату.

Я вздрогнул, когда увидел Агабаляна. Он сгорбился, с трудом передвигал ноги. На его лице — следы недавних побоев, синяки, шрамы, покрытые коркой запекшейся крови глубокие раны. Глаза полузакрытые от опухших, посиневших век. Чувствуется, что он делает большое усилие, чтобы посмотреть на меня, но не может открыть глаза. Как долго сопротивлялся бедный Гайк, как дорого обошлось ему это сопротивление!

Кримян поставил Агабаляну вопрос:

— Что вам известно о контрреволюционной работе Газаряна?

Агабалян немного помолчал, глубоко вздохнул, а потом не спеша заговорил так, как отвечает выученный урок первоклассник:

— Я знаю со слов Лордкипанидзе, что Газарян является участником контрреволюционного заговора и по заданию Лордкипанидзе он поехал в Москву, чтобы провалить дела на вредителей...

— Что можете сказать по поводу показаний Агабаляна? — спросил у меня Кримян.

— Нельзя принять во внимание показания человека, доведенного до такого состояния. Это противозаконно,— протестую я.

— Замолчите! Вы клевещете на наш орган! — закричал Кримян и ударил кулаком по столу.

Вот здорово! Оказывается, это я клевещу на органы НКВД.

Кримян объявил очную ставку законченной и распорядился увести меня первым.

Странно. Очную ставку провели, но ничего не записали, никакого протокола не вели.

Странно и другое. Мой близкий друг только что оговорил меня, а я не питаю никакой злобы к нему. Если бы можно было, то обнял бы его, крепко поцеловал и ни единым словом не упрекнул бы за оговор...

Нет у меня злости также к Тите Лордкипанидзе. Я всегда относился к нему с уважением, я знал о его боевых заслугах в прошлом.

На следующий день после очной ставки меня вызвали в комендатуру. Знакомый практикант, работающий у Айвазова, предложил мне прочесть протокол очной ставки и подписать его. Я прочел и не поверил своим глазам. Во-первых, протокол очной ставки был оформлен от имени Гургена Айвазова, будто он проводил очную ставку. Но главное — показания Лордкипанидзе, сделанные на очной ставке, были записаны в протоколе совершенно неправильно. Черным по белому было написано, что в контрреволюционный заговор меня завербовал сам Лордкипанидзе. Мои ответы, доказывающие ложность показаний Лордкипанидзе, вовсе не были записаны в протокол.

Прочитав протокол, я заявил, что не буду его подписывать.

— Почему? — удивился практикант.

— Потому что многое здесь выдумано. Лордкипанидзе говорил одно, а здесь написано другое. Мои ответы не нашли здесь никакого отражения.

Практикант позвонил Айвазову:

— Товарищ Газарян (он так и сказал — товарищ) не хочет подписать протокол очной ставки.

Он положил трубку и сказал мне:

— Айвазов распорядился сделать под протоколом оговорки, с чем вы не согласны, и подписать.

Я так и сделал. Оговорил неправильности и подписал.

Прошла еще неделя. День был воскресный. Меня снова вызвали и подняли на самый последний этаж, где находились кабинеты наркома и его заместителей.

Когда мы поднялись на последний этаж, я подумал, что нарком наконец решил вызвать меня и поговорить... Но меня ввели в кабинет заместителя, и я увидел за столом... Гургена Айвазова.

Заметив мое недоумение, Айвазов сказал:

— Видишь ли, я сегодня ответственный дежурный по наркомату и зря не теряю время. Дел много, не успеваю.

Он протянул мне листок бумаги и сказал:

— Вот постановление об окончании следствия по твоему делу. Подпиши.

Я был ошеломлен.

— То есть как? Ведь в деле нет ни одного законченного протокола моего допроса. Я начал писать одно показание, но ты отобрал на полуслове и не дал закончить. Я еще фактически не допрошен, а ты объявляешь мне об окончании следствия. Ничего я не понимаю.

— Не допрошен, не допрошен! — передразнил Айвазов.— Когда ты перестанешь звонить со своей колокольни, брат? Я сохранил кучу твоих заявлений, не отправил их в корзину, чем они не показания? Вот они, все твои показания, и пойдут в дело. А ты думал, что мы будем сидеть и ждать, пока ты изволишь дать показания?

— Но мои заявления носят характер протеста против моего незаконного ареста. Каким образом они могут служить показаниями?

— Не беспокойся. В деле достаточно материалов, чтобы тебя расстрелять.

В бланке постановления об окончании следствия есть вопрос: какое имеется заявление по поводу окончания следствия? Для ответа на этот вопрос оставлено две-три строки. Я написал такой ответ: «Имею заявление как по поводу следствия, так и по поводу его окончания, но место не позволяет изложить его. Прошу дать мне бумаги для изложения этого заявления».

Прочитав мою приписку, Айвазов возмутился:

— Опять фокусы выкидываешь? Какое заявление ты хочешь сделать?

— Я хочу заявить о том, что мне не предъявлены материалы следствия, еще о том, что я фактически не допрошен, что очную ставку проводили неправильно и что протокол очной ставки вовсе не соответствует самой очной ставке. Да мало ли о чем?

— Хорошо,— быстро согласился Айвазов.— Я скажу, дадут тебе лист бумаги в камеру, напишешь и сдашь коменданту. Но имей в виду, что если сегодня же не напишешь и не сдашь, то твое заявление уже не пойдет в дело. Я собираюсь сдать дело завтра же.

— Мне нужен не один лист, а два. Ты их дай мне. Я напишу здесь и сдам тебе.

— Нет, этого я не могу сделать. Я не могу держать тебя здесь долго, у меня другие дела, а передать тебе бумагу не имею права. Но при тебе я сделаю распоряжение, чтобы дали тебе бумагу.

Соответствующее распоряжение он передал коменданту.

— Ну вот. Успокоился?

— Нет. Успокоюсь тогда, когда передам заявление. Но все это одна сторона. Меня очень беспокоит само дело. Я понял все. Ты собрал материал в виде показаний Лордкипанидзе, Агабаляна, Савицкого, Кримяна, Давлианидзе, даже Романовской и черт его знает еще кого, провел очные ставки, и не одну, а целых пять, даже шесть: Савицкий, Кримян, Давлианидзе, Лордкипанидзе, Агабалян, Романовская. Подумать только, сколько их, этих очных ставок... А теперь умываешь руки: «Все в порядке, товарищи судьи, Газаряна можно расстрелять». Так, что ли? Но ты сам-то веришь хоть в одну букву того, что написано в моем деле?

— Какое это имеет значение, верю я или не верю? Это к делу не пришьешь,— ответил Айвазов тоном доброжелателя.— Но заранее скажу, что в деле много материалов, вполне достаточно, чтобы тебя расстрелять, я же тебе сказал. Теперь слово за судом. Если суд приговорит тебя к расстрелу, сам поеду для приведения приговора в исполнение. А если, кто его знает, суд ограничится сроком, то считай, что ты в рубашке родился. Ты не думай, что я не обрадуюсь за тебя.

— Почему ты не хочешь предъявить мне материалы следствия? Ведь по правилам ты обязан сделать это.

— Я, кажется, сказал тебе, что правила, о которых ты говоришь, мы давно сдали в архив. Теперь у нас новые правила. А в данном случае у меня просто нет времени знакомить тебя с материалами дела. В общем, это вовсе не обязательно. В своем заявлении ты можешь жаловаться и на это, а теперь мы с тобой закончили все.

Несмотря на мои старания, я в тот день не смог написать и сдать заявление.

Бумагу мне дали, а ручку и чернила — нет. Я добился их только на следующий день и не знаю, попало ли мое последнее заявление в дело или нет.

Прошло еще несколько дней. Уже вечерело. Камера жила своей обычной жизнью. Багратиони еще не совсем оправился и лежал на койке. Мебуке и я сражались в спички, Гегия мастерил какую-то «ответственную деталь» своей машины. Вдруг форточка открылась, и мне предложили собраться, с вещами.

Опять с вещами! Опять волнения и тревоги.

Сразу вся камера встревожилась.

Я быстро собрался и стал прощаться с сокамерниками. Крепко поцеловался с Багратиони и Мебуке, пожелал всем встречи на воле. Попрощался с Салуквадзе и Гегия. Гегия сказал:

— А как сделать, чтобы узнать, куда тебя перевели, а? Надо что-то придумать. Вот что. Если тебя переведут в другую камеру в этом же корпусе, ты заяви, что забыл в камере табак, а если увидишь, что тебя хотят куда-то вывозить, скажи, что забыл в камере табак и спички. Ладно?

— Хорошо,— обещал я,— но сомневаюсь, выйдет ли из этого что-нибудь. Во всяком случае, постараюсь.

Пропутешествовал я недолго. Прошли немного по нашему коридору, потом свернули влево, еще раз влево и там впустили меня в одну из камер.

10
СУД

Итак, в нашем П-образном корпусе я очутился в крыле, расположенном напротив того крыла, где находился до сих пор.

В камере сидел молодой русский паренек, не старше восемнадцати лет.

От него я узнал, что эта камера и вообще все камеры этого крыла отведены для тех, чьи дела уже закончены.

— Все, сидящие в этом крыле, ожидают суда,— уверенно сказал он и добавил: — Вас сегодня ночью будут судить. Вчера в это время нас было здесь пять человек. Из них вернулся в камеру я один, остальных нет.

— А вас тоже судили?

— А как же, дали десять лет, а вот остальных нет,— повторил он,— не вернулись.

— Что значит «не вернулись»? А куда они могли деться?

— Как куда? Шлепнули. Порядок такой: когда дают срок, то возвращают в ту же камеру, откуда взяли, а когда дают вышку, спускают вниз, в камеру смертников, а потом приходят и забирают их вещи. Вот я здесь записал, кто не вернулся вчера.

Я читаю фамилии, записанные парнем. Среди незнакомых мне фамилий читаю: «Аракел».

— А как фамилия этого Аракела?

— Какая-то мудреная, точно не запомнил, поэтому не записал.

— Окуашвили?

— Да, да, Окуашвили.

Старейший рабочий тбилисских железнодорожных мастерских, видный деятель большевистского движения, один из тех, которые, по свидетельству самого Сталина, были его учителями.

Окуашвили написал личное письмо «своему другу Сосо», жаловался на бюрократизм, оторванность от масс местных руководящих товарищей...

Впоследствии это письмо послужило обвинительным материалом против самого Окуашвили, его арестовали как клеветника на советский строй, как члена антисоветской, контрреволюционной группы.

— Перед тем как уйти,— сказал парень,— он дал мне свою трубку и сказал: «Если не вернусь, оставь себе на память от дедушки Аракела». Вот она, эта трубка.

У меня началась какая-то нервная дрожь.

Зуб на зуб не попадал...

Но я же обещал дать знать, где я. Я был в затруднении, как мне поступить? По

уговору я должен был просить только табак, но могут же через час вызвать меня на суд, и тогда...

Подумав немного, я вызвал вахтера и попросил:

— Меня привели сюда из камеры сорок семь. Я там забыл табак и спички. Я вас очень прошу, возьмите оттуда и передайте мне.

— Я не могу, не имею права.

— Я вас очень прошу. Курить хочется, сами понимаете...

— Хорошо, посмотрю,— неопределенно буркнул он.

Вахтер выполнил мою просьбу и передал мне изрядное количество табака и пару коробок спичек. Молодец Гегия, это он постарался.

Паренек был прав, когда говорил, что на стенах отмечают фамилии тех, которые не возвращаются в камеру. Все стены были исцарапаны фамилиями, именами. Ногтями, карандашом, спичками были сделаны короткие надписи: фамилия, имя, только фамилия или только имя, дата и роковое «не вернулся». Я занялся чтением этих надписей. Многих не знаю, но вот и знакомые фамилии: «Чхеидзе — директор ипподрома, не вернулся». Фамилия Чхеидзе распространена в Грузии, и тот, кто сделал эту надпись, предусмотрительно добавил «директор ипподрома». «Нахапетов Хачик, дата, не вернулся».

Мороз пробежал по коже. Милый Хачик...

«Кохреидзе Акакий, не вернулся».

«Бедный Акакий,— подумал я,— наконец-то подлец Кобулов добился своего, попил твою кровь».

И много, много знакомых фамилий.

Словно смерть вошла в камеру. Стало как-то холодно, жутко,

Я еще был занят чтением надписей, когда ввели в камеру сразу двоих. Я их раньше не знал. Познакомились. Керкесалия — профессор, читал лекции в Закавказском институте инженеров путей сообщения, и Абелов, руководящий работник управления Закавказских железных дорог. Из рослого, могучего Керкесалии можно было выкроить трех Абеловых — такой он был маленький, щупленький человечек, худой, с маленьким морщинистым лицом. Вид у него был растерянный, взгляд отсутствующий.

— У вас нет курить? — спросил Абелов.

— Есть,— ответил я,— сейчас закурим.

— Ой, как это хорошо, дайте, пожалуйста...

— Он у нас такой,— сказал Керкесалия.— Когда есть курить, он удивительно жизнерадостный человек, а когда нет табака, то жизнь для него теряет всякое значение. В таких случаях противно на него смотреть, безвольная тряпка.

Абелов никак не реагировал на слова Керкесалия. Дрожащими руками скрутил толстую папиросу и жадно затянулся. Закурив, он совсем преобразился, сразу повеселел, исчезло тоскливое, меланхолическое выражение лица.

— Дай бог вам здоровья,— сказал он.— Вы вернули меня к жизни.

Оба, Абелов и Керкесалия, проходили по одному и тому же делу. Оба они якобы были шпионами Виссариона Чичинадзе и давали ему шпионские сведения, при этом Керкесалия продавал свои сведения за деньги — два раза по двести рублей.

— Понимаете ли, какой абсурд,— говорил Керкесалия.— Я зарабатываю несколько тысяч рублей в месяц, а вот за четыреста рублей я сделался шпионом.

— Это еще не абсурд,— возразил я.— Можно допустить, что вы такой жадный человек, что из-за нескольких рублей могли продать совесть и честь. Но какие шпионские сведения вы могли передать Чичинадзе?

— Какие шпионские сведения... Ей-богу, говорить смешно. Якобы я давал ему сведения об электрификации Сурамского перевала.

— Вот вам и абсурд. Ведь Чичинадзе главный энергетик Грузии и об электрификации Грузии и Закавказских железных дорог знает куда больше, чем вы, в его распоряжении все секретные и несекретные сведения. Чем же вы могли быть ему полезны?

— В том-то и дело. Эту простейшую истину мы не могли вдолбить в голову нашему следователю. Он уверял, что наш шпионаж называется «экономический шпионаж», а не военный, и за это мы получим срок до пяти лет. Мы не хотели, чтобы нас мучили. Подписали и теперь ждем, что с нами будет.

Я хорошо знал Виссариона Чичинадзе. Талантливый инженер-энергетик, один из авторов проектов Земо-Авчальской, Рионской, Храмской и других электростанций Грузии. Коммунист.

Берия, будучи еще председателем ГПУ Грузии, упорно за ним охотился. Сперва он состряпал против Чичинадзе материал о вредительстве при проектировании и строительстве Земо-Авчальской гидростанции. Это обвинение, конечно, высмеяли.

После провала первой затеи Берия выдвинул против Чичинадзе обвинение в неправильном строительстве Рионской гидростанции. Будто деривационный канал этой станции заведомо построен в оползневых грунтах и должен разрушиться. Между тем комплекс инженерных сооружений Рионской гидростанции крупными авторитетами был признан как талантливое разрешение инженерных проблем.

И здесь дали по рукам Берии.

Серго Орджоникидзе очень высоко ценил редкие способности этого талантливого инженера, обаятельного человека с высокой личной культурой. Чтобы избавить Чичинадзе от посягательств Берии, Орджоникидзе распорядился перевести его в Москву, и Чичинадзе стал начальником Главного управления наркомтяжпрома СССР по энергетике.

В 1937 году, когда руки Берии дошли и до Москвы, он наконец добился своего. Чичинадзе был арестован в Москве, перевезен в Тбилиси и расстрелян.

Привели в нашу камеру пожилого грузина, рядового железнодорожника с какой-то небольшой станции. Он был малограмотным, почти не говорил по-русски. Из своего дела понял только то, что является «агентом Виссариона Чичинадзе». Он не знал, кто такой Чичинадзе, не видел его лица. Часто спрашивал Абелова и Керкесалию:

— Меня расстреляют, да?

Керкесалия смеялся.

— Чудак ты человек, за что же тебя расстреляют? Что ты сделал?

— Я ничего не делал, но в камере все говорили мне, что, раз я агент, меня обязательно расстреляют.

— А ты знаешь, что такое агент?

— Знаю, как не знаю. Я был мальчиком, когда агент Зингера приходил к нам, брал полтинник или рубль и клеил марки в книжку. Это мы швейную машину купили в рассрочку. Но я никогда не был никаким агентом.

Мы все искренне рассмеялись. Смех горький, но даже рядом со смертью арестант может иногда посмеяться.

— Вот видишь,— набросился Абелов на Керкесалию,— видишь, кого сделали агентом Чичинадзе? А ты недоволен, удивляешься, возмущаешься. Нет, профессор, если Чичинадзе не гнушался такими агентами, то ты самый настоящий, со дня своего рождения, агент Чичинадзе. И я тоже,— немного погодя добавил он. Затем, обернувшись ко мне, сказал: — За этот табак, товарищ...

— Газарян,— подсказал я.

— ...товарищ Газарян, вас следует крепко поцеловать, но, профессор свидетель, я три дня не мылся. Для чего же мыться, когда нет курева? Все осточертело на свете. Теперь другое дело. Есть табак, значит, жить можно.

— А вас разве не кормили спецобедом? Не потчевали «Казбеками»? — спросил я.

Абелов посмотрел на Керкесалию.

— Ведь правда, какие мы с тобой непрактичные дураки, ни за что подписали. Обидно будет, если расстреляют...

Абелов оказался очень веселым человеком. Рассказывал нам забавные истории, смешил нас, отвлекая от разговоров «на тему дня», как он называл разговоры вокруг следствия.

— Наше дело кончено, Керкесалия,— говорил он.— Теперь мы будем ждать финального аккорда. Если нас расстреляют — не будем горевать, будем утешать себя тем, что мы уже пережили средний человеческий возраст. Что касается ярлыка, то наши потомки снимут с нас этот ярлык и будут вспоминать добрым словом...

Нас не вызвали на суд ни в этот вечер, ни в последующие несколько дней.

Осужденного парня забрали в тюрьму, и мы остались в камере вчетвером. Каким-то образом узнали, что суд срочно выехал не то в Баку, не то в Ереван, чтобы там свершить дела...

Наступило 28 сентября. Мы уже собирались ложиться спать и перед сном курили последнюю папиросу. Вошел в камеру молодой подтянутый военный с двумя прямоугольниками на петлицах. Он вежливо поздоровался и представился: секретарь выездной сессии Военной коллегии Верховного суда Союза ССР. Назвав мою фамилию, он попросил расписаться в получении копии обвинительного заключения. Попрощался и вышел.

— А нам с тобой ничего нет, профессор,— сказал Абелов.— Газарян сегодня пристанет к определенному берегу, а наш берег пока не виден.

Я тотчас же приступил к чтению моего обвинительного заключения.

Во избежание повторений не будем приводить его содержание. Это было сокращенное изложение того, что было изложено в протоколе допроса, который предлагал мне на подпись Айвазов, о целях и задачах контрреволюционного заговора.

Странное обвинительное заключение. Из квалификации моего «преступления» можно было заключить, что я только состоял в заговоре, но ничего не делал. В обвинительном заключении было сказано, что Газарян признал себя виновным частично, но полностью изобличается показаниями Лордкипанидзе, Дзидзигури, Романовской, Агабаляна, Савицкого, Кримяна, Давлианидзе, да еще Веккера, Гоциридзе... Меня возмутила фраза: «Признал себя виновным частично». Что за фальсификация? Неужели из дела не видно, что я себя виновным ни в чем не признал?

Возмутила меня также ссылка на показания Дзидзигури. За время всего следствия о нем не было сказано ни единого слова. Но я должен сделать некоторое отступление и подробно рассказать о Дзидзигури, чтобы было понятно мое возмущение.

По своим личным качествам Михаил Дзидзигури был бюрократ и самодур. Хотя он являлся членом коммунистической партии, но ничего большевистского в нем не было. Один пример достаточен для подтверждения сказанного. Он как «большой начальник» имел привычку бриться у себя дома, для чего парикмахер по утрам, в определенный час приходил к нему домой. Однажды Дзидзигури заметил, что парикмахер повесил свое пальто рядом с его пальто. Он учинил скандал парикмахеру и выгнал его из дома. Дзидзигури не пользовался никаким авторитетом ни у начальства, ни у подчиненных. Начальство его «терпело», потому что он был ставленником Берии.

В апреле 1937 года ко мне в служебный кабинет зашел секретарь партийного комитета НКВД Олифант Гвилава и сообщил, что образована специальная комиссия под моим председательством, которая должна проверить партийную работу отдела, возглавляемого Дзидзигури.

— Я не хочу принимать никакого участия в этой комиссии, так как не хочу иметь дела с Дзидзигури, которого не уважаю,— заявил я.

— Оставьте ваши доводы,— возразил он.— Партия хорошо знает и вас, и Дзидзигури. Это очень серьезное партийное поручение, и оно должно быть выполнено в кратчайший срок.

— Но я же собираюсь в отпуск.

— Ну что ж, выполнишь это поручение и поедешь.

Мои возражения иссякли. Партийное поручение подлежит выполнению безоговорочно. «Какое имеет значение моя личная неприязнь к Дзидзигури?» — подумал я, и комиссия приступила к работе.

Комиссия установила, что партийная работа отдела была полностью подчинена прихотям Дзидзигури. Секретарь парторганизации отдела, слабохарактерный, мягкий человек, Сергей Шафиров, убедился в бесполезности сопротивления самодурству Дзидзигури и не только не реагировал, но и сам подпал под его влияние. Дзидзигури издавал сумасбродные приказы и распоряжения, вытеснил из отдела сознательную дисциплину, партийную этику.

Кроме этого, в комиссию поступали материалы о сомнительном прошлом самого Дзидзигури.

Комиссия проверила личное дело Дзидзигури и в райкоме партии. При

проверке было установлено несоответствие дат в анкетах, заполненных им разновременно. В одной из этих анкет, например, Дзидзигури указал, что он с такого-то месяца 1919 года по такой-то месяц 1921 года работал в азербайджанской советской милиции. Но ведь в 1919 году в Азербайджане у власти находились мусаватисты, а советская власть была установлена первого мая 1920 года. Следовательно, в 1919 году в Азербайджане никакой «советской милиции» не было, а была мусаватистская милиция.

В комиссию поступили материалы, что Дзидзигури сидел в азербайджанской Чека в первые же дни установления советской власти в Азербайджане и обвинялся в шпионаже. Каким-то загадочным образом он был освобожден из-под ареста, но удивительнее всего было то, что он поступил на работу в Чека. Все эти материалы подлежали специальной проверке. Но такая проверка не входила в компетенцию комиссии. Мы составили доклад о состоянии партийной работы отдела и передали в партийный комитет. Материалы же о личности Дзидзигури мы передали наркому Гоглидзе.

Закончив работу в комиссии и доложив на общем собрании о состоянии партийной работы отдела, возглавляемого Дзидзигури, я уехал в отпуск. Потом я узнал, что Дзидзигури уволили из НКВД, но благосклонная рука Хозяина распорядилась назначить Дзидзигури наркомом торговли Грузии.

Много лет спустя выяснилась подлая роль Берии в период пребывания его в Баку и его преступная связь с мусаватистами. Вот откуда берет начало «дружба» Берии и Дзидзигури... Однако хитрый Берия решил, что не следует оставлять живого свидетеля своего преступного прошлого, и, воспользовавшись беззакониями 1937 года, распорядился арестовать его и расстрелять.

Итак, и Дзидзигури дал показания против меня.

— Захватите с собой обвинительное заключение, и пошли,— приказал вахтер.

На всякий случай я попрощался с Абеловым и Керкесалией, попросил отметить на стене и мою фамилию, если не вернусь, и вышел.

Меня повели в комнату, служившую, как я потом узнал, комендатурой суда. За столом сидел один из районных работников НКВД Грузии Урушадзе. Он был назначен комендантом суда. У него на столе громоздилась огромная куча отборного винограда... Хоть бы угостил напоследок...

И минуты не прошло, как два вахтера привели в комендатуру незнакомого мне человека. Урушадзе приказал увести меня. Меня привели в другую комнату. Посередине стоял большой стол. Сбоку другой, маленький, за которым сидел уже знакомый мне секретарь суда. В углу за небольшим овальным столиком сидело незнакомое лицо, по всей вероятности, прокурор. У противоположной стены были поставлены стулья, часть из них была занята работниками НКВД, другая часть пустовала. Из работников я помню двух бывших моих подчиненных Балаганова и Кистостурова. В самом углу сидел Лазарь Осипов, товарищ по работе, близкий мне человек. Он сидел, опустив голову и прикрыв лицо руками. Он ни разу не поднял головы, не посмотрел на меня. Что привело Осипова сюда, где судили его товарища? Думал ли он, что скоро, очень скоро сам очутится в моей роли?

Напротив судейского стола мне указали место, где я должен был стоять. Два вахтера заняли места по обеим сторонам.

— Суд идет!

Из соседней комнаты вышли трое и заняли места за судейским столом. В центре — председатель суда, как я узнал потом, Матулевич.

Описание «судопроизводства» я постараюсь дать со стенографической точностью. Это недолго. Председательствующий объявляет:

— Слушается дело по обвинению Газаряна Сурена Оганесовича по статье 58 п. п. 8 и 11 через статью 17...

— Позвольте,— перебил я,— в обвинительном заключении, врученном мне, нет восьмого пункта.

— Что из этого? Суд дает вам восьмой пункт.

— В чем же заключалась моя террористическая деятельность?

— В том, что вы были завербованы в организацию, которая подготовляла совершение террористических актов.

— А я знал о задачах этой организации? Знал о подготовке хоть одного террористического акта?

— Это неважно.

— Но я же совершенно не допрошен по поводу моей «террористической» деятельности!

— Это тоже неважно. Суду все обстоятельства вашего дела известны. Вы имеете что-нибудь сказать?

— Конечно, имею, и я прошу дать мне возможность высказаться.

— Пожалуйста. Вам дается две минуты.— Председательствующий посмотрел на часы.

— Две минуты? Но что я могу сказать за две минуты?!

— Имейте в виду, что все сказанное вами входит в эти две минуты.

Возражения бессмысленны, и я начал:

— Ссылка в обвинительном заключении на то, что я признал себя виновным частично, неправильна. Я себя виновным ни в чем не признал и не мог признать, потому что выдвинутое против меня обвинение не соответствует действительности. Никаких преступлений против партии и правительства я не совершал. Свидетели, которые якобы меня изобличают,— лица заинтересованные, их показания нельзя принимать во внимание. Такими являются показания Савицкого, Кримяна, Давлианидзе, Гоциридзе, Дзидзигури, сущность которых я не знаю, поскольку не знаком с материалами моего дела. Нельзя осудить человека на основании односторонних, ничем не подтвержденных материалов. Я фактически не допрошен, в протоколах очных ставок неправильно отражена действительность. Прочтите мою оговорку под протоколом очной ставки с Лордкипанидзе. Он заявил, что меня завербовал Розенблюм, а где показания Розенблюма?..

— Ваше время истекло. Суд удаляется на совещание.

Судьи скрылись туда, откуда вышли. У меня отобрали копию обвинительного заключения и вывели в комендатуру. Там я столкнулся с Леонидом Хвойником — начальником одного из отделений нашего отдела. У него был испуганный, растерянный вид. Мы не могли обменяться ни единым словом. Как только меня ввели, Урушадзе распорядился вывести Хвойника.

Через три-четыре минуты ввели Хвойника, а меня привели снова в ту комнату, где состоялся «суд». Теперь я понял все. За то время, пока суд якобы совещался по поводу моего дела, на самом деле он слушал дело Хвойника. Значит, не было никакого совещания! Значит, приговор заранее приготовлен. Вот так суд...

Приговор Хвойника тоже готов. Покончат со мной — объявят приговор Хвойнику, а на очереди будет кто-то другой...

Удивительно четко работает «конвейер-мясорубка», как метко назвали эту «сессию» в тюрьме...

Суд идет. Оглашается приговор. Я слушаю его со странным спокойствием.

«...На основании вышеизложенного, виновность Газаряна Сурена Оганесовича в инкриминированном ему обвинении суд считает доказанной и приговаривает его к десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией, с поражением в правах на 5 лет после отбытия наказания и с конфискацией его имущества.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

— Что за несправедливость! За что? — воскликнул я, но судьи уже исчезли. Один из стоящих рядом вахтеров не выдержал, схватил меня за руку и сердито сказал по-армянски:

— Замолчи, слышишь? Голова у тебя на месте? Пойми же, жить будешь! Благодари судьбу, жить будешь, понимаешь?

Значение этих слов я понял потом, когда узнал, что в тот вечер несколько десятков людей проходили через это судилище и только два человека получили сроки. Хвойник и я. Остальные были расстреляны.

Меня снова ввели в комендатуру. Хвойник сидел белый, как полотно, и в упор смотрел мне в глаза.

— Десять лет, за что? — нарочно громко сказал я, чтобы успокоить Хвойника.

Меня повели в камеру. По дороге вахтер не мог скрыть своей радости и, хотя ему строжайше было запрещено вести со мной разговоры, сказал:

— Благодари бога, дай бог тебе долгие годы жизни. Важно пережить сегодня,

а на срок плюнь. Важно то, что жить будешь, понимаешь, жить будешь. Ты счастливчик, сегодня второе твое рождение, ей-богу, правду говорю.

В камере я разрыдался, как ребенок. Все накопленное за это время прорвалось, и я не мог успокоиться. Керкесалия бросился меня успокаивать, но я не мог сдержать слез.

— Не мешай ему, Керкесалия,— сказал Абелов.— Пусть поплачет, слезы принесут ему облегчение.

Всю ночь я не сомкнул глаз.

Я думал не о страшном сроке, к которому приговорен, не о моей судьбе, судьбе невинно осужденного человека, и не о моей семье. Я тоже, как и многие другие, рассуждал, что все происходящее — временное явление и поэтому десятилетнему сроку не следует придавать значения. Я думал о той страшной несправедливости, которая царила в стенах этого учреждения. «Несправедливость»! При чем тут несправедливость? Произвол, преступление! Я думал о членах этого высокого суда, творивших вопиющее беззаконие. Где правосудие? Неужели они не понимали, что губят невинные человеческие жизни? Мясорубка. Да! Настоящая мясорубка. Бывает же, что из мясорубки иногда выскакивает кусочек мяса, не задетый ножом. Каким-то чудом отдельные кусочки не попадали под нож и выходили из мясорубки сильно помятыми. В самом деле, ведь я действительно «счастливчик», и я могу еще жить.

«Пойми, жить будешь»,— повторяю я слова простого человека — вахтера. Да, буду жить и обязательно доживу до финала этой трагедии.

Я обязан жить.

11
ТБИЛИССКАЯ ТЮРЬМА

На следующий день после моего осуждения меня вызвали «с вещами»...

Я тепло попрощался с Керкесалией и Абеловым, пожелал встречи с ними на воле. Увы, мои пожелания остались лишь пожеланиями.

Их расстреляли.

Многие работники Закавказской железной дороги, партийные руководители были уничтожены... Застрелился начальник политотдела дороги Паверман, а Бобрышева, вступившего в эту должность, арестовали и расстреляли...

Меня вывели в тюремный двор. Впервые после 7 июля я дышал свежим воздухом. Посредине двора стояла грузовая машина с очень высокими бортами. Чуть подальше стояла другая машина, похожая на комфортабельный автобус, с занавесками на окнах. Но для чего такой шикарный автобус в тюремном дворе? Только присмотревшись внимательно, можно было определить, что всё — и окна, и занавески — бутафорское, искусно нарисованное, и эта машина не что иное, как обыкновенный «черный ворон».

Во дворе находилось несколько человек. Дежурный комендант Тестов проверял списки, оформлял. Я искал Хвойника. Его нигде не было видно. «Неужели... его тоже?» — подумал я. Наконец показался Хвойник. Бледный, испуганный. Мы крепко поцеловались. К нам подошел Тестов.

— Я не знаю, как выразить вам свою радость, товарищи,— сказал он.— Вы редкие счастливцы, которых после суда отправляют в тюрьму. Я сердечно желаю вам здоровья и всего-всего хорошего. Держитесь, ребята, кто его знает, чем кончится эта заваруха? Ох, если бы вы знали, как тяжело приходится нам.

Мы не сомневались в искренности слов Тестова.

Нас присоединили к группе людей. Знакомых лиц среди них не было. Спросил одного из них:

— Вас тоже вчера осудили? Какой срок?

— Какое там «осудили»? Меня утром арестовали, и не знаю — за что.

Выяснилось, что вся эта группа — новички, только что с воли. Кроме меня и Хвойника, осужденных не было.

Всех нас посадили в грузовик. По углам стояли вооруженные вахтеры. Машина тронулась. Хвойник плакал. Мы не говорили. Нам было запрещено разговаривать в машине. Высокие борта не позволяли нам видеть людей. Нашему

зрению были доступны верхние этажи зданий и небо. Наше чистое южное небо особенно красиво осенью, в солнечный день.

Мы быстро доехали. Огромные железные ворота тюрьмы открылись, проглотили машину и снова закрылись.

Нас выгрузили, привели в комендатуру тюрьмы. Хвойника и меня отделили от остальных как осужденных и подвергли первой унизительной процедуре — дактилоскопии. Работник, проводивший эту процедуру, насмешливо сказал:

— Давайте сюда пальчики, будем играть на пианино.

Вызвали старшего по корпусу осужденных. На вызов явился человек лет под тридцать, с рыжеватыми волосами. Хвойник шепнул мне:

— Миша!

Я не знал, кто этот Миша. И Миша не подавал никакого вида, что знает нас. Получив какую-то бумагу, он сухо, официально спросил у нас анкетные данные и скомандовал:

— Пошли.

Когда вошли в следующий двор, он оглянулся вокруг и спросил:

— Товарищ Хвойник, какими судьбами? И вас не миновал этот шквал? Ну что, срок получили? Слава богу, что так. Могло быть хуже.

— А это мой начальник,— указывая на меня, с трудом выговорил Хвойник. У него сильно дрожали губы, он хотел еще что-то сказать, но не мог, глаза наполнились слезами.

— Ну, Миша,— обратился я к новому знакомому,— ради встречи при таких обстоятельствах устройте нас получше, если, конечно, от вас это зависит.

— Не беспокойтесь, все будет сделано. Хотя вы меня не знаете, но я вас хорошо знаю. Я сделаю все, чтобы устроить вас получше.

Он оставил нас в своем «служебном кабинете», где он работал и спал. Это была его камера. Хвойник, оправившись немного от волнения, рассказал мне историю Миши. Он работал где-то по хозяйственной части. В прошлом году возникло дело по хищению социалистической собственности. Группа людей, с ними и Миша, была арестована. Дело вел Хвойник.

По окончании следствия дело направили в суд. Расхитители были приговорены к разным срокам, а Миша за халатное отношение к служебным обязанностям получил два года лишения свободы. Судя по всему, и тут не растерялся, а был даже до некоторой степени начальником.

Появился Миша и сказал, что с нами в камере будет еще один старик.

— Он очень тихий и спокойный человек,— добавил он,— и вам мешать не будет.

Камера наша была не очень маленькая. Четыре койки с грязными, набитыми сеном матрацами. Что ни говори, все же постель. Стол, табуретки, шкаф. Мы давно отвыкли от такого комфорта.

Семидесятипятилетний старик оказался братом известного в Грузии Михаила Окуджавы. Человек одинокий, без семьи. В чем он обвинялся и за что был осужден на десять лет тюрьмы, мы так и не узнали.

— Какое это имеет значение, в чем меня обвиняли? Я же брат Михаила Окуджавы. Вот и вся моя вина. Я одинокий человек, мне все равно где умереть, но что это за порядки, когда брат должен отвечать за брата?

Он в самом деле оказался спокойным стариком. Почти не вставал с кровати и спал. А если и не спал, то глаза его всегда были закрыты, и разговаривал с закрытыми глазами.

Итак, Хвойник и я хорошо устроились в тбилисской тюрьме и были благодарны за это нашему доброму гению — Мише.

У Хвойника нервы были расстроены до предела. Он все время боялся расстрела. Он не верил, что суд уже позади и он получил срок.

— Нет, это чепуха,— говорил он,— в любое время нас могут вызвать обратно, пересудить и расстрелять. Я знаю, пока они нас не расстреляют, не успокоятся.

Я не знал, что такие случаи бывали, и утверждал, что он говорит глупости.

— Однако как сильно тебя изуродовали,— сказал однажды Хвойник.— Я вряд ли узнал бы тебя, если бы Урушадзе не назвал твою фамилию. Ты ничего не подписал, что ли?

— Нет, ничего не подписал. А ты?

— Подписал. Я не могу переносить побои.

Хвойник был арестован одновременно со мной, 7 июля. Он, оказывается, ждал своего ареста. Он был еще на свободе, когда арестовали начальника Закавказского управления милиции Валериана Полюдова. Того обвинили в покушении на жизнь наркома внутренних дел Закавказья Арменака Абуляна. В 1935 году, летом, Абулян и Полюдов ехали в Абастумани к отдыхающим там семьям. За рулем сидел Полюдов. Машина свалилась в овраг. Полюдов получил тяжелые ранения, а Абулян скончался. Вот этот случай и был использован для обвинения Полюдова в совершении террористического акта.

В те дни Хвойник работал в непосредственном подчинении у Полюдова.

В 1937 году Полюдова арестовали и жестоко избивали. Хвойник слышал, как Полюдов говорил допрашивающему его следователю:

— Что вы от меня хотите? Я же уйму людей оговорил! Кого еще я могу оговорить?

После этого Хвойник потерял покой. Он не сомневался, что среди оговоренных значится и он.

Дело Хвойника вел один из работников нашего отдела Одишария. После первой же пытки Хвойник не выдержал и заявил, что подпишет протокол. В протоколе было сказано, что он был завербован Газаряном в контрреволюционный заговор и по его заданию принимал участие в провале дел на вредителей и шпионов.

— Странно, в обвинительном заключении по моему делу никаких ссылок на твои показания не было,— сказал я.

Когда Одишария предъявил ему протокол об окончании следствия, Хвойник спросил:

— А что сделают со мной?

Одишария спокойно ответил:

— Неужели тебе не ясно? Ты — предатель, изменник, а таких уничтожают. Тебя тоже расстреляют, как собаку.

С того дня Хвойник ждал расстрела.

— Ну, Леня,— сказал я ему однажды,— давай бросим эту грустную тему. Давай подумаем о том, каким способом дать знать нашим Шуре и Любе, что мы здесь. Пусть они узнают, что мы живы.

Мы надеялись, что Миша нам поможет, и решили обратиться к нему.

На следующий день утром нам объявили:

— Приготовиться на прогулку!

— Это замечательно,— обрадовался я,— значит, каждый день будем гулять.

Мы помещались в огромном четвертом корпусе, на последнем этаже. Там было несколько камер, в том числе две огромные камеры, рассчитанные на 20—25 человек, но в них было напихано, как сельдей в бочке, по двести человек и больше. Двери всех камер открылись одновременно, и заключенные вереницей вышли на прогулку.

На лестнице я встретился со старым знакомым — секретарем партийной организации макаронной фабрики Хачатуровым, с которым я сидел в первые дни моего ареста.

— Здравствуй, Мкртич! Ты тоже осужден? Сколько получил?

Он удивленно посмотрел на меня.

— Простите, не узнал...

— Неужели я так изменился? Ведь нет и трех месяцев, как мы расстались. А ну, пошевели мозгами.

— Постой... постой. Неужели Сурен? Господи! Страшно на тебя смотреть. Как можно довести человека до такого состояния? А я отделался легким испугом,— сказал Хачатуров,— даже не знаю, как это случилось. Меня судила «тройка», и дали пять лет. Я еще не верю своему счастью.

Да, пожалуй, Хачатуров был единственным человеком, который в те дни отделался таким сроком.

Я внимательно рассматривал людей, искал знакомых. Увидел парня, с которым встретился в камере в ожидании суда, увидел одного из работников НКВД Грузии Пармена Чолокия, увидел — и не поверил своим глазам — нашего Акакия Кохреидзе. С того света, что ли?

Он очень изменился, поседел, похудел, постарел.

— Акакий, ты ли это? Неужели жив?

Он постоял секунду в нерешительности и узнал меня.

Мы обнялись.

— Послушай, я сам своими глазами прочел надпись на стене, что ты «не вернулся». Я считал, что тебя нет на свете,— сказал я.

— Надпись соответствует действительности...

Кохреидзе рассказал, что никакого нового обвинения ему не было предъявлено. Все дело вертелось вокруг старого обвинения, пережевывали то, что было давно пережевано, с той разницей, что все это было квалифицировано как подготовка террористического акта, и «суд» предъявил ему восьмой пункт. Кохреидзе, как и все остальные, пролепетал что-то две минуты, и «суд удалился на совещание». Кохреидзе не объявили никакого решения и спустили вниз, в камеру смертников. Две недели продержали его там. Две недели каждую ночь, почти в одно и то же время, открывали двери камер и выводили людей. Две недели каждую ночь подходили к его двери, открывали, но кто-то выкрикивал: «Его не надо»,— и снова закрывали.

— Две недели каждый день я ощущал смерть в непосредственной близости,— говорил Кохреидзе.— Я дошел до грани сумасшествия... Через две недели снова вызвали на «суд» и объявили приговор: десять лет тюремного заключения с поражением в правах на пять лет после отбытия наказания и, конечно, с конфискацией имущества.

Мы договорились, что скажем Мише, чтобы Акакия тоже перевели в нашу камеру. Но через день Кохреидзе был вызван в этап. Нам очень странным показался этот этап. Только его, больше никого. Что за этап для одного человека? Хвойник утверждал, что Кохреидзе вернули в НКВД и расстреляли. Признаться, на этот раз я с ним был согласен, но не хотел его расстраивать.

— Ты брось глупости, этого не может быть.

Мы спросили об этом нашего Мишу, и он подтвердил, что действительно Кохреидзе куда-то отправили этапом.

Спустя много лет Кохреидзе рассказал, что в столыпинском вагоне его одного этапировали из Тбилиси во владимирскую тюрьму. Какое сумасшествие! Какое неслыханное разбазаривание государственных денег... Целый вагон для одного человека, целая команда конвоиров, служебные собаки...

Нам не пришлось обратиться к помощи Миши, чтобы дать знать женам о нашем местонахождении. После прогулки совершенно неожиданно вызвали меня и Хвойника и вручили нам передачу. Она была сделана поспешно, все из магазина: хлеб, сыр, колбаса, чеснок и прочее. Самое главное — записки, написанные руками наших жен... Через несколько дней в дни передач мы уже получали теплые, заботливо приготовленные вкусные домашние обеды.

Это было просто поразительно. Каким образом с такой молниеносной быстротой они узнали о нашем местонахождении?

Мне не суждено было спросить об этом Любу. Спустя много лет Шура, жена Хвойника, ответила мне на этот вопрос:

— Если вы были чекистами, то мы были вашими женами. Было бы не к лицу нам, если бы мы не следили за вами и не узнавали о каждом вашем новом местопребывании. Мы всегда знали, где вы находитесь.

— А если бы нас расстреляли, вы бы узнали об этом?

— Не дай бог... Но и в таком случае мы бы узнали об этом. Среди ваших товарищей были такие, которые не отвернулись от нас, сочувствовали нам...

Итак, связь была установлена. В дни передач мы продолжали получать домашние теплые обеды. Мы всегда удивлялись, каким образом наши жены ухитрялись приносить в тюрьму горячие обеды. Выяснилось, что они сговорились с одной женщиной, живущей недалеко от тюрьмы, и у нее готовили обед. Одна готовила, другая стояла в очереди на передачу.

По всей вероятности, в очереди стояла Люба, ведь она совсем не умела готовить.

Через несколько дней нашего пребывания в тюрьме меня неожиданно вызвали и привели в комнату, разделенную пополам сплошной решетчатой

сеткой в два ряда, с расстоянием между ними немногим больше одного метра. Я понял, что мне будет дано свидание.

Наверно, с Любой... Я никак не рассчитывал на это свидание. Мне безумно хочется ее видеть, но как можно показаться перед ней в таком виде? Нет, я не хочу этого свидания, я не могу, не имею права показываться Любе в таком виде. Я заявил надзирателю, что отказываюсь от свидания, но он мне ответил, что не вправе разрешить этот вопрос и, пока свидание не кончится, он из этой комнаты меня не выпустит.

Между тем комната наполнилась заключенными, они шеренгой становились у решетки. Я тоже занял свое место в углу. Между решетками шагали два вахтера.

— Смотрите, о деле ни слова,— предупреждали они.

Начали пускать людей. Они заполнили другую половину комнаты по ту сторону решетки. Я увидел Любу. Она стремительно вошла. Она искала меня. Несколько раз посмотрела в мою сторону, но продолжала искать. Спазм сжал мне горло...

— Люба! — крикнул я с трудом и заплакал.

Люба подошла. Я не мог произнести ни слова. Она держалась молодцом.

— Ты не говори, Суренчик, тебе нечего сказать. Я буду говорить, а ты слушай.

Я не в состоянии был сдержать слез.

— Возьми себя в руки и береги себя. Я все знаю. Ничего не надо говорить. Ты не один, я не одна. Я счастлива, что вижу тебя, понятно?

— Как дома? — сквозь слезы спросил я.

— Все в порядке. Мама тоже очень хотела тебя видеть, но разрешили только мне. В следующий раз придет она. Сама уступила мне первое свидание.

— Не надо ей приходить. Я не хотел видеться с тобой в таком виде, не хочу, чтобы и мама видела меня такого.

— Ты для нас такой же, каким был всегда, милый. Береги себя, еще раз прошу. Мы будем ждать тебя и обязательно дождемся. Дети ничего не знают, все время спрашивают: «Где папа?» — а я им говорю: «В командировке».— «Какая длинная командировка!» — говорят они. Когда я тебе сделала передачу в день рождения Майечки, Спартак увидел твои сорочки, набросился на них и стал целовать: «Папины сорочки, папины сорочки». Они очень скучают по тебе. В тот вечер, когда Майке исполнилось четыре года, мама и я сделали все, чтобы дети не почувствовали твоего отсутствия. Майка получила подарок от тебя тоже, а бабушка испекла ей вкусный торт. Ты тоже вспоминал нас в тот вечер, не так ли?

— Да...— Я не мог продолжать, вспомнив страшную ночь моей пытки.

— Ну, опять слезы. Я не узнаю тебя. Мужайся, дорогой мой. О нас не думай, береги себя...

Без предупреждения между решетками опустился занавес.

Свидание окончено.

— До свидания, милый, мы будем ждать тебя,— услышал я голос Любы с той стороны занавеса.

Откуда в этой женщине столько выдержки? Ничем она не выдала своего нервного потрясения, когда увидела меня в таком состоянии. За все время свидания у нее не дрогнул голос, не проронила она ни одной слезинки, бодро рассказывала, ободряла меня. Она даже не спросила, на какой срок я осужден, и я ей не сказал ничего об этом...

Она перенесла тогда еще одно потрясение. Был арестован и расстрелян ее родной брат, старый чекист Арташес Аванесян. Я ничего не знал об этом в то время, и она ничем не выдала свое состояние...

Прошла целая жизнь, но и теперь, когда я пишу об этом, вижу Любу перед собой живую, вижу ее энергичное лицо, спокойные глаза, слышу ободряющий, уверенный голос.

Только после моего освобождения я узнал о страшных последствиях этого свидания.

Она тогда пришла в тюрьму со своей двоюродной сестрой Любой Оганезовой. Та ждала ее на улице.

— Когда она вышла после свидания,— рассказывала Оганезова,— она шата-

лась. Я подошла, взяла ее под руку. Она закрыла глаза, оперлась на меня, помолчала немного, затем тяжко вздохнула и сказала: «Во что превратили моего Сурена, Люба, если бы ты видела, во что превратили человека!» Когда она открыла глаза,— продолжала Оганезова,— они как-то странно блуждали... И с этого времени наша Люба стала рассеянной, она смотрела, но не видела, слушала, но все пропускала мимо ушей, неожиданно закрывала лицо руками и говорила: «Во что превратили моего Сурена, господи, во что превратили человека». Она не могла связно говорить о чем-нибудь, прерывала сама себя и, уставившись в одну точку, повторяла: «Во что превратили моего Сурена». Чем дальше, тем хуже... У нее появились признаки шизофрении. Она не подпускала к себе никого и говорила: «Не подходите ко мне близко, от меня плохо пахнет»...

В 1938 году моя мать взяла Майку и поехала в Щелково, к моему брату. Люба со Спартаком остались в Тбилиси. Люба, имея законченное высшее образование, не могла устроиться на работу по специальности и работала швеей-надомницей, никто не хотел принимать на работу жену «врага народа».

28 сентября, в тот самый день, когда год назад меня осудили, Люба со Спартаком пришла к Любе Оганезовой и попросила оставить Спартака у нее на ночь. Она сказала, что у нее есть срочная работа, а Спартак будет ей мешать. Люба попросила сестру отвести Спартака утром в школу и в полдень зайти за ним. Вечером она заберет его.

— Она была такая, как всегда,— рассказывала Оганезова,— мрачная, сосредоточенная. Очень спешила. Я не могла уговорить ее остаться на ужин. Она сказала, что у нее много работы. Чего греха таить, в тот момент я подумала плохо о Любе: наверное, совсем по другой причине она не хочет, чтобы Спартак ночевал дома. Я ругала ее мысленно, но не высказала своих подозрений. Я сказала, что Спартак может оставаться у меня сколько угодно и пусть она не беспокоится — и в школу отведу, и из школы приведу. Люба взяла слово со Спартака, что он будет слушаться меня, несколько раз крепко поцеловала его, потом обняла меня, поблагодарила и вышла. Какая я была дура, не догадалась! Через минуту она снова вернулась и спросила меня, не забуду ли я дать Спартаку завтрак с собой. Я сказала, что она говорит глупости. Люба подошла к Спартаку, взяла голову в свои руки, долго пристально смотрела ему в лицо, потом прижала его головку к груди и долго, долго целовала. Я все это приписала ее странностям, не догадалась, что она прощается с сыном навсегда... Потом я рвала на себе волосы, но уже было поздно... На следующий день Люба не пришла за Спартаком. «Загуляла баба»,— подумала я. Ведь сама же сказала ей, что Спартак может оставаться у меня сколько угодно. На другой день утром я отвела Спартака в школу и решила зайти к Любе. Дверь была закрыта. Ключ она всегда держала в условленном месте. Я открыла дверь, зашла. На столе лежали исписанные ее размашистым почерком листы бумаги и сверху письмо. «Дорогая Люба, сестра моя...»

Я поняла все. Выбежала оттуда, заявила куда следует и начала поиски трупа... Наняла людей, искали в Куре. Не нашли. Тогда я стала ходить по моргам и наконец нашла ее труп с отрезанными до бедер ногами. Ее подобрали около железнодорожной остановки «Арсенал». Врачи говорили, что если бы подобрали вовремя, то ее жизнь могла быть спасена. Лицом она совершенно не изменилась, будто спала... Письмо я сохранила, но что было написано на больших листах, я не догадалась прочесть и не знаю, кому они были адресованы. Их забрали.

Оганезова сохранила и передала письмо мне. Единственная память от любимого человека, последнее письмо, написанное в последние минуты жизни... Вот оно:

«Дорогая Люба, сестра моя.

Я должна:

1. Саркисовым 60 рублей,

2. Араратовым 15 рублей.

Из артели за меня получит деньги управделами Цурцеладзе. Спартак знает, где она живет. Получи деньги и расплатись. Из моих вещей продай и возьми себе.

Всю работу, и готовую и начатую, сдай мастеру или его жене.

Спартак знает где. Мама и Майечка пусть останутся там, у брата. Спартака сдай в приют. Он не пропадет.

Прости.

Адрес мамы: Москва, Щелково, Малая Пролетарская, 32.

Адрес Сурена: ст. Кемь, почт. ящик № 20/5, Газаряну С. О. Ему ничего не сообщать».

Все. Ни даты, ни подписи.

Но я забежал вперед. Вернемся в камеру тбилисской тюрьмы.

Через несколько дней Миша подозвал к себе Хвойника и сказал ему, что в тюрьму привезли Сосо Мгебришвили и, если мы не возражаем, он поместит его в нашу камеру.

— Ну, конечно, нет. Давай его скорей.

От неожиданности Сосо растерялся. Он никак не рассчитывал встретиться с нами. Обнялись, поцеловались, и не было конца расспросам и рассказам.

Иосиф Мгебришвили, или просто Сосо,— один из работников нашего отдела. Из его рассказов мы узнали, что его не пытали, так как он «признал себя виновным». На «суде» он отказался от своих показаний и заявил, что показания давал для того, чтобы избежать пыток. Он просил учесть это обстоятельство и то, что он совершенно невиновен. «Суд» «учел» все это и приговорил Мгебришвили к десяти годам тюремного заключения. Этим решением Сосо остался очень доволен, так как все время находился под страхом расстрела.

Нас стало четверо в камере. Мгебришвили шутил:

— Начальник отдела есть, два начальника отделения тоже, старика Окуджаву сделаем секретарем и организуем наш отдел в тюрьме. Кто его знает, может быть, еще кто-нибудь проскочит через мясорубку и присоединится к нам.

На следующий день жена Мгебришвили Мария принесла передачу мужу. Да, удивительно четко была поставлена информация у наших жен.

Однако нам недолго пришлось пользоваться передачами. Тюремному начальству было приказано прекратить прием всяких передач осужденным по статье 58-й. Воры, бандиты, карманники, расхитители социалистической собственности и прочие подонки пользовались в тюрьме большими льготами. Их камеры днем не закрывались на ключ, они свободно разгуливали по тюрьме.

Один из крупных расхитителей нахально издевался:

— До чего несчастные эти «политические»: за душой ни гроша, семьи, наверно, голодают, членам семьи работы не дают, передач и свиданий не разрешают. Вот я нахапал полмиллиона рублей, обеспечил семью на всю жизнь и получил за это восемь лет. Где бы я ни отбывал этот срок, работа мне обеспечена, и жену могу выписать туда, пройдет четверть срока, там зачеты, амнистия, и я снова на свободе. Вы здесь ни шагу не смеете сделать без разрешения начальника тюрьмы, а я плюю на него.

Да, нам ничего не разрешалось. Разумеется, были прекращены и свидания.

Каким-то образом дали нам разрешение писать домой письма и получать ответы. Я получил несколько ободряющих, теплых писем от Любы.

Наша «мирная» жизнь в тюрьме была неожиданно нарушена. Вдруг Мгебришвили предложили собраться с вещами. Он настолько испугался, что не в состоянии был собрать свои вещи.

— Это на расстрел,— повторял он.

Хвойник и я испугались не меньше. Я успокаивал Сосо как мог, но ничего убедительного не мог ему сказать. Его увели. Мы долго не могли опомниться. Хвойник, до этого немного успокоившийся, снова начал нервничать.

— Мгебришвили расстреляли, теперь очередь за нами,— повторял он.

Через две недели измученного, похудевшего, побледневшего Мгебришвили вернули в нашу камеру. Мы бросились к нему.

— Что хотели от тебя? Рассказывай.

— В общем, Кобулову не понравилось, что я получил срок. Он добивался моего расстрела. Дело было поручено Давлианидзе. Он официально объявил мне, что приговор Военной коллегии в отношении меня аннулирован и дело передано ему для переследствия. Вот две недели и мучили, но в конце концов приговор суда оставили в силе.

Между прочим он рассказал следующую историю.

В камере, где сидел Мгебришвили, находился один армянин, крестьянин из Ахалкалакского района, по имени Седрак. Разумеется, он тоже должен был убить

Берию. Седрака как «важного преступника» вызвал на допрос сам нарком Гоглидзе.

Когда его привели в кабинет Гоглидзе и тот хотел приступить к допросу, Седрак сказал:

— Начальник, Седрак очень голодный, кушать хочет, говорить не может.

— Накормите его,— распорядился Гоглидзе.

Накормили и снова привели в кабинет наркома.

— Спасибо, покушал, а теперь Седрак очень хочет пить.

— Дайте ему воды,— распорядился нарком.

— Нет, начальник, зачем воды? Седрак чай хочет.

— Дайте ему чаю.

Напившись чаю, Седрак сказал:

— Спасибо, начальник, Седрак нанился, а теперь Седрак курить хочет.

Дали ему папиросу, Седрак выкурил, поблагодарил и на предложение Гоглидзе «ну, говори» Седрак ответил:

— Нет, начальник, Седрак говорить не хочет. Седрак правильный человек, неправду говорить не будет.

Разумеется, угощение Седраку обошлось дорого...

Мы жили в этой камере до 17 ноября 1937 года.

Семнадцатого утром наш внимательный Миша сообщил нам, что готовится этап, что нас всех троих вызовут с вещами, чтобы мы не тревожились. Немного погодя, в тот же день он сообщил, что жены Мгебришвили и Хвойника арестованы и доставлены в тюрьму. Я спросил про Любу. Он проверил и сказал, что ее нет в тюрьме.

Мгебришвили и Хвойник были очень встревожены арестом своих жен. Особенно Хвойник. Он очень сокрушался — у них была маленькая дочь.

— А как с Людой? Кому оставили Люду? — говорил Хвойник.

После обеда всем нам предложили приготовиться с вещами и перевели в большую камеру, что находилась против нашей камеры. Очутившись в этом аду, где навалом друг на друге находилось до трехсот человек, мы по-настоящему оценили ту огромную услугу, которую оказал нам Миша.

Среди осужденных в этой камере оказался один из курсантов Закавказской межкраевой школы. Он свою практику проходил в Армении и там был арестован. От него я узнал, что были арестованы секретари ЦК КП Армении Амо Аматуни и Степа Акопов, узнал о гибели председателя Совнаркома Армении Саака Мирзоевича Тер-Габриеляна, об аресте ряда работников НКВД Армении.

Спустя много лет, будучи в Ереване, я встретился со старым моим другом Арменаком Токмаджяном. Он рассказал, что в июле 1938 года на стене одной из камер тюрьмы он прочитал надпись, сделанную рукой старого члена партии Арама Дастакяна: «Судебным «разбирательством», длившимся пять минут, я приговорен к смерти. Умираю совершенно невинный. Горячий привет и поцелуи родным. Да здравствует армянский народ, да здравствует Сталин». Аналогичные надписи делали Айказ Карагезян, Ншан Макинц...

На стене была также надпись Ваана Тотовенца, сделанная в художественной форме. Очень жаль, что Токмаджян не запомнил последние слова талантливого писателя.

В камере рядом находились и ждали приговора Сергей Мелик-Осипов, Вардкес Авакян, Самсон Варданян, Ваган Мелкумян, Аветик Геворкян... Все члены партии, руководящие работники.

Целая плеяда армянских чекистов была уничтожена. Из отбывших сроки и вернувшихся я встретился с Алешей Дулгаровым, Ваганом Айрапетовым и Анаидой Панян. Кажется, кроме них, никто не уцелел.

— Нас выводили на прогулку только ночами,— говорил Токмаджян.— Когда мы протестовали и просили выводить на прогулку днем, чтобы дать нам возможность погреться на солнце, то начальник тюрьмы Захар Микаелян говорил: «Советское солнце не для вас, контрреволюционеров». Теперь этот Захар отслужил свою службу, ушел на почетную пенсию, получает вдвое больше, чем заслуженные инженеры, и разгуливает по улицам Еревана.

Анаида Панян рассказывала, как были арестованы она и ее муж Перч. Это было в конце августа 1937 года. Перч Панян, Анаида и их двенадцатилетняя дочь Дина возвращались из Москвы. Они не знали, что их ожидает в пути. По прибытии поезда в Ростов работники НКВД окружили поезд и искали «крупного контрреволюционера в форме капитана госбезопасности» и его жену. Они рыскали по всему поезду и на платформе. Многих военных останавливали, приказывали «руки вверх», проверяли документы. Наконец «крупный контрреволюционер в форме капитана госбезопасности» и его жена были найдены и тут же разлучены.

— Перча увели раньше меня,— говорила Анаида,— я смотрела ему вслед, обезумевшая от неожиданного удара. Перед выходом из вагона Перч повернулся ко мне и крикнул: «Знай, Анаида, я честный человек, ни в чем не виновен...» Его заставили замолчать и увели.

— А Дина?

— Дина! Кого могла интересовать судьба двенадцатилетней девочки? Я заявила, что девочка осталась одна, но мне грубо отрезали: «Ничего, доедет». Дина в одно мгновение лишилась отца и матери.

Да, Дина осталась одна среди незнакомых, перепуганных людей. Но Дине «повезло». Ехал в том же вагоне товарищ ее родителей по работе Гога Погосов. Хорошо, что он не испугался, проявил заботу о Дине, протелеграфировал в Ленинакан, там встретили поезд и забрали девочку.

12

ЭТАП

Только на следующий день после обеда занялись нами. Вызывали по одному и уводили из камеры. Всех уже вывели, остались мы втроем: Хвойник, Мгебришвили и я. Хвойник очень нервничал.

— Вот нас оставили, заберут обратно в НКВД и шлепнут,— повторял он.

Я прикрикнул на него:

— Будь мужчиной, успокойся, возьми себя в руки и не ложись в могилу раньше времени!

Сколько прошло времени, не знаю. Каждая минута ожидания нам казалась вечностью. Хотя я успокаивал Хвойника, но и сам начал беспокоиться и нервничать.

Наконец вызвали Мгебришвили. Через некоторое время пришли за Хвойником, затем вызвали меня. Когда меня вывели во двор, я увидел всех «этапников» со своими вещами, сидящих на земле в окружении усиленной охраны. Но меня не присоединили к ним, а ввели в контору тюрьмы. Там никого не было. На письменном столе лежало много запечатанных сургучной печатью больших пакетов. «Это дела тех, кого отправляют в этап,— подумал я.— Интересно, есть ли среди них наши дела?» Конвоир поставил в углу комнаты табуретку, приказал мне сесть, запер контору на ключ и ушел.

— Значит, этап,— произнес я вслух,— но для нас ли?

— Сурен, это ты? — донесся до меня голос Хвойника.

Оказалось, он заперт в соседней комнате.

— Да, я. Тебя тоже заперли? А где Сосо?

— Не знаю, я его не видел. Видишь, нас не присоединили к этапу. Значит, нас заберут обратно в НКВД. Я больше не могу. Я спрятал лезвие в спичечной коробке... Я вскрою вены...

— Ты с ума сошел, Леня! Не смей, слышишь? Мне отсюда все видно, я буду сообщать тебе, что происходит. Если этап отправится, а мы останемся, значит, ты прав, конец. Тогда делай что хочешь, а до этого не смей, понял? Дай мне слово.

Я передавал Хвойнику все, что видел, стараясь всячески его успокоить. Наконец пришел кто-то из конвоя и стал перебирать дела. Раз, два, три... Тридцать пять.

Я с трепетом следил за его действиями. Хвойник что-то спрашивает, но я не могу ответить в присутствии конвоира.

— Сурен, что ты молчишь? Сурен, где ты? — спрашивает Хвойник.

В ответ я громко кашлянул.

— Тридцать пять дел,— сказал конвоир вслух.— Всё.

«Всё». Внутри что-то оборвалось. Тридцать пять без нас троих. Значит, нас отделили от этапа. Опасения Хвойника оправдываются. Нас, безусловно, возьмут в НКВД.

Конвоир забрал дела и уже дошел до двери, но что-то вспомнил и вернулся.

— Вот черт, чуть не забыл,— сказал он, достал из ящика еще три дела, три таких же сургучной печатью запечатанных пакета, присоединил к остальным и ушел.

— Леня! Леня! Едем, слышишь? — крикнул я, как только конвоир вышел.— Выброс лезвие, оно теперь не нужно. Выброс сейчас же!

В окно я видел, как этапников построили по пять человек в семь рядов. Затем привели Мгебришвили из больничного корпуса и присоединили к этапу. Я передал об этом Хвойнику.

— Идут за нами, Леня! Смотри, если меня возьмут раньше, не дури.

Сперва вывели меня и показали мое место в одном из рядов этапа. Вслед за мной вывели Хвойника.

На вокзале нас под усиленной охраной ввели в «столыпинский» вагон. В четырехместном купе нас было тринадцать человек. Из всего вагона только три купе занимали заключенные, а в остальных разместилась охрана. Мгебришвили, Хвойник и я оказались в разных купе.

Мы определили, что нас прицепили к скорому поезду Тбилиси — Москва.

Этап был мучительный. Нарочно были созданы невыносимые, нечеловеческие условия. У нас были отобраны все деньги, и по дороге нам ничего не покупали. Арестантский паек состоял из хлеба и очень соленой вонючей селедки или, еще хуже, какой-то полусырой, полувяленой тухлой рыбы. Хотелось пить, но вода давалась каждый раз со скандалом. Адские условия этапа усугублялись тем, что нам не разрешали пользоваться уборной по нашему желанию. Начальник конвоя строго предупредил, что будут пускать в уборную два раза в сутки — утром и вечером, никому никаких исключений не будет. Мы сразу же убедились, что конвой намерен строго придерживаться этого. Просьба многих пользоваться уборной в «неположенное» время ни к чему не приводила. Пошли в ход все емкости, в том числе и обувь. Ужасная вонь стояла в купе. Мы задыхались. Все было сделано, чтобы унизить наше человеческое достоинство, и каждый раз, когда мы протестовали, получали один и тот же ответ: «Не забывайте, что вы заключенные». Странная логика: заключенный не человек, ему не присущи человеческие потребности и он не имеет права пользоваться уборной, когда это ему необходимо. Заключенных можно запихивать по тринадцать человек в четырехместное купе...

Наконец приехали в Москву. Из крошечного окна была видна часть «воли». Странно было видеть людей, идущих без конвоя. Потом наш вагон перебросили куда-то, и мы оказались между товарными вагонами. Несколько дней простояли там и наконец тронулись. Старались определить направление. Установили, что едем по ленинградской дороге. Едем медленно, на станциях долго стоим, вагон освещается свечами. Простояв двое суток на какой-то станции, поехали дальше, но в Ленинград не приехали, продолжали ехать куда-то в неизвестность.

Но от арестанта ничего не скроешь. По вагону прошел слух, что едем на Соловецкие острова. Когда прибыли в Петрозаводск, уже не оставалось никаких сомнений: едем в Соловки.

Наконец по поведению конвоя мы определили, что прибыли на станцию назначения. Это было шестого декабря поздно вечером. Еще одну бесконечную северную ночь нам пришлось ночевать в вагоне. Нас начали выгружать на следующий день, когда совсем рассвело. Выводили из вагона под усиленной охраной. Было много служебных собак. Всех заключенных вывели сразу. Хвойник, Мгебришвили и я опять оказались вместе. Нас построили. Начальник конвоя грозно предупредил: «Идти строго по следам переднего и смотреть на его каблуки. Шаг вправо, шаг влево будет считаться попыткой к бегству. Конвой имеет инструкцию применять оружие без предупреждения».

Начальник конвоя держал в руке шомпол и то и дело тыкал им в заключенных.

Мы находились на станции Кемь — перевалочной базе Соловецких островов. Наш вагон не был в единственном числе. Нас прибыло много вагонов, длинный состав.

Со станции нас повели в порт, где стоял небольшой пароходик. В порту нас приняла другая команда, очевидно, тюремная. Наша группа очутилась в центральной большой каюте. Среди нас оказалось много москвичей. На пароходе мы пользовались свободой. Двери кают были открыты, мы свободно общались с заключенными других кают. Не разрешалось только выходить на палубу. Стоял необычный для нас, южан, трескучий мороз, и никто из нас не ощущал необходимости выходить на наружную палубу. Среди москвичей было много работников авиационной промышленности, авиационных институтов, конструкторских бюро. От них мы узнали, что арестован Андрей Николаевич Туполев.

Ехали мы недолго. Хвойник, Мгебришвили и я договорились просить тюремную администрацию поместить нас вместе.

Наконец показался великолепный и грозный Соловецкий монастырь, замечательное творение мастеров русского зодчества. Наш пароход причалил. Мы увидели на окнах отдельных корпусов монастыря такие же железные козырьки, какие были в тбилисской тюрьме. «Неужели и здесь, на этом острове, нас будут держать под замками в изолированных камерах?» — с грустью подумали мы.

Началась высадка. Нас, тбилисцев, повели отдельной группой. Мы успели рассмотреть толстую высокую стену монастырской ограды, фундаментом для которой служили огромные глыбы базальта.

Еще издали мы заметили что-то красное над воротами ограды. Когда подошли близко, то увидели большой плакат и прочитали пламенное приветствие из аршинных белых букв на алом кумаче: «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!» Кто-то счел нужным подправить Пушкина.

Тяжелые железные ворота отворились, и мы очутились внутри ограды. Нас повели дальше по двору. Навстречу нам попадались люди в валенках, стеганых брюках, бушлатах, шапках. Они с любопытством рассматривали нас. Отдельные смельчаки, игнорируя грозные окрики конвоя, подходили ближе и спрашивали: «Откуда вы?»

Нас остановили перед дощатым забором. Вышел человек со списком в руках, и мы не поверили собственным глазам.

— Головин! — вырвалось у нас.

Да! Это был Головин, заместитель начальника спецотдела НКВД Грузии. Несколько месяцев назад Головин добился перевода в распоряжение НКВД СССР. И вот он в Соловецкой тюрьме принимает нас, заключенных.

— Вот это хорошо,— обрадовались мы.— Неплохо иметь своего человека. Конечно, он нас не разлучит.

В первую партию из десяти человек включили из нас троих только меня. Головин посмотрел на меня отсутствующим взглядом, спросил фамилию, имя, отчество. Опросив всех, Головин приказал:

— Уведите.

— Сделайте, пожалуйста, чтобы Мгебришвили, Хвойник и я были вместе,— попросил я.

Головин косо посмотрел на меня, ничего не ответил, а конвоир гаркнул: «Разговоры!»

Мы очутились в корпусе. Произвели обыск, сняли с нас пальто, отобрали личные вещи, продукты питания, табак, которым мы запаслись в Тбилиси изрядно. Мы просили оставить нам пальто и дать немного табаку.

— В камерах жарко, пальто вам не понадобятся. Продукты и табак дежурные будут давать вам понемногу. Не беспокойтесь, ничего вашего не пропадет,— успокоил нас старший вахтер.

После окончания этой процедуры мы в сопровождении двух вахтеров поднялись на второй этаж. Шли по длинному коридору. Все двери камер были заперты большими висячими замками. Одна камера была настежь открыта. Нас завели туда. Большая, с двумя окнами, с деревянным полом. Хотя на окнах снаружи были козырьки, но в камере было достаточно светло. В два ряда стояли деревянные койки, по пять коек в ряду. Между ними проход. Стол — ближе к двери, а у самой двери — параша.

На стене висели «Правила внутреннего распорядка тюрьмы». Строгие правила: не шуметь, не петь, громко не разговаривать, выполнять все требования тюремной администрации; переписка с родными разрешалась только с разрешения начальника тюрьмы. Получать деньги в пределах 50 рублей в месяц, никаких свиданий с родными не разрешалось, нельзя было получать продуктовые посылки... За нарушение какого-либо пункта «правил» заключенные будут наказаны карцером до пяти суток, лишением права переписки сроком до трех месяцев и так далее.

Моих сокамерников не помню, за исключением одного — инженера-железнодорожника Харебова. Много общего было между Хвойником и Харебовым. Харебов тоже нервничал по каждому поводу и боялся расстрела.

— Не может быть, чтобы государство тратило огромные деньги на длительное содержание такого количества арестованных, это безумие,— говорил он,— поэтому нас всех расстреляют.

Каждый раз, когда двери камеры открывались, Харебов забивался в угол и дрожал.

Не прошло и часа — нам принесли хлеб. Первую пайку соловецкой тюрьмы. А сколько впереди? Нам было объявлено, что наша дневная порция — 700 граммов хлеба. Вслед за хлебом принесли обед. Каждый из нас подходил к форточке и получал суп в стандартных эмалированных мисках. Мы сильно проголодались в дороге, и суп показался нам очень вкусным. Каково было наше удивление, когда нам предложили получить второе. Нам дали по большому куску жареной трески. Одни тут же принялись за рыбу, другие решили оставить ее на ужин.

Через некоторое время велели приготовиться на прогулку.

— Одевайтесь теплее, на дворе мороз. На прогулку выходить желающим.

Нежелающих не оказалось, а предупреждение «одеваться теплее» было излишне, так как пальто у нас отобрали.

Нас вывели на задний двор корпуса. Там были прогулочные дворики — высокие дощатые клетки размером приблизительно 5× 5 метров. Таких двориков было четыре. Наверху, по длине всех четырех двориков, был устроен мостик. Оттуда за гуляющими наблюдал вахтер. Кроме того, на дверях, ведущих в дворики, имелись «глазки», точно такие, какие были на дверях камер. Второй вахтер наблюдал за прогулкой через глазок. Мы никак не ожидали, что будем так строго изолированы, и были очень удручены этим.

Во дворике нам предложили построиться по одному, в затылок. Первому было предложено шагать медленно, а каждый последующий должен был смотреть на каблуки переднего.

Посреди прогулочного дворика лежала могильная плита. Я вышел из шеренги, подошел к плите, чтобы прочитать надпись. Вахтер предложил сейчас же войти в строй, иначе всю камеру лишат прогулки. Но, гуляя, я сумел-таки прочесть надпись. Это была могила атамана Запорожской Сечи Кольнышевского, сосланного в Соловки на двадцать пять лет Екатериной Второй. Он родился в 1696 году и умер в 1808-м, захватив в своей жизни три века. По отбытии срока ссылки ему было разрешено проживание на родине, но «он не захотел оставить сию обитель, где обрел смиренность христианина», как гласила надпись, и через несколько лет умер на 112 году жизни.

Быстро стемнело.

Мы не поверили своим ушам, когда нам предложили получить ужин. Дали кашу.

— Это санаторий, а не тюрьма!

— Так я с удовольствием просижу десять лет.

— Вот где нарушение Конституции: мы не работаем, а едим.

После ужина получили кипяток, затем была оправка, а когда вахтер объявил: «Отбой, можете ложиться спать»,— многие давно уже храпели.

Первый день пребывания в соловецкой тюрьме кончился. За ним последовал второй, как капля воды похожий на первый, затем третий.

Однажды послышался необычный шум в коридоре. Давно был объявлен отбой, и камера спала.

— Вставайте, одевайтесь! Приготовьтесь с вещами. Одевайтесь потеплее на выезд.

Моментально поднялись все. Предположениям не было конца.

— Странно, что все это означает?

— Неужели не знают, что у нас нет пальто и мы никак не сможем одеться теплее!

— Неужели опять в этап?

Через несколько минут вызвали меня и одного армянина по фамилии Карапетян. Он был рабочим тбилисской обувной фабрики.

В коридоре соединили с нами людей из других камер и, когда нас стало десять человек, всех вывели во двор. Во дворе стояла грузовая машина. Вынесли наши вещи. Каждый узнал свой узел. Мы попросили разрешения взять из узлов пальто, но нам отказали. Вещи погрузили в машину, а потом посадили нас. По углам машины заняли места конвоиры с ружьями. Старший по конвою объявил, что всякие разговоры и шушуканье категорически запрещены. Нельзя также шевелиться. Малейшее нарушение этого правила будет считаться попыткой к бегству, и конвой без предупреждения применит оружие.

Машина тронулась, и темнота поглотила нас. Видно было, что мы едем по лесу. Карапетян, сидящий рядом, толкнул меня в бок и указательным пальцем сделал жест, означающий, что нас везут на расстрел. Ехали мы больше получаса. Окоченели все. Наконец показались огни. Машина остановилась. Открыли задний борт и скомандовали:

— Вылезай!

Нас ввели в совершенно пустую камеру и закрыли дверь. Пахло сыростью. Было холодно, стенная печь не топилась.

«Что все это означает, куда нас завели?» — недоумевали мы.

— Неужели вы не видите, что это настоящая смертная камера,— авторитетно заявил Карапетян.— Мне не приходилось бывать в смертных камерах, но я слышал, что в них не держат никаких предметов. Даже параши нет... Ох, хоть бы сто граммов трахнуть перед смертью!

Возможно, Карапетян прав, но не следует заранее ложиться в могилу. Увидим.

Нас держали в неведении около двух часов. Затем вывели всех и повели в другую комнату в том же коридоре. Комната была жарко натоплена. Много было там тюремного персонала. Нам предложили раздеться догола, сперва постригли, а затем произвели тщательный обыск. Я не оговорился — голого человека обыскивали тщательно: смотрели во рту, в ушах, в заднем проходе. Предлагали растопырить пальцы и смотрели между пальцами. Затем составили опись наших вещей, включая и те, которые были на нас надеты. Выкинули из вещей весь табак. До нас другие были подвергнуты этой процедуре, и в углу образовалась целая гора табака. Записали деньги, отобранные в Тбилиси. Предупредили, что если в вещах имеются зашитые деньги, надо заявить, и в таком случае эти деньги будут включены в счет заключенного, а если они обнаружатся потом, то будут конфискованы. По окончании всех этих процедур каждый из нас подвергся тщательному медицинскому осмотру. Тюремный врач измерял температуру, подробно расспрашивал нас, записывал ответы.

— На что жалуетесь? — спросил он меня.

— На сильные головные боли, мигрень со рвотой, на сердечные приступы с резким падением пульса, на...

Он не дослушал моих жалоб.

— Все это результат переутомления. В тюрьме вы не будете работать, и эти явления пройдут.

Медосмотр закончился.

— Обувь временно останется у вас, можете обуваться,— распорядился один из начальников. Тогда мы не поняли значения этих слов.

При нас все вещи, в том числе и одежду, связали в отдельные узелки, нацепили на них бирки и квитанции. Каждый из нас своей подписью подтвердил, что опись вещей составлена правильно.

Последовала команда:

— Выходите! Разговаривать запрещается.

Никто из нас не спрашивал, куда ведут голыми, но каждый думал об этом...

Вышли в коридор. Зуб на зуб не попадал. Два вооруженных вахтера вывели

наружу и повели куда-то в темноту. Только белизна снега помогла нам с трудом разглядеть узкую тропинку, по которой мы шагали гуськом. Один вахтер шел впереди, другой замыкал шествие.

Куда мы идем? Куда могут вести голых людей ночью, в сорокаградусный мороз? «Конечно, на расстрел,— теперь уж определенно думал каждый из нас, на этот раз и я тоже.— Больше некуда. Где-то ждут нас вооруженные люди, и мы делаем сейчас последние шаги на этом свете...»

Прошли мы шагов около трехсот. Впереди показался тусклый огонек. Еще несколько шагов, и мы увидели какое-то низкое строение. Нас ввели туда, и только здесь мы поняли, что попали в... баню.

— Мойтесь быстрее, вам дается двадцать минут,— распорядился конвоир.

Надо ли говорить, какое это было блаженство для нас, окоченевших людей? Мы не только мылись, но праздновали наше второе рождение, ведь мы были уверены, что утро наступит не для нас.

Когда мы, помывшись, вышли в предбанник, увидели десять комплектов одежды, совершенно новой, начиная с нижнего белья и кончая ватными бушлатами. Не были забыты также головные уборы — фуражки.

— Скоро фуражки заменим шапками,— сказал вахтер.

Когда мы оделись, вахтер сострил, в нарушение правил, запрещающих персоналу вступать с нами в разговоры:

— Ишь ты, как нарядились, словно к теще на блины собрались.

Нас вернули в ту же камеру, но теперь здесь стояли десять деревянных коек с матрацами, набитыми сеном, с одеялами, постельным бельем, подушками, тоже набитыми сеном, полотенцами. Длинный стол и около дверей большая деревянная параша. На стене — знакомые нам «правила».

Начался было спор из-за мест, но в камеру вошел старший вахтер со списком, каждому указал койку и предупредил, что меняться местами нельзя. Дальше он разъяснил, что номер койки является номером заключенного и что фамилию свою можно забыть, но номер — нельзя.

Я оказался номером седьмым. Кстати, и камера эта была седьмая.

Итак, нас в камере десять человек, и все из Тбилиси.

Александр Джорджадзе — профессор, железнодорожник. Почетный старик семидесяти пяти лет, окончил Петербургский институт железнодорожного транспорта, стал высококвалифицированным специалистом-мостовиком, его имя было хорошо известно в Советском Союзе. Имел труды по мостостроению.

Гоги Мамулашвили — сын очень известного не только в Советском Союзе, но и за границей цветовода Михаила Александровича Мамулашвили. Всю жизнь Михаил Александрович посвятил любимому делу — выращиванию цветов.

Гоги Мамулашвили в первые годы после установления в Грузии советской власти с группой молодых людей был послан в Германию на учебу. Он вернулся на родину с дипломом инженера и беспрерывно работал на железнодорожном транспорте.

Василий Киквидзе. Он обвинялся в том, что по заданию своего дяди Михаила Окуджавы проводил троцкистскую работу. Он твердо верил в силу какого-то документа, что у него сохранился.

— Понимаете, какое дело,— говорил Киквидзе,— у меня есть документ о том, что в тот самый момент, когда я якобы по заданию моего дяди ездил в районы и вел троцкистскую работу, я находился в Москве, учился и работал. Есть справки с места работы и учебы. Я хотел обмануть следователя и ему ничего не говорил об этих справках. Я очень рассчитывал, что суд это учтет, но этого не случилось. И все-таки я думаю, что эти справки мне помогут восстановить истину.

Канделаки. Молодой аджарец. Недавно он окончил педагогический институт и начал учительствовать.

Кучухидзе. Ему едва исполнилось семнадцать лет. Он учился в восьмом или девятом классе средней школы. Несмотря на молодость, обвинялся не только во вредительстве, диверсии и подготовке террористического акта, но и в участии в «молодежной организации фашистско-монархического направления». Он болел туберкулезом легких, и позже я узнал, что он умер в соловецкой тюрьме.

Микая — инженер-строитель, Месхи — малограмотный парень восемнадцати лет, работник буфета станции Боржоми; Карапетян и Козинцев — оба рабочие. Джорджадзе и Месхи — беспартийные, Кучухидзе — комсомолец, остальные семь человек — коммунисты.

Мы узнали, что находимся на одном из островов Соловецкого архипелага, на острове Муксалма, в одиннадцати километрах от центрального острова, с которым Муксалма соединен дамбой.

После не совсем обычной прогулки в баню никто из нас не заболел даже насморком. Джорджадзе, семидесятипятилетний старик, изнеженный организм которого никогда до тюрьмы не испытывал трудностей, говорил:

— Если мне суждено будет выйти отсюда и рассказать все это, меня примут за сумасшедшего. Или скажут, что в тюрьме я научился врать.

За исключением Джорджадзе и Киквидзе, все остальные были курящими, даже семнадцатилетний Кучухидзе. Мы все ругались из-за того, что весь табак отобрали и ни щепотки не дали.

— Немедленно прекратите разговоры и ложитесь спать,— раздалась команда коридорного.

Утром Джорджадзе, Мамулашвили, Киквидзе и я признались, что провели бессонную ночь. Слишком много было впечатлений.

День начался, как и следовало, с оправки. Потом раздали хлеб, дали всем по новенькой кружечке, принесли чайник с кипятком и сахар в мешочках.

— Сахар рассчитан на десять дней. Освободите мешочки и верните,— приказал коридорный.

Мы на глаз определили, что нам дали по двести граммов сахару. Значит, двадцать граммов в день.

Последовала команда:

— Приготовиться на поверку.

По всей вероятности, кончились этапные мытарства и мы начали по-настоящему отбывать срок.

13
СОЛОВЕЦКАЯ ТЮРЬМА

Остров Муксалма

— Поверка,— крикнул вахтер, открывая дверь.

Мы кинулись в коридор, полагая, что в коридоре нас будут считать, как это иногда делали в тбилисской тюрьме.

— Куда прете? — закричал вахтер.

Мы отпрянули назад, и сейчас же за нами вошел человек, производящий поверку,— старший по корпусу, или «корпусной». Он был весь в черном. Черная шинель, застегнутая на все пуговицы, черная шапка. Маленькое серое лицо, нос — как птичий клюв, маленькие бегающие глазки. В руке деревянный молоток. Поздоровался с нами и сделал замечание, что мы неправильно его принимаем. Оказывается, мы должны были стать в шеренгу и ждать его прихода. Затем он подошел к окну и стал выстукивать решетки. Убедившись, что никто за ночь их не перепилил, он собрался уходить, но мы его остановили:

— У нас много вопросов, с кем мы будем разрешать их?

— Никаких вопросов, понятно? — буркнул он и вышел.

Кличка напрашивалась сама собой, и несколько голосов почти одновременно произнесли:

— Настоящий черный ворон.

Потом мы узнали, что во многих камерах его именно так и прозвали.

Вскоре в камеру вошли двое. Один из них с блокнотом. Вежливо поздоровались.

— Мы представители тюремной администрации,— сказал тот, что с блокнотом.— У кого есть вопросы?

Вопросы посыпались градом.

— Не все сразу, давайте по очереди.

— Будет ли разрешена переписка с родными?

— Сегодня же дадут бумагу каждому, кто хочет переписываться с родными. Напишите заявления на имя начальника тюрьмы. Переписка будет разрешена только с одним человеком. К родственникам относятся жена, мать, отец, сын, дочь, брат и сестра. В заявлениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, степень родства, род занятий, возраст и национальность того, с кем хотите переписываться, и, конечно, адрес. Вам будет разрешено писать по два письма в месяц и столько же получать.

— Мы хотим обратиться в директивные органы с заявлением по поводу неправильного осуждения. Как это сделать?

— Раз в месяц вам будет выдаваться бумага для заявления, один стандартный лист. Писать будете простым карандашом. Предупреждаю, к руководителям партии и правительства нельзя обращаться со словом «товарищ». Такие заявления отправляться не будут.

— Получим ли книги?

— Да, книги вы получите. По одной на человека на десять дней.

— А игры?

— Какие игры?

— Шахматы, шашки, домино...

— Здесь тюрьма, а не клуб. Никаких игр.

— Нельзя ли получить хотя бы небольшую часть отобранного у нас табака?

— Нет, табак в камере не разрешается иметь. Кто имеет на счету деньги, может выписать папиросы из нашего ларька. Можете выписать и продукты, какие имеются в ларьке. Раз в десять дней будет выписка продуктов.

— У нас нет носовых платков. Нельзя ли получить их из наших вещей?

— Нет. Из ваших вещей ничего не будете иметь в камере. Вашу обувь вы носите временно. Скоро получите тюремную. Что касается носовых платков, то вы получите их в бане.

— Дадите ли нам работу?

— Вы осуждены к тюремному заключению, а в тюрьме нет никаких работ.

— Будем сидеть под замком весь срок и ничего не делать?

— Конечно, а как вы думали?

— Можем ли иметь тетради в камере?

— Да, каждый из вас, у кого есть деньги на счету, может выписать из ларька тетради и простые черные карандаши. Тетради будут находиться у старшего по корпусу, а в камеру будут даваться по две тетради. Когда эти тетради будут исписаны, вы их сдадите дежурному и после проверки получите новые. Предупреждаю, использовать тетради для заявлений не разрешается. Листы тетрадей будут пронумерованы, вырывать их нельзя. Нарушители будут строго наказаны и навсегда лишены права иметь тетради в камере.

— Можно покупать тетради для тех, у кого нет денег?

— Нельзя.

— Дадите нам почитать газеты?

— Газеты будете выписывать сами. Одна газета на камеру. За ваш счет.

После того, как с вопросами было покончено, представитель администрации перешел к наставлениям:

— Первое. Вы обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка тюрьмы. Нарушение любого пункта этих правил влечет за собой строгое наказание, а злостные нарушители будут привлечены к уголовной ответственности. Второе. Не разрешаются выборы старост. Для соблюдения чистоты будете дежурить по очереди. В камере должна быть идеальная чистота. Третье. Хотя в правилах не указано, но учтите: днем не разрешается лежать или спать на койках. За нарушение будем строго наказывать. После обеда будет разрешено лежать один час.

И так далее. Потекли дни...

Однажды после обеда Месхи и Карапетян легли, не дождавшись команды «отбой». За Месхи и Карапетяном последовали остальные. Час давно прошел, а команды «подъем» не было. Поднялись без команды. Месхи и Карапетян остались лежать. Надзиратель смотрит в глазок, но не делает замечания. Странно...

— Неужели снято ограничение и можно лежать на койках сколько угодно?

Канделаки взялся проверить это дело. Он был соседом Месхи по койке. Разулся и лег. Никакого замечания со стороны надзирателя. Карапетян отложил книгу и растянулся. Надзиратель никак не реагирует. Козинцев лег, не сняв ботинки, и положил ноги на спинку койки. Надзиратель открыл форточку.

— Вы дома разве ложитесь в ботинках на койку? Снимите ботинки, тогда ложитесь.

Ура! Запрет был снят. Лежи, сколько твоей душе угодно. Хотя об этом не было объявлено, но вошло в силу моментально.

Наша камера получала газету «Северная правда». Каждый раз с получением нового номера отбирали старую газету.

Изнывая от безделья, споря друг с другом по каждому поводу, мы прожили до марта 1938 года.

Все мы ждали ответа на наши заявления, надеялись на пересмотр наших дел. Никто из нас не верил в реальность срока, на который мы осуждены. Но ведь дни идут, и недели, и месяцы... А мы сидим.

Получив первую тетрадь, я в ней написал пространное письмо в ЦК. Описал беззакония, свидетелем которых я был, перечислил людей, которые сделались жертвой клеветы и оговора, рассказал о пытках, которым подвергались заключенные, о нарушениях советских законов во время следствия и судопроизводства. Исписал всю тетрадь. На первом листе тетради написал заявление на имя начальника тюрьмы и просил переслать мое письмо в ЦК. Я писал начальнику тюрьмы: «Знаю, что нарушаю установленные правила и использую тетрадь не по назначению, но прошу послать письмо по адресу, а меня наказать, если это неизбежно».

Меня не наказали, но послали ли мое письмо в ЦК — до сих пор не знаю.

В марте 1938 года как-то зашел в нашу камеру начальник корпуса, спросил фамилии у Мамулашвили и у меня и предложил собраться с вещами. Это было неприятной неожиданностью не только для нас, но и для всех. «Собраться с вещами». Неужели здесь, где мы отбываем длительные сроки, мы не избавлены от этого глубоко нервирующего окрика. Сильное волнение охватило всех.

Мамулашвили и я попрощались со всеми и вышли.

А в камере осталось восемь человек, с которыми мы делили горе и «радости». Да, и в тюрьме бывают радостные события... Мы расстались, а как сложилась судьба каждого из них, мы узнать не сможем, если только какая-нибудь случайность не столкнет с кем-нибудь из них еще раз.

Нас сперва повели в комнату дежурного, произвели обыск, а затем привели в новую камеру на втором этаже этого же корпуса. Показали наши места.

Грешно называть камерой эту большую светлую комнату с двумя окнами и паркетным полом. Какая разница между той камерой, где мы были, и этой! Несмотря на козырьки за окнами, в камере было много света. Нас окружили новые люди. Выяснилось, что несколько минут назад из этой камеры забрали двоих, а их места заняли мы.

Новыми сокамерниками оказались: Петр Григорьевич Петровский [1] — стар-

---

[1] Петр Григорьевич Петровский — сын Григория Ивановича Петровского, видного деятеля большевистской партии, председателя Всеукраинского ЦИК, одного из председателей ЦИК СССР. О редакторе «Звезды» Петре Григорьевиче сохранились очень скупые биографические сведения. Но вот что о нем можно узнать из недавней публикации, статьи И. П. Донкова и Л. П. Петровского «Страницы героической жизни», посвященной 110-летию со дня рождения Г. И. Петровского, напечатанной в журнале «Вопросы истории КПСС» (1988, № 2, 33—37):

«...1938 год. Как и многих других большевиков-ленинцев, Г. И. Петровского очень тревожили те ненормальные явления в партии и стране, которые все активнее входили в жизнь советского общества в связи с нарастающим культом личности Сталина. Он был потрясен необоснованными массовыми репрессиями против советского народа, честных коммунистов, арестами многих своих старых товарищей по борьбе. Один за другим в лагерь «врагов народа» попадали его друзья и соратники — С. В. Косиор, И. Э. Якир, П. П. Постышев, В. Я. Чубарь, Э. И. Квиринг, К. В. Сухомлин и другие. А вскоре наносятся удары и лично по Петровскому: он отстраняется от активной политической деятель-

ший сын известного всем старого большевика, депутата Государственной думы от большевистской партии, председателя ЦИК Украины Григория Ивановича Петровского. Борискин — руководящий работник Госбанка СССР, Меднис — руководящий работник наркомата земледелия Украины, Уханов — партийный работник, секретарь райкома где-то в Средней Азии, Харченко — научный работник одного из украинских институтов, Штейнберг — сын известного композитора...

Атмосфера в этой камере была совсем другой. Петровский, Борискин, Меднис рассказывали много интересного из своей жизни. Интересные были ребята — Харченко и Штейнберг. Они совершенно разные. Харченко, окончивший аспирантуру, научный работник, очень подвижный, веселый, остроумный; Штейнберг — молчаливый, до уродливости некрасивый, болезненный, медлительный. От отца он унаследовал музыкальность. Увлечение эсперанто явилось причиной его ареста. Обнаруженные у него записи по эсперанто были использованы следователем как доказательство шпионской деятельности Штейнберга в пользу сразу нескольких государств.

Петр Григорьевич Петровский, член КПСС с 1916 года, выпускник Института красной профессуры, впервые был репрессирован в 1932 году по обвинению в соучастии во фракционной деятельности как член «антипартийного бухаринского правого уклона». В 1935 году он был освобожден и работал редактором в одном из издательств.

В феврале 1937 года Петровский снова арестован. Он, как и многие окончившие Институт красной профессуры, был причислен к так называемой «школе Бухарина» и осужден на пятнадцать лет тюрьмы.

Через месяц после ареста Петровского его жена Клавдия Дмитриевна родила дочь. Петр Григорьевич все время думал о жене, о новорожденном ребенке, об их судьбах. Он не знал, где они находятся, на какие средства живут, и беспокоился. Петровский знал, что его зять, муж сестры, председатель Черниговского областного Совета депутатов трудящихся Соломон Загер был арестован и расстрелян. Он полагал, что в связи с этим должна быть арестована также его сестра, жена Загера, Антонина Григорьевна. Он не знал тогда, что сестра после расстрела мужа уехала из Чернигова и этим избегла ареста.

Петр Григорьевич много думал также о своем брате, бывшем начальнике Московской пролетарской дивизии Леониде Петровском. Кто-то передал ему в тюрьме, что Леонид Петровский арестован и расстрелян. Петровский был уверен в правильности этих слухов. Он не знал тогда, что Леонид не был арестован. Он в 1938 году был исключен из партии, но затем восстановлен, назначен командующим Саратовским военным округом.

Леонид Петровский погиб во время Отечественной войны.

Петровский часто говорил о своем сыне Лене, думал о нем и вздыхал:

— Какая судьба уготована ни в чем не повинному парню, попавшему в такой тяжелый переплет жизни? Что его ожидает?

Петр Григорьевич тяжело переживал также отсутствие писем от жены.

— Ваш отец, наверно, позаботится о ней,— успокаивали мы.— Ведь он такой влиятельный и авторитетный человек.

— Нет, это исключается. И я не имею к нему никаких претензий. Я знаю, в каком трудном положении находится мой отец. Мало того, меня тревожит и его судьба: два сына объявлены врагами народа, один из них расстрелян, зять тоже расстрелян, дочь и невестка арестованы. Каково ему, а?

В те дни в газетах печатали отчеты по так называемому «Бухаринскому процессу». Как известно, только три человека из этого процесса получили сроки: Плетнев 25 лет, Раковский 20 лет и Бессонов 15 лет. Все остальные были расстреляны.

ности, по огульному обвинению был арестован и затем физически уничтожен его старший сын Петр — участник штурма Зимнего, герой гражданской войны, видный партийный работник, один из руководителей молодежного движения страны, секретарь ЦК РКСМ, член исполкома Коминтерна, близкий друг С. М. Кирова, редактор «Ленинградской правды» и журнала «Звезда», ученый-экономист».— *Прим. редакции.*

В газетах все чаще и чаще стали появляться сообщения и даже большие статьи о клеветниках и оговорщиках. Приводились примеры, сообщались фамилии лиц, привлеченных к ответственности за клевету. Сообщались фамилии и тех, которые были невинно осуждены, но выпущены на свободу и реабилитированы. Мы читали в газетах выступление, кажется, Жданова на Пленуме ЦК о клеветниках. При этом он назвал фамилию Кудрявцева в качестве примера клеветника, который «оговорил» в своих показаниях половину киевской партийной организации.

На многих из нас эти сообщения произвели большое впечатление. Нас охватило волнение, мы потеряли покой. Наконец-то лед тронулся, дошло все до Сталина, и колесо будет вертеться в обратную сторону, начнется пересмотр дел, снова все станет на свои места. Каждый из нас был уверен, что если невинно осужденных людей выпускают на свободу и реабилитируют, то именно он должен быть одним из первых реабилитированных. Неужели все это не за горами? Неужели скоро будем на свободе?

Харченко обрадовался больше всех. Он был арестован в Киеве по показаниям Сергея Кудрявцева.

— Я один из тех, о которых говорил Жданов. Скоро нас попросят отсюда. Эх, если бы вы знали, какая у меня тема осталась незаконченной!

Меднис, степенный и малоразговорчивый человек, говорил медленно, отчеканивая каждое слово:

— Боюсь, что из этого ничего не выйдет. Все это сказано для успокоения умов. Я тоже украинский работник большого масштаба. Я тоже оговорен Кудрявцевым. Жданов называет его врагом народа. Чепуха это. Кудрявцев честный человек. Он вовсе не виновен в том, что людей оговорил. Вот если бы оправдали Кудрявцева и многих других, которых знает вся страна, тогда я мог бы поверить, что очередь дойдет до нас. Пока этого нет, нам нечего ждать.

Меднис говорил, что все это лицемерие со стороны тех, в которых мы продолжаем верить.

— Какие наивные люди,— говорил он.— Будто Сталин не знает, что творится, а вы утверждаете, что, мол, теперь все дошло до Сталина и появились клеветники и оговорщики.

— А зачем это надо? Для чего такое лицемерие, как вы называете?

— Как зачем? Сколько людей уничтожено, сколько сидит, сколько семей разрушено, сколько детей оставлено сиротами. Вы думаете, не говорят о массовых необоснованных арестах? Говорят, и не только у нас в стране говорят. Вот и решили. Показать, что у нас кое-где выявлены оговорщики и клеветники, они привлечены к ответственности, оговоренные ими невинные люди освобождены. Отсюда напрашивается вывод: те, кто наказан, правильно наказан. Вот как!

Петровский во всем соглашался с Меднисом. Он не ждал никаких изменений, никакого пересмотра дел и говорил, что если нами займутся, то в худшую сторону.

Но Харченко надеялся и ждал. По-прежнему он писал заявления. Теперь он ссылался на речь Жданова. «Я один из тех, о которых говорил Жданов,— писал он. — Я один из оговоренных врагом народа Кудрявцевым...» «Мое осуждение — роковая судебная ошибка». «Я честный, невинный человек, жертва клеветы и оговора». И так далее.

Писал и ждал, ждал и снова писал.

Писал не только Харченко. Мы тоже писали, мы тоже надеялись. Но по-прежнему никто не получал ответа на свои заявления.

— Нас очень много,— утешал себя Харченко,— очередь еще не дошла.

Мы тоже рассуждали, как он, и ждали.

— Ну, старик,— говорил Харченко двадцатитрехлетнему Штейнбергу,— готовься на свободу. Я согласен, чтобы ты вышел раньше меня, а то одному здесь тебе будет трудно. Сильно-сильно худой будешь на этих тюремных харчах.

Прошли дни и месяцы, а жизнь в камере протекала своей размеренной чередой. Как будто не было никаких выступлений и речей по поводу оговорщиков и оговоренных.

— Нет, такие люди, как Жданов, не имеют права слова бросать на ветер. Как это можно? — говорил Харченко и ждал.

Но время шло. С каждым днем он все меньше и меньше верил в пересмотр дела, но писал и писал: «Меня оклеветал крупный враг народа Кудрявцев...»

Сергей Кудрявцев... Он долгие годы работал в Закавказье, все время на партийной работе, начал с инструктора, дорос до второго секретаря Закавказского краевого комитета партии. В 1936 году Сергей Кудрявцев был назначен вторым секретарем ЦК КП Украины.

Широкоплечий, могучего телосложения, с большой, зачесанной назад шевелюрой, с открытым широким лбом, внимательным выражением умных глаз, с неповторимой легкой улыбкой — таков был Кудрявцев. Он не принадлежал к числу тех, о ком говорят: «Власть портит человека». Сергей Кудрявцев был скромным, когда был инструктором, и остался таким же скромным, когда стал крупным руководящим партийным работником.

Кудрявцев отличался прямолинейностью. Мы всегда с большим вниманием слушали его содержательные, яркие выступления. Помню одно из них. На собрании тбилисского партийного актива обсуждались решения ЦК ВКП(б) о новой Конституции Советского Союза и в этой связи о ликвидации Закавказской Федерации.

Буду Мдивани, тогда заместитель председателя Совнаркома Грузии, решил воспользоваться случаем и еще раз заявить о своей точке зрения на Закавказскую Федерацию. Он сказал, что потребовалось столько лет, чтобы убедились в ненужности Закавказской Федерации. Свое выступление Мдивани закончил так:

— Ну что ж, мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Выступление Мдивани возмутило присутствующих. Лидер грузинских национал-уклонистов остался верен своим антипартийным взглядам. Последние слова Мдивани были встречены криками: «Позор!», «Долой!», «Не хотим слушать!».

На трибуну поднялся Кудрявцев. Он подверг уничтожающей критике точку зрения национал-уклонистов, рассказал о той огромной роли Закавказской Федерации, которую она играла в деле поднятия каждой из республик Закавказья до такого уровня, что теперь каждая из этих республик способна к самостоятельному управлению.

— Надо быть слепым, чтобы не видеть роли Закавказской Федерации в цементировании дружбы народов Закавказья,— говорил Кудрявцев.— Она была настоятельно необходимой и сыграла свою положительную и благородную роль.

Настоящий большевик, человек с неукротимой энергией, живущий только интересами партии, трибун и организатор. Таким мы знали Сергея Кудрявцева.

В этой камере еще ни один человек не получал писем. Наше сообщение о том, что в камере, где мы раньше сидели, были получены письма, обрадовало их.

Петровский не надеялся, что получит письмо. Не зная адреса жены, он послал письмо через какое-то третье лицо и не был уверен в том, что оно дойдет. И здесь случилось неожиданное.

Первое письмо получил именно Петровский.

От неожиданности он побледнел, руки и ноги задрожали, он весь покрылся потом. С трудом он дошел до койки, дрожащими руками достал письмо из конверта и, не дочитав до конца, потерял сознание. Вызвали сестру, она сделала уколы. Он пришел в себя и зарыдал.

Мы растерялись. Еще не знали содержание письма. Не верилось, что такой спокойный, выдержанный человек мог потерять контроль над собой, мог плакать.

— Ничего, Петя, поплачь, это хорошо,— говорил Меднис.

Слезы немного успокоили его. Мы узнали, что после того как Петровский был осужден, была арестована его жена, а грудной ребенок был отобран от нее и отправлен в детский дом. Клавдию Дмитриевну выслали сперва в Уфу, а затем в какой-то район Башкирии, что старикам — родителям Петра Григорьевича — удалось забрать ребенка из детского дома, и маленькая Леночка живет у них. Клавдия Дмитриевна писала, что она очень скучает по ребенку, но вынуждена жить в разлуке, так как еще не устроена на работу, а у родителей девочка имеет нужный уход.

Я еще ничего не получал из дома. Не знал, что там делается. Я всегда думал, что Люба арестована. Эта мысль не давала мне покоя. Я лежал часами после отбоя с открытыми глазами и не мог уснуть. Это самое хорошее время думать, никто не мешает тебе. И я думал.

Прошла долгая соловецкая зима.

Настало лето с белыми ночами. Настал день, когда исполнился ровно год со дня моего ареста,— 7 июля 1938 года.

День был обычный, как все остальные.

Давно был объявлен отбой. Одни спали, другие думали. Как обычно, я лежал с открытыми глазами. Вдруг неожиданно загремел замок, заскрипела обитая железом дверь. За все время нашего нахождения в соловецкой тюрьме это первый случай, когда после отбоя открылась дверь камеры.

Вошли двое — дежурный и какой-то сотрудник тюрьмы — и назвали мою фамилию.

— Одевайтесь и выходите. Возьмите свои вещи, если они у вас есть.

Сильное волнение охватило меня. Куда? Зачем?

В комнате дежурного меня тщательно обыскали, после чего в сопровождении зашедшего в камеру сотрудника вывели из корпуса. На дворе стояла одноконная пролетка.

Мне предложили сесть в нее, рядом сел сотрудник, и кучер погнал коня.

Дорога была неширокая, гладко утрамбованная, с деревьями и кустарником по обеим сторонам, словно аллея в огромном парке. Мне, привыкшему к камере, показалось, что я попал в какую-то сказочную страну. Какая пышная растительность, какая ласкающая глаз зелень, и все это при матовом ровном свете чарующей белой ночи. Воздух чистый, пьянящий.

Возчик не спешил. Он будто угадал мое желание по возможности дольше насладиться этой дивной красотой...

Я забыл и тюрьму, и свое положение заключенного. За всю дорогу не проронил ни одного слова. Я молчал, потому что не имел права говорить и не хотел нарушать тишину этой неповторимой ночи. Сотрудник не говорил, по всей вероятности, потому, что устав службы запрещал ему вступать в разговоры с заключенными. Кучер тоже молчал: ведь он сам был заключенный, хотя в некотором отношении и привилегированный. Умная лошадка шла ровным шагом. Неужели это та самая дорога, по которой в темную лютую декабрьскую ночь нас везли на автомашине в полную неизвестность? Тогда нам эта дорога казалась дорогой в ад, бесконечно длинной, полной тревог и волнений. Да, это была та самая дорога. Какой контраст! Это та самая дамба, которая соединяет центральный остров с островом Муксалма.

Кончилась дорога. Показались золотые купола знаменитого Соловецкого монастыря. Наш экипаж пропустили через железные ворота, и мы остановились у одного из многих тюремных корпусов. Снова меня обыскали. Часть ночи я провел в пустующей камере. На единственной койке, кроме матраца, ничего не было. Я, конечно, лег, но спать до утра не мог.

Неизвестность угнетающе действовала на меня.

За окном стоял невероятный птичий шум. «Это гогочут гуси,— решил я и подумал, что тюрьма имеет свое подсобное хозяйство.— А может быть, я буду работать в подсобном хозяйстве? Но при чем тогда эти предосторожности? При чем обыски, одиночная камера?» А «гуси» гоготали до утра. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это были не гуси, а... чайки.

На следующий день меня вызвали в канцелярию тюрьмы к тому сотруднику, который меня сопровождал. После нескольких общих вопросов он заявил, что будет допрашивать меня в качестве свидетеля по делу Мгебришвили, и предупредил, что я обязан давать правильные показания, иначе буду привлечен к уголовной ответственности за ложные показания.

Мысль заработала лихорадочно. Что это: пересмотр для освобождения его из тюрьмы или Кобулов не может простить себе то, что живой Мгебришвили где-то отбывает срок...

Сотрудник спросил, давно ли я знаю Мгебришвили, просил дать его служебную и личную характеристику, изложить, какие отношения были между мной и Мгебришвили. Я ответил на его вопросы. Касаясь личных наших взаимо-

отношений, я ответил, что их вовсе не было, что Мгебришвили ни разу не бывал у меня на квартире и я никогда не был у него.

Мои ответы ему не понравились.

— Вы неискренни,— сказал он,— мы располагаем другими материалами о ваших взаимоотношениях.

«Значит, второе,— подумал я,— Кобулов недоволен тем, что Мгебришвили остался жив».

Вошел средних лет плотный мужчина в штатском костюме.

Следователь вытянулся в струнку.

— Товарищ полковник, оперуполномоченный Бардин ведет допрос заключенного Газаряна.

Полковник поздоровался и сказал, улыбаясь:

— А я пришел посмотреть на Газаряна.

Он расспрашивал меня, в каких городах и когда я работал. Его вопросы не носили характер допроса. Он беседовал. Затем сказал, что моя фамилия ему знакома и он хотел бы выяснить, знали ли мы друг друга раньше.

— Моя фамилия Коллегов. Это вам ничего не говорит?

— Нет, по-моему, я вас не знаю.

Затем во время беседы мы выяснили, что встречались в Москве на одном из совещаний начальников отделов.

Поговорив немного, он встал.

— Ну ладно, мешать вам не буду,— сказал он, обращаясь к следователю,— продолжайте.

Он вежливо попрощался со мной и вышел.

— Так вот,— продолжал свой допрос Бардин.— Вы неправильно ответили на мой вопрос о ваших личных взаимоотношениях с Мгебришвили, мы располагаем другими материалами об этом, но пойдем дальше. Скажите, что вам известно о контрреволюционной работе Мгебришвили, о его роли в контрреволюционном заговоре.

— Я вообще ничего не знаю о контрреволюционном заговоре и не верю в его существование. И свое, и Мгебришвили осуждение я считаю вопиющей несправедливостью. Таким образом, на ваш вопрос я ничего не могу ответить.

Следователь вел себя корректно, не допускал никаких оскорбительных выражений, к которым мы привыкли при допросах в Тбилиси.

Неожиданно он прекратил допрос.

— На сегодня хватит. Писать ничего не будем. Сейчас идите в камеру, подумайте как следует, будем продолжать завтра.

На следующий день он меня снова вызвал. О Мгебришвили ни слова.

— Сегодня мы поговорим о Кохреидзе.

Те же вопросы, те же упреки в моей «неискренности».

Дальше следователь перешел к Хвойнику. Те же стандартные вопросы.

Итак, после всего пережитого снова следствие, допросы. А какая гарантия, что где-то рядом не сидят в таких же одиночках Мгебришвили, Кохреидзе и Хвойник и не подвергаются допросу относительно меня. Определенно, кто-то добивается пересмотра наших дел.

К сожалению, Меднис и Петровский правы в оценке того, что происходит. Нам нечего ждать... Нечего ждать, по крайней мере, в ближайшее время. Да, похоже на то, что если нами займутся, то только в худшую сторону.

Сон пропал. А чайки с их неистовым концертом доводили до сумасшествия.

Однако этим все кончилось. Никаких допросов больше не было, ни о чем больше не спрашивали.

Спустя много лет я узнал от Мгебришвили, что в те же дни его перевели с острова Муксалма на центральный остров, держали в одиночке и допрашивали по поводу контрреволюционной работы его, Кохреидзе, Хвойника и Газаряна.

На четвертый день меня перевели в одну из камер в том же корпусе.

Когда я вошел в эту камеру, то вспомнил первую ночь моего ареста, первую камеру-склеп. Разница была в том, что в эту камеру все-таки проникал дневной свет.

Спертый влажный воздух ударил в нос.

Голые люди то и дело вытирались полотенцем. Заметив, что форточка закрыта, я бросился открывать ее.

— Почему вы не открываете форточку? — возмутился я.— Неужели вы не чувствуете, какой у вас тяжелый воздух?

Но меня остановили.

— Не спешите, откроют без вас. Воздух нам дается по норме: через час на час.

— Ничего не понимаю.

— А что тут непонятного? Форточка открывается на один час, а потом на один час закрывается. Норма, понимаете? А спящему человеку воздух вовсе не нужен. На ночь форточка закрыта.

Кроме меня в камере было еще десять человек. Я — одиннадцатый. Камера вдвое меньше той, что я оставил на Муксалме. Помню некоторых.

Ян Маркелович Ходзинский. Не то энергетик, не то бухгалтер. Работал на Шатурской электростанции. Переехал в Йошкар-Олу и там был арестован. Алексей Мошков. Не успев определить свое место в жизни, он, совсем молодым человеком, попал в тюрьму. До 1938 года находился в исправительно-трудовом лагере там же, на Соловках, а в 1937 году был переведен из лагеря в тюрьму. Гусев. Инженер-строитель, тоже из соловецкого лагеря. Иван Корниенко — машинист, работал на участке Новосибирск—Тайшет. Шнайдер — немец, работник Заготзерно. Каргин — крестьянин из Минусинска. Григорьев — шахтер. Остальных не помню.

За исключением Мошкова и Гусева, все были арестованы в 1937 году.

Все беспартийные, кроме меня.

В этой камере многие наладили связи с домом, получали письма.

Наконец очередь дошла и до меня. Это были несколько слов, написанных рукой Любы на бланке денежного перевода. Она писала, что беспокоилась из-за долгого отсутствия письма, наконец получила. И просила писать почаще. Эта весточка меня успокоила. Значит, Люба дома, ну, а остальное неважно. За это время я послал домой два десятка писем, куда они девались? Это было единственное письмо, написанное Любой. В последующем переписка наладилась, но письма писались незнакомым мне почерком от имени матери.

Что это значит? Что с Любой?

Хотя в письмах всегда сообщалось, что дома все в порядке, все здоровы, мать и Люба работают, но я сомневался в правильности этих сообщений. Если с Любой ничего не случилось, почему же она не пишет, хотя бы адрес написала своим почерком, тогда бы я успокоился...

Из этих писем я узнал, что наша семья выселена из квартиры. Из описания комнаты, куда семья была заселена, и расстановки в ней вещей, я догадался, что наше имущество конфисковано. Спартак ходит в школу, Майя в детский сад... Но правда от меня была скрыта, и я узнал обо всем намного позже...

Однажды зашел в нашу камеру сам заместитель начальника тюрьмы Раевский.

Григорьев, один из заключенных, продолжал сидеть.

— Почему вы не встаете, заключенный? — обратился Раевский к нему.

— А зачем я должен стоять перед тобой? Кто ты мне — командир, что ли, а я твой солдат? Или ты барин, а я твой батрак?

— Я начальствующее лицо, а правила внутреннего распорядка обязывают вас вставать при входе начальствующих лиц. Это одно. Второе, вы не имеете права говорить со мной на «ты».

— Ты начальствуй над своими сотрудниками, а я тебе не слуга. Я не признаю тебя начальником надо мной. Это первое. Второе, на «вы» говорят с человеком, которого уважают, а я тебя не уважаю. А вот ты обязан меня уважать. Я «его величество рабочий класс». Знаешь, кто так сказал?

Раевский, надо отдать ему должное, даже не повысил голоса.

— Вы осуждены как государственный преступник, и мы заставим вас подчиняться правилам внутреннего распорядка тюрьмы. Эти правила обязательны для всех заключенных, отбывающих здесь свой срок.

— Неправда! — возразил Григорьев.— Я не государственный преступник, а потомственный шахтер. Я двадцать лет работал под землей и всю жизнь буду харкать углем, засевшим в легких. Нет, я не государственный преступник. Я и сейчас не пожалею жизни для государства. Это мое государство, я против него и теперь ничего не имею. Меня украли твои чиновники, спрятали от моих товарищей, такие же бездушные чиновники осудили меня тайно, понимаешь ты? Никто не видел и не слышал этого суда. Я тоже не видел. Если я преступник, покажи меня моим товарищам, скажи им, что я такой-сякой, и пусть они меня судят. Почему ты боишься моих товарищей? Почему скрываешь меня от них? Почему ты боишься открытого суда надо мной?

Раевский ничего не ответил на это и, чтобы прекратить неприятный разговор, спросил, у кого имеются вопросы, и поспешно вышел. Ему стоило больших усилий сдержать себя.

— Ты зря напал на него,— сказал ему Каргин,— он человек маленький, все равно что заведующий складом. Ему поручили охранять, он и охраняет, а ты перед ним высокие вопросы поставил.

Интересно, что Григорьев не получил никакого взыскания за этот разговор.

Я пробыл в этой камере полгода.

В начале 1939 года меня перебросили в другой корпус. Это была очередная пертурбация.

В камере, куда меня ввели, никого не было.

Камера была большая, светлая, пол деревянный, в два ряда стояли восемь коек, посредине — длинный стол и, конечно, у дверей неизменная параша, верный друг арестанта.

Вторым привели человека, которого я как будто где-то видел.

Мы внимательно рассматривали друг друга.

— Вы армянин? — спросил он у меня.

— Конечно,— ответил я ему почему-то с акцентом.

Этот мой ответ впоследствии сделался предметом шуток в камере, меня постоянно дразнили: «ка́нечно, ка́нечно».

— А вы откуда? — спросил он.

— Из Тбилиси. А вы?

— Я тоже жил и работал в Тбилиси, но уехал оттуда в Таганрог, а затем в Москву.

— Таганрог? Степа? Асилов?

— Да, вы меня узнали, а вот я вас — нет...

Я назвался. Мы крепко поцеловались.

В 1932 году, когда Берия стал секретарем ЦК КП Грузии и Закавказского крайкома, один из секретарей ЦК КП Грузии, а затем Армении Степа Варданян не пожелал работать с Берией и уехал из Закавказья в Таганрог. Вслед за ним уехал его друг и тезка Степа Асилов. В 1937 году распоряжением Берии оба они были арестованы и перевезены в Тбилиси. Варданяна расстреляли, Асилова осудили на десять лет тюрьмы. Степа Варданян происходил из семьи старых профессиональных революционеров. Отец и мать Варданяна были участниками революции 1905 года. Сам Варданян еще с гимназической скамьи примкнул к революционной работе, был одним из организаторов и активным участником тбилисской подпольной комсомольской организации «Спартак».

Одного за другим приводили наших будущих сокамерников. Вот они:

Сергей Алексеевич Бессонов — советник нашего полпредства в Германии. Один из оставшихся в живых по «бухаринскому процессу», получивший срок — пятнадцать лет. Райвичер — военный врач, хирург. Николай Федорович Богданов — географ, профессор, ученый секретарь Всесоюзного географического общества. Два молодых агронома из наркомзема, фамилии которых не помню.

Нас стало семь человек. Шесть членов партии, один — Богданов — беспартийный. Все были арестованы в 1937 году.

Восьмая койка осталась пустой.

Я снова попал в «партийную» камеру и очень был доволен этим. Все нашли общий язык и стали жить дружно.

Бессонову было тогда около сорока пяти лет. Большевик, участник гражданской войны, один из первых выпускников экономического факультета ИКП, ректор Свердловского политехнического института и одновременно завкафедрой экономики комуза, преподаватель Института красной профессуры с 1928 по 1931 год, а в дальнейшем — дипломатическая работа в Англии и Германии. Таков Бессонов.

Бессонов оказался самым инициативным человеком. Он предложил не тратить времени даром, а заняться полезным делом. Он предложил приступить к изучению немецкого языка и сказал, что возьмется за руководство занятиями. Все, даже Богданов, хорошо владевший немецким языком, согласились и приветствовали инициативу Бессонова.

Но как быть? Ведь у нас нет никаких учебников.

— А нам они вовсе не нужны,— сказал Бессонов.— Сперва мы научимся разговаривать. Когда в немецкой семье ребенок только что начинает говорить, он никакого понятия не имеет о грамматике, а приобретает какой-то запас слов и этим оперирует. Так вот, мы с вами начнем с того, что научимся говорить по-немецки, как будто только родились на свет. Затем научимся правильно писать те слова, которые мы знаем, а потом любители грамматики пусть изучают ее, когда станут обладателями учебников. Если к тому времени мы будем вместе, я помогу вам в этом.

Скоро мы убедились, что метод Бессонова оправдал себя. Мы быстро научились говорить, читать и писать по-немецки, не зная правил грамматики.

Вечерами кто-нибудь из нас рассказывал что-либо интересное из своей жизни. Так коротали время.

Бессонов был очень интересным рассказчиком, много видел и умел передавать виденное. По натуре он был веселый, жизнерадостный человек, но временами очень тосковал. Его жена тоже была арестована, а о единственной дочери-школьнице Бессонов ничего не знал. Он говорил, что, находясь в Бутырской тюрьме, он отчетливо слышал однажды голос дочери Танюши. Она кричала: «Мама, мама, я тоже здесь».

— А может быть, это была галлюцинация,— говорил он.

У Бессонова где-то была сестра. Он написал ей несколько писем, но не получал ответа.

Профессор Богданов, несмотря на свои почти семьдесят лет, был очень бодрый, жизнерадостный человек. Сколько было энергии в этом маленьком седом старике с хитрыми бегающими глазками, с постоянной улыбкой на лице. Мы звали его «Николай Неугомонный». До ареста он жил в Ленинграде. Его жена была арестована и находилась в одном из казахстанских лагерей. Единственная дочь осталась в Ленинграде, окончила среднюю школу, поступила в какое-то высшее учебное заведение. Она проявляла трогательную заботу о своих родителях и из своей скудной стипендии ежемесячно посылала деньги отцу и матери. Протесты Богданова не помогали. Он полученные деньги не тратил.

— Я соберу их и, когда выйду из тюрьмы, сделаю дочке подарок,— говорил он.

В этой камере были установлены другие порядки написания и получения писем. В «дни писем» вызывали из камеры по одному человеку в другую комнату, сперва давали прочесть полученное письмо, а затем написать ответ. Письма брать с собой в камеру не разрешалось. Фотокарточки давали в камеру на две недели.

Однажды в очередной «день писем» Степа Асилов вернулся возмущенный, взволнованный.

— Понимаете, что творится? — возмущался он.— Ира прислала мне пятьсот рублей. Эти деньги она получила обратно с сообщением, что адресат отказался от получения. Мать очень огорчена этим, а я никакого понятия не имею об этих деньгах. Какая ложь! Что подумает Ира...

Конечно, было много разговоров в камере о наших делах. Украинские агрономы, Асилов, Райвичер и я еще надеялись на то, что мы не отсидим назначенные сроки, верили в пересмотр наших дел.

Бессонов придерживался иной точки зрения. Он утверждал, что мы неправильно оцениваем все происходящее, поэтому не понимаем, что наши сроки реальны. Больше того — если нами займутся, то только в худшую сторону. Бессонов говорил, что мы все продолжаем писать слезливые заявления, плачем, что мы ни в чем не повинны, просим пересмотреть наши дела и не понимаем, что эти заявления никто не читает, никому не нужны наши слезы, что мы часто обращаемся к человеку, который непосредственно виновен во всем том, что происходит.

— Судите сами,— говорил Бессонов,— сколько больших государственных деятелей истреблено, сколько лучших полководцев уничтожено. Неужели вы верите, что они в чем-то повинны? Но ведь они физически уничтожены! Наивные вы люди, вы хотите, чтобы кто-то заявил во всеуслышание, что ошибся и зря расстрелял таких людей. А если это так, то о нас с вами и подавно никакой речи быть не может. Я с вами согласен в том, что рано или поздно партия скажет свое слово. Но я не уверен, доживем ли мы сами до этого дня. Это будет тогда, когда наш Политиздат массовым тиражом издаст «Завещание Ленина», о существовании которого мы, члены партии, знаем понаслышке и одно только знакомство с которым карается тюрьмой. Вот так. А вы свою зубную боль считаете несчастьем всего мира.

— Но ведь мы люди, и у каждого из нас семья, дети! Каждый из нас мог принести пользу государству. А сколько таких, как мы!

— Это верно, что и говорить. Много погибло хороших людей. Все враги наши, вместе взятые, не навредили столько. Не может быть, чтобы все это осталось безнаказанным.

— Вот вы участник такого громкого процесса, как процесс Бухарина и Рыкова. Мы читали в газетах отчеты о ходе процесса. Почему никто не подумал заявить суду об истинном положении вещей?

— Как никто? Несчастный Крестинский вступил в единоборство с этой акулой Вышинским. Сколько мотали бедного, и только тогда, когда он убедился в бесполезности борьбы, прекратил сопротивление. А какие неумные люди организаторы этого процесса! Ведь там были корреспонденты зарубежной прессы, а Чернов при них рассказывает, что, когда он в Германии ехал из гостиницы на вокзал, его отвезли в полицейское управление и там завербовали в шпионы. Смешно? Нет, не смешно. Это большая трагедия, когда народный комиссар земледелия нашей страны, старый коммунист, так легко мог завербоваться в шпионы. Каким ограниченным тупицей надо быть, чтобы так скомпрометировать советского наркома. Естественно, в ложе корреспондентов иностранной прессы поднялся хохот, когда Рыков заупрямился и не признался в чем-то. «Но ведь Чернов показывает»,— сказал Вышинский.— «Что мне Чернов, который ехал из кабака на вокзал, попал в полицию и завербовался в шпионы»,— ответил Рыков. Или взять другого наркома — Розенгольца. Для чего надо было выдумывать эти амулеты, чтобы скомпрометировать нашего наркома внешней торговли?.. Надо быть безнадежным тупицей, чтобы санкционировать проведение такого процесса, как процесс Бухарина, лишь только для того, чтобы уничтожить своих политических врагов. И каким надо быть жестоким и кровожадным, чтобы уничтожить четырнадцать человек из семнадцати? Разве можно допустить, что партия оставит все это безнаказанным? Никогда! Но когда это будет? Бухарин и Рыков имели свои взгляды на развитие нашего общества, партия осудила их оппортунизм. Но кто поверит, что эти люди были шпионами многих иностранных государств, террористами и даже были замешаны в покушении на Ленина?..

— А как вас самого арестовали? Вы же были в Германии.

— Да, был в Германии. Я неожиданно получил телеграмму с немедленным вызовом в Москву. Я не подозревал никакого подвоха. Прилетел. Но, поверьте, если бы я знал, что меня вызывают в Москву для того, чтобы арестовать, все равно приехал бы. Уж лучше сидеть в нашей, советской тюрьме, чем сделаться невозвращенцем и скитаться чужим человеком в чужой стране...

Восьмую койку нашей камеры занял Афанасий Афанасьевич, кажется, по фамилии тоже Афанасьев. Он из Барнаула. Очень худой, высохший старик. Он

страдал астмой, жестокие и частые приступы душили его. Ходил с трудом. По специальному распоряжению начальника тюрьмы для него выносили табуретку во время прогулок.

О своем деле Афанасий Афанасьевич рассказывал, что сперва его обвинили в том, что он являлся руководителем террористической группы, которая должна была убить Ленина, если он приедет в Барнаул. Дело быстро было закончено, и ему объявили об окончании следствия. Афанасьев ждал расстрела.

— После расстрела зятя и дочери,— говорил Афанасьев,— я часто думал о самоубийстве, но у меня не хватило силы воли. Со спокойной душой я ждал расстрела и считал это спасением для себя. Но этого не случилось...

Следователь Афанасьева, как видно, был неопытным человеком, начальство не утвердило дело. Слишком уж абстрактное обвинение — «на случай приезда Ленина в Барнаул...» И следователь выдвинул против него новое обвинение.

— Знаете, Афанасьев,— сказал он,— вы японский шпион.

— Ну что ж, какая разница, могу стать и японским шпионом.

Дело снова пошло на утверждение, но неопытный следователь и здесь упустил существенное. Через кого передавал Афанасьев свои шпионские сведения? В деле ничего об этом не было сказано.

— Моему следователю определенно не везло,— рассказывал Афанасьев.— Я ему подсказал: «Чего проще, нас ведь целая группа, одни пусть будут добытчиками сведений, другие — передатчиками».— «Так нельзя, Афанасьев,— возразил следователь.— Нужен человек в роли резидента японской разведки». Затем он сказал, что нашелся такой человек, железнодорожник, который сам признался, что всю жизнь только и делал, что являлся резидентом японской разведки. На этот раз следствие было окончательным. Скоро нас судил трибунал. Когда суд вынес мне смертный приговор, к удивлению присутствующих я произнес: «Слава богу». Однако, как видите, дело этим не кончилось. Когда представитель трибунала предложил подписать телеграмму в Верховный Совет о помиловании, я отказался. Все подписали, но я заупрямился. Но и от моего имени послали телеграмму. Мы три месяца ждали ответа. Смертный приговор мне заменили десятью годами.

— А что стало с остальными?

— Помиловали только двоих...

...Я продолжал получать письма из дома, написанные тем же незнакомым почерком от имени матери. Письма были успокоительные: «Все в порядке, я и Люба работаем, на кусок хлеба зарабатываем...» Но эти строки не могли успокоить меня. Я был уверен, что Любы нет дома, и полагал, что она арестована. Мое подозрение было основано на том, что я никаких денег из дома не получал. Я думал, что, если бы Люба была дома, она бы хоть изредка нашла для меня несколько рублей.

Я попросил прислать мне фотокарточку детей. Ждал недолго. В одно из писем была вложена фотокарточка. Невозможно передать мое состояние, когда я увидел лица детей. Боже мой, как они выросли за это время! Оба одеты очень плохо. Спартак в свитере не по его размеру, в помятых брючках. У Майки на голове бантик из лоскутка. Оба улыбаются, но эта улыбка насильно вырвана у них фотографом. Шнурок на одном ботинке Спартака развязался и болтается...

Любы нет дома, твердо решил я, разглядывая эту карточку. Она была женщина аккуратная, всегда подтянутая. Посылая детей на прогулку, всегда следила, чтобы они были аккуратно одеты, а здесь такие шнурки... Она ни за что не допустила бы, чтобы детей сфотографировали в таком виде.

После получения этой карточки я стал настойчиво требовать в письмах, чтобы мне написали правду о Любе. «Я знаю, твердо знаю, что ее нет дома, но где она, что с ней? Пишите мне правду, только правду»,— просил я в своих письмах. Наконец я получил ответ. Меня вызвали и дали прочесть письмо. Я его не дочитал до конца. Но то, что прочитал, помню. «Дорогой мой сын,— писала мать,— ты все время требуешь, чтобы я писала тебе правду относительно Любы. Ты прав, мы от тебя скрывали правду. Уже год, как нет Любы с нами. Она умерла от уре-

мии 27 сентября прошлого года. Мы делали все, чтобы спасти ей жизнь, обращались к профессорам, но ничего не помогло...»

Дальше я читать не мог. Душили спазмы. Я весь оцепенел... Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Меня вывел из этого состояния окрик стоящего рядом надзирателя: «Ну, читайте скорее, сколько можно ждать!» Я потерял над собой контроль, я стал кричать на него: «Что вы, люди или изверги? Неужели у вас не осталось ничего человеческого, разве вы не видите, что я не могу читать? Ведь здесь кровь и слезы, здесь смерть дорогого человека, а вы «скорее, скорее!»...» Надзиратель растерялся и даже стал успокаивать меня. Но я не мог ни дочитать письмо, ни написать ответ.

— Возьмите меня в камеру, я не могу больше...

Я благодарен матери, что она так умно сообщила мне о гибели Любы. Даже болезнь придумала. Я ведь поверил. А что было бы, если бы она написала, что Люба легла под поезд?

Осенью 1939 года началась эвакуация соловецкой тюрьмы. Мы потом узнали, что подавляющее большинство заключенных было отправлено в северные лагеря, главным образом, в Норильск. В нашей камере остались Бессонов и я.

В последних числах ноября 1939 года, кажется 17-го, собрали из всех камер остатки и погрузили на пароход.

Почти два года я пробыл в соловецкой тюрьме. Ехали мы туда в каюте, а теперь нас спустили в трюм. В небольшом центральном трюме нас было около пятидесяти человек. Мы задыхались, сразу же начались скандалы из-за параши. Нам не дали в трюм парашу и не выпускали на оправку. Мы протестовали... С нами в трюме были немцы, члены Германской коммунистической партии, эмигрировавшие в Советский Союз. Больше всех шумели они, устроили настоящую обструкцию.

— Если сейчас же не прекратите шуметь, мы будем стрелять в трюм,— угрожали конвоиры.

— Стреляйте, стреляйте,— еще громче кричали из трюма.

В конце концов в трюм была спущена большая бочка — железная параша.

Среди немцев Бессонов нашел знакомого, и на мой вопрос, кто он такой, Бессонов ответил:

— Секретарь Тельмана Гирш.

Нас доставили на станцию Кемь. Там нас ждал состав «столыпинских» вагонов.

Бессонова и меня поместили в двухместное купе. Мы уже настроились на то, что будем ехать с комфортом, но вскоре к нам привели третьего, а через несколько минут — еще двоих. Нас пятеро. Один из последних двоих был... Петр Петровский, а другой — Айхенвальд, тоже экономист, тоже выпускник Института красной профессуры, осужденный на пятнадцать лет. Я обрадовался встрече с Петровским, спрашивал о людях, с которыми сидели вместе, и, конечно, о Мамулашвили. Петровский рассказал, что Мамулашвили, Харченко и Штейнберг были отправлены в лагерь. Об остальных он ничего не знал, они давно были переведены в другие камеры.

Итак, снова в этап. Куда?

Конвой нашего вагона состоял в основном из украинцев. Каким-то образом среди конвоиров распространился слух, что среди заключенных находится Петровский, родной сын «того самого» Петровского.

Как-то вечером, когда все процедуры были закончены и прозвучала команда: «Спать»,— часовой, стоящий перед нашей дверью, тихо спросил:

— Кто здесь Петровский?

— Я,— отозвался Петр Григорьевич.

— Вы сын Петровского?

— Да.

— Того самого?

— Кого «того самого»?

— Ну, председателя нашего.

— Да, того самого.

— Скажите, как могло получиться, что сын всеми уважаемого человека оказался в шайке преступников?

Петровский улыбнулся, немного помолчал, затем ответил:

— Знаешь, браток, на эту тему нам с тобой невозможно договориться. Вот, например, мы всегда с тобой спорим об одном простом деле и никак не можем договориться. Уборная рядом, а мы не можем ею пользоваться тогда, когда в ней нуждаемся. Ведь вы не хотите понять, что человек должен оправлять свои естественные потребности, когда чувствует необходимость. Вы нам этого не разрешаете. Мы болеем, пользуемся нечистыми кружками, из которых пьем. Вы все это видите и считаете, что так должно быть. Если вы такую простую вещь не понимаете, как же я могу ответить на тот вопрос, который вы мне задали, и ответить так, чтобы вы поняли?

Конвоир призадумался.

— Да! Может быть, вы правы...

Он отошел, но через несколько минут снова подошел к двери.

— Петровский! А правда, что ваш брат расстрелян?

Петровский нахмурился.

— Я не знаю об этом ничего.

— Но он тоже арестован.

— Да, арестован.

— Все говорят, что один из сыновей Петровского, большой командир, расстрелян,— сказал конвоир и отошел на свое место.

Мы не знали, куда едем, но, когда прочли «станция Орел», поняли, что дальше не поедем. Поняли также, что нам предстоит знакомство со страшным Орловским централом.

Окончание следует

Александр Кушнер

* * *

Мне скучен был бы в эти дни и Лондон, и Париж.
Ах, друг мой, занято у всех, кому ни позвонишь.
Кто эти годы пережил, друг с другом говорят.
Дай бог им дел, дай бог им сил, и мне за пятьдесят.

Опять эпохою реформ Россия смущена,
И я клюю счастливый корм, и я прошу пшена
Из рук Истории, скупой на ласку и кивок.
«Не торопись так, бог с тобой!» — а голос хмур и строг.

Не голубь я, не воробей, но не забудь и ты,
Каких я был участник дней, свидетель темноты,
Твой век не мерен, твой закон рассчитан на века,
Не совпадает с жизнью он — напрасно ты строга!

Вот что я понял, что постиг, что мог бы у доски,
Не самый лучший ученик, я доказать с тоски,
Ты сыплешь просо, коноплю, в горсти их теребя,
Но жизнь я все-таки люблю и не люблю тебя.

Так поправляется больной и смотрит за окно,
Где тополь с грубою листвой, как темное пятно,
Стоит — собранье жестких жил и стариковских вен.
А жаль мне тех, кто не дожил до этих перемен.

* * *

Я думал вот о чем, я думал, что везенье
В том заключается мое, что в Ленинграде
Я жил вне зоркого к себе расположенья
Досужей публики, что спереди, что сзади
Широкой, нет, серьезно, вне ее вниманья
И поощренья — много лет — и ты, столица,
Не требовала ты, Москва, завоеванья,
Зачем? Не занималась мной и заграница.

Я думал вот о чем, я думал, что московский
Литературный быт мне был бы не по силам.
Еще везенье в том, что век нам выпал жесткий,
Но с поостуженным и пообмякшим пылом,
И государственных, как выяснилось, премий
Желать нелепо: Зощенко лауреатом
Ведь не был; лучше быть ни с этими, ни с теми,
Идти, задумавшись, курчавым Летним садом.

И думал я еще о том, что в шестистопном
Ямбе неплохо иногда сдвигать цезуру
И перестраивать его волноподобным
Движеньем — так рукой взбивают шевелюру
Или, что ближе к ощущенью: так земная
Поверхность где-нибудь в Сорренто шевелится,
Когда Везувий, содрогаясь и стеная,
Вдруг заворочается в логове, как львица.

Еще я вот о чем подумал, что везенье
В том состоит, что посылать стихов не надо
Кому-то, кто о них судил бы в отдаленье,
В той же Италии, у синих волн,— чревата
Опека горькою зависимостью, лучше
Нам не притягивать из-за смолистой рощи
Пиний и лавров — взгляда добрых глаз колючих,
Совета в дружеском письме — писать попроще.

И окающий говорок и тюбетейку
На сером ежике волос легко представить.
Искал бы выход я, как узкую лазейку
В ограде каменной, чтоб старика избавить
От огорчения при виде тех процессов,
Что развиваются в поэзии, почтенья
К непрочной старости не знающей, навесов
Над ней не строящей и рядом — огражденья.

И думал вот о чем, я думал, что свобода
Располагается неравномерно в жизни,
Что больше, может быть, ее в стихах, что мода
Растет на рифмы при ее дороговизне,
Так пусть же падает спрос на стихи — прекрасно!
Тем более, что жить им предстоит отдельно
От нас, а будущее нестерпимо ясно,
Не утешай меня: обида не смертельна.

БЕГ С БАРЬЕРАМИ

Смотрел я, затаив дыханье,
На бег с барьерами, его на вазах нет
И чашах, это наш придумал век: вниманье!
На скорости — не сбить, не рухнуть,
в мире бед
Раскинуться на миг и снова подобраться,
И вытянутою ногой
Невидимую дверь распахивая, клясться
В готовности порог с разбега взять любой.

На самом деле я не ведаю, где икры,
Где голень, речевой запас умней меня.
Когда бы грек и впрямь увидел наши игры!
То птицу б он признал в бегущем, то коня.
Печалиться не надо.
Мир был бы слишком прост
без спешки дорогой.
А рифма — не барьер? А жалость —
не преграда?
Ты видишь: новый вид возник
при нас с тобой.

* * *

Наши дела то прекрасны, то плохи,
Наши романсы нежны заунывные,
Только в России бывают эпохи
Реакционные и прогрессивные.

Будущий век. Представляю в нем
школьников;
Детство,— ты рабство, обвитое датами:
Снова сличать их заставят, невольников,
Шестидесятые с восьмидесятыми.

Частная жизнь хорошо получается,
Если ее не преследует общая...
Дождик на даче идет, не кончается,
Мокнет тропинка и яблоня тощая.

Боже, глицинию дай мне, азалию,
Что-нибудь вроде Флоренции, Падуи...
Только в России так любят Италию,
Ищут глазами фонтаны и статуи,

В существованье ее не уверены.
Можно ли мыслить всю жизнь антитезами?
О, почему нам такие отмерены
Полосы, клинья такие нарезаны?

Может быть, если бы жили мы разумом
Больше, чем пылкими нашими чувствами
Пасмурнолицыми, сумрачноглазыми,—
Реже бы дело имели с искусствами,

Чаще — с политикой и экономикой?..
Ах, и не в этом, наверное, дело...
Ну что с того, что ты с маленьким томиком
В кресле весь вечер, притихнув, сидела?

В чем же? В пространстве опять,
в географии?
В климате? Дождь целый день так и льется.
В том, что дорожка нуждается в гравии,
Но, и раскиснув, его не дождется?

* * *

Помнишь, в любимом романе смущенный герой
Бабушке вдруг объявляет, приехав в чужой
Город, что, видно, придется им ехать домой.

Срочно, сегодня же, поездом местным — в Париж,
Так ему плохо: директор отеля, крепыш,
Нагл, и швейцар, посмотри, как он важен и рыж.

Чувство усталости и непосильной тоски!
Так вот и ты напугать меня можешь, виски
Сжав, побледнев... Вижу: к бегству мы тоже близки.

Южная пыль и увитый лозою карниз.
Знаю, что приступ. О, если б и вправду каприз!
Дикая ласточка с криком кидается вниз.

Как тебя жаль мне! Как я суечусь, трепещу,
Втайне надеясь, что вдруг твою мысль обращу
К менее гибельной мелочи: платью, плащу

Пыльному. Нет? Ах, к огням в предвечерней тени,
К белому тополю?.. Ляг же скорей, отдохни.
Нет никого. Золотые обещаны дни.

* * *

Есть где-то церковка, увитая плющом,
Им сплошь одетая в клубящуюся ризу,—
Так волны плещутся,— я издали прельщен
Обросшей, затканной, на холм похожей снизу.

Есть где-то церковка. Черты ее лица
Не разглядеть, увы, что страннику обидно.
Вся, вся курчавится, как местная овца,
Кто пострижет ее? — Охотников не видно.

Есть где-то церковка. Я знаю, где: в глухом
Углу Нормандии, на берегу скалистом.
О, как топорщится, как ходит ходуном,
Струится шерсть ее с отливом серебристым!

Переливается, шуршит на ветерке.
Есть где-то церковка, расшитая листвою,
Плющом увитая, как будто в парике.
Есть где-то церковка... в ней нам не быть с тобою.

Молитва вязкая стоять, как в горле ком,
Там не посмела бы,— колеблется, струится,
Течет, пропитана латинским языком.
Есть где-то церковка и плющ, как черепица.

Каркивильской, кажется, ее назвал поэт,
Писавший прозою, спеша, в начале века.
Есть где-то церковка... такой на свете нет.
Вблизи бальбекских скал; но нет ведь и Бальбека.

* * *

Венгерские лавочки пухнут от разноголосых вещей.
Такого количества тряпок я в жизни не видел своей,
Кричат они, реют, как флаги, зазывно висят над дверьми.
Глаза твои блеска и влаги полны — всё потрогай, возьми!

Ты, кофточек девять примерив, восьмую велишь завернуть
И, выйдя, помедлишь у двери, седьмую жалея чуть-чуть;
Страна потакает не злости, не комплексу зла и вины,
А слабости женской: да бросьте, да что вы, да все мы смешны.

И ум отступает, и всякий пытливый другой интерес
Пред скопищем этим бессчетным развешенных тесно чудес —
Бесчисленных блузочек самых безумных расцветок, друг мой,
Как луч в католических храмах, куда нас водили с тобой.

Болтливые, легкие вещи, хлопчатобумажный галдеж —
Вот всё честолюбие женщин и всё их тщеславие,— что ж,
При всей чепухе быстротечной: подумаешь, ворс и покрой! —
Насколько оно человечней бесцветной заботы мужской...

* * *

Музыкант просил в стихотворенье
Поменять слова: они ему
Затрудняли, видите ли, пенье.
«Так нельзя». Вздыхал он: «Почему?»
«Потому что будет ритм разрушен,
Ведь не ямб у нас здесь, а хорей».
Что-то он другое слышал, слушал,
Помнил в жизни музыкой своей.

«Нет, нельзя здесь иву на березу
Поменять. Зачем тебе стихи?
Написал бы музыку на прозу».
Говорит: «А как насчет ольхи?»
«Посмотри, в ней тоже ударенье
Не на первом слоге — на втором».
Бог с тобою, ангельское пенье,
И в раю, боюсь, не совпадем.

Марк Пайкин

25 часов 16 минут

Повесть

Было восемь ноль-ноль. Ян Борисович посмотрел на часы.

Секундная стрелка упругими рывками преодолевала круг циферблата, наводя, не первый раз уже, на мысль о дискретности времени.

Подумал он об этом впервые, когда был моложе и пользовался «Электроникой». Потом хитрые часы пошли вразнос, можно было увидеть своими глазами, что время не только прерывисто, но и обратимо. Однако необратимо было оно и непрерывно, «Ракета» работала исправно и показывала ровно восемь часов.

Он вошел в вестибюль.

— Здравствуйте, Марья Васильевна,— гардеробщице.

— Доброе утро, Ян Борисович. Что вы так рано? Случилось что-нибудь?

— Еще не знаю,— серьезно сказал он.

А проснулся, действительно, с ощущением, что — случилось. (Почему Нина не позвонила вечером? Долетела?) Тихо, чтобы не разбудить жену, прошел на кухню. Выпил стакан до отвращения сладкого чая. Не хлопнув дверью, вышел из дома. Зачем-то взял такси. И вот — в институте, на сорок минут раньше казенного времени.

Лифт пассажирский с пятницы не работает. Быстро, быстро, как всегда — пешочком, по ступенькам к себе. Опять мерзко заныло плечо. Он растер сустав правой ладонью, притормозил. Прошло.

«Случилось что-нибудь?» — «Еще не знаю».

Можно и так начать. Хорошая строчка. Все хорошие строчки давно придуманы. Другими. Например: предчувствиям не верю и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, вот что.

Двустворчатая дверь, обитая светлой жестью. Привычно прижал отстающий пластырь, которым приклеена самодельная табличка: «Посторонним вход воспрещен».

Он-то не посторонний. Здесь его суверенные владения. Здесь он может казнить любого вассала без вины и даже без суда. Помиловать любого, без смягчающих обстоятельств. Здесь работает его Команда, и он милостиво не мешает ей заниматься своим делом.

Левый коридор, третья дверь. Табличка поприличнее: «Канд. мед. наук Я. Б. Сорин». Конечно, «профессор, доктор наук» — престижнее и денег больше. Ничего не поделать. Время упущено. Некогда было, вот что.

Дома.

Оглянулся вокруг себя. Ничего уязвляющего душу не обнаружил. И потолок хорошо выбелен.

Против стола висит хорошая репродукция акварели Волошина. Зима или

поздняя осень, серовато-белый залив. На первом плане, как и должно, три голых деревца, все ветки можно пересчитать. Земля молитв, могил и медитаций.

Под стеклом на столе две фотографии: «Подразделение коммунистического труда». Он, само собой,— в центре. И он же — с сыном. Сашка тоже в халате, физиономия симпатичная, неглупая. Чего только не навидался парень за год: врач «скорой помощи» — профессия бойкая, живая, респектабельная. По городу — с мигалкой и сиреной. А?

Селектор и два телефона. Телефон просто и телефон красный, без диска — прямой директорский, привилегия заведующего.

Кресло-вертячка. Очень удобно: шевельнул поясницей — и за машинку. С другой стороны стола — просто кресло. Для почетных посетителей.

Тридцать минут он принадлежит только себе. Батареи жарят, дышать тяжело.

Открыл форточку. С удовольствием надел недавно выданный костюмчик. У хирургов такой же: бумажный, приятного зеленого цвета. Рубашка навыпуск, рукава короткие, на груди вырез. Брюки на широкой резинке.

Посмотрелся в зеркало. Пока вроде ничего. Сквозь короткие седые волосы явственно просвечивает череп, впрочем, довольно благородной формы. Морщины не только на хладное чело легли, но и у глаз. Нос — вполне сойдет, подбородочек подгулял. В декольте — седые волосы.

Сед, стар, слеп, глух. Потаскун, вот что.

— Потаскун и есть,— ответил он себе.— Она тебе в дочки годится. Не стыдно?

— Нисколько,— ответило зеркало.

Душевно поговорили.

Тревога не проходит: почему не звонила Нина? Всегда звонит, когда прилетает. Пустяки. Ничего не случилось, вот что.

Вытащил толстую пачку карточек. Остались последние таблицы. Если получится, будет отчет перед собой за эти двадцать лет. Знал, что именно должно получиться, знал, что результаты будут для многих неожиданными (профессор Круглов — тот обязательно сделает стойку на ушах и полезет в драку). Потому и медлил с окончанием. Откладывал удовольствие. Да и не успеть сейчас.

Посуетился, не вставая с места. Поворошил перекидной календарь, записал кое-что на завтра (день санитарный, операций не будет). Из ящика стола взял полиэтиленовую зеленую папку, вынул из нее листок. С отвращением стал перечитывать: «Зима. Залива мертвая вода. Невидимое солнце над холмами. Уют. Картины. Книги. Иногда он в мастерской волхвует над словами. Могила на горе. Полынь. Вдали, по мертвой зыби моря и земли плывут стихи, предвестники беды, в их парусах дыхание созвучий. Ты чувствуешь: по-над землею дым ползет на нас, прозрачный и тягучий». Нет, не Тарковский. И не Твардовский. Учиться у классиков нужно, вот что. А таблицы — завтра доделать.

Тревога не оставляет. Может быть, и не из-за Нины. Где она?

Взял из каталожного ящика ампулу седуксена, коричневую, надпилил, обломал, вылил в мензурку, развел водой из-под крана, пустую ампулу бросил в корзину для бумаг, выпил. Мерзость.

Закурил. Первую. С удовольствием.

Восемь тридцать. Посмотрел на часы. Нажал на клавишу селектора: дежурка.

— Володя?

Володя — старый друг, верный помощник.

— Шефуля? Что так рано? Сейчас приду.

И пришел: явно не выспался, не бритый.

— Ян, ты звонил в двадцать три.

— Да.

— В двадцать три сорок пять умерла Константинова.

Плохо. И, между прочим, Константинова — протеже Дра-Дра. «Под вашу личную ответственность»,— вспомнил. Придется пережить несколько стыдных минут. Не в этом дело. Умерла, вот в чем дело. В чем дело?

— Кровотечение прогадил?

— Не думаю,— спокойно ответил Владимир Степанович,— кровить особенно неоткуда.

— Доложишь — остановка сердца. Обидно.

— Не то слово, Ян.

— Операции боялась. Иисус был реаниматором, да реаниматор не Иисус. Тому просто было работать: «Лазарь! иди вон. И вышел умерший». А?

Владимир даже не улыбнулся, безнадежно махнул рукой: огорчен. Ушел.

Ян Борисович ответственности не боялся. На наркозе стоял сам. Нормально. Операция — нормально. Проснулась — нормально. И смерть — нормально? Кто ошибся? Он или Владимир? Нельзя им ошибаться, служба такая. Обезболивать и воскрешать должны, вот что.

А впрочем, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Есть только явь и свет.

И опять стал внимательно рассматривать картинку. Конечно, справа должен быть Карадаг. Мы все уже на берегу морском. Ни клеветы, ни яда я не бегу.

Пора бежать. Восемь сорок девять. Посмотрел на часы.

Маленький конференц-зал отделения анестезиологии и реаниматологии. Эстрадка, там кафедра, которую Ян Борисович звал аналоем. Стол с бумагами.

Список больных посмотрел быстро. Всего шесть. За выходные отделение хорошо разгрузили. Сегодня загрузят. Список операций смотреть не стал: сам составлял в пятницу, помнил.

Стали входить: анестезиологи и анестезистки в таких же, как у него, зеленых костюмах; реаниматоры и сестры — в белых халатах. Опаздывающие уже не входили, вбегали в цивильном. Он каждому благосклонно помотал головой: сверху вниз.

Самой последней, как всегда, вбежала Санька, дочка Нины. Улыбается. (Значит, порядок с Ниной?) Похожа. Только волосы темнее и длинные. Зубы крупные, неровные, белые. Кофточка, наверно, модная. Ноги длинные, джинсы с «фирмой» обтягивают маленькие ягодицы (бесстыдница). Быстро высмотрела место, шмыгнула к Славе, что-то зашептала ему. Ярослав нахмурился.

Этой он покачал головой укоризненно: слева направо. Она, как всегда, развела руками, что означало: «Дядя Ваня, сама удивляюсь, автобус...» Прелесть.

Команда на месте. Осмотрел ее с удовольствием.

Алешка чем-то озабочен: вертит в руках очки. Бородка светлая, почти незаметна. Он да Санька — люди свои, лично известны с ихнего малолетства. Эти не подведут.

Дмитрий весьма неблагообразен. Похоже, вчера пил опять. Он и в пятницу спирт выпрашивал перед уходом (сестры жаловались). Порка — завтра.

Слава элегантен, подтянут, бородка ничего себе, вроде «шкиперской».

Андрей — красивый парень, лицо живое. Реденькая бороденка портит. Ничего, у него время есть, она еще загустеет.

Их традиция дурацкая — бороду носить.

Парад молодых бород.

У него самого была борода, только Нина как-то сказала в сердцах (с письменностью у них не ладилось): «Ты думаешь — аксакал, а ты козел.— И обидно добавила: — Бородатый». Сбрил.

А у Старца бородка была клинышком.

Все молодежь. Кто Старца помнит? Он, Владимир да Нина. Другие: кто — на пенсии, кто — в больницах на заведовании, кто — на «скорой помощи». Звонят редко, только по делу, вот что.

Ярослав и остался после защиты. Ждать. Еще не знает своего звездного часа, но ждет. Правильно делает, между прочим.

— Начали,— сказал Ян Борисович и прикрыл глаза рукой.

— Ортопедическое,— откликнулась длинная, нелепая Маргарита (как она его в пятницу: «Не суйтесь под руку!» А?). Сегодня — один больной... группа крови... резус... интубационный...

Он вроде бы дремал, но тренированное ухо вырезало, как фильтр, всякий диссонанс. Это за ним знали.

— Легочное,— сказал Андрей.— Мужчина, шестьдесят шесть лет, гамартома легкого. Четыре месяца назад перенес инфаркт миокарда.

Гамартома, известное дело, опухоль доброкачественная. Операция, по-видимому, лишена смысла. Посмотрел на Андрея вопросительно.

— По-моему, бессмысленно, Ян Борисович?

— Наше дело — не обсуждать показания к операции, а обеспечивать безопасность хирургического вмешательства. (Съел, юноша?)

И наставительно, нудно заговорил о взаимоотношениях анестезиологов с хирургами: знал, что Андрей на днях базарил с ребятами из легочного отделения, медленно, мол, оперируют, не технично, кровопотеря большая. Непорядок.

Андрей покраснел слегка, снял колпак и крепко закусил его край: бунт. Юра осуждающе, сквозь толстые очки посмотрел на Андрея. Обошлось. Сдержался Андрюша.

— Гнойное,— сказал Слава.

Санька уже бездумно — уголки губ, как всегда, приподняты — шевелила пальцами: мякотью большого тронула ноготь мизинца, безымянного, среднего, указательного, потом мякотью мизинца — ноготь большого. Где-то он видел этот жест. Во сне видел, вот что.

Доклады анестезиологов кончились.

— Читай молитву, мальчик!

Санька прыснула тихо: грузный, не выспавшийся Владимир Степанович не похож на мальчика. Дяденька.

«Дедушка,— с ужасом подумал Ян Борисович.— Володя — дедушка».

Владимир Степанович встал за аналой. Забубнил глухо:

— На отделении шесть больных. Первая палата... Вторая палата... Гемодинамика стабильная... Септический блок... В двадцать три сорок пять умерла больная Константинова, вторые сутки после холецистэктомии, при явлениях падения сердечной деятельности.

Так. Чья же ошибка?

— Дежурство сдал. («Ныне и присно и вовеки веков».)

Ярослав:

— Дежурство принял. («Аминь».)

Анестезиологи и анестезистки — в операционные. Ян Борисович с Владимиром Степановичем — на институтскую конференцию, «утренник». По дороге Володя сказал:

— Ян, совсем забыл. Мне вчера Семенов звонил, с третьей подстанции, до тебя не дозвонился. Врач ему нужен.

— Ну и что?

— Твой не пойдет? Миша — умный, с ним работать легко.

— Не пойдет. Ты застал ее мертвой? (Не удержался, проверил: не спал ли?)

— Минут пятнадцать работали.

Еще несколько шагов — утренняя церемония приветствий.

«Здорово».— «Привет».— «Здравствуй».— «Гамарджоба, дорогой».— «Привет».— «Здравствуйте, камарадо Ян Борисович».— «Салюдо, тезка Хуан».— «Юлик, дело есть, сядь со мной».

Профессор Юлий Сергеевич Быстров кивнул.

За председательским столом заместитель директора Василий Васильевич, в просторечии — Базиль. Улыбается чему-то. Нормальный человек. Работать с ним пока можно.

— Начали,— сказал Базиль.— Легочное.

— Подготовлено трое больных,— заговорил хирург Смирнов.— Мужчина шестидесяти шести лет, гамартома левого легкого.— Показал всем снимок.— Недавно перенес инфаркт миокарда.

— В чем смысл операции? — спросил Базиль.— Опухоль доброкачественная.

— Мы не можем исключить рак,— сказал профессор Соковых, руководитель отделения.— На операции уточним, если рак — уберем всю долю. Всю долю. Понимаете?

Он, став профессором, каждую речь свою заканчивал этим «понимаете».

Но Базиль покачал головой, сомневаясь.

— Ортопедическое...

— Гнойное...

— Сердечно-сосудистое...

Хирурги докладывали и уходили в операционные, где уже спали больные.

— Дежурный реаниматор!

Владимир Степанович не торопясь, вразвалку пошел к кафедре. Привычное, непрерывное, ровное жужжание разговоров оборвалось — враз. Базиль посерьезнел. Ян Борисович мысленно сотворил крестное знамение.

В аудиторию вошел человек высокого роста, хорошо одетый, с ровными усами и темными волнистыми волосами. Энергично пожал руку вставшему Базилю. Оба сели.

Это и был Дра-Дра, лично. Деревянко Руслан Кириллович, дракоша, руководитель экспериментальной лаборатории механизмов боли, директор Института общей хирургии, член-корреспондент Академии.

Владимир Степанович кратко пробубнил утреннюю «молитву». Услышав фамилию «Константинова», директор недовольно поискал глазами Яна Борисовича. Тот виновато пожал плечами. И почему-то огорчился за директора: полнеть начал, вот что. Смешно, быть может, но этот красивый злобный человек, их давняя нелепая ссора — тоже частица его молодости. «Ну да,— вспомнил он,— осенью было. Нина уехала, бродил злой, как собака: на кого бы броситься. А тут Руслан сам подвернулся».

Обычно директор на «утренники» не ходил, брезговал. Приход его предвещал нечто.

— Ой, не к добру это, Юлик,— шепнул Ян Борисович. Быстров чуть усмехнулся: известно, не к добру.

И директор встал: «Товарищи...»

Тамбовский волк тебе товарищ.

Говорил красиво. Знали, что он брал уроки у известного актера. Ничего зазорного: и Наполеон учился ораторскому мастерству. Впрочем, длинная и убедительная речь сводилась к тому, что на врача Доценко поступила жалоба родственников больного о неправильном лечении, в результате которого больной умер. Для разбора жалобы дирекцией создана комиссия из «компетентных специалистов».

Тут Ян Борисович насторожился: «компетентные» носили прозвище «красные кхмеры» и употреблялись директором для нестандартных поручений. Комиссия установила, что упомянутый больной был выписан из института без операции — запущенный рак, а Доценко, лечащий врач, трижды посещал его на дому «за вознаграждение в общей сумме двадцать пять рублей». Комиссия не сочла лечение, назначенное Доценко, неправильным и, тем более, способствовавшим фатальному исходу, но «учитывая, что Доценко действовал в обход действиям районколога,— директор издевательской интонацией выделил нелепую фразу докладной,— усмотрела в его действиях грубое нарушение врачебной этики», в связи с чем директор объявлял за указанное нарушение врачу Доценко строгий выговор.

Слушая речь директора, Ян Борисович стиснул зубы и вцепился в подлокотники, как на крутом вираже. Вот сейчас встать и сказать все, что он думает по этому поводу. Он знал Сережу Доценко: толковый, добрый парень, не деляга. Видимо, от своего больного отказаться не мог и деньги взял — постеснялся обидеть людей отказом. Такое бывает. Третьего зайца уже травят за эти полгода. Не пора ли на стервятников облаву? Но какая-то центростремительная сила который раз уже вдавила его в кресло. И Юлий Сергеевич, Юлик, мягко придержал его: «Сиди, дурило». Ян Борисович только тихо сказал соседу слева:

— Сеня, что за бред?

— Пустяки,— цинично шепнул ему профессор Семен Семенович Спасский.— Удовлетворяет естественную потребность. На нас. Возникал Доценко на собрании: организация работы ему не нравится. Получил свое. Мне организация работы нравится. А тебе?

Ян Борисович тактично промолчал.

Директор внимательно посмотрел на сотрудников и ушел походкой делового человека, умеющего ценить время.

Базиль: «Операции за пятницу и срочные».

Доложили.

Базиль бодро: «Идем работать». Посмотрел на часы. Было девять сорок.

Ян Борисович остался с Юлием Сергеевичем в опустевшей аудитории. Нахально закурили под знаком — перечеркнутой жирным крестом папиросой. Ян Борисович смачно плюнул на пол — тоже непохвально. Осмотрел с порога аудиторию. Амфитеатр. Театр. Одного актера. А?

— Цирк,— понял его и подтвердил Быстров.— Ну что, Ваня?

— Юлик,— сказал Ян Борисович,— слышал, женщина у меня погибла. Займись ты вскрытием сам. Я не понимаю, в чем дело.

— Как прикажешь,— ответил Быстров.— Сделаю по высшей категории. Все будет хорошо.

— Юлик, а ты часто покойников вскрывал?

— Приходилось,— недоумевая ответил Быстров.

— А что у них внутри?

— Все, чему учили.

— Душа где находится?

— Какая душа? Они же покойники.

Юлий Сергеевич настороженно посмотрел на друга.

— Позвони после двух, Ваня. И перестань психовать. Опять тебе больше всех надо?

И Ян Борисович пешочком, пешочком, быстро, быстро — плечо заболело — на четвертый этаж. На площадке, как он и предполагал, стоял Доценко, серовато-го цвета, досасывал, судя по двум окуркам на подоконнике, третью.

— Сережа,— сказал Ян Борисович,— я тебе, наверно, ничего не смогу сделать. Пренебреги. Этим — попытаюсь что-нибудь сделать.

Сергей вымученно улыбнулся — утешил.

Быстро, быстро, по ступенькам — вниз, к себе. Снимок плеча сделать? Успеется. Ночью не болит, работать не мешает. Нины не хватает, она что-нибудь умное сказала бы насчет Дра-Дра. Спасский прав, не надо высовываться. Никому ничего не нужно. А он — другой, что ли? Доценко — нужно было. Получил свое, вот что.

Толкнул двустворчатую дверь: в правый коридорчик. Надел белые бахилы, маску — на шею. И через «красную черту» — в операционный блок. Первая операционная, вторая — все нормально. В третьей — бесшумная возня. У аппарата Андрей. Легочный больной. Тот. В чем дело?

Андрей, негромко:

— Кровотечение.

— Почему?

— Много сращений.

— Кровопотеря?

— Пока — два литра.

— Ну-ну.— (Не было печали).— Кровью не увлекайся. Только свежую. Растворы. Полиглюкин.— (Тысячу раз повторял каждому.) Андрей мотнул головой раздраженно, понимай: «Сам знаю». Знает. И впрямь, чего он по операционным бродит? Лишний человек, вот что.

У себя закурил уже без удовольствия. Посмотрел на стену. Карадаг должен быть правее, вне рисунка. Пошарил в каталожном ящичке, заглянул в него. Седуксена осталась одна ампула, завтрашняя. Подержал ее в пальцах. С сожалением положил обратно.

Нажал клавиши селектора: ординаторская, дежурка, старшая сестра, пост. Сказал: «Обход».

Двое оперированных уже проснулись после наркоза. Они помнили только легкую боль в локтевом сгибе от иглы, потом времени для них не стало. И почти

внезапно — потолок палаты, неясный гул чьих-то голосов. И хочется, очень хочется пить, рот сухой. Впрочем, с ними был полный порядок.

Отдельная палата — с порога слышны длинные, очень равномерные стоны. У больной лицо розовое, дыхание ровное. Собственно, дышал за нее, чуть постукивая, аппарат искусственной вентиляции легких. И он же, на выдохе, издавал звук, похожий на стон,— дефект какой-то. Ян Борисович поднял одно веко больной, другое — зрачки на свет не реагировали. Протянул руку назад, пошевелил пальцами. Юра вложил в его ладонь неврологический молоток. Рефлексов не было. Уже не было человека, сердце которого билось и равномерно, двадцать два раза в минуту, поднималась грудная клетка. Необратимо, вот что.

Помолчал. Помолчали все: что скажет шеф?

А шеф неохотно промямлил:

— Надо бы электроэнцефалограмму сделать, для порядка.— Как всегда в таких случаях, не поворачивался язык сказать: «Все». Он знал, и знал, что все знают: прибор напишет прямую линию. И тогда кто-то из них остановит, прекратит этот равномерный длинный стон цилиндра, нагнетающего воздух в легкие. Потом — остановится сердце. И — все.

Они пошли в следующую палату.

Обход, слава богу, кончался. В последней палате — старик, оперирован вчера, срочно: непроходимость. Выглядит как-то не очень: напряжен, зрачки — широкие.

— Как себя чувствуете? — Воровато глянул в историю, у Юры.— Как, Иван Ефимович?

— Больно, очень больно.— Дед положил руку на живот, где была рана.

— Когда?

Старик понял вопрос:

— Минут пять.— Попробовал улыбнуться: с самим профессором разговаривает! Затих, рука свесилась. Пульс не прощупывался. Ян Борисович, не думая, нагнулся, положил правую ладонь на тыл левой и четкими, сильными, раз и навсегда заученными движениями начал непрямой массаж сердца. Мешала сетка кровати: пружинила. Юрий, стоя на коленях, дышал в рот старику через марлевую маску.

— Есть пульс,— сказал Дмитрий,— мерцает.

— Дефибриллятор.

Туловище старика вздрогнуло (шесть тысяч вольт).

— Ритм правильный,— сказал Дмитрий.

— Острый инфаркт миокарда, наверно,— сказал, отдыхиваясь, вспотевший Ян Борисович (плечо не отходило). Сестра протянула ленту электрокардиограммы.

— Вот он. Острые боли в операционной ране,— заговорил, поучая; знал, что все это знают, и знал, что нужно опять повторить,— могут быть признаком инфаркта миокарда. Морфий. Подключичный катетер. Гепарин. Больного на мониторное наблюдение. Как остальные в палате?

— Нормально.

— Ну, лады.— И пошел, очень довольный собой.

Редко это получается. И деду повезло — во время его обхода. А Юра не справился бы? Фельдшер бы справился. Санинструктор — должен. А между тем на свете смерти нет. Бессмертно все. Бессмертны все. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете, вот что. Обернулся:

— Юра, через час мне тезисы занеси.

Быстро, быстро, пешочком поднялся на абдоминальное: просили больного посмотреть. Часы в холле показывали шесть. Утра? Вечера? Неужели нельзя сделать так, чтобы часы на этажах показывали хотя бы приблизительно одинаковое время? Цирк-шапито, вот что. Никому ничего не надо.

Больного посмотрел. Похоже, будет срочная операция, через час яснее станет. Вернулся к себе. Открыл наконец диссертацию Николая: обещал посмотреть

к предзащите. Взял простой карандаш, очинил его. Молодец. Сорок один парню, уже — докторская. Ну и что? Гоше тридцать было. Давно обещал посмотреть, времени все нет. Завтра можно будет закончить. Завтра — санитарный день, операций нет.

— Можно, профессор?

Яна Борисовича давно уже не раздражало, что его зовут профессором.

Повернул голову: в дверях стоял немолодой человек в пиджаке и шляпе. Лицо темное, морщинистое.

— Проходите, садитесь.

— Моя фамилия Манапов,— объяснил человек.

«Казах»,— понял Ян Борисович.

— Садитесь, говорю.

Манапов, прихрамывая, подошел. Сел. Ян Борисович рассматривал его молча. На правом лацкане «Отечественная война». Слева подряд две георгиевские ленточки и красно-зелено-красная: «За доблестный труд».

«Слава» третьей степени, и, похоже, в сорок третьем и началась и кончилась твоя война, Манапов. Ни «Обороны», ни «Освобождения», ни «Взятия». Пошел в свой колхоз на костылях. Председателем? Скорее, по молодости лет,— плотником.

— Слушаю вас. В чем дело?

— Профессор,— сказал посетитель. Он так и сидел, не снимая шляпы.— Может, мало денег? Я дам еще.

— Какие деньги? — несколько удивился Ян Борисович, чуя неладное.

— Внучка моя операция будет. Доктор сказала, лекарство новое нужно. Для наркоз. Четыреста рублей лекарство.

— Какой доктор?

— Хороший. С бородой.

Ян Борисович осторожно вынул из-под стекла фотографию подразделения коммунистического труда.

— Покажи, Манапов.

— Вот,— уверенно сказал казах.

Тут Яну Борисовичу и стало нехорошо.

— Дал деньги, Манапов?

— Как не дать?

И — низкое серое небо Алма-Аты. Тяжкая духота базара. Оборванные мальчишки, эвакуированные и местные. На тряпках — непостижимые уму лепешки, твердый сыр шариками. В горшочках — мед, молоко. И счет, счет — базар. Счет: — Канча турат? Сколько стоит? Быр. Екы — два. Четыре? Тырт. Сто. Сто? Жуз. Тырт жуз: четыреста.— Кым бат. Дорого, слишком дорогая цена. А?

— Тырт жуз, Манапов?

— Тырт жуз,— подтвердил казах и стал быстро говорить. Ян Борисович понял только повторенное несколько раз «кыз» — девочка.

— Бельмейм, жолдас, не понимаю,— взмолился он.— Давай говорить по-русски. Слушай, друг. Денег больше не надо. Приходи, жаным, завтра утром, в полдевятого, понимаешь? — (Хоть свои — вернуть придется.) —Лекарство это есть. Наркоз я сам буду делать.— Пожал ему руку.— Жаксы? Хорошо?

Ушел Манапов. Совсем не жаксы было дело. Жаман. Плохо, вот что.

Клавишу селектора: старшей сестре, Алле Петровне.

— Петровна, Лосева ко мне в кабинет, срочно.

— Он же на наркозе, Ян Борисович.

— Заменить хоть чертом. Живо.

Алексей пришел через пять минут.

— Деньги давай,— ласково, лениво сказал Ян Борисович.

— Какие деньги?

— За которые ты сядешь. Говно!

«Dixi et animam meam salvare», что примерно означало: «Выматерился — и на душе полегчало». Теперь можно разговаривать.

Алексей покраснел. Понятно: блондинчик, тонкая кожа, возможно, и невинность первый раз потерял. Глаза слезами наполнились. Это он умел.

— Дядя Ваня, я все объясню.

— Что — объясню? Дядей тебе будет пахан, опер — кумом. Быстро.

Без слов ушел Алексей. Плечами пожал, поганец? Или показалось?

Ян Борисович вспомнил, как на день рождения его — пять, кажется, стукнуло — принес автомат, почти как настоящий. Лампочка на конце ствола вспыхивала. Все путем. Сентиментален стал к старости, вот что. Автоматчик. Фармазон поганый. Динаму захотел провернуть.

Алексей вернулся. Положил восемь зеленых бумажек.

— Так. Вот конверт. Пиши: четыреста рублей, которые я, Лосев Алексей Георгиевич, вымогательством, нет, недостаточно казенно выходит, путем вымогательства получил от гражданина Манапова. Теперь — бумагу. Директору. Члену. Корреспонденту. От. Прошу по собственному. Сегодня восьмое? С девятого июня. Подпиши. Дату не забудь, автоматчик.

Внизу аккуратно, без рабочего росчерка, приписал: «Прошу уволить. Я. Сорин». Бумага серая, не парадная, вот что.

Злобы почему-то не было. Недоумение было. Предал. Зачем? На девку? На бензин?

— Отцу расскажу, не сомневайся.

Алексей покраснел опять.

— Скажи спасибо, что не матери. Вали отсюда.

Алексей двинулся к двери.

— Стой!

Остановился. Обернулся со смутной надеждой: дядя Ваня любил шутить, и шутки его иногда были довольно жестокими.

Ян Борисович шевельнул поясницей и повернулся к машинке. Включил. «Ятрань» благодарно заурчала.

«Заведующему подстанцией «Скорой помощи» № 3 М. И. Семенову.

Дорогой Миша!

Настоящим письмом рекомендую тебе А. Г. Лосева. По чисто личным причинам он уходит из моего отделения. Доктор способный. Желательно, чтобы поработал у тебя.

Заранее благодарный

Твой...» Подписал: «Я. С.».

— Путевка в жизнь. Пошел вон!

Алексей покорно пошел вон.

Конверт спрятал, подальше. Нажал клавишу селектора:

— Петровна, зайди ко мне, пожалуйста.

Ждать не пришлось, кабинет рядом. Она, лапочка. Хороша, хороша старшая сестра. Колпачок несколько кокетлив. Сама знает, что хороша. Только очень уж белобрысая, бровей почти не видно. Подкрашивать надо, вот что.

— Ян Борисович,— сказала она, чуть смущаясь,— послезавтра у Александры Викторовны день рождения.

Забыл совсем. Десятого июня. Да еще дата круглая — двадцать пять. Нине сколько тогда было? Двадцать шесть, да. Прилетела наконец? Похожа на нее Санька. Обязательно нужно будет к ним зайти. Что подарить?

Дал десятку.

— Что подарите?

— Не знаем еще, сколько соберем.

Он:

— Петровна, влюбилась бы в меня, что ли.

Она, серьезно:

— Нельзя, Ян Борисович, вы начальник.

— Тогда, лапочка, отнеси бумагу в дирекцию, Ангелине Ивановне. Попроси передать сразу. А мне — коробочку седуксена. Ампулы.

— Пожалели бы вы себя, Ян Борисович!

— Не жалел бы — не просил.

Когда Алла Петровна вышла, взял ампулу, ту, завтрашнюю. Надпилил, обломал, развел, ампулу бросил в пепельницу. С жадностью выпил. Гадость. Теперь — телефон Лосева. Домашний и так знает, ни к чему сейчас, посмотрел в книжечку: через секретаря — не сто́ит. Вот: новый, прямой, в кабинете. Набрал номер. Знакомое: «Здесь».

— Гоша, это Ян. Говорить можешь?

— Могу. Дела столько, что лучше не делать. Весь в бумагах. Сессию готовим. Выборы, сам понимаешь...

— Георгий, слушай внимательно. У меня парнишка один работает, я его давно знаю, ты — тоже. Блондин такой, с бородкой. Так он у родственника одной больной одолжил, так сказать, рублей примерно четыреста. Не знаю, что и делать. Думаю, что он первый раз к такому займу прибегнул.

Гоша понял. Судя по затянувшейся паузе — ошалел.

— Это же уголовщина, Ванька!

— Гоша, я того же боюсь. Знаешь, как между больными информация идет?

— Я лекарем не был?!

Не был ты лекарем, друг сердечный, да не в этом дело.

— Ян, гони его к чертовой матери! Или — смотри сам. Ну, утешил. Диссертацию придержим: не созрел. Старуха бы не узнала, курица. Когда зайдешь, Ваня? Обговорить надо.

— Завтра. Сегодня не могу — край.

— К восьми. Пока.

Академик-секретарь Георгий Алексеевич Лосев повесил трубку.

«Смотри сам». Хитер папашка. Чего смотреть? Забоялся, конечно, у отца просить. Сказал бы. Что-нибудь можно было придумать, из заначки.

Вошла Алла Петровна. Принесла чай, коробку седуксена, бело-зеленую. Бумаги на подпись: табеля, графики, аптеку. Подписал, не читая.

— Отнесла?

— Ангелина Ивановна сказала, что сразу передаст.

С любопытством посмотрела: в чем дело, мол? А вот не узнаешь.

— Булочки бы белой. Совсем меня в черном теле держишь.

— Извините, Ян Борисович, сейчас.

Звонок. Это — который без диска, красный. Уже?

— Слушаю, Руслан Кириллович!

— Ян Борисович, когда вы освободитесь, не откажите в любезности зайти ко мне. Так, через полчаса.

Просьба начальника — вежливая форма приказания. Что есть врачебная этика?

Над заливом небо мутное, нехорошее, пробивается сквозь облака солнечный луч — один. И на Карадаге сейчас, наверно, нехорошо.

Ладно, он пойдет попозже. Надо потомить вежливого начальника.

И — вспомнилось, ни к чему совсем — Александр вчера сказал:

— Батя, объясни глубинный смысл сказки про курочку-рябу.

Такие вопросы отец всегда поощрял. Но мать — раздражалась. И сейчас она сказала:

— Опять какая-то заумь. До чего надоело!

— Погоди,— миролюбиво ответил Ян Борисович,— погоди, Тоня. Это интересный вопрос, это — для отличников. Надо разобраться в сути мифа. Яичко золотое. Не бьющееся. Так? Мышка вечером, значит, вечером смелеют мыши, разбила его безо всяких усилий. А завтра, согласно обязательству курочки,— снова все по кругу. Вот что.

— Солнце,— обрадовался Александр.— Здорово. А зачем — били? Почему — плакали?

— Подумай сам. Потом объяснишь мне.— И самодовольно ухмыльнулся: не сплоховал перед ребенком. (Внучком не наградил еще, кобелина?)

Из селектора:

— Ян Борисович, можно с тезисами?

— Давай, давай, времени нет.

Аккуратно отпечатаны тезисы у Юры. Ян Борисович глянул на заголовок, потом на Юру, как впервые увидел: с большим интересом. Аккуратен. Роста маленького, плотный. Солиден. Очки ему солидности добавляют. Халат какой белый. Сам дома стирает и крахмалит, вот что.

— Ты что же, мой хороший, меня в соавторы вписал? Работа — твоя, конференция — молодых ученых. И Соковых здесь не на месте. Мне — не к лицу и не по летам, Соковых староват для молоденьких. Спасибо, конечно, за уважение. Соавторов замажь, а лучше — отпечатай заново. Тогда и текст проверю.— Как будто нельзя сейчас проверить. Нельзя. Урок.— Извиняй. Завтра. Санитарный день, операций не будет. И проверим.

Ушел. Кажется, не обиделся. Доценко жалко. Нашел мздоимца Дра-Дра. Который сопротивляться не может. Профессор Соковых, вот кто. С ним он, Ян Борисович, не только в соавторах не будет, в сортир вместе не пойдет. Интересно, как он с Алексеем Георгиевичем, сыном самого Георгия Алексеевича, выкрутится, Дра-Дра. А?

Он поморщился: дверь открыли без стука.

Петр Денисович, хитрая бестия. С виду — простачок, шутил: «Я — сын рабочего и двух батрачек». Юморист. Неспроста пришел.

— Борисыч, дай сигаретку, с утра не курил.

— На.

Тот вытащил белую зажигалку с пьезоэлементом, предмет безумной зависти Яна Борисовича. Оба затянулись. Петр Денисович — с явным удовольствием; черт его знает, может, вправду с утра не курил?

— Что скажешь про Доценко, Денисыч?

Тот пожал плечами нарочито: дело административное, да он и беспартийный.

— Так-то так, друг мой, а двое «кхмеров» — твои. Третий — из профкома, это точно. А?

Петр Денисович отмахнулся. Знал он все.

— Борисыч,— сказал он, уже не сдерживая улыбки,— знаешь, в пятницу бюро было вечером. К юбилею готовимся.

— Ага,— сказал Ян Борисович,— значит, опять председатель транспортной комиссии? Фиг вам, ищите кто помоложе.

— Решили тебя на заслуженного врача представить.

В животе у Яна Борисовича несколько похолодело.

— Счет?

— Открою, по дружбе, партийную тайну: девять. Двое воздержались.

— Директор был?

— Ну.

— Говорил слова?

— Молчал. Голосовал «за».

Значит, непротивление злу имеет свои преимущества? А? Впрочем, вероятнее всего, бумаги будут оформлены по всем правилам и никуда не отправлены. Такое бывало. Дра-Дра любит пошутить. И как бы там ни голосовали, Алексей в институте работать не будет, вот что.

— Денисыч, ты стихи любишь?

— Какие стихи?

— В рифму. По деревне ходит Каин, окна бьет и на расчет, как работника хозяин, брата младшего зовет.

— Что за хреновина?

— А вот что: духоту сшибает холод, по пшенице пляшет град, видно, мир и вправду молод, Авель — вправду виноват.

— Спятил?

— Я? Гляжу из-под ладони на тебя, судьба моя, не готовый к обороне, словно в Книге Бытия. А, Петя?

— Ты сочинил?

— Тарковский.

Петр Денисович подумал немного.

— Который «Зеркало»?

— Не совсем. Но отражает. Знаешь, Петя, это все мирское, суетное. А вот у меня весь день из головы не выходят другие стихи этого Тарковского.— И Ян Борисович монотонно, негромко прочитал: — Предчувствиям не верю и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертно всё. Бессмертны все. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете, мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертье косяком. А?

— На берегу морском? — Петр Денисович покрутил пальцем у виска.

— Именно: на берегу морском. Я сейчас, Петя, к директору иду. Наверно, дней через десять получу выговор за мелкие упущения. Вопрос о представлении автоматически отпадает. Согласен?

— Ну.

Уже сдался, значит. Что ж, ему квартира действительно нужна. Трое детей. Славная вещь — казенная квартира.

— Петя,— с некоторым даже чувством сказал Ян Борисович,— я знаю, ты предложил. Что же, и я тебя всегда поддерживал. (Чистая правда.) Обещай мне, если получится так, как я предсказываю,— представь Антонову, Нину Васильевну. Не меньше моего заслужила, даром что не заведующая.

— Ну.

— Обещаешь?

— Я же тебе сказал,— обиделся Денисыч,— а в чем дело?

— Дело административное, да и касается беспартийного,— не мог не съязвить Ян Борисович.

— Все выеживаешься? Тебе опять больше всех нужно? Не будет с тебя путного старика. А ведь жалко, Ян.

— Самому жалко, Петя. До слез, вот те крест. Будь. Спасибо, друг.

«Конечно, жалко,— подумал Ян Борисович.— Единственный шанс в жизни. Маленький шанс. Не знает Петя, как дело было. Было дело, вот что».

И — осенью, двадцать пять лет назад, пришел к нему молодой симпатичный сотрудник патофизиологической лаборатории с деловым предложением. Ян предложение выслушал невнимательно. Суть была в том, чтобы больным после наркоза шесть часов не давать обезболивающих средств. Тонкие биохимические анализы, отражающие реакцию на боль, Руслан, разумеется, брал на себя.

— Всего десять больных.

— Не пойдет,— сказал Ян.— Сто больных. И оперировать без наркоза. А так — мелочевка. Только я не умею. Обезболивать — умею, служба такая. Вали отсюда, фраер порченый! — Яну тогда нужно было больше всех.

И свалял дурака сам. «Не потому, а потому что», как впоследствии туманно объяснял Юлик. Тема, предложенная Русланом, припахивала, конечно, как говорили в старину, серным дымком, но была совсем не бессмысленной. Скоро этим стали заниматься ведущие лаборатории мира. Еще бы: новые подходы к лечению боли! Чутье Руслана не подвело. Оказался одним из первых, стал профессором, потом, по инерции — директору наука ни к чему — членом-корреспондентом. Сейчас, это знали все, закусив удила, рвался в академики.

А тогда Руслан отвалил, но обиду запомнил. Заведовал лабораторией — помнил. В заместителях директора — помнил. Став директором — забыл, кажется. Или еще очередь Яна Борисовича не подошла вспомнить ту обиду.

«Ну, вместе, наверно, вспомним, тряхнем стариной»,— подумал Ян Борисович, глядя в окно. Впервые увидел, как подсохшая на солнце — дождь прошел давно — нестриженная еще трава под ветром идет волнами: ярко-зеленая, бледно-матово-зеленая, ярко-зеленая, бледно-матово... И время, может быть, волнообразно? Волна — частица. А? Здорово придумал. Наверно, сам. Нет, скорее, просто частицы. Забиться бы между ними. На время. Пора. Хватит его томить.

Ян Борисович прошел шагов пять и остановился. Потрогал мякотью большого пальца ноготь мизинца, потом кончиками полусогнутых пальцев постучал себя

по черепу, внимательно вслушиваясь в гулкий звук. Вернулся. Переложил деньги в чистый конверт. Надписанный смял, положил в пепельницу. Поджег спичкой. Прикурил от этого огня. Пока докуривал сигарету, конверт сгорел. Новый — спрятал в стол, поглубже. Теперь пусть докажут. Решительно двинулся в коридор власти, потирая больное плечо.

Профессор Спасский, Семен Семенович,— навстречу.

— Ян, ты завтра на ученом совете будешь?

— А ты, Сеня, первый псалом царя Давида знаешь?

Спасский насторожился, предвкушая,

— «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». А?

На круглом добродушном лице Спасского обозначилось выражение восторга. Он слегка пошевелил губами: запоминал.

— Ян, серьезно. У меня отчет отделения за пять лет.

— Жив буду — приду. Могу выступить по ближайшим результатам. У меня просчитано. Классные результаты операций, когда по твоей методике. Ты не знаешь, в чем фокус? А заодно и себя похвалю. Можно?

— Нужно. Приходи, хвали себя, только про меня не забудь. А ты куда?

— Туда,— показал.

— К Дра-Дре? Чего ты у него забыл?

— Понимаешь, он меня утром огорчил. Потом я его. Сейчас он меня обратно будет огорчать. Изо всех сил, вот что.

— Наш — может. А тебе опять больше всех нужно?

— Кое-что — нужно.

— Ну, ни пуха, сэр Ланселот Ламанчский.

На последней двери надпись «Директор». Накладными буквами. Директор очень-очень хочет стать академиком на ближайшей сессии. Голос Георгия Алексеевича, Гоши, весит очень-очень много. Алешка — пешка. Дра-Дра думает, что проходная. Пусть думает. И опять в сентиментальность дернулся, нашел место и время. Вспомнил, что его Сашка год спал в кроватке Алексея, переросшего свое ложе. Переросток дефективный. Кроватка хорошая была, деревянная.

В приемной человек пять-шесть, совсем не знакомых и почти не знакомых. Прием сотрудников начнется через сорок пять минут.

— Добрый день, Ангелина Ивановна!

Она приветливо улыбнулась, нажала кнопку:

— Руслан Кириллович, Ян Борисович.

— Да-да, пусть войдет,— из железного ящичка.

— Ну, Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!

Тут он и вошел.

Директор встретил его тоже улыбкой, не такой приветливой, скорее озабоченной. Стоя. Руки, однако, не подал. С легкой укоризной посмотрел на часы. Было четырнадцать двадцать.

На столе — тот серый лист.

— Извините, Руслан Кириллович, задержали,— именно задержали, а не задержался,— на операции.

Директор отмахнулся: какие пустяки, дескать.

— Ян Борисович, как это понимать? Я, руководитель диссертации, узнаю через секретаря, из заявления.— Показал заявление.— Потом, Лосев — молодой специалист, мы не имеем права уволить. Вы это прекрасно знаете.

Ян Борисович бестактно промолчал.

Они стояли друг против друга — друзья нашлись. Одинакового роста. Один — коротко стриженный, плешивый, в стоптанных казенных тапочках, в нелепой здесь, в просторном кабинете с казенной полированной мебелью, рабочей курточке — короткие рукава и вырез на груди (седая шерсть). Другой — в прекрасно сшитом темно-сером костюме, белейшая рубаха, неяркий галстук, темные, тускловатые волосы. «Красится,— с непонятным самому восторгом понял Ян Борисович.— Красится! Ай да мы! Ну и получай!» Коротко и сухо доложил о происшествии.

Директор внимательно посмотрел на него.

— Да садитесь вы, пожалуйста, Ян Борисович!

Сел сам, надел очки, что-то записал в календаре. Перевернул страницу назад, вычеркнул что-то из прошлого.

— Да, социальная коррозия, к сожалению, не могла не коснуться нашего коллектива.

Увы, Дра-Дра прав. Берут. И по-крупному. Не все, не у всех, но чего греха таить. Анестезиологи много знают. Вечером, перед операцией, иные больные охотно исповедуются им, а те отпускают грехи, уверяя, что «все будет хорошо».

— Доценко, например, зачем далеко ходить.

Эк его, сравнил гуся с яичницей. Подсказать — кто? Стучать не умеет Ян Борисович. И сам Дра-Дра знает — кто. Не тронет. Социально защищены. И как это возможно: Соковых и Сеня Спасский — вместе. Да еще под конвоем. А?

— Так. Читал я ваши стихи.— (Это к чему? Время тянет?) — Это первая ваша публикация?

— Да.

— Мне понравилось.

— Что вы, Руслан Кириллович,— смиренно так.— Не Твардовский. И не Чуковский.

— Нет, нет, вы напрасно скромничаете. Все так похоже на пережитое нами, мы же ровесники. И написано очень квалифицированно. У вас явное тяготение к точной рифме. Русский язык точными рифмами беден. Вы прекрасно компенсируете эту трудность аллитерациями и внутренними ассонансами.

Вот это рехнуться можно. Трактат о стихосложении. Тредиаковский. Наверняка сам стишками грешил. В школе. В стенгазету. И подписывался «Рогдай», чтобы догадались. А вдруг и сейчас?.. А?

Дракон, и ничто человеческое ему... Впрочем, плагиат. Черт говорил тезке, Ивану: «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto». А?

— И давно вы пишете?

— Еще в школе, в стенгазету писал,— машинально сказал Ян Борисович.

— Да, слабо поставлена у нас воспитательная работа с молодыми специалистами. А как вы представляете себе будущее этого человека?

— В городе будет работать. Сам выберет.

— Отец знает? — неожиданно проговорился директор.

— Не интересовался,— нагло солгал Ян Борисович. Потихоньку сунул руку в карман штанов, быстро сложил кукиш, для вида вынул носовой платок и деликатно поступил с ним по назначению.

Директор чуть посуетился, сидя на месте. Вытащил из ящика стола кожаную папку, тисненую, вложил в нее заявление, захлопнул, положил папку на стол.

— А вы совершенно не правы, Ян Борисович. Этого негодяя на пушечный выстрел нельзя подпускать к больному.

— А как,— деланно удивился Ян Борисович,— под суд? Первый раз, наверно.

— Вы меня не поняли. Его следует в порядке наказания перевести в экспериментальную лабораторию, скажем, в мою. Старшим лаборантом. На сто десять рублей. Я лично буду следить за его воспитанием.

Яну Борисовичу показалось, что директор ему подмигнул.

Это ход! Это полный академик. Вице-президент. Вице-король.

Ян Борисович сжал зубы, впрочем, тут же разжал: разговаривать неудобно.

— Не будет он в институте работать.

— Да,— сказал Руслан Кириллович, открыл папку, взял было знаменитый черный фломастер.

Ян Борисович с интересом посмотрел: тощая муха, неизвестно откуда взявшаяся, села на заявление. Директор брезгливо прогнал ее фломастером. Папку опять захлопнул. И мягко так:

— Посмотрим, хорошо. Да, я еще хотел с вами посоветоваться, Ян Борисович.

— К вашим услугам.

— Дело вот в чем. Вы знаете, в институте идет реорганизация. Вашего подразделения перестройка еще не коснулась.

— А чего нам перестраиваться,— простодушно сказал Ян Борисович, пожалуй, слишком простодушно,— мы хорошо работаем.

— Не спорю, хотя бывают досадные огрехи. Вчера, например.

Это он о Константиновой. Справедливо. Наверняка — ошибка. Чья?

— Но это мелочи. Ваше отделение следует преобразовать в научный отдел. Ведь не прачечная, одно из ведущих подразделений.

— Совершенно согласен, Руслан Кириллович.

К чему ведет? Раньше штаты не позволяли. Позволили. А?

— Есть мнение, что таким отделом должен руководить доктор наук. Кандидат наук — для института не престижно.

Гений! Президент! Король! Наполеон!

— Третью отделений и лабораторий института руководят кандидаты наук.

Что ляпнул! Потерял лицо.

— Вы правы, но это будет не отделение — отдел. Боюсь, что вы не совсем четко представляете роль человеческого фактора в перестройке. Так вот, я хотел посоветоваться, кого из докторов наук вашей специальности мы с вами могли бы рекомендовать ученому совету. Разумеется, нужен молодой, энергичный специалист.

А это называется: заставить кошку лизать горчицу. Могучий мужик Дра-Дра.

— А какой штат планируется?

Директор сказал какой.

Душа радуется. Два интеллигентных человека мирно обсуждают интересующую их проблему, понимая друг друга с полуслова.

— Аспирантура?

— Смотря кого изберем руководителем. Так кого же? — пристально глянул через очки, кажется, опять не без некоторого веселья.

Пауза до неприличия затягивалась.

— Руслан Кириллович, я сейчас к этому разговору не готов.

Только бы не Круглов. Тот быстро схарчит его, Яна. Наверняка Дра-Дра Круглова уже сосватал.

— Хорошо. Пожалуйста, загляните ко мне послезавтра. Подумаем еще раз, посмотрим. Не смею вас больше задерживать.— И уже вдогонку, у дверей: — А стихи ваши — превосходны.

«Посмотрим, посмотрим, дракоша прогремел». Чудо о змии не состоялось, Георгий Победоносец. До чего умен: о бюро ни слова. На этот крючок не брал. Мощный интеллект, жаль — не интеллигенту достался. Он и не таких уделывал. Вот Лисянский, покойник, склочничал с ним. Досклочничался. Само собой, Алешка здесь работать не будет, печень директора если не огорчена, то раздражена, толку что? Столько лет возился с Командой. Анонимку на него катнуть. Куда следует. Гекзаметром. Казенные шкуры крадет он собак неубитых и дома шьет шапки из них на продажу знакомым. Или: на потребу знакомых. Тема живая, модная.

Ян Борисович, утешившись несколько игрой ума, но еще бледный, страшноватый, пешочком, пешочком, бодро по ступенькам — к себе. Плечо заныло. Добрался до кресла.

Клавишу селектора:

— Володя, ты здесь?

— Я — сейчас.

Владимир Степанович перепечатывал их статью. Ян Борисович начисто не умел: каждый раз новый вариант. Он и книгу бы не написал без Нины. (Где же она? В институт звонила, может быть?) Володя — умел начисто.

— Что, Ян, смурной такой?

Ян Борисович вкратце рассказал что́. Раздел о перестройке и человеческом факторе.

— Нет,— сказал Владимир Степанович,— Круглова нельзя. Совет завалит, если поработаем.

— Не обольщайся, мой друг. Совет у него нынче тоже из рук ест. Планы-то другие были.

Владимир Степанович кивнул. План был простой. Через год Ян Борисович сдает заведование Славе. Устал от дерготни. Милое дело — на наркозе стоять. Ярослав — умный, грамотный, прекрасная реакция, память, воспитан. Когда же заведовать, как не в тридцать пять? Владимир, хоть много лет в заместителях, командовать совсем не хотел. Ленив стал. И уже — пятьдесят.

— Что же делать, Ян?

— Один пророк в таких ситуациях рекомендовал плакать, как шакалы, и кричать, как страусы. Пустим на самотек. Действие равно противодействию. Чему равно бездействие? А?

Володя сказал:

— Интересно, что бы стал делать Александр Михайлович?

Хмыкнули. Старец был опытным бойцом, мастером компромиссов. Лысый, пузатый, с вечной улыбочкой: я, дескать, принципиально доброжелательный человек. Он и в гробу с этой улыбочкой лежал.

— Что?

— А почему, шефуля, Старец всегда говорил: «Читай молитву, мальчик»?

— Это из Пушкина. «Борис Годунов». Прочитаешь ты когда-нибудь Пушкина, наконец!

— Прочитаю. Знаешь, Ян, с ним я работать не буду.

— Вместе не будем. Потому что выгонит и меня и тебя. Слава будет. Получит старшего научного. И хорошо.

Помолчали.

— Пойду, Володя. Нужно старика посмотреть.

— Не ходи. Всё.

— Что — всё?

— Опять остановка. Двенадцать дефибрилляций сделал. Не запустили сердце.

— Ясно. Как Алексеева?

— Отключили аппарат.

— Кто отключил?

— Я отключил.

— Понятно.

Еще двое за сутки. Кто следующий?

— Володя,— неожиданно спросил он,— ты не знаешь, как больничные берут?

— Вызови врача на дом, скажи, что была температура.

— Спасибо. Доступно объяснил. Ты, коснись чего, домой не звони, я сам голос подам.

Пошел к себе. Вспомнил на ходу, что завтра — Манапов, отчет Спасского на совете, диссертация Николая так и не смотрена. Нельзя заболеть. Завтра санитарный день. Жить некогда, времени нет. Кто сказал, что Времени больше не будет?

В кабинете посмотрел на картинку. Хороша. Еще бы разик — туда. Так же. Шалишь, необратимо время, вот что.

Машинально, неизвестно для чего, ткнул пальцем в клавишу селектора, задумался, не отпустил. И зря.

— А доволен-то был, доволен! — Юра? Безобразник. Сердится все-таки.

— Уйду я, ребята.— Андрей. Уже кончили операцию.— Надоел со своими нотациями и шуточками. Я взрослый, у меня дети.— Точно.— Как с мальчишкой. Тему дал — ни хрена не понятно, литературы нет. Что напишу — смеется, «хряпа», говорит. Что такое «хряпа»? Сам он...— Ну-ну, полегче, юноша! — То из Библии что-то порет, то похабель несет ни к селу. «Истинно, истинно говорю вам»,— передразнил, кажется, с непохожей интонацией.

— Ты зря так.— Слава. Умница.

— Что зря? Ты всегда за начальство.

— Я не за начальство. Я — за работу. Если начальник работает — он мне начальник. Наш — пока работает. Конечно, не тот уже.— Скотина ты, Ярослав.— Знаешь, как он лет десять назад всех круто жучил?

— И тебя, что ли?

— Больше всех. Нет, не тот, конечно. В чем согласен,— стиль дурацкий. Шуточки, фамильярность. Болтлив стал. И сестры разболтались. Алла Петровна делает с ним все, чего захочет.— Ну, князь Ярослав. Коннунг Ярицлейв. Варяг доморощенный. Этот — порядок наведет, ахнуть не успеете. Потом ахнете.

— Живет он с Аллой Петровной, что ли? — Юра, припомню.

— Сомневаюсь — по техническим причинам.— А ты, Дима, не только пьяница. Глупый ты.

— Понесло вас не туда. Нормальный старик. И насчет диссертации ты, Андрей, не прав.— Слова-то как цедит! — Знаешь, как я с шефом собачился, когда сам писал?

— А кто прав оказался?

— Я, конечно.— (Было.)

— Ну вас всех. Уйду.

— Иди. Держать не будем.— (Ничего себе!)

Ян Борисович снял палец с клавиши. Первый раз в жизни оскоромился. Не полезно подслушивать и стыдно. Никуда не уйдет. Самолюбив, руки хорошие. Сделаем диссертацию — и на все четыре, поминай старого дурака. Сам такой. А Слава-то! «Держать не будем». «Стиль дурацкий». Доброты маловато. Этого уже не научить, время упущено. И профессия не научила, хоть она, служба, такая — обезболивать и воскрешать. Жаль. А слушают его. Лидер. Ему все-таки отделение, если Дра-Дра берет на испуг. Ему. А больше-то и некому. А?

Докурил сигарету, пошел в ординаторскую, преодолел себя. Ничего не слышал, ничего не понял, вот что.

Андрей был еще в бахилах.

— Ну что, Андрюша?

Андрей посмотрел не по-хорошему:

— На столе оставили. Они пошли на удаление доли, рак. С кровотечением не справились.

Опять «они». И опять учить, учить надо: нет Еллина, Иудея, варвара...

Санька тоже в бахилах, маска на шее, курит (стерва), наушнички: магнитофон врубила, рожица отрешенная. «Балдела», а может быть, «торчала», как это у них называется? Он двумя пальцами потянул ее за рукав халата.

— Александра Викторовна, когда мать приедет?

— Ночью прилетела, Ян Борисович, самолет опоздал на шесть часов. Завтра будет.

Скорее бы.

Два оболтуса, прихлебывая по очереди кофе из чашки, решали кроссворд.

— Ян Борисович, строфа?!

— Куплет.

— Не подходит. Последняя «а».

— Ну, октава.

— Подходит. А «истина» — шесть букв?

— Фунт изюма.— Он рассмеялся.— Этому вопросу, граждане, «что есть истина»,— 1954 года. Давайте, правдоискатели, решайте скорее, на абдоминальном будет срочная.

Дмитрий вздохнул и, видимо, посылая шефа в душе по-матери, пошел смотреть больного.

А Ян Борисович, который раз уже за этот день, вернулся к себе и плюхнулся в кресло «для почетных посетителей» — оно ближе к двери стояло. Прикрыл глаза. Достукался, старый кретин. Скоро они ему будут кукиш в кармане халата показывать. Впрочем, сам виноват. Открыл глаза, усмехнулся, вспомнил: «Если бы Каштанка была человеком, то, наверное, подумала бы: нет, так жить невозможно. Нужно застрелиться». Нагана нет. В убежище надо, вот что.

Убежища отыскивались, хоть не без труда. Чаще и противнее всего — а выбирать не приходилось — комнаты друзей, холостых по второму и третьему

разу и отселенных в коммунальные квартиры. Но все неудобства искупались тем, что в убежище не надо было играть роль.

Мужа первой красавицы курса, тридцать лет назад осчастливленного и долженствующего пребывать в благодарном восхищении на всю оставшуюся.

Мудрого руководителя коллектива, патриарха, Старца-2.

Опытного специалиста по обезболиванию и воскрешению.

Испытанного остряка.

Автора известной в узких кругах монографии.

Знатока Блока, Пушкина и Библии.

Любовника страстного (далеко уже не тот).

И много еще кого, себя — не себя.

А бывал он там, казалось ему, самим собой, неплохим, в сущности, человеком. Неглупым, незлым, не очень веселым, не слишком удачливым.

Можно было там сидеть, развалясь, на стуле, а лучше — на диване, с рюмкой коньяка в кулаке, болтать о всякой разной чепухе и ощущать все время обожающий взгляд слегка сумасшедших глаз темного, непонятного цвета.

Слаб человек, приятно было Яну Борисовичу, когда его обожали.

И уж если совсем честно, убежище ему было, как тот песок тому страусу.

Пятнадцать сорок пять. Посмотрел на часы. Набрал номер.

— Мышонок?

— Здравствуйте, Ян Борисович, голубчик!

— Увидимся сегодня?

— Обязательно увидимся. Запишите адрес.

— Что это?

— Там одной подруги моей квартира. Она уехала на неделю.

Далековато, но, слава богу, не придется Юлика из дому выгонять.

— Ну, авось ничаво. Буду в девятнадцать тридцать.

— Авось ничаво, голубчик. Целую.

Неделя, да наша. Что Нина скажет? Ничего не скажет. Набрал другой номер.

— Тоня, я приду поздно. Оставь что-нибудь поесть.

— Опять ты?..

— Не грусти, вдова, скоро уже.

— Дурак.— Повесила трубку. Дурак и есть. И шутка дурацкая. Действует безотказно, вот что.

И — в январе, полгода уже, вошла к нему в кабинет, как этот шайтан Манапов.

— Можно?

— Почему нельзя? Все дозволено.

— Ян Борисович, вы меня не узнаете?

— Лицо знакомое,— уклончиво.

— Я — Инна.

Он смотрел, трудно соображая.

— Инна. Господи, неужели вы меня не помните? Я в септическом блоке лежала. Два года назад.

Возможно, и лечилась. Была такая: вспомнил. Еле вытащили. Совсем непохожа. Одета, причесана, цвет лица отличается. Глаза вот шальные, непонятного оттенка. Муж приходил, да, симпатичный парень.

— Как себя чувствуете? — спросил принужденно, надо же что-то спросить.

— Я совсем здоровая, спасибо вам.

— Живешь как?

— Хорошо.

— А твой муж? Боря, кажется? — И это вспомнил.

— Ушел. Второго октября.

Вот те на. И говорить больше не о чем. Она смотрела в упор, молчала. Дурак не поймет. Значит — два года? Помнила о нем. А? Могла ведь кого помоложе найти, красивая девчонка. Он-то здесь при чем? Смотрит как. Сейчас, наверно, заплачет, не хватало. И ляпнул, как в воду прыгнул:

— Встретимся?

— Обязательно встретимся, Ян Борисович.

Взяла быстро со стола ручку, аккуратно написала.

— Это — рабочий, а это — домашний. Если мама подойдет, скажите, что Ян Борисович звонил. Она спрашивать не будет.

Ян Борисович поцеловал ее и, полуобняв за плечи, подтолкнул к двери, сказал: «Иди, иди, дочка, встретимся».

Встретились, елки-палки.

Вышел. Дальше — по коридору, по лестнице. Да, плечо. Обязательно снимок сделать, завтра же. День спокойный, операций не будет. Повернул в сторону ортопедического отделения, показать плечо Спасскому. Может, Сеня что посоветует, он умный.

В холле на часах «двенадцать». Полдень? Полночь? Страна дураков. А он — ее почетный гражданин. Здорово из него Дра-Дра дурака сделал. Раздумал показываться, пошел назад. Тревога даже в кончиках пальцев ощущается. Надо что-то делать. Надо что-то сделать. День впустую. Второй обход провел Анатолий, когда он с директором собеседовал. Надо что-то сделать. Сию минуту. Для бессмертия, вот что.

И опять, опять вернулся к себе, очистил стол от всяких ненужных бумажек, вытащил и разложил карточки, свой пасьянс. Включил калькулятор.

Так, по видам наркоза — было сделано. Достоверно. Критерий «фи» надежный, не придраться. Теперь — по полу. Арксинус, корень, память, разделить, извлечь из памяти. Загнать бы туда все. И не извлекать. А память калькулятора — вне Времени? Ты Вечности заложник у Времени в плену. Так? Вечность — не Время, Вечность — отсутствие Времени, Блаженный Августин, кажется, полагал. (Продолжая нажимать клавиши калькулятора.) Неглупо и с космогоническими теориями в «Науке и жизни» согласуется. Делаем дальше. Умножить. Достоверность больше девяноста пяти процентов, что не требовалось доказать. Женщины — живучие. Надо считать. Наука требует. Что требует? Извлечь из памяти. Умножить. Не жертв требует. Статистической обработки требует. А Круглов либо считать не умеет, либо врет. Скорее — малограмотный. Так. У молодых достоверно лучше. Ежику понятно, но теперь — доказано. Выше девяноста девяти процентов. А теперь оно, главное. Арксинус... А если недостоверна разница? Как тогда? Тогда другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь. Надо жить без самозванства, вот что. Корень квадратный, память...

— Сделал открытие, профессор?

Нина в дверях, улыбается. Пришла. Господи, до чего хороша. Пятьдесят два девушке, а на все сорок. Косметика — страшная сила, вот что. Похожа на нее Санька. На ту Нину.

— Нинка, я думал, с ума без тебя сойду! Здравствуй, дружок.

— Здравствуй, милый. Самолет опоздал.

И быстро стерла следы своей помады с его губ.

— Что к вечеру пришла? Ты же завтра. Как отдохнула?

Нина Васильевна сказала непристойность по-французски. Хорошо знала язык. Все как всегда. Почему с утра тревога такая? За нее?

— Что нового, милый?

— Есть хорошие и плохие.

— Хорошие.

Он показал письмо редакции с предложением о переиздании их книги.

— Будем?

— Будем,— без особого энтузиазма ответила Нина Васильевна, внимательно всматриваясь в него,— будем. Почему у тебя лицо такое? Ты опять?.. Она брезгливо тронула коричневую пустую ампулу в пепельнице.

— Глупости.— Улыбнулся.— Устал.

Что рассказывать ей сейчас: про беседу с директором — зря расстраивать. Завтра успеется. Про беду с Алексеем — даже ей нельзя.

— Вот, женщина умерла ночью. Вторые сутки. Холецистэктомия. Давление упало.

— На вскрытии был?

— Не успел. Времени не было.

Набрал четыре цифры:

— Юлик? Не ушел еще? Что на секции? — И переспросил: — Острая надпочечниковая недостаточность? Не может быть.

— Со всяким случиться может,— как всегда, утешил Юлий Сергеевич.— Пока такое впечатление.

Нина Васильевна внимательно прислушивалась.

— Она чем еще болела?

— Астмой. Последнее время обострений не было.

— Гормоны принимала? Толстая? Сахар крови?

— Не помню. Толстая. Все они, с холециститом, толстые.

Она уверенно сказала:

— Получала гормоны. Надо было на столе их ввести и потом.

— Пожалуй,— с легким сомнением сказал Ян Борисович, хотя знал уже, что Нина права. Его ошибка. Грубая. Профессиональная, вот что.

Слегка прикусил губу. Нина Васильевна, очевидно, заметила.

— Да, Ваня, поздравляю с публикацией. Я думала, ты стихи — под псевдонимом.

— Я своей фамилии не стесняюсь,— обиделся Ян Борисович.— Тварь я дрожащая или право имею?

— Имеешь, имеешь,— утешила его Нина Васильевна.— Маргарита вернулась? Что рассказывает?

— Молчит. Хамит. Сказала только, что на реанимационном самолете летала. С вертикальным взлетом на восемь тысяч. Да еще — мне стукнули — видели вечером, как из церкви выходила. А?

— Вот тебе и «а». Как Сашка твой?

Он оживился:

— Этот молодец. Две недели уже в специализированной бригаде.

— А моя?

— Прелесть. В мамку. Веселая.

— Плохо с ней, Ваня. Ты не знаешь.

— Ярослав, подонок? — Вспомнил их постоянное перешептывание.

— Не знаю. Неважно кто. Перебьемся.

Помолчали.

— Тоня?

— Совсем сдурела. Ревнует. Житья нет.

— А повод — есть?

— Есть,— сказал он просто.

— Опять влюбился, старый козел?

— Хуже. Мне ее жалко.

— Рассказывай.

Рассказал.

— По-моему, она не поблядушка,— сказала Нина.— Дрянь твое дело, Иван-царевич.

— Известно, дрянь,— охотно согласился Ян Борисович (снова помилован!).

— А дальше — что?

— А ничего. Тоню я не брошу. Уж если... Кому она теперь нужна — такая. Всякой низости предел есть. Или должен быть, вот что.

Он тронул мякотью большого пальца ноготь мизинца, безымянного, среднего, указательного, мякотью мизинца... Поймал себя на этом.

Тут желтая мутная волна оторвала его от берега и понесла. Спросил, не понимая, что спрашивает, и уже зная правду:

— Санька — чья дочь?

Нина Васильевна не удивилась.

— Не бойся, не твоя.

Лицо ее не изменилось, только зрачки стали шире и совсем черными, да шрамчик над верхней губой — заметнее.

Волна качнула его назад и ударила о гальку плечом.

Она так и сидела в кресле, напротив, теперь смотрела мимо него.

И опять волна подхватила его и швырнула опять о камни.

— Зачем уехала — тогда?

Она смотрела в ту же точку.

— От тебя уехала. Для тебя. У тебя сын маленький был. Из благородства уехала. Медаль такую надо «За благородство». На шее носить. От себя уехала.— Нехорошо улыбнулась, одними губами.— От себя не уедешь, милый. Я знаю, как ты перемучился тогда. Я все знаю. Ты, милый, врать мне мог, стихи не врали. Дилетантские стишки, да не на продажу — все правда. Мне зачем показывал? Талантом удивить? А я ночью ревела, как дура, повторяла. «Мы сновиденья, ночные тени, бесовский хаос, души смятенье» — да? И у меня было, еще хуже, Ваня.

Взяла его окурок из пепельницы, затянулась.

— Ваня, ведь все могло, все могло, все.

Могло. Или не могло? Он сегодня, сейчас — не знает. Необратимо время, вот что.

— Зачем вернулась к нам? Ты, такой специалист?

— При чем специалист? Не к вам. К тебе. Санитаркой бы пошла, наверно. Я — баба. Обыкновенная. Ты осенью, тогда, веревки из меня мог вить. Одно твое слово нужно было. Ждала. А ты — Айболита. Я все помню. Все, все могло.

— Все могло, наверно, дружок.

— Какой я тебе дружок? Сослуживица. Секретарь, переводчица, референт. Господи, не знаю, кто еще.

Он-то знал. Она — все. И собака-поводырь. А он — слепой. Был и есть. Кто он без нее перед лицем Господа? И соавтор. Сдержал невольную усмешку, каламбура не хватало.

— Санька с тем — с Виктором — видится?

— Что ты, ей двух лет не было, посчитай.

Посчитал. Сходилось. Не сходилось. И калькулятор не поможет. Можно спятить по-настоящему. А? Спохватился. Давно себя так скверно не чувствовал. Привык, значит. «Дружок». Неужели права, все могло?

— Ваня, милый, я не ревную тебя к этой девочке, было бы хоть у тебя хорошо.

— А вот этого уже не будет,— сказал он как-то неохотно, равнодушно, устал от разговора очень.— Хорошо уже не будет. Жаман.

Нина Васильевна по-прежнему смотрела мимо него.

Он-таки усмехнулся: штучный денек. Эмоционально насыщенный. Хорошо закруглил.

— Как ты себя чувствуешь? — мирным, обычным тоном спросила Нина Васильевна, уже повернув к нему лицо.

— Сейчас — отвратительно, сама понимаешь. А так — здоров. Плечо вот болит,— пошутил он.

— Какое плечо? — не поняла.

— Левое. Снимок некогда сделать. Завтра.

— На ходу? Остановишься — болит? Ночью — болит? — встревоженная чем-то, встала Нина Васильевна. Точными движениями ощупала сустав.— Больно?

Ян Борисович крутнул головой:

— Нет.

— Вот что, милый, достукался. Завтра сниму ЭКГ и буду лечить по своему разумению.

— Может быть, прикажешь в богадельню лечь?

— Может быть, и прикажу. Ваня, давай к этому разговору не возвращаться. Старые мы. А заморочку свою расхлебывай сам, я тебе не помощница тут.

— Чего там расхлебывать. Мы свое упустили. Время непрерывно и необратимо, дружок, вот что.— Знаешь,— он опять усмехнулся,— пока ты не пришла, все время ощущение было: что-то случилось. С тобой? Со мной? Воистину случилось. Тогда. Четверть века. А? До завтра, моя хорошая. Прости меня.

Она провела мягкой теплой своей ладонью по его редким волосам. Он поцеловал эту ладонь, потом — каждый палец в отдельности.

Нина Васильевна ушла. До завтра. Когда дверь за нею закрылась, Ян Борисович тупо уставился в стенку. Теперь он знал точно: все могло. Могло — все, вот что.

А — встал он со своего вертячего кресла, не взглянув на разбросанные карточки, на табло калькулятора. Подошел к шкафчику, переоделся. Костюмчик рабочий — повесил туда, аккуратно. Тапочки снял, надел ботинки.

Галстук завязал тщательно. Ополоснул физиономию, опять посмотрел в зеркало. Вроде ничего. Сойдет на любителя.

И — значит, Нине двадцать шесть было. Ему — тридцать. Да. Черт их понес — Иван Михайлович, царствие небесное, кандидатскую на склоне лет справлял. Размахнулся мужик — человек пятьдесят позвал. Через час пустопорожних славословий Яну стало скучно.

— Тетка,— сказал он Нине,— давай тихо-тихо.

Бродили по улицам недолго. Неожиданно Нина сказала:

— Вот мой дом. Зайдешь?

— Кофе дашь, зайду. Со своим — познакомишь?

— Мой красавец мужчина в Сочи греется напоследок, не знаю с кем. (Зло как-то.)

«Хочет отомстить,— понял Ян.— Ну, бог даст, не последняя».

В полпервого она сказала Яну:

— С ума сошел?

— Сошел.

И она.

«В ту ночь мы сошли друг от друга с ума». Так оно и было. Именно.

А — между тем Ян Борисович выключил калькулятор, проверил, надежно ли спрятал те деньги. Из каталожного ящика взял бутылку коньяка, некупленного. Мелкими знаками внимания Ян Борисович не брезговал. Дензнаки не брал. Это точно. И быстро, быстро, пешочком, уже восемнадцать двадцать — посмотрел на часы — в гардероб. Машину бы поймать.

И — тогда такси под утро удалось поймать удивительно быстро. Выволочка была, конечно, Тоня с Сашкой уезжали утром в пансионат матери или дитяти, что-то вроде. Репрессию принял стоически.

А — машина стоит за проходной, свободная. Только шофер обозлился. Почему-то невыгодно ему с окраины на окраину. Неприветливый мужчина, вот что.

И — через день его озарило:

— Тетка, едем в Планерское!

— Едем! А что это?

— Коктебель называлось,— объяснил он.— Солнце, воздух и вода!

Отпуск разрешили сразу. Старец, Александр Михайлович, посмотрел хитро, без осуждения. Неожиданно спросил:

— Ян Борисович, вам деньги нужны?

— Нужны.— Семь бед. Взял.

А — машина шла, набирая скорость, от окраины к центру. Новостройки: длинные дома, высокие дома, торговые центры, высотные дома, длинные дома. Как по кругу, хоть прямо. Необратимо.

И — в Планерском было очень много всего: неба, моря, винограда (сентябрь!), холодного сухого вина в цистернах на набережной. Денежек в обрез было, вот что.

А — уже центр. Медленно теперь машина идет. У каждого перекрестка останавливается, каждому светофору кланяется. Закон. Карамзин сказал: «Законы осуждают предмет моей любви». Мы удалимся под сень струй, Нина Васильевна, вот что.

И — они вдоль бухточек Карадага, подальше от скопищ курортников. Перебирались через каменные гряды, брели по воде. Дальше — хода нет. Естественный грот, плита вроде скамьи. Никого вокруг и романтично. Ян, дурачась:

— Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне стать умней.

Нина:

— А своими словами?

Ян, помолчав:

— Ну, люблю.

Нина:

— И я.

Ян:

— Давно?

Нина:

— Три недели. Два года. Всегда. Навсегда.

«Ну и ну,— подумал он.— Поговорили». Посмотрел на женщину. Она отвернулась от него слегка, щурилась на воду. Так. Синие глаза, синее море. Белого парохода нет, вот что. Хоть без ритуального поцелуя обошлось. Страшновато, правда, стало: дальше-то как? А?

А — машина теперь ходу прибавила, вырывается из центра. Хорошо. Не любит он опаздывать. «Можно курить?» — шоферу. Тот буркнул: «Все равно».

Машина резко рванула, и Яна Борисовича вдавило в мягкую спинку сиденья. Да, тридцать лет назад он строчку прочел: «Время движется рывками». Запомнил, но тогда не понял. Сейчас понятно. Рванило время — его прижало, потом притормозило, он — об стенку, потом опять рванило — и опять прижало. Инерция. Больше всех нужно? Ничего, кажется, не нужно, вот что.

И — как просто оказалось дальше.

Через день, как вернулись, зашел к ней в кабинет. Нина шифровала электрокардиограмму.

— Посмотри, интересно.

Он пропустил небрежно ленту между пальцами.

— Острый инфаркт миокарда.— И спохватился: — У кого? Кто?

— Милый,— сказала Нина,— это не инфаркт. Тебя чему в школе учили? Тебя считать интервалы учили.

— Ноль-десять,— сказал он, всмотревшись внимательнее,— ноль-двенадцать. Ну и что?

— В книжке прочтешь. Вот что, милый, праздник кончился.

— Какой праздник?

— Наш. Завтра приезжает мой красавец, через неделю — уедем.

— Куда уедем?

— Далеко. В Алжир. Деньги зарабатывать. Все давно оформлено.

— А я? — глупо спросил Ян.

Нина сказала, по-прежнему спокойно и серьезно:

— Ты мне письма будешь писать. Обрывки бросай в корзину. Лучше в унитаз, только воду не забывай спускать, чтобы Тоня не прочла.

Пристально смотрела ему в глаза. Ждала чего-то? Ждала, вот что. Немного побледнела даже.

Ян бросил на пол бумажную ленту с красными, повторяющимися зигзагами.

— Маленькие-дети-ни-за-что-на-свете-не-ходите-в-Африку-в-Африку-гулять.-В-Африке-акулы-в-Африке... Жарища, должно быть, в этой Африке...

Нелепо как-то махнул рукой, от локтя вкось. Ушел. Обиделся.

А — моросит опять. Обманул прогнозец. Шофер включил «дворники». Звук интересный. Вроде — маятник. Нет, сдвоенный. Сердцебиение. Прислушался. Около шестидесяти в минуту, ритм правильный. Интересно, пугает Дра-Дра или уделает? Похоже — уработает. Хорошее утро было. Предчувствиям не верю и примет я не боюсь. Бессмертно всё на свете. Мы все уже на берегу морском, вот что.

И — вечером позвонил Юлику. Тот отнесся серьезно. «Приезжай, но захвати. И соль, покрупнее. Селедка есть. Засолим, потом зарежем».

Селедка хорошая оказалась, солить не пришлось. Юлик торжественно сказал:

— Этот маленький бокал, но с большим чувством, я поднимаю за прекрасную женщину Нину Васильевну Антонову.

— Она меня предала,— тупо сказал Ян.

— С каждым случиться может. Но она прекрасна. Везет тебе, Ванька, на баб. Не обижен, да не такими. Выпей. Полегчает.

Не полегчало.

Юлик сказал:

— Второй бокал, с прежним чувством, я поднимаю за моего лучшего друга Яна Сорина и его спасительную, я бы сказал, шкурную глупость.

Неужели тогда Юлик уже понял все? Не может быть!

Не полегчало.

Минут через двадцать появился, заранее вызванный Юликом по тревоге, сияющий, благополучный Гоша. Тоже захватил. В душевные тонкости не вдавался, повторял, как попугай:

— Глуп тот, кто говорит, что все хорошо. Надо говорить: «Все к лучшему».— И ржал. А через час он загрустил, изрекал время от времени: «Суета сует и всяческая суета». Или: «Всё — тлен». И вздыхал. Словом, Большая тройка с давних пор заседала в полном составе. Заночевали, конечно, у Юлика.

А — центр уже проехали, снова новостройки. Длинные дома, высокие дома, универсамы, длинные дома, высотные дома, очень длинные дома. Прямо, но по кругу. Кольцо существованья тесно. Надо разорвать его. Новую жизнь начать. Надо. Завтра с утра. Завтра — санитарный день, операций не будет. Вот что.

И — через два года Нина вернулась. Как ни в чем не бывало. Ни разу не вспомнили. Сначала холодок был, конечно, потом — все нормально. Совместная работа дико сближает. Охотно сквернословила по-французски и его научила. В гости — заходил, платонически. Санька была занятной девчонкой: «Дядя Ваня, что ты принес?» Ничего хорошего не принес дядя Ваня. Он догадывался, что у Нины кто-то есть. Не спрашивал. В своих грешках исповедовался, знал, что получит отпущение. Что было — никогда не было. Застряло между частицами Времени. Было, вот что.

А — они все по кругу, по кругу, хоть по прямой, помедленнее. Шофер всматривался в номера домов, сказал: «Здесь».

Ян Борисович дал ему пятерку — конец не близкий. Присел на лавочку у подъезда, с отвращением закурил. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертье косяком. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Есть только явь и свет, вот что.

Бросил окурок, медленно, нехотя поднялся на пять ступенек. Позвонил.

— Я здесь, Инезилья!

Инезилья, Инна,— в домашнем халатике.

— Ян Борисович, голубчик! Что-нибудь случилось?

— Еще не знаю.— Улыбнулся, вспомнил утро.— А что?

— Я думала, вы уже не придете.

Неловко суетилась, пыталась помочь ему снять плащ.

— Почему не приду, Мышонок?

— Уже без четверти.

— Я же сказал — девятнадцать тридцать. День был тяжелый.

— Нет, замечательный день!

— С чего бы это?

— Вы приехали.

Он прижал к своей щеке тонкие холодные пальцы ее, остро пахнувшие духами. Подведет под монастырь с этим ТЭЖЭ. Да она и не знает, что такое «ТЭЖЭ».

«Еще никогда,— задушевным голосом говорил в комнате покойный Копелян,— никогда Штирлиц не был так близок к провалу».

Вот оно, убежище. Небогато живет «одна подруга». Только на темно-синих обоях, в насмешку над ним,— репродукция Волошина: ночь, луна освещает зеленые холмы, зеленью отражается в заливе.

Над диваном — гитара.

И в углу светится экран телевизора. Выключил.

Вынул из «дипломатика» бутылку. Открыл. Кивнул: поставь рюмки. Тут на него нашло, сам не ожидал. Взял аккорд, поморщился, подстроил гитару и запел речитативчиком: «Чередой за вагоном вагон, с мерным звуком по рельсовой стали. Спецэтапом идет эшелон с пересылкой в таежные дали. Заметает пурга паровоз, окна гаснут морозною плесенью, и порывистый ветер донес из вагонов протяжную песню: «Не печалься, любимая, за разлуку прости меня, я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь! Как бы ни был мой приговор строг, я вернусь на родимый порог, и, тоскуя по ласкам твоим, я в окно постучусь». Поезд шел по тайге вековой, огибая Урала высоты. На площадках вагонов конвой ощетинил свои пулеметы...» Как там дальше? Забыл, вот что.

Положил гитару.

— Концерт самодеятельности окончен. День реминисценций и ретроспекций.— И вздохнул.— Понимаешь?

— Не понимаю, Ян Борисович,— удивленно сказала она.

— Просто когда-то я был моложе. Можно поверить?

— Вы и сейчас не старый.

Положим. Тонкий комплимент. А?

Наполнил рюмки:

— Ну, Мышонок, чтобы все было хорошо.

Так и держал невыпитую рюмку в кулаке, на апельсин уставился.

И — бледно-оранжевая луна в сером полуночном небе. Короткая, гулкая очередь пулемета. Звонок капитана: «Доктор, в зоне раненые». Пошел. Мог не пойти. Надзиратель на вахте по привычке спросил: «Оружие есть?» Какое оружие у врача, «лепилы». Почему он тогда, не думая, пошел в зону, возбужденную нелепой, наглой попыткой бунта? Понимал уже, что нет варвара, скифа, раба, свободного? Наверно — нет. Боялся? Кажется, нет. А пока — очень тщательно перевязывал уже не кровоточащую рану. Еще никто не знал... Только он знал, что человек — мертв, и это никто пока не должен знать. Знал, что надо перевязывать и нельзя повернуться спиной к увидевшим кровь, кричащим уголовникам. Потому что в спину заточка войдет легко и бездумно. Зачем вспомнилось?

— Скажи, Мышонок. Изменять нельзя даже одной, но это делают, легко и бездумно. Да? А двум сразу? А если человек изменяет — сам изменяется? А?

— Вы больше меня не любите, Ян Борисович?

— Я себя больше не люблю.

И вздрогнул от знобкого, тоскливого чувства одиночества. Что́ ему и что́ ей, маленькой женщине с шальными глазами темного, непонятного цвета? Угрю-

мый, тусклый огнь желанья? Нет, не то, совсем. Опять попытка спрятаться от себя, от Времени? Пробовал. Не выйдет. Мы все уже на берегу морском.

— Постели, Мышонок.

А — уже двадцать три. Посмотрел на часы. Пора звонить Ярославу — что на отделении. Пора такси вызывать.

Опять упруго подняла его на свой крутой гребень и оставила там желтая волна Времени. Он понял, ***что***.

Понял, что это значит: страх и боль. Боль, распирающая грудную клетку, разрывающая ее, и подлый, животный — почернело пространство — страх за свою вмиг ставшую липкой шкуру.

— Ян! — почти беззвучно — перехватило дыханье у нее — крикнула Инна, увидев, как он, в майке, с серым, застывшим лицом, упирается руками в край стола.— Янчик!

— Коньяк. В стакан,— приказал он.— Дай. Живо.

Прополоскал рот, проглотил, вкуса не почувствовал. Не полегчало.

— «Скорую».

Она набрала номер, приставила трубку к его уху, держала.

— Не купирующийся. Приступ. Картина острого инфаркта. Я — врач. Сорин.

— Ян Борисович? — с тревогой сказала дежурная.— Высылаю кардиологическую.

Он и не представлял, как трудно переносить боль. Он погрузился в нее.

Через вечность под окном послышались вздохи сирены.

— Пап? — удивленно сказал Александр. С ним был другой, в руках — чемоданчики.

— Жаман, Сашка. Матери скажешь — взял на улице. Фентанил или морфий. В жилу. Максимум. Готовь дефибриллятор. ЭКГ не снимать. Не теряй времени.— Уже командовал, как на обходе. Протянул руку для укола.— Никаких носилок. Сам.

Дошел до машины. (Дошел: двое здоровых парней волокли под руки.)

— А как же я? — вроде донеслось.— Инна? Нина?

Он бормотнул, показалось ему — внятно и громко: «Все будет хорошо».

Нехорошо было на носилках лежать. Боль накатывала волнами.

Боль уходит понемногу... Бессмертно... Всё.

Он уже не чувствовал, как Александр четкими, сильными, раз и навсегда заученными движениями начал ему непрямой массаж сердца. Фельдшер через грязный платок дышал в рот: один вдох на четыре толчка.

— Кажется,— сказал в такт движениям Александр.— Стану. Сиротой.

— Кажется, есть пульс,— сказал фельдшер и посмотрел на капельницу. Она работала исправно, около сорока в минуту.

Высокий фургончик с маяком и сиреной быстро и уверенно шел сквозь ночной город.

Владимир Семенович посмотрел на часы: восемь пятьдесят три.

— Ян Борисович не звонил?

— Нет,— ответил Слава,— я вечером ждал, тоже не звонил.

— Загулял старик,— важно сказал Юра.

Санька улыбнулась: скажет глупость. Дядя Ваня — старик!

— Он говорил вчера, что хочет заболеть,— вспомнил Владимир Степанович.— Сел на председательское место.— Сегодня санитарный день, операций не будет. Читай молитву, мальчик.

Ярослав — с кафедры:

— На отделении...

Сегодня на «утреннике» все. С Базилем, Василием Васильевичем, серьезным сегодня, сидел Руслан Кириллович. Галстук другой. Тоже неяркий, тоже в тон.

Профессор Быстров чуть усмехнулся, вспомнил вчерашнее: «Ой, не к добру это, Юлик».

И директор встал.

— Товарищи! Мы получили печальное известие. Завершился жизненный путь — пародировал жаргон крематория, еще сердился — старейшего сотрудника института Яна Борисовича Сорина. Прошу встать! — Склонил голову, глаза — долу.

Маргарита спохватилась: «Ой!»

Сел. Сели все. Директор шепнул что-то Базилю, встал и походкой делового человека, знающего цену времени, вышел из зала.

Василий Васильевич сказал:

— Сегодня санитарный день. Операций нет. Дежурный реаниматор!

Ярослав потерянно пошел к кафедре.

Вбежала опаздывавшая, как всегда, Нина Васильевна. Увидела лица сотрудников: что-то неладно.

— Что случилось?

— Ян умер.

— Какой Ян? — Она не поняла.

Пожилая некрасивая женщина стояла на пороге конференц-зала, под глазами — размытая черная тушь.

— Идем работать,— ритуально сказал Василий Васильевич.

Посмотрел на часы. «Сейка» работала исправно. На табло быстро сменялись секунды. Было, примерно, девять часов шестнадцать минут.

голоса молодых

Борис Бойченко

НАСЛЕДСТВО

От звезд,
которых нет давно,
струится свет
в мое окно...
Судьбой
в наследство
мне дано —
житейской мудрости
зерно:
коль жить на свете
суждено,
то не должно быть
все равно —
а будет ли озарено
тобою
чье-нибудь окно.

* * *

Тех людей,
что заявляют:
«Моя хата с краю!» —
не напрасно
с давних пор я
сердцем презираю.

Видел я —
как хату с краю
вдруг
грозою подожгло...
А тушить ее
бежало,
спотыкаясь,
все село.

НА ПОГОСТЕ

Не заслоняйте
боль от детства.
Не уводите стороной
детей
от горького наследства,
что стало
вашею судьбой.

Старушка —
всё одна ходила
там, где кресты,
скорбя, молчат.
Но вот —
хвороба подкосила...
И — заросла
травой могила...
А где-то
семеро внучат.

Сергей Белов

ДЕРЕВНЯ

Человек уехать
в город
поспешил.
В этом
доме
не осталось
ни души...
И в других
домах
такая
тишина...

Можно
фильм снимать —
«Что сделала война»...

Только бабка
у последних
у ворот
то заплачет,
то хохочет,
то поет...
«Где же дети твои, бабка?
Где же де...»
Бабка,
кошка,
телевизор,
чья-то тень...

ОДИНОЧЕСТВО

Читаю в газете
или в журнале
эти грустные
строки:
«Мне
свидания не
назначали...
я одинока...
я одинокий...»

Прислушайтесь,
как бьется
дерево
в груди весеннего
леса!
Не хочется?

Тогда
я действительно
верю вам,
что вы одиноки...
От одиночества...

* * *

Дерево.
...ерево.
...рево.
...ево.

И вот...

Остается от дерева ствол.
В стол
Превращается пень...

День
настает.

Ствол распилят на доски,
чтоб
получился хороший
гроб,
чтоб
осталось еще на крест.
Он привычней для этих мест.

В том гробу понесут старика,
похоронят, где луг и река.

Тишина.
Тишина.
Тишина.
...йна.
...ойна.
Завтра утром
война...

Анна Ибрагимова

ПИСКАРЕВКА

Здесь душу не тревожит суета,
Величия исполнен каждый камень.
В молчании смыкаются уста,
И голоса внезапно умолкают.
Здесь все единой связаны судьбой
И каждый вдох — как будто испытанье,
И с каждым шагом слышишь под собой
Дыханье смерти...

И слезы не сочатся, только жгут
Глаза твои, и память всемогуща,
И вечный пламень совести живущих
Творит над нами справедливый суд.

* * *

К себе

Я вижу, ты в волнении опять,
И меркнет свет, и дождь стучит по крышам,
Но — помолчи,
Оставь еще сказать,
Оставь еще сказать тому, кто вышел.
Еще не прожит день, и плачет мать,
И нет пути, который мог быть начат,
Но помолчи,
Оставь еще сказать,
Оставь еще сказать тому, кто плачет.

А хочешь, вспыхнут в памяти моей
Слова о тех, не ведавших сомненья,
Кто предал смерти тысячи людей,
Но в днях прошедших ищет путь
к спасенью,—
Тех, что грядущих яростная рать
На муки черные, не оправдав, осудит!
Но... помолчи,
Оставь еще сказать!
Оставь еще сказать тому, кто будет!

Алексей Ахматов

* * *

Чем неустроенней душа,
Тем строки все точней,
Тогда и пишешь чуть дыша,
И проще, и честней.

И совершенней жесткий стих
Прозрачнейшей воды,
Когда страданий за двоих
И за троих беды.

* * *

Деревья выкрашены хной,
Но им все хоть бы хны.
Качают рыжей головой,
Бесстрашия полны.

Они бросают свой балласт,
Не избежав беды.
И листья — как следы от ласт
На плоскости воды.

Когда ж декабрь возьмет дуду,
Не угадать со сна —
То ль осень поздняя в саду,
То ль ранняя весна.

Не надо время укорять
За тот обман простой,
Ведь крайности, как говорят,
Соседствуют порой.

Александра Сандомирская

* * *

...И вы узнаете, узнаете меня.
Здесь, в этом воздухе, живет мое дыханье,
И эти улицы, тепло мое храня,
Тенями вам мои напомнят очертанья.

И абрис мой почудится в ветвях
Полночных тополей, склоненных над
каналом.
Там звук шагов моих. Здесь, видно,
второпях —
Я редко думала о малом.

Здесь я — везде, мне вечно жить дано.
Вам будет просто отыскать меня,
Да, городом я впитана давно.
На улице не встречусь, все равно
В моих стихах узнаете меня.

* * *

Давай же помолчим хоть пять минут.
Мне надоело это состязанье.
Друг друга или самоистязанье?
Давай умолкнем — хоть на пять минут!
Бессмыслен был наш спор и слишком крут,
Вновь не нашлось на нашу долю истин,
И мой язык опять мне ненавистен.
Бессмыслен спор и никчемушно крут.

Нам лучше о погоде толковать.
Другие разговоры нестерпимы.
Друг в друга словом — и все время мимо.
Уж лучше о погоде толковать.
Или хотя бы сказки мирно ткать
И вышивать фантазии узоры.
Мне надоели наши споры.
Ей-богу, лучше сказки ткать.

Для столкновений много есть причин,
Я больше не хочу сшибаться лбами.
Теперь мы ясно понимаем сами,
Что для раздоров много есть причин.
Давай с тобой немножко помолчим...

Валентина Лемина

* * *

Подай мне знак. Не оставляй меня
В неведенье на срок, что нам отмерен;
Мне будет легче подойти к той двери,
Где нет уже ни ночи и ни дня.

Не потому, что я того страшусь,
Но я на свете пожила немного
И поняла, что всякая дорога
Становится короче, если груз
С тобой разделит кто-нибудь. Потом
Ни доброго не будет, ни дурного,
Ни силуэта города ночного,
В котором были мы с тобой вдвоем.

Подай мне знак. И не жалей о том,
Что, может, обманул меня невольно,—
Мне, значит, было и того довольно,
Что мы хотели думать об одном.

* * *

Поизносилось зимнее пальто.
А мама между прочим говорила,
Что двадцать лет свое пальто носила,
А нынче поколение не то.

Припоминала все мои грехи,
Особенно как я на черном рынке
Отложенные деньги на ботинки
Потратила однажды на стихи.
И ведь она не то что не права,
А я не то чтобы цены не знаю
Стихам, ботинкам, но всегда другая
Всплывает ценность их. И вот едва

Возьмешься что-то переоценить,
Как время снова все перетасует.
Ну что же, я пальто перелицую —
И можно десять лет еще носить.

Дай бог, чтоб были эти десять лет.
И сыну моему тогда пятнадцать
Исполнится. Дай бог мне удержаться,
Когда он скажет, может быть, в ответ,
Что Шуази два тома и Ватто
Он обменял на... Даже не сумею
Представить, что покажется ценнее.
Хватило б сил не вспомнить про пальто.

Валерий Слуцкий

ЗВЕЗДА

...когда
Твой зыбкий свет мерцает рядом,
Тебя, чудесная звезда,
Иль образ твой встречаю взглядом?
Он так далек, твой зыбкий свет,
Что отступает чувство дали,
И небосвод моей печали
Твоим присутствием согрет.

* * *

Когда судьба бросает вызов,
Благоразумье роет рвы
И, не склоняя головы,
Громит полки ее капризов.
Тверда наружная броня,
Рассудком приступы отбиты,
И лишь от сердца нет защиты...

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТИ А. ГАЛИЧА»

И вновь, тщету разнообразя,
Вела на подвиги труба.
Я видел спешенного князя
И рядом конного раба.
В кольце отмеренного срока
Зачем я пробовал сердца
Мечтой лукавого пророка
И неподкупного лжеца?

МАЯТНИК ФУКО

В связи с реставрацией купола маятник Фуко не работает.

Взамен умолкнувшего хора
Внимая новым голосам,
Подобна внутренность собора
Остановившимся часам.
Кто прихожанина морочит,
Теперь поди определи
С тех пор, как маятник не хочет
Служить вращению Земли.



45-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Алексей Ливеровский

БЛОКАДНЫЕ РАССКАЗЫ

ВИДЕЛ СТАРЫЙ ДОМ...

Старый дом. Большой — покоем на две улицы и переулок. Пятиэтажный. Серый от дымных туманов. Над окнами лепные барельефы: мужские и женские головы с мертвыми каменными глазами и открытыми ртами. Глухие, наглухо заасфальтированные дворы-колодцы, где всегда пахло кошками, а по утрам — жареным кофе. Средний, не богатый и не бедный петербургский дом. Построил его для надежного дохода сенновский торговец овощами по проекту известного, но не дорогого архитектора. Веселые деловитые каменщики в фартуках, с волосами, прихваченными ремнями, разглаживая мастерком раствор, ровно укладывая кирпичи на толстых стенах, не думали, что такие стены хороши при артобстреле города.

В прежние годы люди в доме жили подолгу. Рождались дети, незаметно становились взрослыми. Подростки, что, кажется, недавно носились с мячом по асфальтовому двору, глядишь, уже носят гражданскую одежду или военную форму. Девчушки вырастали в девушек и приводили женихов. Изредка подъезжали к парадным похоронные дроги, запряженные четверкой отбракованных извозчиками, старых лошадей, покрытых сеткой. Синеносые факельщики в потертой форме, мечтая о выдаче на водку, блюдя благопристойность, молча и терпеливо ждали, когда по городскому обычаю в закрытом гробу вынесут старушку, прожившую долгий век, или дряхлого штабного генерала. Похоронный марш звонко ударял в стекла узкого переулка. Равнодушно похаживал, присматривал городовой.

Пришла революция. Менялись не жильцы, менялась их жизнь. Инженеры, учителя, ученые, артисты, врачи, музыканты, провизоры при новой власти вернулись к своим делам. Чиновники и их дети становились советскими служащими. Даже мелкие купцы приспособились: превратились в продавцов, завмагов, снабженцев. Офицеры исчезали навсегда или приходили в новой, непривычной для Старого дома форме: без орлов и погон.

Войны гремели далеко — дом жил привычной жизнью. В последней страшной войне пришлось воевать и Старому дому. Он перекрестил стекла бесполезными бумажными полосками, прикрыл глаза-окна плотными шторами, выбросил с чердаков все, что могло гореть, расставил везде ящики с песком, выслал на крыши и на скамьи у парадных недреманных дежурных.

Примолк, притих Старый дом. Жильцы не заводили патефоны, сами не пели, празднуя семейное, не напевали, занимаясь домашними делами. Погасли смех и громкие разговоры. Перестали звенеть веселые говорливые телефоны. Застыли лифты. Тишина пришла и утвердилась.

В больших городах живут всяк по-своему, не любопытствуя про соседей. И в Старом доме было так. Война толкнула на знакомства. В бомбоубежищах, на дежурствах, в магазинах прикрепления слышалось: «Здравствуйте! Прямо неловко: сколько лет рядом — не знаю, как вас зовут. Вы, кажется, из восемьдесят первой?» — «Нет, из пятьдесят второй».— «Вот видите!»

Недолго длилось печальное знакомство. Жильцы покидали дом. Первые — на машинах вместе с громоздкими вещами, позже увозили самонужнейший скарб на ручных колясках и саночках. Уходили и с тощим сидором за плечами, и так, как на недалекую прогулку — встал и вышел. Никто не возвращался.

Дом пустел.

Оставшиеся встречались не часто: кто на казарменное перешел, кто бояться перестал и не обращал внимания на воздушные тревоги — не ходил в бомбоубежище; некоторые в отчаянье впадали: «Все равно где пропадать — лучше в своей конуре». А дальше и сил не стало спускаться и, особенно, подниматься из подвала. Не встречались больше, разве что — самые близкие соседи: в тихое время прошаркает через площадку новости узнать — а откуда они? — или выпросит в долг одну спичку и, бережно расщепив ее ножичком надвое, затеплит у себя коптилку.

Пришла зима, отказало паровое отопление. Старый дом ощетинился, как пушечными стволами, жестяными трубами, торчащими из форточек. Остановилась в жилах дома кровь — вода. Последний раз помигало, помигало и совсем погасло электричество.

Ранен был Старый дом первый раз легко: снаряд разорвался на улице, осколки длинными побрызгами и округлыми язвинами выщербили фасад. Второй и третий снаряды ранили сильнее, хотя снаружи не было видно. Самый болезненный был шестой: он развернул и поднял часть крыши над правым флигелем. Внутрь дома, на лестницу и в квартиры, стал попадать дождь, а потом и снег.

Дважды горел Старый дом. Малый пожар — от вражеской зажигалки на чердаке — жильцы погасили сами; большой — от буржуйки, оставленной без присмотра во время воздушной тревоги,— гасили усталые пожарные в крепкий мороз. Кончилась вода, брезентовые рукава чугунно замерзли, надолго остались лежать на тротуаре, похожие на стылых удавов. Пожар прекратился сам собой. Выгорел левый флигель.

Как в половодье вода заливает сушу, обтекая островки, в ту зиму мертвый поток морозного воздуха, обвальный сыпучий снег залили улицы. И стали дома, как острова, как попавшие в беду корабли, почти покинутые командой. И не взывали они в эфир: «SOS! SOS! SOS!» — а к ним через черные диски репродукторов приходили сигналы смертельной тревоги. Мороз, мороз — нескончаемый, безжалостный к слабым, колющий железными иглами дыхание живого, днем голубой, ночью черный, ниспадающий из звездной бездны,— сжал город. Люди уходили все глубже и глубже в недра домов, в разрозненные пещерки, где хотя бы раз в сутки можно было возжечь теплинку из книг или мебели.

Город бомбили. Пострадал и Старый дом, тяжело и обидно. В ненавистную всем, ясную лунную ночь, приближаясь, просверлил небо злым рыдающим звуком одинокий вражеский самолет. Его слышал весь город. От холодного гладкого чрева самолета бесшумно отделилась длинная бочка бомбы. Падала, разгоняясь, леденила кровь нечистовым возрастающим ржаньем. У тысяч людей забились сердца и головы вжались в плечи. В квартирах посветлели шторы, качнулись стены — пришел глухой звук взрыва. И эта единственная в ту ночь бомба, как масло ножом, от крыши до подвала отрезала часть Старого дома.

Вьюги навили у карнизов рыхлую навись. Насупился Старый дом. Исподлобья смотрели подслеповатые стекла на Неву. Там, вблизи каменных ступеней, люди, медленные, укутанные во что нашлось теплое, трудно долбят лед, тяжело несут в гору неполные ведра воды.

Все чаще и чаще женщины, спуская по лестнице со ступеньки на ступеньку, тянут детские санки или фанерные листы с непосильным грузом — покойных отцов и мужей, бережно зашитых в широкие простыни.

Приникнув к набережным, стоят корабли. Большие и малые, крашенные пятнами, накрытые сетками или просто снегом. Недвижные, остывшие. Никогда не видел Старый дом столько их на Неве.

Погас купол Исаакия, укрыты золотые шпили Петропавловки и Инженерного замка, Адмиралтейства. Из Летнего сада ушли, спрятались статуи. Там, по натоптанным дорожкам между блиндажами, ходят военные.

У моста гордый Суворов со шпагой в руке, в гребенчатом шлеме — стоит открыто. Люди говорят, что решено было его не укрывать: не захотел бы такой храбрец прятаться, и у Казанского собора не закрыли два памятника военным.

Оскудели, сузились, обросли снежными валами, перешли во власть пешеходов улицы. Остались на них недвижные, запутанные обрывками осевших проводов, задутые снегом трамваи. Стояли, где не положено,— в середине перегона, на поворотах, подъемах и спусках — там, где застал их обрыв тока: не текла больше по проводам живая сила. Усталые вагоновожатые, захватив ручку контроллера, уходили в далекий парк. Если причиной остановки был близкий разрыв снаряда, живые и раненые покидали вагон, мертвые продолжали путь.

Затих, задумался Старый дом. Мало жильцов осталось, все наперечет. Из сто шестой перестали выходить на улицу девочка и мальчик, из семьдесят пятой — старик. Из пятьдесят второй жена увезла мужа в стационар, ходить не может, но сидел на санках хорошо, героем. В тридцать пятой радость — приехал с фронта приятель сына, привез посылку и отдал что с собой было из съестного. В соседней квартире — затихли все четверо. В третьей — нехорошо: варят и варят каждый день, а что варят? В пятидесятой квартире мать умерла, пришли дружинницы и двух детей увели в интернат, теперь не пропадут. У второго подъезда замерзла женщина — десятый день лежит. Ненави-

стная квартира в первом этаже — живет управдом! Сытые, жирные люди, мужчины и женщины. Такие же к ним приходят, часто пьяные. По вечерам пищит патефон.

* * *

Солнце, солнце, горячее и радостное! Его не было зимой. Нет, было — показывалось после вьюг между домами, холодное, испуганное, и быстро скрывалось. Теперь разгоралось с каждым днем.

На большом сугреве сползла с крыши дома и тяжело ухнула вниз снежная толща. Отряхнулся, очнулся от дремы Старый дом. И увидел весну.

Нева вскрылась поздно. Ушел в залив городской лед, за ним верховой унес на льдинах разбитые сани, колеса, обрывки колючей проволоки. Теплый ветер выжал из насмерть промороженного берегового гранита белый ледяной мох.

Люди говорят, что из-за растаявшей дороги через Ладогу как бы не снизили выдачу хлеба, зато враги уже не смогут проникнуть в город по льду залива, и, конечно, когда потеплеет, начнется наше наступление, возьмут проклятую Мгу, и все будет по-другому.

Нестройно пробили склянки на кораблях. От пегого борта тральщика на веслах отвалил баркас. Прошел по набережной и завернул к Старому дому отряд матросов. Позади них бежала рыжая, маленькая, лохматая собака, живая! Сбоку, не отставая, в кресле-коляске ехала пожилая женщина в шубе. Быстро качала рычаги, повернув голову к матросам, смотрела неотрывно и пытливо.

Во дворе чисто. Недавно убрали: все жильцы работали. Женщина из двадцать восьмой квартиры взяла в палочки-руки тяжелый лом, подняла, стукнула, отщербила кусочек льда, сказала: «Это невозможно — мы тут и умрем!» — и подняла лом опять. Хорошо, что пришли четыре сильные девушки. Они хоть и на казарменном, но тоже здешние. Здоровые, привычные, они хрустко откалывали черные, загаженные пласты, морщились и брезгливо отирали лица от мелких осколков. Остальные жильцы лопатами подбирали наколотое, ссыпали в ящик на санках. Мальчик и мама из сто шестой впряглись в веревки, тащили санки на набережную и там опрокидывали. Неделю убирали. Двор сухой, чистый.

Солнце окончательно освободило город от снега, растопило даже малые остатки в теневых уголках. Позвало птиц. В Летнем саду от зари до зари слышны веселые песни зябликов, буйные посвисты дроздов-белобровиков, брачные вскрики ворон. Над открытой водой в плавном полете, будто проваливаясь между крыльями, тянут чайки.

На асфальтовой площадке двора, там, куда попадает солнце, бродят дети, похожие на кукол, в зимних пальто, в шапках с опущенными ушами, поверх — теплый платок, завязанный на спине большим узлом. Из окна второго этажа, отвернув углом синюю маскировочную штору, за ребятами внимательно присматривают.

На Марсовом поле, в неглубоких ямах, зенитки быстро поворачивают стволы, громко выкрикивает команды человек в зеленой каске — идет учение. Строем проходит отряд: молодые, полные, краснощекие женщины в зеленых ватных штанах и куртках, с красноармейскими звездочками на ушанках, с лопатами на плечах. В задних рядах несут свернутые носилки. Идут молча, не поют, не переговариваются — устали.

День за днем горячело солнце, согревался Старый дом.

На улицах народу прибавилось. С двумя воспитательницами парочками идут маленькие интернатские, держатся за руки, неспешные, тихие: не кричат, не смеются, не плачут. Отряд красноармейцев с трудом тащит рвущийся к небу серый мешок, похожий на толстую гусеницу. На солнечной стороне у парадных дежурные. Люди медленно торопятся на работу. У многих в руках авоськи с пустыми баночками. Две женщины ведут под руки высокого тощего мужчину. Плохо идет: еле переступают ноги в валенках. Радостно ворчит женщина: «Алеша! Не торопись! Куда помчался!» Проехал седобородый старик на низком дамском велосипеде — крутит растопыренными ногами, ни на кого не смотрит. Его все заметили, проводили глазами до угла.

Еще весна, но по-летнему припекает солнце. Кое-где появились желтые чашечки мать-и-мачехи — невкусные, горькие. Зазеленели газоны. Пушек на фронте не слышно. Утренние перистые облака сгущаются в летние, похожие на ватные горы, и медленно уплывают на север, за Неву. В канале, за чугунной решеткой, прозрачная, как в Ладоге, вода, плавно покачивая водоросли, не спеша течет к морю. В заветрие на солнечной стороне улицы вынесена мягкая мебель. Несколько женщин полулежат в старинных креслах красного бархата. Оголенные, в трусах и бюстгальтерах, греются, вытянув ноги в валенках, откинув головы на высокие резные спинки. У одной синеют шрамы на ноге и около шеи.

Тишина. Тепло. Баюкает, мерно постукивает радио.

В ясное солнечное утро в Старый дом пришли пускать воду. Пожилой, по-зимнему одетый мужчина — кожа да кости, а глаза веселые — и три девушки. Бригадир вынул из ящика ручник, постучал по коллектору. Бодрый стукоток побежал по трубам и патрубкам во все квартиры, брошенные и жилые,— звонкой благовестью.

Ожил Старый дом.

Стылый мир, не озябший или морозный — нет, именно стылый. Все застыло, и мир, и люди.

Железное небо над городом, беспощадное, всегда в звездах, и звезды — злые. Блокада. Страшно выйти из дома. Страшны не бомбежка, не обстрел — нет! — боишься оторваться от капсулы своей, от тепла, последних крох еды. Понимаете, город был не сплошной, а людскими островками. Как муравейники в лесу. Далеко один от другого. И словно в марте, когда вытают вершинки муравейников, на каждом грудятся обитатели. Вяло шевелятся, который отползет, попадает в снег, пристынет сразу, замрет. Хорошо, товарищи заметят, вовремя назад втащат, а опоздают... выволокут неподалеку и бросят.

В нашем муравейнике худо. Спецхимлаборатория, паек повышенный, все равно — голодают люди. Сижу в кабинете, слышу — бух! Упал кто-то в коридоре. Выползут из лаборатории люди, медленно так, поднимут, втащат в тепло. Федора Никитична, хозлаборантка, посмотрит на меня вопросительно. Я кивну. Она откроет особый шкафчик, выдаст столовую ложку, с верхом, глюкозы и спирт — граммов тридцать, осторожно, внимательно — как жизнь мензуркой отмеривает. Спирт у меня был. Запас денатурата. Научился чистить...

Так вот. Наш маленький мирок — лаборатория — был центром, конечно, для меня и моих сотрудников. Дальше шли круги. Первый начинался за входной дверью: город без городского шума, без запахов, с чистым снегом на улицах. Ночью можно было пройти через него, пробраться тропкой по невскому льду, идти дальше и не встретить ни одного человека. Ни одного! До самого контрольно-пропускного пункта. Только где-нибудь под мостом или из парадной брызнут на тебя ручным фонариком, да на миноносце, намертво вмерзшем, недвижная тулупная фигура часового матроса.

Второй круг за КП — фронт. О нем мы кое-что знали.

Третий круг — это немцы, место, достаточно таинственное.

Четвертый — огромный — это Россия, тыл. Что там — мы не знали, только думалось, что там тепло и сытно.

Если кто-нибудь из сотрудников переставал мыться, с утра съедал весь паек хлеба и не мог работать, я приказывал Федоре Никитичне оформить эвакуацию и выдать пятьсот граммов спирта. Колоссальное богатство! Человек протестовал, не хотел уезжать в неведомое, на Большую землю, но покорялся и исчезал.

Помню, была одна научница, маленькая смуглая евреечка. Фашистов люто ненавидела, за троих старалась фронту помочь. Слабенькая. Бывало, на полигоне, как ахнет орудие, упадет без памяти, полежит, встанет и опять за дело: маркировку снарядов записывает, результаты. Так вот, стало ей плохо, совсем плохо. Приказал оформить и спирт выдать. Пришла в кабинет прощаться. Бледная-бледная, губы вывороченны, десны — как вишни: цинга. Говорит: «Помните, как князю Серебряному подносили отравленное вино?» — «Как же: „Никит-ста! Осударь жалует тебя чашею!“». — «Вы мне пожаловали?..» Потом узнал: мертвую из кузова вытащили. По ту сторону Ладоги. Да...

Тепло было только у меня в кабинете. По-настоящему тепло. Сам сложил печку-времянку с плитой, вывел трубу в старый дымоход. Топил паркетом из разбитых домов. Отлично горел! Дубовый и пропитан восковой мастикой.

Днем работа у лабораторных столов — упрямая, безоглядная, трудная. По вечерам все люди — не много их осталось — у меня. Придумал читать вслух. По очереди.

Как сейчас вижу. Вечер. Все грудятся к печке. Электричество не горит, книжку надо к самой коптилке, того и гляди, бумага вспыхнет. Все недвижно, шевелятся только губы чтеца да отблески огня. Лиц почти не видно. И хорошо — знаю, у всех мешки под глазами и красноватые рты. Черный блин репродуктора чуть шипит и постукивает, слава богу, ровно. Тревоги редко: примерзли немцы на аэродромах. Иногда качнутся старые толстые стены и зашевелится пол. Где-то далеко взрыв. Какой? Почему? Кто его знает.

В тот вечер, после отъезда маленькой сотрудницы, было особенно грустно. Выбрал для чтения что повеселее: рассказы Чехова. Читал ассистент, хромой, потому и не на войне. Нарочно дал ему читать. Что-то он призадумываться стал, не бреется совсем, хлеб не делит на утро, день, вечер. Читал он хорошо: красивым дикторским басом. Только окал сильно, видно, волжанин. Дочитал до того, как чиновник приходит домой и всем недоволен: жена встретила нечесаная, в грязном капоте, на стол подали холодные сальные котлеты. Положил мой ассистент книгу на пол, похромал к выходу, бормочет сердито: «Котлета не может быть противной, она из мяса, на жиру». У двери обернулся, как закричит, прямо грозно: «Из мяса! Из мяса!»

Ушел. Всем нехорошо. Сидят, молчат. Я был удивлен. Рассказ тогда выбрал по памяти, помнится, веселый, смешной и... ни смеха, ни даже улыбки. Молчат. Федора Никитична проскользнула к двери, прикрыла ее, валик-ковер поправила. Тут я почувствовал себя вроде виноватым — не то дал читать. Перебираю книжки — не надо веселого, что-нибудь поближе. Кнут Гамсун — «Голод». Читаю сам. Слушают. Вначале спокойно, внимательно. Потом приня-

лись посмеиваться. Дальше — больше. И только я прочел о том, как несчастный студент с утра ничего не ел, кроме кусочка колбасы с французской булкой,— тут рассмеялись все, безудержно. Вроде истерики — не унять.

Я отложил книгу. Опять ошибся в выборе — неправильно рассчитал.

НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Председательница профкома академии сказала директору: «Нехорошо получается. В девятом флигеле профессорша, говорят, давно не выходит, хлеб ей почтальонша получает. Плохо: одинокая, пожилая, карточка иждивенческая».

Директор хотел сказать привычное: «Не ходите ко мне с такими вопросами, нет у меня ничего, всем плохо, таких у нас...» Подумал, наверно, вспомнил, что профессор был наш, академический, крупный ученый, решил: «Зачислим вахтером, вакансия свободна. До главного здания дойдет? Новую карточку прикрепите к нашей столовой».

С тех пор каждое утро при входе в академию меня встречал взор больших равнодушных глаз, обведенных закопченными веками. Вахтер-профессорша сидела не в закутке у больших стеклянных дверей, а повыше на несколько ступеней, на лестнице у колонны. Предыдущие вахтеры — вольность блокадная — поставили там просторное старинное кресло из какого-то кафедрального кабинета. До пола свешивался казенный овчинный тулуп. Высокий воротник обрамлял спокойное смуглое лицо с носом-клювом. Под слегка распахнутым тулупом виднелась затертая до блеска бархатная шуба с когда-то дорогим меховым воротником. Совсем не тот строй ассоциаций, и все кругом не то, все равно навязчиво в голову лезло — Пиковая дама, а всего-то исходное: старуха и кресло.

Приходилось мне задавать ей бытовые вопросы, скажем: «Директор у себя?» Отвечала односложно, вроде: «там» или «недавно вышел» — вялым, очень низким голосом и разом возвращалась в созерцательное молчание, а выражение лица, как мне казалось, было слегка ироническое, хранящее что-то свое.

Примерно через месяц ко мне в лабораторию спустилась всезнающая и всегда спокойная секретарша директора, попросила: «Пойдемте, помогите снести».

Мы поднялись в вестибюль. В кресле, чуть склонившись набок и скосив недвижные глаза, сидела профессорша. Я спросил:

— Михаил Федорович знает?

— Да, директор сказал, чтобы пока ее снесли в местком, а потом отправим вместе с кочегаром. Знаете? Тоже умер.

Пришла председательница профкома. Мы втроем сняли с покойницы казенный тулуп, легкое, еще не остывшее тело снесли в помещение месткома и положили на зеленое сукно стола. Секретарша сказала, обращаясь ко мне:

— Посмотрите.— Откинула ветхие полы шубейки, и при свете слабого накала лампочки засветились приколотые или пришитые к черному шерстяному костюму драгоценности: золотые часы на золотых цепочках, жемчуг, колье, медальоны, браслеты.— Еще и в карманах,— продолжала она,— есть завернутые в тряпочки кольца и броши. Мы знали, уговаривали ее менять на еду, отказывалась, говорила, что бережет на черный день. Проглядела его. Вам не хочется взять что-нибудь на память?

— Избави бог! Куда мне...

Я шел к себе в лабораторию и печально размышлял, как трудно человеку, уверенному, несмотря на все, в своем бессмертии, заметить, как подкрадывается смерть. Утешался мыслью, что мне проще — если подкрадется, нет у меня ничего.

СТАКАН УХИ

Радость — появился Мазепа! Отодвинулся ковровый валик, открылась дверь, без стука вошел и сел рядом — живой, мытый, бритый, бодрый,— даже шапку снял. Это наш механик, милый человек с нелепым и неподходящим прозвищем Мазепа. Давно уже о нем ничего не было известно. Перестал ходить на работу — тогда еще посылали на квартиры узнавать,— до него не дошли, потом и ходить было некому.

Сам пришел, такой привычный, только сильно тощий и нос стал длинный. Спрашиваю:

— Жив?

— Ага.

— Как теперь?

— Вприсядку,— это его поговорочка,— послужу, а думал — концы.

— Торопишься?

— Посижу, у тебя тепло. Есть закурить?

— Филичевый, ребята с передка привезли, а спички наши.

— Делаете еще — молодцы, давай.

Курил молча, затягивался глубоко, смачно. Я подумал, что ему не хочется говорить. Ошибся. Рассказывал бойко, с улыбочкой:

— Значит, так. Не думал, что и со мной плохо будет. Почему? Не знаю, может быть, и другие так. Что было в доме — прикончилось, крутился, доставал — помнишь казеин с мебельной? — и этому конец. Мне все хуже, хуже, зябну, вставать каждый

день — му́ка. Неужели и меня — в простыню и на саночках? И черт с ним, пусть... Нет, погоди, так нельзя. Что делать? Ноги пухнут, зубы шатаются. Решил встать. Стал ушанку поглубже напяливать — уколол палец: запасной рыболовный крючок был заколот, еще до войны. Вытащил, держу на ладони... что, если попробовать? Ты помнишь, как мы на Ладогу за корюшкой... Я это умел. Есть еще свернуть? Извини, давно не курил. Чем топишь?

— Паркет.

— Жарко у тебя с непривычки. Разденусь.

Мазепа снял ватник, размотал шарф и опять с ухмылочкой:

— Значит — не сдаюсь, мы еще поборемся, храбрые воробьи. Попросил у женщин белых ниток, до полуночи скручивал и парафинил леску. Удилище — щепку отколол. Какую приманку? Черви — зимой? Хлеб — шарик можно, да будет ли наш хлеб брать? И это для плотвы. Встал раненько, как раньше на рыбалку, вырезал из латунной ленты полоску, шлифовал, шлифовал до блеска, зажал в него хвостик крючка — получилась блесна. К одежонке добавить нечего — и без того напяливал все, что есть теплого.

Морозище был! Ну мороз! Сжало меня, закачало — вернулся к дому шагов пять. Нет! Надо идти, есть мечта, может быть, глупая — все равно. Снег под ногой визжит, тропа по Невке задута. До Невы еще далеко.

— Зачем Нева? Ты бы на Невке.

— Не знаю, почему-то решил: только Нева, хоть и далеко. Невка обманет — конец мечте, второй раз не получится. Из дома тащу железную палку лед бить. Тяжело, руки мерзнут, перекидывал, перекидывал с одной на другую — бросил. Тащусь, путь долгий. Ты знаешь, сколько там лежит? Длинный бугорок — покойник. Не добрались бедолаги до берега, застыли на ветру, а может быть, брошены. Нехорошо подумалось: ладно, уплывут весной в море — нам не надо будет их, тяжелых, волочить, грузить, сбрасывать, а им все равно.

Дошел до Невы, ей-богу! И сразу повезло — стоит у пристани пятнистый кораблик, миноносец не миноносец, военный, пушка торчит зачехленная, на корме зенитные пулеметы. Главное, самое главное — темная канавка вдоль всего корпуса, свежеколото. Матросов не видно — мороз сильный.

Новый ледок в канавке тонкий. Пяткой валенка дырочку пробил, ледяные осколочки раздвинул, стал на колени, леску размотал, блесну спустил в лунку — потихоньку подергиваю. И скажи пожалуйста, разом клюнуло. Потянул — сорвалось. Ну, думаю, наужу, это факт — вприсядочку. Опять задергало, подсек и, прямо не дыша, вытащил, выбросил на лед и рукавицей прихлопнул — окунек, настоящий, живой, полосатый, глазастый, малюсенький. Есть рыба! Вторую поклевку ждал долго, поймал еще такого же. Больше не получилось — сверху крик: «Отойди! Слышь, отойди!» — над моей головой лицо смотрит из мохнатого шубного воротника, слышно затвор кляцнул: «Уходи, стрелять буду». Я ушел. Как добирался, смех — плохо помню, не соображал...

— Вприсядку?

— Это точно... Как на берег Невки выбрался, лежал на спине в сугробе, отдыхал или спал, потом где-то — тоже не припомнить — кого-то поднимал и все про окуньков думал: не потерять бы, они в кармане ватника, один еще долго шевелился.

Добрался. Дома никого, дрова приготовлены. Развел печурку, на краю хлеб сушу, на середине — кастрюлька с окушками. Думал, чистить ли? Отказался: от головы и чешуи самый навар, а кишки не помеха, ведь рыба съедобное ест. Варил долго, чтобы уха покрепче. Стакан ухи получился, не больше. Ел прямо из кастрюльки, все съел. Стало мне тепло, на кровать отвалился.

— И с тех пор на поправку?

— Нет, хуже стало. Проснулся, рядом на стуле записка от жены: «Дрова в печке, затопи, пей чай, хлеб принесу после работы». Чувствую, мне плохо: слабость, ничего не хочется, ни есть, ни пить, ни вставать. Пересилился, зубами скрипнул, встал печку растоплять. Не смог, свалился на железный лист затылком, думаю: «Похоже, концы». Принялся кричать. Это я так думал, соседка пришла случайно, потом говорила, что скулил тихо, как щенок. Хотела поднять на кровать — куда там. Я ей: «На полке в бутылочке... для примуса... лей в рот». Там смесь была денатурата с керосином примус разжигать. Влила прямо из горлышка. Рот обожгло, и я уснул на полу. Проснулся на кровати и сразу встал. С тех пор — на поправку. Тут скоро и хлеб прибавили. И сейчас не пойму: то ли уха, то ли денатурат с керосином? Как думаешь?

СОЛОВЬИ И ШРАПНЕЛЬ

Не знаю, по капризу или по какой надобности немцам вздумалось обстрелять нашу Выборгскую сторону на этот раз шрапнелью — так мне показалось. Начали они затемно. Когда рассвело, высоко над парком были видны красно-оранжевые венчики разрывов и темные клочки дыма, уплывающие поверху.

Обстрел начался, когда соловьи еще спали. При каждом разрыве внизу, в ботаническом саду, где соловьев было несколько, они просыпались, чёкали и коротко пели.

Разрыв — песенка, разрыв — песенка, так и шло.

Я дежурил по парку, и мне было весело: жив, хотя так и предполагал, но это было немало; в стационаре дали — это здорово и совершенно непривычно — крутое яйцо и ложку красной икры. И еще: скоро кончится моя вахта, и я пойду к себе, и буду пить чай с довольно большим теперь куском хлеба и двумя «кизяками». Кроме того, я любил этот парк — и он тоже жив, удивительно буйно цветет и гремит соловьями. Кроме того, очень тепло, так тепло, что, наверно, днем можно будет снять ватник. Тепло... скоро немцы оттают, зашевелятся и... ни-че-го у них не выйдет...

В пять часов утра полосатая легковая машина шла в город через парк. В ней четверо: начальник, дама, адъютант и водитель. Машина остановилась у ограды перед пышно цветущим кустом сирени. Вокруг ни живой души. Адъютант с ловкостью гимнаста перелетел через деревянную ограду, наломал охапку тяжелых, пахучих и влажных от росы веток. Возвращался к машине, когда неожиданно перед ним появилась живая душа в виде очень тощего человека в ватнике, резиновых сапогах, замурзанной кепке, но чисто бритого и в абсолютно белом накрахмаленном воротничке. Человек подошел к машине и произнес суровую проповедь о том, как нужно беречь парк, что это не просто сирень, а редкостный экзот, зиму всё берегли, сохраняли, а теперь вы... Адъютант пытался прервать, шипел ему в ухо: «Вы знаете, кому говорите? Да это... что ваши сучки!»

Начальник досадливо махнул рукой, что-то крикнул. Букет оказался на земле, машина тронулась. Охраняющий собрал ветки сирени, протянул отъезжающим, но было поздно...

Я не стал завтракать и спать после дежурства, пришел в директорскую, где по утрам собиралась группка оставшихся. Принес злополучный букет. История с машиной директору не понравилась, сказал: «Ну, это вы слишком, не хватало мне неприятностей с военными; подумаешь...»

Зазвонил телефон. Директор, почтительно улыбаясь, слушал. Положил трубку: «Оттуда звонили. Он просит извинения за нетактичное поведение своего адъютанта, будет наказан. Спрашивает, не надо ли чего для парка?»

Октябрь, 1987

В. Васильев

ЧТОБЫ ЖИЛИ ЛЕНИНГРАДЦЫ

Потомок, знай! В суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

Слова, высеченные на мемориале «Разорванное кольцо» у первого спуска автомашин на ледовую трассу Ладожского озера

5 января 1942 года Ленинградский областной и городской комитет ВКП(б) и Военный совет Ленинградского фронта обратились с воззванием ко всему личному составу Дороги жизни. В воззвании указывалось, что фронтовая дорога работает все еще плохо, так как она перевозит ежедневно не более третьей части грузов, необходимых для удовлетворения и без того урезанных до крайних пределов потребностей Ленинграда и войск, «это значит, что снабжение Ленинграда и фронта все время висит на волоске, а население и войска терпят невероятные лишения».

К этому времени станция Ладожское Озеро становилась одним из ключевых звеньев Дороги жизни. Сюда с Большой земли по ледовой трассе должно было поступать день ото дня все больше и больше грузов, продовольствия, боеприпасов, горючего. Чтобы не делать прогонов автотранспорта в Ленинград, а сосредоточивать его усилия только на ледовой трассе, требовалась своевременная и бесперебойная отправка грузов в Ленинград железнодорожным путем. Профессия грузчика на Ладоге становилась самой массовой, почетной и жизненно необходимой.

В начале февраля 1942 года для обслуживания ледовой трассы, или, как ее позже стали называть, Дороги жизни, на Кировском заводе был сформирован отряд из 60 человек. В отряде были рядовые рабочие, начальники цехов, их заместители, начальники отделов, мастера.

Перед отправкой на Ладогу нас собрали в заводоуправлении, где с напутственным словом выступил директор завода М. А. Длугач. Он был в то время и уполномоченным Совнаркома СССР, возглавлял эвакуацию ленинградцев и их семей.

Директор рассказал о критическом положении в городе, на фронте, о том, что нас направляют на участок, где идет битва за хлеб, за боеприпасы, от которых зависит судьба города на Неве и жизнь его людей. «Хочу надеяться,— заявил директор,— что вы приложите все усилия к тому, чтобы оправдать оказанное вам доверие, сделаете все от вас зависящее».

Руководителем отряда был назначен главный металлург нашего цеха В. А. Конанович.

7 февраля я шел к дому № 90 на Фонтанке — к месту нашего сбора — с улицы Герцена, 9/13. Здесь у меня оставалась еще в живых сестра Александра Васильевна с малолетней доченькой Тоней.

Сестра, с высохшим, бледно-землистым лицом, в пальто, сидела у открытой дверцы печки, прижав к себе дочку, и с безразличием смотрела на пламя, разгоревшееся от обломков моего дубового стола, расколотого на дрова.

В городе смерть продолжала собирать свой обильный урожай, и мне трудно было представить, что когда-либо я их еще увижу.

Везде были видны страшные и незабываемые следы блокадного времени. Во дворе моего дома много дней лежал труп мужчины, дом № 1 по Кирпичному переулку был в развалинах. Навстречу мне на Неву за водой шли истощенные люди с бидонами и ведрами. Стояли в снегу застывшие трамваи и троллейбусы, кое-где из окон домов торчали дымящиеся трубы «буржуек». Но, несмотря на все обрушившиеся невзгоды, город жил, в нем жил дух сопротивления, готовность до конца сражаться с врагом.

На Фонтанке у военных казарм мы застали солдат маршевой роты, отправлявшихся

на передовую, в новом обмундировании, стриженных под «нулевку». Когда-то здесь располагались лейб-гвардейцы Московского полка, отличившегося в Отечественной войне, особенно в Бородинском сражении. В числе полковых офицеров был тогда и молодой П. И. Пестель, будущий декабрист. Из этих казарм в декабре 1825 года братья Михаил и Александр Бестужевы вывели восставший Московский полк на Сенатскую площадь. В 1917 году Московский полк перешел на сторону революции. Теперь же, как связь времен и преемственность поколений, для отправки на фронт формировались воинские части из солдат и офицеров, направленных сюда из госпиталей и военкоматов, и добровольцев.

Нас, кировцев, разместили в одной из казарм. Поскольку мы отправлялись на Ладогу временно, поэтому, в отличие от солдат маршевых рот, нам выдали обмундирование, бывшее в употреблении, выцветшее от времени и стирки. Не стали нас и стричь под «нулевку». Переодеваться было приказано идти в баню, хотя в бане был лед и не было воды. После этого нас повели в столовую, находившуюся в полуподвальном полутемном помещении. Нам дали по миске супа и большую порцию гречневой каши с душистой свиной тушенкой. Мне казалось: это был самый вкусный обед в моей жизни. Вот уже прошло более сорока лет, но тот обед я и теперь помню, особенно кашу и ее запах.

Под вечер, когда стало уже темнеть, подошли машины «ЗИС-5». Мы сели в грузовики, прижавшись один к другому. Нас предусмотрительно накрыли огромным брезентовым одеялом. Оно и спасло многих из нас, так как были метель и сильный мороз, и наш шофер во Всеволожской сбился с пути, мы долго блуждали. Но двоих наших товарищей мы не досчитались — они умерли в пути. Тела их были оставлены для захоронения в какой-то деревне, кажется, Романовке.

На станцию Ладожское Озеро мы приехали лишь поздно ночью. Продрогшие на морозе и просидевшие всю дорогу чуть ли не скрючившись, мы с трудом выбрались из кузова. Нас пустили отогреться в агитземлянку, или, как ее мы потом называли, «клуб» — большое продолговатое помещение, слегка углубленное в землю и сверху накрытое тоже землей. Устроена она была у дороги, справа от станции, вблизи поворота к маяку Осиновец. Сейчас на этом месте образовался громадный овраг в результате выработки песка для возведения холма Славы.

Керосиновая лампа освещала небольшую возвышенность — сценку. На стене висели плакаты, написанные рукой самодеятельного художника. Один из них запомнился мне: «Ваших трудов Родина и Ленинград не забудут никогда».

Уставшие и назябшие, мы сидя и уснули. Как только рассвело, раздалась команда выйти на улицу. Метель улеглась, было морозное утро. Мы увидели изумительное зрелище — вокруг стоят высокие заснеженные сосны и над ними, гудя, кружат наши патрульные самолеты. У небольшого красного деревянного вокзальчика, в ожидании разгрузки, стояло несколько автомашин, груженных мешками. Около них суетились люди.

За время блокады Ленинграда порт разросся, и появилось несколько новых железнодорожных станций, составивших так называемый Ладожский железнодорожный узел. Узел работал с большой нагрузкой; пока не замерзла Ладога, через него вывозилось оборудование, население Ленинграда. С Большой земли сюда прибывали пароходы, баржи с необходимыми грузами для осажденного города. Среди вновь построенных станций были: Каботажная, которая находилась в двух километрах от станции Ладожское Озеро и служила в основном для пассажирских эвакоперевозок. Здесь было два разъездных пути. Около бухты Гольцмана, в трех километрах севернее станции Ладожское Озеро, от новой станции Костыль пути уходили к пирсу, оборудованному мощными кранами. Еще дальше, в двух километрах, около бухты Морье, построена станция Болт для перегрузки нефтепродуктов и угля. Вблизи маяка Осиновец была построена железнодорожная станция Осиновец. Далеко в озеро уходили ее два пирса с рельсами. Сама станция Ладожское Озеро вместо довоенных четырех путей имела теперь их более двадцати.

Так образовалась знаменитая железнодорожно-водно-ледово-автомобильная магистраль «Большая земля — Ленинград».

Нам предоставили землянки, вырытые среди высоких сосен, напротив вокзала и на самом берегу озера — бесконечной, уходящей вдаль равнины, покрытой необыкновенной белизны снегом. Слева от нас в нескольких километрах был виден зеленый мыс. Он далеко вдавался в озеро. Над густым лесом поднимались купола церкви. Это было село Морье. Справа, метрах в трехстах, возвышался над озером и лесом красавец Осиновецкий маяк. Я невольно представил, каким тихим был этот живописный уголок до войны, куда наведывались лишь туристы, грибники да любители рыбалки. Теперь же, волей войны, это стало стратегическим местом, с гулом самолетов, канонадой зенитных орудий, с шумным потоком автомашин и многоголосым гомоном людей, одетых в военную форму.

Все землянки, где мы должны жить, были однотипные, созданы фундаментально, видимо, еще осенью, специалистами стройбата. Деревянные дощатые двери для тепла были обшиты мешковиной, к ним вело вниз несколько ступенек. Стены землянок от курева и печек были закопчены,

пахло рабочей одеждой, на полу разбросаны окурки. Видимо, только что до нас здесь жили такие же, как и мы, «постояльцы».

Младший лейтенант Нестеренко был назначен к нам командиром взвода. Он был прислан на Ладогу из батальона выздоравливающих, левую руку после ранения носил еще на перевязи. Фамилия старшего лейтенанта, ставшего командиром нашей роты, к сожалению, я не помню. Ему было лет за пятьдесят. С длинными русыми усами, подвижный и шумливый, как оказалось позже, он был добрым человеком. Командир роты объяснил нам, что теперь весь автомобильный транспорт с ледовой трассы будет ходить не в Ленинград, как это было раньше, а будет разгружаться сразу же здесь.

— Наша задача,— сказал он,— независимо от времени суток и погоды вовремя его разгружать. А когда будут прибывать вагоны-порожняк, надо быстро загружать их для отправки в Ленинград. Ведь каждый мешок муки, отправленный в Ленинград, это однодневный паек для тысяч ленинградцев. Новая железная дорога подходит к деревне Кобона, что на восточном берегу Ладожского озера, и оборачиваемость автотранспорта должна резко возрасти. Шоферы теперь будут делать в день по два и по три рейса через Ладогу.

Нас разбили на бригады. В числе десяти товарищей меня послали на продовольственную площадку. Ее территория, обнесенная колючей проволокой, с караульными на вышках, простиралась вдоль железной дороги от вокзала в обе стороны на несколько сот метров. Под открытым небом здесь беспорядочно грудились штабеля всевозможных ящиков и мешков. Тут были бочки с рыбой, с повидлом. На снегу лежали кучи соли. Бросилось в глаза — рядом с двухметровой тушей белуги лежала убитая осколком лошадь — тоже продукт питания.

Нам предстояло грузить мешки с мукой в вагоны. И сейчас мне этот день на трассе хорошо помнится. Нас радушно встретили работающие уже здесь опытные грузчики, прибывшие сюда с Большой земли. Запыленные мукой, с башлыками из мешков, они таскали грузы с мукой свободно, брали их на плечи ловко. Узнав, что мы ленинградцы, а о ленинградцах они, видимо, много наслышались, стали нас расспрашивать о бомбежках, об артобстрелах, как выглядит город и правда ли, что там многие умирают от голода. Когда я сказал, что у меня из двенадцати родичей погибло пять (всего же погибло восемь, но об этом я узнал позже), мне искренне сочувствовали. Да и наш вид о многом говорил: мы были настолько истощены, что не в состоянии поднять мешок, нередко его тащили вчетвером. И неловко было перед опытными грузчиками за свою немощь.

В первый день мы, по существу, мало что сделали, а ехали сюда, чтобы сделать много. А ведь как нас напутствовал директор перед отправкой на Ладогу: «...Вы посылаетесь на ответственный участок фронта, где идет битва за хлеб, за боеприпасы... Вы покажете пример... Я на вас надеюсь». А уверенное ответное слово от лица отряда Всеволода Антоновича: «...Мы оправдаем... Сделаем все от нас зависящее». Получилось же так, что в первый день за свою работу нам было тяжело смотреть друг другу в глаза.

Вернулись в землянку необычно молчаливые, разговоры не клеились. Стали располагаться ко сну на дощатых низких нарах, устроенных вдоль всей землянки по обе стороны от узкого прохода, застланного досками. Все тридцать человек смогли улечься в одежде на нарах только боком. Под голову клали вещевые мешки, укрывались шинелью. В землянке было маленькое оконце, выходящее прямо на дорогу, виднелся вокзал, прибывающие с грузом автомашины или стоящие в ожидании разгрузки.

В землянке было сравнительно тепло, топилась плита, сложенная из кирпича, с трубой наверх. Правда, когда открывалась дверь, то вместе с морозным воздухом, стелющимся понизу седой пеленой, в землянку врывалась и снежная пыль, обжигая наши разутые ноги. За плитой следили дежурные дневальные — кто-нибудь из заболевших. Кроме благодатного тепла, которое нам дарила печурка, около нее мы сушили рукавицы, валенки, портянки. Большинство из нас курили, и в густой дымке был едва виден огонек немудреной коптилки, сделанной из гильзы мелкокалиберного снаряда. Эта коптилка кроме того как-то могла освещать наше всегда полутемное помещение. Отныне мы могли еще и прикуривать, в это время спичек уже не было и многие вынуждены были обзаводиться огнивами. Хлопковый фитиль накладывался на кремень, куском напильника ударяли о кремень до тех пор, пока не высекалась искра и фитиль не начинал чадить. У коптилки технолог нашего цеха П. М. Шорников, ставший нашим политинформатором, умудрялся читать из «Боевого листка» последние известия, сообщения с фронтов.

В то время на Ленинградском фронте разворачивалось большое снайперское движение. Приводились имена снайперов и цифры уничтоженных ими врагов. А под Красным Бором и Невской Дубровкой велись тяжелые бои. И даже шел разговор о том, что нас, грузчиков, хотели вооружить и бросить под Невскую Дубровку.

Наутро, в шесть часов, как было заведено по уставу, по команде дневального «Подъем!» все зашевелились и потянулись к печке за обувью. Но двое из наших товарищей не поднялись с нар. Они оказались мертвыми.

Командование, видя, что мы не в силах быстро вести погрузку муки, послало нас на артиллерийский склад. Артиллерийский склад находился в лесу, по дороге к бухте Гольцмана, в нескольких сотнях метров от наших землянок. Кстати, до сих пор эта часть леса в народе сохранила свое название — «артсклад». Здесь мы разгружали снаряды с автомашин в штабеля. Ящики были легче, чем мешки с мукой, их удобно было брать за специальные ручки.

Выдавали нам фронтовой армейский паек. Но из-за нашей истощенности, физической работы на морозе этого пайка не хватало. И хотя постепенно мы набирали силы, у многих на почве пережитого голода появились цинга, отечность ног, желудочные и другие болезни. Приехавшие с нами на Ладогу медики из заводской поликлиники как могли заботились о нас: заготовляли хвою, варили хвойный отвар и давали нам его. Но это не могло заменить нужных лекарств, полноценного питания, и смерть унесла многих наших товарищей.

Осталась в памяти кончина уважаемого всеми рабочего С. М. Богданова. Этому общительному человеку, носившему большие русые усы, было лет за сорок. Накануне смерти, видимо, чувствуя ее приближение, он часто вспоминал сына и жену, оставшихся в Ленинграде. Запомнились мне не раз им сказанные слова: «Эх, ребятки, жизнь-то какая будет после войны». За прошедшие годы я часто вспоминал его имя, а когда начал писать эти строки, решил разыскать кого-либо из его родичей и узнать о нем побольше. Рассказать им о его смерти и месте захоронения.

В заводском архиве мне дали его довоенный адрес: улица Дзержинского, 31.

Мне открыла дверь престарелая женщина, убеленная сединой, оказавшаяся вдовой Богданова. В небогатой, но уютно убранной комнате на стене висело ее фото: молодая красивая женщина в военной форме, с орденом и несколькими медалями. Рядом фотография мужчины, и я сразу узнал молодого Богданова.

Тихонько плача, Богданова мне рассказала, как они жили перед войной и во время войны. Эта женщина — одна из многих, у которых война отняла самое дорогое: мужа и единственного двенадцатилетнего сына. Мальчик погиб при эвакуации из Ленинграда в вагоне, от пули вражеского самолета. Похоронив в дороге сына, Богданова не поехала дальше — и ехать теперь ей некуда было, да и незачем. Она решила, как многие советские женщины, уйти в армию мстить за своих близких.

Грузы шли в Ленинград все возрастающим день ото дня потоком. Ежедневно по трассе в оба конца двигалась тысяча автомашин. Водители делали по несколько рейсов в сутки.

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим,
Еще не знали на земле
Страшней и радостней дороги.

О. Берггольц

По решению Центрального Комитета партии и Советского правительства были приняты меры по всесторонней помощи осажденному городу. В Ленинграде не хватало не только продовольствия, но и многого другого, без чего не мог жить город. Так, в городе не хватало топлива для обогрева госпиталей, больниц, детских и других учреждений. На этот призыв откликнулись шахтеры Кузнецкого и Донецкого бассейнов, они прислали в Ленинград 22 800 тонн угля. Нефтяники Баку, Башкирии, Татарии отправили 34 717 тонн горюче-смазочных материалов. Фронту нужны были боеприпасы и другое военное вооружение — их было перевезено 31 910 тонн. В организации всенародной помощи осажденному Ленинграду принимали участие и Центральные комитеты партии союзных республик, краевые, областные и районные комитеты партии, первичные партийные организации, местные советские органы, комсомольские, профсоюзные и общественные организации. Это была всенародная помощь. Ярославская область послала осажденному Ленинграду 6500 тонн муки, 400 тонн квашеной капусты, 77 тонн сухих овощей и 240 тонн сыра, 300 тонн картофельной муки, 33 вагона глюкозы.

Из Саратовской области было отправлено 12 414 тонн муки, 760 тонн мяса. Из Горьковской области — 110 вагонов муки, 16 вагонов мыла, 3 вагона сухих овощей, 17 вагонов сухого молока, 4000 яиц. Куйбышевская область дала Ленинграду 175 вагонов муки, 20 вагонов крупы и гороха, 60 вагонов масла и 24 вагона консервов. Из Сталинградской области в общей сложности поступило в Ленинград более четырех тысяч тонн различных продуктов. Из Башкирии было отправлено в Ленинград 7000 тонн муки, 5000 тонн крупы, 100 тонн животного масла. Из Татарской АССР было послано 150 тонн крупы, 230 ящиков яиц, 257 тонн мяса, 20 тонн яичного порошка, 295 тонн масла, 58 тонн сухарей, 17 вагонов какао-бобов, 10 вагонов мыла, 4 вагона свечей, 5 вагонов кофе. Из Омской области — 60 вагонов сгущенного молока и других продуктов. Ставропольский край собрал сотни тонн муки, мяса и других продуктов.

Эшелоны с подарками для ленинградцев и бойцов Ленинградского фронта шли из Ярославской, Саратовской, Кировской, Вологодской областей, Краснодарского края, Казахской ССР, Киргизской ССР, Узбекской и Таджикской ССР и других.

Посылались в больших количествах для бойцов Ленинградского фронта и теплые вещи. Были среди них индивидуальные посылки, зашитые в тряпицу или упако-

ванные в ящик, с трогательными записками.

И если в ноябре—декабре 1941 года было перевезено по ледовой трассе 16 499 тонн грузов, то в январе 1942 года — 52 934 тонны, в феврале — 86 041 тонна. За март доставлено 118 332 тонны, а в три весенние недели апреля — 87 253 тонны.

Ледовая трасса была небезопасной дорогой. Она подвергалась нападению вражеской авиации. На девятом километре пути озеро было неспокойным: там часто образовывались торосы и разводья, нередко машины вместе с грузом, а иногда и с людьми, уходили под лед.

Автомашины вначале в ночное время двигались с затемненными фарами, а это замедляло движение, увеличивало количество аварий. По этим причинам было принято рискованное по тем временам решение: отменить светомаскировку автомашин, грузовики, по существу, шли открыто на глазах врага, только при выходе на берег и подъезде к складам соблюдалась светомаскировка. Бывало, ночью выйдешь из землянки, посмотришь на Ладогу, сердце радуется — огни на ней светят, как на Невском в мирное время.

Пришедшие с Большой земли автомобили должны были быстро разгружаться по графику, за 5—6 минут. Росли штабеля всевозможных грузов. Иногда перегружали грузы прямо с автомашин в вагоны. На железнодорожных путях действовали юркие мотовозы, они подавали порожняк. На погрузку каждого вагона отводилось определенное время с учетом характера груза и расстояния его переноски, а иногда давались работы и на «урок».

За всем этим следили диспетчеры, весовщики. Как правило, к вагонам приставлялись широкие сходни, по ним мы поднимались цепочкой со своей ношей. При необходимости выделялись навальщики, они подавали мешок на плечи или ставили его так, чтобы было удобно брать. Работа спорилась. Двухосные вагоны тогда загружались довольно быстро, мотовозы отвозили их на соседние станции, где формировались эшелоны, или на специальные пути в густом лесу. О ходе работ сообщалось в «молниях», в «боевых листках», на досках с показателями работ. Плакаты призывали: «Ладожец, помни, Ленинград ждет боеприпасы и продовольствие» или «Ваших трудов Родина и Ленинград не забудут никогда». Днем и ночью жила трасса, погрузо-разгрузочные работы на ней не прекращались ни в мороз, ни в пургу и вьюгу. Каждый делал свое дело, выполнял свой долг. Иногда рабочий день длился шестнадцать часов.

В связи с этим хочется привести слова, написанные Александром Фадеевым в своем дневнике: «Дорога жизни — это дорога героев, заключивших между собой великий союз братства, братства тысяч и тысяч людей: водителей, летчиков, грузчиков, регулировщиков, метельщиков, работников ЭПРОНа, работников медицины — великий союз братства по спасению Ленинграда».

Кроме продплощадки и артсклада недалеко от бухты Гольцмана в лесу было еще обособленное место для бензосклада.

Как-то, уже весной, под вечер, в результате налета немецкой авиации здесь возник пожар. Громадные языки пламени среди множества рядов бочек с горючим взметнулись вверх. Надо было спасать уцелевшие бочки, откатывать их от горящих, если нужно — охлаждать. И быть катастрофе, если бы бочки от перегрева начали рваться.

Хотя мы на этом складе никогда не работали и не имели туда доступа, но все, кто был поближе, бросились на помощь.

Почти ежедневно мы видели над заснеженной Ладогой и станцией патрулирующие самолеты, а иногда и воздушные бои. Воздушные бои нам приходилось видеть и над Ленинградом, тем не менее, забыв об опасности, бросив работу, выбегали подальше от высоких сосен, с тем чтобы посмотреть на захватывающую картину воздушного боя. Стоя на открытом месте, с каким-то странным чувством, в котором были спортивный азарт, любопытство и в то же время скрытый ужас, мы, затаив дыхание, наблюдали за дерзким поединком. Наши летчики сражались в небе не на жизнь, а на смерть, с подлинным героизмом и мастерством. Бой сопровождался треском пулеметных очередей то одних, то других самолетов. Рев и гул моторов то нарастал, то затихал. Истребители, преследуя друг друга, то круто поднимались вверх, оставляя за собой, как ленты, белые струи выхлопных газов, то падали вниз настолько низко, проделывая при этом сложные акробатические зигзаги, что можно было различить их опознавательные знаки. Как правило, бой заканчивался падением самолета, волочившего за собой быстро увеличивающийся шлейф серо-черного дыма.

Место построения нашего батальона было по дороге от землянок к маяку Осиновец справа. Здесь была большая заснеженная поляна, видимо, огороды жителей Осиновца или станционных служащих. Тут стояла наша походная кухня.

То, как будут работать грузчики на складах, во многом зависело и от нашей кухни. Поэтому поварами туда были посланы два наших товарища. Старший мастер механического цеха № 10 А. И. Бунин был молод, но имел уже два ордена. Замечу, что теперь Александр Иванович награжден и орденом Ленина. Вторым поваром был технолог нашего цеха, герой гражданской войны, награжденный боевым орденом Красного Знамени, М. Я. Иванников. В их обязанности входило к семи часам сварить кашу, да чтоб она не подгорела. Иногда, правда,

случалась промашка, и за это они от нас получали большой нагоняй. Кухня работала на дровах, заготовленных ими же. За утренней кашей, как и за вечерней, мы с котелками могли ходить без строя и съедать ее на нарах в теплой землянке.

Каждое утро дежурные дневальные нам приносили со склада по три стандартных ржаных сухаря на день, по 25 граммов сахара, по 50 граммов спирта. Сахар и табак приходилось делить следующим образом — видимо, это было так принято в армии: раскладывали кучками на газете по количеству людей. Потом один из нас отворачивался спиной к сахару, а другой показывал на порцию рукой, говорил: «Кому?» Тот должен был назвать фамилию того, кому эту порцию отдать, и так далее. Такая дележка считалась справедливой, без всякой обиды каждый получал что досталось.

На обед был отведен час времени, со складов к походной кухне мы ходили строем: это было примерно в 12—13 часов, зависело от того, в каком положении находилась начатая работа. Если следовало вагон догрузить, на что требовалось немного времени, то обед задерживался. Шли на обед строем, в две шеренги. У шлагбаума, который находился метрах в пятидесяти по дороге от вокзала (теперь на этом месте врыт третий по счету осветительный столб), тогда стояла довольно большая будка, ее называли контрольно-пропускным пунктом — КПП. В ней были установлены печка, письменный стол. Дежурные офицеры КПП носили форму войск НКВД.

У шлагбаума — двое вооруженных солдат. Наш старшина докладывал им, что мы идем на обед. Солдаты, прежде чем нас пропустить, тщательно обыскивали.

У походной кухни мы получали в котелок положенные порции супа и каши, повара ловко и быстро их отмеряли черпаком. Дружно постукивая ложками, мы съедали обед, сидя на бревне, бровке канавы или на пне. И была даже сочинена частушка:

Котелок мой, котелок,
Друг ты мой походный,
Без тебя я и с тобой —
Один черт — голодный!

На этой поляне ежедневно утром, после завтрака, было построение батальона, создавались здесь бригады, они распределялись на разные участки работы. Здесь же зачитывались сводки Совинформбюро, благодарности, приказы. Однажды в закрытой полуторке приехал на эту поляну военный прокурор с двумя автоматчиками, зачитал приговор военного трибунала, вынесенный молодому железнодорожному рабочему за кражу двух килограммов каши-концентрата. Его приговорили к высшей мере наказания — к расстрелу. А накануне были осуждены трибуналом двое рабочих, вскрывших банку со сгущенным молоком и съевших из нее по ложке,— их приговорили к восьми годам лишения свободы каждого.

Все были предупреждены: за каждые похищенные десять граммов продуктов — 9 граммов свинца. Это было жестоко, но эта жестокость была тогда вполне понятной.

Эвакуация ленинградцев на Большую землю осуществлялась не только через станцию Борисова Грива, где были созданы необходимые условия для встречи, организовано питание и дальнейшая отправка эвакуированных на Большую землю. Эвакуация иногда проводилась и через Каботажную, находившуюся между станциями Ладожское Озеро и Борисова Грива. Подходили эшелоны с эвакуированными и к станции Осиновец.

В один из февральских дней нашу бригаду послали в район маяка Осиновец для валки леса, который требовался для заделывания трещин на ледовой трассе, а также на постройку блиндажей. День был морозный, вдобавок бушевала метель, холодный ветер пронизывал насквозь наши старенькие шинели и ватники. Шагая по сугробам, мы проходили мимо прибывшего эшелона. Из него с трудом выгружались ленинградцы со своими пожитками. В основном это были женщины с детьми и престарелые люди, ослабевшие, с безжизненными, припухшими лицами. Им оставалось теперь преодолеть лишь небольшой, но сложный и опасный тридцатикилометровый ледовый путь, а там была их надежда — Большая земля, тепло и сытость. Зная это, все люди по мере своих сил торопились, с волнением выгружались из вагонов.

Видя эту картину, наш старший скомандовал: «Поможем, хлопцы!» Бросив топоры и пилы, мы стали выгружать вещи, переносить их к месту подхода автомашин. Многие из прибывших были настолько слабы, что сами не могли выйти из вагона.

В один из заходов я взял вещи молодой женщины, которая скорей была похожа на старуху. С ней был мальчик лет пяти-шести. Достал я кусок сухаря — от солдатской дневной пайки,— дал ему, а он его берет высохшими ручонками, а сам на меня смотрит черными глазами и говорит: «А ты, дяденька, не умрешь?» — «Не умру, ешь!»

Прошло много времени с тех пор, но, проезжая на Ладогу мимо памятника «Цветок жизни», а он поставлен блокадным детям, я каждый раз вспоминаю и того, укутанного в материнскую шаль черноглазого мальчишку. Остался ли он жив?

Однажды мы увидели на берегу озера наш кировский танк «КВ». Машина была со снятой башней, выкрашена в белый цвет. Подошли к танку. Танкисты, узнав, что мы — кировцы, похвалили нашу машину: «Таких бы побольше!»

Танк остановился в сосняке в ожидании

темноты, чтобы сделать бросок на восточный берег. Недалеко от места, где остановилась боевая машина, саперы построили основательный бревенчатый спуск с берега на лед. За ним в даль озера уходила только что расчищенная полоса танковой трассы, отмеченная по бокам вехами-козелками.

Мы были изумлены, не верилось, что пятидесятитонная машина могла, не проломив льда, проскочить на восточный берег. Причем надо было преодолеть и злосчастный девятый километр пути, где зачастую гибли автомашины вместе с грузом и людьми. Оказывается, танкисты не первый раз на ледовой трассе.

— Впервые было страшновато,— сказал один из них.— Мы тогда не знали, достаточно ли окреп лед, выдержит ли такую тяжеленную махину. Но танки были очень нужны фронту за блокадным кольцом, и нам пришлось рисковать. Теперь лед стал более прочным. Видите,— он показал на громадные бревенчатые сани,— на них башня, сани крепятся длинным тросом. Мы тщательно готовим машину к безостановочному переходу. У нас свой маршрут, по одному пути два раза не ходим. А что касается трещин на девятом километре, то там дежурят наши связисты, и по их знаку мы трещины объезжаем или преодолеваем с ходу.

Дни, пережитые на Ладоге, мало чем отличались один от другого: все те же на плечах мешки, кули, ящики, бочки. У нас не было выходных, лишь наряд на заготовку леса разнообразил нашу жизнь.

В лесу проводились и политинформации, завязывались беседы на разные темы. Говорили не только о событиях на фронте, о международном положении. Ставились и такие вопросы: много или мало всего того, что было отправлено с Ладоги, для ленинградцев и фронта? Мы тогда не знали и не могли знать соотношение доставки с потребностью, но чувствовали по-своему, что отправлено много, должны быть созданы большие запасы и такого голода, какой пережили ленинградцы, уже больше не будет. Мы были уверены, что теперь Ленинград восстановит и накопит силы для решающих сражений на фронте.

Однажды во время лесного перекура мы неожиданно услышали русскую народную песню. Оказалось, что это пели два наших товарища: А. Ф. Благодиров, мастер ОТК, и слесарь Ф. И. Коновалов. Мы и не знали, что у Благодирова неплохой лирический тенор, а у Коновалова — баритон. Их голоса слаженно звучали, песня вызывала радость и грусть, плавно лилась по лесу. Кончив одну песню, они начинали другую, затем пели только что появившиеся новые, военные. У многих из нас повлажнели глаза... Для нас этот день поистине был праздником. Как потом стало известно, наши певцы до войны все свое свободное время отдавали пению в заводском хоре. Сейчас они заслуженные пенсионеры, поют в хоре ветеранов Кировского завода, дают концерты в домах культуры, на заводах, фабриках.

Между тем апрельское солнце быстро делало свое дело, с берегов талые воды стали бежать под лед. В колеях трассы, особенно у берегов, появились борозды воды. Они становились день ото дня все шире и глубже, и наконец образовались сплошные водные коридоры. «ЗИСы» как тяжелые машины были сняты с трассы, ходили в основном полуторки с открытыми и снятыми дверцами. Машины как бы плыли в воде, где каждый метр пути, ставший невидимым для водителя, таил в себе смертельную опасность. После 20 апреля трасса несколько раз официально закрывалась, но продукты, жизненно необходимые ленинградцам, такие, как лук, в котором нуждались больные цингой, были еще на восточном берегу. В это время у побережья на льду было уже столько талой воды, что автомашины не могли даже выйти на берег.

Грузчики были вынуждены по пояс в ледяной воде грузить автомашины.

Наконец 24 апреля ледовая трасса была закрыта. Были отгружены и последние вагоны продовольствия в Ленинград.

Утих привычный рабочий шум, опустели караульные будки, не стало КПП. Было грустно и радостно. И 28 апреля мы, кировцы, вместе с рабочими заводов «Электросила» и «Металлургический» поехали в Ленинград. Покидая Ладогу, мы тогда не знали и не думали, что пройдет время — и народ сохранит для потомков эти названные священными места. Вместо деревянного небольшого вокзала станции Ладожское Озеро будет построен большой, из стекла и бетона, напоминающий по своей форме ладожский торос и танковый надолб. При вокзале разместится музей «Дорога жизни» железнодорожников. В нем будут храниться и документы кировцев, внесших свой посильный вклад в Дорогу жизни.

Рядом с нашими землянками на самом берегу озера будет построен второй музей, автомобилистов и моряков, с открытой музейной площадкой, на которой установят полуторку и «ЗИСы». Здесь же будут воздвигнуты мемориал и холм Славы, возле которого ежегодно, в памятные для Ленинграда и Дороги жизни даты, будут проходить торжественные многотысячные митинги. Вдоль автомобильной и железной дорог, связывающих Ленинград с Ладожским озером, создадут мемориалы, и мемориальные километровые столбы напомнят о героическом прошлом Дороги жизни. А наши девятнадцать товарищей вместе с другими, погибшими на Ладоге, будут перезахоронены на общем мемориальном кладбище в городе Всеволожске, на высокой Румболовской горе.

ПРОШЛОЕ: ФАКТЫ И ВЕРСИИ

Виктор Демидов

«ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО»

Попытка реконструкции

В длинном ряду подлежащих суду Истории преступлений сталинского режима находится и так называемое «ленинградское дело» 1949—1952 годов.

Название у него не совсем точное, ибо это не одно, а серия сфальсифицированных «дел», в результате которых оказались репрессированными тысячи — точные данные еще предстоит выяснить — партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских, военных работников, ученых, представителей творческой интеллигенции, членов их семей, родственников и иных граждан. Необоснованные исключения из партии, аресты, жестокие расправы по этим «делам» производились не только в Ленинграде, но и по всей стране — в Москве, Горьком, Мурманске, Симферополе, Новгороде, Рязани, Пскове, Петрозаводске, Таллине... Жертвы, за малым исключением, объединяло одно — они сами либо их руководители, близкие работали в сороковых годах (включая блокаду) в Ленинграде.

Официальной и полной версии причин и следствий этой серии «дел» — как, впрочем, и всей цепи много лет творившихся в стране беззаконий — мы пока не имеем, хотя освобождение оставшихся в живых заключенных началось еще 35 лет назад, осенью 1953 года. По... амнистии. Жертвам «прощали» преступления, которых они не совершали. Не вскрыла причин и вереница начавшихся после смерти Сталина, продолжающихся поныне апелляционных процессов в судебных органах. Вердикты их мало отличаются от первого определения Военной коллегии Верховного суда СССР, реабилитировавшей (30 апреля 1954 года) группу лиц, занимавших до арестов видные посты в Коммунистической партии и Советском государстве и осужденных по «ленинградскому делу»: приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 30 сентября 1950 г. в отношении Кузнецова А. А., Капустина Я. Ф., Попкова П. С., Вознесенского Н. А., Лазутина П. Г., Родионова М. И., Турко И. М., Закржевской Т. В., Михеева Ф. Е. «по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления и их реабилитировать».

Шестерым, перечисленным в списке первыми, вернули доброе имя посмертно. Виновные в преступной клевете не назывались.

Многое о подоплеке «ленинградского дела» и других провокаций могли бы рассказать бывшие работники МГБ СССР — министр Абакумов и его подручные — в ходе суда над ними в декабре 1954 года. Не рассказали. Суд не позволил даже намеков на причастность Сталина и его окружения. Приговоренные к расстрелу подсудимые унесли известные им тайны «высших инстанций» в могилу.

Имена подлинных организаторов — Сталина, Маленкова, Берии — впервые открылись на XXII съезде партии. Особо выделялась позорная роль Маленкова. Провокационное «ленинградское дело» сфабриковал Маленков, заявил тогдашний первый секретарь Горьковского обкома КПСС Л. Н. Ефремов.

«В карьеристских целях, путем интриг Маленков скомпрометировал бывшего секретаря ЦК партии товарища Кузнецова, члена Политбюро товарища Вознесенского и других видных партийных работников»,— свидетельствовал председатель КГБ при Совете Министров СССР А. Н. Шелепин.

«На совести Маленкова,— вторил им первый секретарь Ленинградского обкома

И. В. Спиридонов,— лежат гибель ни в чем не повинных людей и многочисленные репрессии. На его совести унижение достоинства и компрометация ленинградской партийной организации».

Как и ряд других делегатов, М. А. Шолохов поставил вполне резонный вопрос: «Не слишком ли мы терпимы к тем, на чьей совести тысячи погибших верных сынов Родины, тысячи загубленных жизней их близких?.. Отвечать за содеянные преступления... они должны и будут. Таков общечеловеческий закон».

Закон опять не сработал. Сидевший в зале Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко и на этот раз не возбудил уголовных дел ни против Маленкова, ни против публично обвиненных в не менее страшных преступлениях Молотова, Кагановича, других недавних «вождей». Симптоматично: Брежнев, Суслов, еще некоторые наши будущие «вожди» иных слов, кроме как «маловеры», «догматики» и т. п., для этих людей не нашли. С их воцарением дальнейшее расследование преступлений сталинского режима сочтено было «неактуальным», упоминание о них в печати пресекалось.

Обращение историков и публицистов к трагическим страницам истории советского общества по-настоящему началось лишь после XXVII съезда КПСС. С ноября 1987 года при Политбюро ЦК партии работает специальная Комиссия по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала пятидесятых годов. Соответствующие рабочие группы сформированы и при ряде местных комиссий партийного контроля. Но быстрых результатов ждать трудно. В середине 1988 года, спустя сорок лет после начала фабрикации серии «ленинградских дел», только в рабочей группе Комиссии партийного контроля при Ленинградском областном комитете партии ждали очереди материалы почти на 550 коммунистов и беспартийных, подвергшихся репрессиям в 1949—1952 годах и, по тем или иным причинам, до сих пор полностью не реабилитированных.

Но факты, даже складываясь в явление, раскроют ли нам сущность происходившего? К сожалению, для обобщений нет ни доступа ко всей совокупности документов, ни должной научной базы. За годы сталинщины, ждановщины, сусловщины и т. п. наша историческая наука подверглась сильнейшим деформациям; такая определяющая ее отрасль, как политическая история советского общества, практически не существует, на грань вымирания поставлена объективная история народного хозяйства страны... Так что же — ждать? Годы и годы?..

В основе предлагаемого документального повествования — воспоминания участников событий, факты и сведения из литературных и архивных источников, поставленные в соответствие с логикой истории. Осмыслить ее помогали мне специалисты из Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Института истории СССР АН СССР, с кафедры истории экономических учений Ленинградского финансово-экономического института имени Н. А. Вознесенского, юридического факультета Ленинградского университета, правоприменительных органов и других организаций.

* * *

10 октября 1945 года во всех газетах Советского Союза — на первой странице, внизу слева, на раз и навсегда установленном, «сталинском», месте, выделенная особым шрифтом — появилась краткая тассовская информация:

«ОТЪЕЗД ТОВ. СТАЛИНА В ОТПУСК

Вчера, 9 октября, Председатель Совета Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталин отбыл в отпуск на отдых».

Для рядового читателя тех лет сообщение непривычное. В 1945 г. лишь крайне узкий круг избранных, близкие «соратники» имели право знать, что кроме портретного, статуйного, легендарного есть еще Сталин земной — со вполне ординарными потребностями, человеческими слабостями, хворями... А тут зачем-то колыхнули прикрывавший «великого и мудрого всех времен и народов» флер абсолютной необыкновенности и некой бесплотности существования...

...Не считая парадов и демонстраций, на которых, ходили слухи, вместо него показывались народу и подставные, где-то около этого времени я видел Сталина в яви. С пяти-семи шагов и ровно столько, сколько занял проход по сцене к месту, указанному распорядителями ритуального пионерского приветствия. Вертеться, оглядываться строго запретили. Но разве удержишься, чтобы не повернуть хоть чуть голову, не скосить глаза?..

Лишь спустя годы я поверил себе, что это действительно был он — до того непохожим на многочисленные портреты, фото- и киноизображения оказался одетый в просторный зеленовато-коричневый китель с отложным воротником, совершенно невзрачный, одутловатый, с излишне округлыми плечами, какой-то унылый и отрешенный от всего происходившего дядька, один занимавший всю левую часть президиума.

В артистическом фойе нас, бойко и без накладок отбарабанивших сольные и хоровые стишки, одарили корзиночками пирожных, сфотографировали с по-настоящему портретно-красивым маршалом С. М. Буденным. Подчеркнули: *это* нам прислал «Сам товарищ Сталин». Помню:

детское воображение имя уже не взволновало. Буденный — о, тут другое дело!

Теперь мы знаем: на склоне лет у Сталина расстраивалось мозговое кровообращение (он и умер от обширного кровоизлияния в мозг). Не вполне здоровый образ жизни — в том числе ночной, хищный, который он навязывал едва ли не всему партийному и государственному аппарату страны,— подозрительность к врачам и самолечение сыграли не последнюю роль в том, что, как сейчас говорят, микроинсульты стали следовать все чаще и чаще.

Похоже, что один из них — и особенно сильный — случился как раз в канун 9 октября: до этого он присутствовал на приемах, встречи с ним ждала какая-то иностранная делегация... Отпуск оказался вынужденным и внезапным. Неспроста буржуазная печать отозвалась на столь заурядный эпизод лавиной домыслов и догадок. Писали о тяжелом и необратимом заболевании советского диктатора, о предстоящей и будто бы уже начавшейся драке «за престол», что Молотов специально отправил недееспособного тирана подальше от Москвы... И о том, что, если Сталин вдруг все-таки выживет и вернется, Молотову несдобровать... Президент США Трумэн взялся сам прозондировать обстановку в руководстве СССР: послу в Москве Гарриману поручили вручить «спешное и важное» послание президента (оно опубликовано, и спешным его можно назвать лишь при определенной фантазии) *лично* Сталину, где бы он ни находился.

Дни шли, и нервозность возрастала. Лишь 27 октября в нашей прессе появилась — на положенном ей месте первой страницы — успокаивающая общественность информация:

«В иностранной печати появились разноречивые сообщения о том, что Президент США г. Трумэн направил Председателю Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталину свое послание.

Как стало известно из авторитетных источников, послание, направленное Президентом Трумэном 14 октября, было вручено 24 октября И. В. Сталину Послом Соединенных Штатов Америки В. А. Гарриманом, имевшим специальное поручение посетить И. В. Сталина и представить комментарии к посланию Президента. Г-н Гарриман посетил И. В. Сталина в районе Сочи, где он проводит отпуск, и имел с ним две беседы».

Кто умел читать между строк хитроумные сообщения нашей прессы, сообразил: общественности давалось понять, что разговоры вокруг несанкционированного «вождем» престолонаследования не имеют под собой почвы. (Много месяцев спустя, 9 апреля 1947 года, в беседе с одним из руководителей республиканской партии США Гарольдом Стассеном Сталин с мстительной усмешкой вспомнит эту истерию зарубежной печати и нервозность официальных кругов.)

А между тем дым-то летел все же от настоящего огня. Почувствовав себя плохо (к тому же он отличался и обостренной мнительностью), на случай всяческих неожиданностей Сталин назвал-таки двух преемников своей необъятной власти (или «местоблюстителей» на период длительной болезни?): члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова — по партии и первого заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Н. А. Вознесенского — по государству.

Впервые, несколько лет назад, о том, что «вождь народов» указывал на Жданова и Вознесенского как на возможных своих наследников, я услышал от бывшего первого секретаря Ярославского обкома партии Иосифа Михайловича Турко, старавшегося — еще в годы его работы в Ленинграде — оказаться около Жданова настолько близко, насколько это было возможно без риска прослыть карьеристом. Опытнейший и безусловно незаурядный политикан Жданов не имел привычки раскрываться и ближайшему окружению, но бывают же минуты и обстоятельства...

Не выдержал, поделился — с сестрой и братом — «волей вождя» и Н. А. Вознесенский. В 1949 году, уже после того, как его сняли, Мария Алексеевна Вознесенская строго конфиденциально рассказала об этом своему сыну Владимиру Федоровичу Визнеру. Не о Жданове — только о Вознесенском. Известное нескольким — уже не секрет. Вспомнился во время нашей с ним беседы прошелестевший в 40-х годах по руководившему эшелону слух о сталинском распоряжении и бывшему секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) Григорию Григорьевичу Воротову. И, наконец,— Герман Антонович Трукан, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе академического Института истории СССР.

— А что,— предложил он мне вдруг,— может быть, вам и начать с этого: на больничном одре Сталин сказал (или намекнул — точные слова никому не известны): «Своими заместителями оставляю Жданова — по партии и Вознесенского — по государству». Эпизод имел место. Поищите в газетах беспрецедентное сообщение о внезапном отъезде Сталина в отпуск — это как раз тогда было... Что же касается значения такого эпизода в никогда не утихавшей вокруг Сталина борьбе его приближенных за влияние и власть и, следовательно, для понимания причин и истоков «ленинградского дела», то оно очевидно. Возвышение Вознесенского,— говорил профессор,— и особенно Жданова (пока он был в блокированном Ленинграде, большая политика вершилась фактически без него,

серьезным конкурентом его не считали) не могло не озадачить ни Берию, ни вынашивавшего далеко нацеленные честолюбивые замыслы аппаратчика Маленкова, ни Кагановича, ни других «ближайших соратников».

У профессора Г. А. Трукана, с которым я беседовал, были какие-то свои, неизвестные мне, источники исторической информации...

Жданов и Вознесенский лишь учились управлять партией и страной. Передавать им власть Сталин не собирался. Едва оправившись от болезни, взялся за обширную программу реформ — затребовал всевозможные доклады и справки, вел часовые разговоры по телефону с наркомами и специалистами, многих вызывал для личных бесед... И весьма похоже: именно тогда, в Сочи, были окончательно оформлены несущие конструкции — политические, экономические, идеологические — той командно-административной системы, которая стала нам поперек горла...

Никакого обобщенного варианта этой программы историческая наука пока не имеет. Но составить себе хотя бы общее представление возможно — по многочисленным, последовавшим почти сразу же после его возвращения из Сочи (17 декабря 1945 года) перестройкам, перемещениям должностных лиц, по отдельным высказываниям его самого и «ближайших соратников»... Наконец, по явно программной речи 9 февраля 1946 года на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы.

Даже в 1980 году авторы пятого тома (книги 2) Истории Коммунистической партии Советского Союза назовут ее программой «курса партии на завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму». Похоже, сам Сталин об этом не думал: о том, *что именно* он собирался строить, с избирателями не делился, о социализме и коммунизме не говорил и даже слов таких умудрился ни разу не произнести. Не исключено, что он уже давно (если не изначально) не видел в теориях никакого проку. С середины 20-х годов через его «труды» проходит одна логика — внутрипартийной борьбы. «Теоретические» аргументы — всего лишь средство укрепить личную власть. В 40-х он даже не скрывал пренебрежения марксистской идеологией. Не это ли, например, читается в его беседе с иностранным деятелем («Правда», 8 мая 1947 г.), где он неожиданно заговорил о том, что не надо увлекаться критикой общественных систем. «Каждый народ держится той системы, которой он хочет и может (!) держаться... Что касается Маркса и Энгельса, то они, конечно, не могли предвидеть то, что произойдет спустя 40 лет после их смерти. Советскую систему называют тоталитарной или диктаторской, а советские люди называют американскую систему монополистическим капитализмом...» Что касается увлечения критикой против монополий и тоталитаризма, то это пропаганда, а он, И. В. Сталин, не пропагандист, а деловой человек.

Нет в программной речи Сталина от 9 февраля 1946 года ни слов, ни каких-либо понятий из области социалистической теории. И это, разумеется, не случайно.

Нет в ней — предвыборной, заявленной как отчет и как план работы! — ни слова и о Советской власти, ее прошлой и будущей роли, дальнейшем развитии и совершенствовании, хотя бы *восстановлении* после вполне естественного сужения ее прав и функций во время войны... Нужна ли она была ему? Вопрос не праздный, хотя и никем не исследованный. В воспоминаниях А. А. Громыко я наткнулся на поразительную деталь. Во время одного из заседаний кто-то посетовал на неповоротливость местных органов власти. «Вдруг Сталин заявил:

— А почему бы не восстановить кое-что из прошлого? Ведь когда-то власть была в руках «головы». Он, «голова», был конечной инстанцией, принимавшей решения в масштабах города».

Даже соратники не справились с выражением изумления, хотя некоторые с ходу же и поддержали «гениальную» мысль.

«Случай этот,— комментирует А. А. Громыко,— примечателен тем, что он позволил выявить и пояснить одну характерную особенность этого человека. Сталина, как магнитом, притягивали идеи авторитарной природы, администрирования, бывшие сродни культу личности» («Памятное», т. 1, 1988, с. 207—208).

Но Сталин не теоретизировал, он действовал. Именно в 1946 году, после сочинских раздумий, он, преобразовав наркоматы в министерства, стал плодить их все больше и больше, резко увеличил число ведомственных чиновников, ввел «табели о рангах», униформу для работников многих отраслей народного хозяйства, финансов, юстиции, внешнеполитических служб и т. д., урезал и урезал и без того куцую область компетенции Советов.

И все было последовательным. Ибо еще в 1920 году он говорил: «Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезды Советов при советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государств, которые руководят этими аппаратами». И как только В. И. Ленин и его старая большевистская гвардия проглядели эти страшные для судеб революции и социализма «принципы» будущего генсека?..

Мы всегда считали и считаем важней-

шим звеном, ядром нашей политической системы Коммунистическую партию Советского Союза. В программной своей речи Сталин с полной откровенностью высказал свои взгляды и на место в обществе коммунистов. «...Теперь у нас другие времена,— сказал он.— Беспартийных отделяет теперь от буржуазии барьер, называемый советским общественным строем. Этот же барьер объединяет беспартийных с коммунистами в один общий коллектив советских людей... *Разница между ними лишь в том, что одни состоят в партии, а другие нет. Но это разница формальная*» [1].

Если и есть здесь чему удивляться, то только цинизму. Сегодня-то мы знаем, что стоит за такими сталинскими тезисами. И то, как он обошелся с ленинскими принципами и нормами партийной жизни и деятельности. И преследование, уничтожение тысяч и тысяч подлинных партийцев, в том числе и из братских марксистско-ленинских партий. Беспрецедентное предательство доверившихся ему антифашистов-коммунистов — вероломная выдача их гитлеровской клике... В партии как союзе единомышленников тиран не нуждался. Но и распускать ВКП(б) из-за «полного стирания граней» между ее членами и остальными гражданами он явно не собирался. Она еще была ему нужна как исполнительный аппарат и самая надежная опора для управления необъятной страной его, сталинскими, не связанными никакими законами методами. Случайно ли именно тогда (в 1947 году) он решил предать гласности старую рукопись, где о партии говорилось, будто она «своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». В этом «ордене» — 3—4 тысячи руководителей, составляющих генералитет, 30—40 тысяч «офицеров» и 100—150 тысяч «унтер-офицеров». Остальные, надо понимать, безропотные и на все пригодные «солдаты». «Солдаты партии» — как часто это произносилось...

Объективно — в связи с переходом к мирным делам — все звенья партии, формы и методы ее работы нуждались в серьезной и глубокой перестройке. «Предстояло,— утверждается в многотомной Истории Коммунистической партии Советского Союза,— повсеместно вернуться к соблюдению уставных норм: своевременно проводить отчеты и выборы руководящих органов, регулярно созывать собрания, пленумы комитетов, собрания актива, систематически обсуждать на них основные вопросы политики партии, деятельности местных организаций. Последовательное проведение в жизнь принципа демократического централизма, усиление на этой основе контроля деятельности партийных органов со стороны коммунистов являлось решающим условием подъема партийной работы, повышения активности всех партийных организаций».

Нам дают понять, что это будто бы *так и было*. Но ведь не было же! Очередной съезд ВКП(б) был созван через семь (!) лет после окончания войны и спустя почти четырнадцать — после ему предшествовавшего. Избранный XVIII съездом партии ЦК давно уже стал фактически неправомочным. Сталин вполне свободно обходился без его пленарных заседаний. Лишь в конце 1948-го — в 1949 году прошли первые послевоенные съезды компартий союзных республик и конференции краевых, областных организаций, даже пленумы райкомов во многих местах стали собираться реже, чем во время войны. Ну а уж о том, чтобы где-нибудь там обсуждали — по-ленински широко, свободно — основные вопросы политики партии, так и говорить не приходится.

Все его меры были направлены только на одно — ужесточить централизацию и личный контроль за партийными кадрами. «Главной задачей» существовавшего с 1919 года Оргбюро ЦК становится «*проверка* работы местных партийных организаций»; на Секретариат возлагалась «подготовка вопросов для Оргбюро *и проверка исполнения* решений Политбюро и Оргбюро ЦК»; организационно-инструкторский отдел ЦК преобразуется в *Управление по проверке* партийных органов... Существенно поднималась роль Управления кадров Центрального Комитета. Его начальником — и одновременно, кстати, еще до Пленума, секретарем ЦК — Сталин назначил первого секретаря Ленинградских горкома и обкома ВКП(б) Алексея Александровича Кузнецова. Он «занял место» Г. М. Маленкова, ведавшего кадровыми делами еще с 1934 года.

Ради чего он все это делал, «великий вождь всех времен и народов»? Во имя дальнейшего упрочения собственного положения? Но после войны оно было абсолютно незыблемо — не осталось ни оппозиционеров, ни конкурентов, ни хотя бы оппонентов.

Во благо народа? Его речь слушали по радио, читали, знали в пересказах многочисленных агитаторов миллионы вдов, искалеченных, обездоленных, 25 миллионов подданных, лишенных даже крыши над головой... «Всеобщий отец», уже лет двадцать не имевший прямых контактов с простолюдинами, и не обмолвился о страданиях и бедах своего народа. Пространно и горделиво он говорил о *своих* победах — над врагами внешними и «внутренними», прошлыми и... будущими. Случайно ли в первой же своей речи после «самой жестокой и тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей Родины», когда

[1] Здесь и далее — курсив автора повествования.

впору мечи перековывать на орала, Сталин вдруг начинает подчеркивать высочайшие совершенства своей первоклассной армии, подробно и долго расписывает военно-мобилизационные возможности экономики?.. И даже планы (знаменитые, но абсолютно неясно, по каким критериям рассчитанные «ежегодные» 50 миллионов тонн чугуна, до 60 — стали, 500 — угля и «до 60 миллионов тонн нефти») обосновывает не потребностями благосостояния народа, а «гарантией от всяких случайностей».

Не торопитесь вспоминать о «холодной войне»: она пока еще себя не проявила — Сталин упорно боролся за сохранение коалиции стран-победительниц, за сближение с Соединенными Штатами Америки, поджигательская речь отставного британского премьера Черчилля в захолустном американском городке Фултоне (5 марта 1946 г.) еще не прозвучала... Тогда что же, что же его толкнуло именно к таким акцентам?

В речи Сталина проскользнула туманным намеком мысль, которая, помнится мне, никогда не комментировалась при его жизни. Говоря о причинах мировых войн (неравномерности развития капиталистических стран и следовавшей из этого тяги «переделить» рынки сбыта и «сферы влияния»), он неожиданно заявил: «Пожалуй, можно было бы избегнуть военной катастрофы, если бы была возможность периодически перераспределять сырье и рынки сбыта между странами *сообразно с их экономическим весом* — в порядке принятия согласованных и мирных решений». Вряд ли он забыл при этом о солидной прибавке в «своем» собственном «весе»: в результате второй мировой войны от капитализма отпало одиннадцать государств с населением более 700 миллионов человек. 26 процентов территории Земли и 35 процентов ее обитателей (против, соответственно, 17 и 9 процентов до войны) оказались теперь вне этой системы.

«Вес» в мировых делах, однако, понятие не статическое, а динамическое, характеризуется *силой*. И если об этом, из дипломатических соображений, не сказал Сталин, то явно с его подачи (ни один из «ближайших соратников» давно уже не вылезал с собственными политическими идеями) новую идеологию провозгласили «верные ученики». «...Слабого всегда бьют и обижают, а сильного боятся и уважают»,— заявил на предвыборном митинге в Ташкенте Л. М. Каганович (5 февраля 1946 г.). Г. М. Маленков был и того откровеннее: «...Следует всегда помнить, что друзья (! — *В. Д.*) будут уважать нас лишь до тех пор, пока мы сильны. Слабых не уважают, больше того, многократно доказано, что слабых бьют».

Победа, которую он считал «своей» (о жертвах не упоминали, многих отличившихся генералов загнали в тюрьмы), кружила голову. Вождь желал теперь иметь во владении *грозную* державу. С Советами либо без них, партийную или беспартийную — «разница формальная»: главное и единственное — сильную. Построенную «на самом простом» принципе: приказ — исполнение — контроль исполнения. И, сверху донизу, все в ней должны действовать как солдатики.

16 января 1946 года, уже в роли секретаря ЦК, выступал на предвыборном совещании в Ленинграде А. А. Кузнецов. Он готовился в этот раз особенно тщательно. Услугами помощников и секретарей тогда в таких делах если и пользовались, то очень немногие, стараясь не афишировать сей явно предосудительный метод. Одна верная Зинаида Дмитриевна, жена А. А. Кузнецова, придирчиво вчитывалась в разложенные по всему кабинету листки (это тоже особый, у Жданова почерпнутый, способ подготовки докладов и выступлений ленинградских руководителей), делала замечания и давала советы.

Я говорю об этих мелочах потому, что речь действительно получилась на удивление необычная — самая, наверное, искренняя из всех, прозвучавших в это время в стране, выпадающая из общего хора и по звучанию и по содержанию. И, наконец,— с трагическими последствиями: именно ее особенно обильно будут цитировать потом многочисленные следователи и дознаватели, обвиняя Кузнецова в «измене» делу «великого Сталина».

А у него и в мыслях этого не было. Сталина он боготворил всю жизнь, за исключением, может быть, последних двух-трех лет, когда соприкоснулся с ним близко — увидел не только скромного мудреца, «с руками рабочего, в одежде простого солдата», но и гнусные пьянки по ночам на знаменитой теперь даче, леденящую кровь жестокость... Но я говорю: может быть, потому что мысли и чувства свои и в эти годы Кузнецов держал на крепчайшем запоре, если что и мог сказать, то только жене, а Зинаида Дмитриевна ни с кем не делилась. «Доченька,— говорила она, бывало, своей младшей,— ты иди, доченька, погуляй, а нам тут с Лидой поговорить надо». Лида (одна из двух живших в семье Кузнецовых дочерей рано умершей сестры Зинаиды Дмитриевны) хотя и была на два года младше кузины, да с партийным билетом...

Нет, не имеем мы оснований подозревать Кузнецова в двоедушии, приписывать ему некое «оппозиционерство». Он искренне обещал «быть верным последователем великого Сталина... неизменно следовать, как и до сих пор, за товарищем Сталиным...»

Но тогда, в январе, скорее всего по простоте душевной, вопреки всеобщему обычаю (Жданов, Маленков, Каганович, Микоян и Берия в особенности умудри-

лись впихнуть фамилию «вождя всех времен» почти в каждый абзац своих речей), Кузнецов пропел гимн не Сталину, а великому Городу Ленинграду (разумеется, в стиле времени и среды). Он провозглашал, отдаваясь искренней страсти:

«Можно без преувеличения сказать, что одним из передовых отрядов русского народа, храбрым и в то же время скромным, деятельным и в то же время не кричащим о себе, является отряд ленинградцев, на долю которых выпали в этой войне самые тяжелые испытания... По гитлеровскому плану нападения на нашу Родину, по так называемому «плану Барбаросса», *главной* целью немецких фашистов на первых порах было захватить Прибалтику, захватить Ленинград, уничтожить его население, стереть с лица земли наш город и отдать его после этого финским приспешникам Гитлера...» Зная теперь об этом плане, «явственно видишь, какой неоценимый вклад внесли ленинградцы в дело защиты нашей социалистической Родины...»

Алексей Александрович говорил и о потерях в только что минувшей войне — об обращенном в пепел жилье, разрушенных мостах, дорогах, заводах и электростанциях, об образовавшемся в результате блокады острейшем дефиците «кадров» и «трудовых ресурсов»...

И ни слова — о погибших... Деталь, характерная для отношения к памяти о блокаде *всех* бывших руководителей Ленинграда и совершенно загадочная. Факт, что все, кто был в Ленинграде в ноябре сорок первого — апреле сорок второго и чудом каким-то выжил, крайне неохотно соглашаются рассказывать о том, что тогда видели и пережили. Но чтобы до такой степени!.. Ни в многочисленных выступлениях, ни в статьях, документах, включая и особо секретные, даже в кругу семьи никто из руководителей никогда, насколько мне известно, не обмолвился о жертвах голода и обстрелов, не делал попыток раскрыть подлинный масштаб трагедии блокадного города. Черствостью это не объяснишь: большинство из них были нормальными людьми, способными к глубокому сопереживанию. Тогда чем? Совестливостью, затаившимся чувством и личной вины за неимоверные страдания ленинградцев?.. Возможно. Еще более вероятно — въевшейся в плоть и кровь жесткой официальной установкой показывать людям только светлые стороны бытия, одни лишь прелести сталинского «рая». Даже в самые трагичные дни блокады Жданов требовал от руководителей всех рангов и уровней: «отвлечься», не обращать внимания на мрачное, «нести заряд бодрости и оптимизма...»

Вот и речь Кузнецова на январском предвыборном митинге в Ленинграде — восторженно-оптимистическая:

«Про нас говорят, что мы, ленинградцы,— большие патриоты своего города. Да, мы — патриоты, мы его любим и лелеем...» Ибо это город, где зародилось русское революционное движение, «отсюда берет свои истоки великая большевистская партия». Это город, «где была провозглашена Советская власть, город, с именем которого связана вся история социалистического государства, история возникновения Красной Армии, восстановления и роста народного хозяйства нашей страны. Это город, положивший начало расцвету и развитию отечественной культуры и науки в самом широком смысле этого слова,— город Ломоносова, Менделеева, Павлова, Попова, Суворова, Кутузова, Чернышевского, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Чайковского, Глинки, Репина и многих других корифеев мысли, а также ныне здравствующих ученых, писателей, техников, рабочих — замечательных людей, объединенных одним именем — ленинградцы.

Да разве такой город можно не любить? Как не любить свой город, в который с момента его основания не вступала нога врага! Краснознаменный, ордена Ленина город, сотни тысяч участников героической обороны которого носят как знак мужества и беззаветной стойкости медаль «За оборону Ленинграда», город, первым остановивший врага, выстоявший 29 месяцев осады и разгромивший гитлеровские полчища под своими стенами; город, слава которого затмила славу Трои!

Да разве можно не быть патриотом этого города! Да разве можно не гордиться им? И мы гордимся тем, что являемся ленинградцами, истинными патриотами нашей советской страны. Мы обязаны с вами и впредь воспитывать всех жителей этого города в духе любви к нему, в духе любви к Родине, в духе пламенного животворного советского патриотизма.

Мы должны добиться такого положения, чтобы Ленинград щедро, как и раньше, распространял науку и культуру по стране, чтобы о нем снова шла слава как о кузнице кадров в самом широком смысле этого слова, *чтобы на всю страну выходили из Ленинграда новые кадры людей науки, партийных и советских руководителей*, чтобы мы и впредь растили замечательных ученых, музыкантов, врачей, учителей, архитекторов и т. д., чтобы Ленинград стал сокровищницей талантов. Это — не легкая, а самая трудная и ответственная задача, которая стоит перед нами. Позвольте мне от имени Ленинградской партийной организации выразить уверенность, что в разрешении этой труднейшей задачи мы найдем поддержку у вас, трудящихся города Ленинграда.

Очень часто нас спрашивают, как это у вас, ленинградцев, все так хорошо получается?

Что можно ответить на это? Говоря обобщающе, можно ответить — да ведь народ-

то у нас в Ленинграде очень хороший, поэтому так хорошо получается...

Во-вторых, у нас хорошо получается потому, что у нас замечательные кадры, актив у нас замечательный, замечательная интеллигенция.

Так будем же добиваться и впредь, чтобы у нас были самые лучшие кадры, самый лучший актив, самая лучшая интеллигенция!

В-третьих, у нас хорошо получается потому, что у нас закваска хорошая. Так будем и впредь поддерживать и развивать прекрасные традиции нашего города.

В-четвертых, у нас хорошо получается потому, что мы имеем славную боевую Ленинградскую партийную организацию, которую мы обязаны и впредь крепить и поднимать еще выше.

И самое главное, у нас хорошо получается потому, что о нас заботится, нам помогает великий Сталин... Скажем товарищу Сталину доброго здоровья и провозгласим: Да здравствует товарищ Сталин!»

Кузнецов не забыл откричать положенное — хвалу и здравицы в честь «великого вождя всех народов», но, видимо, мало — до стандарта не дотянул. Заметивший «промах» своего воспитанника и выдвиженца Жданов его поправил — через месяц (25 февраля 1946 года) Алексей Александрович произнес уже вполне шаблонное славословие Сталину. Поздно: «крамольно»-восторженная речь Кузнецова о Ленинграде и ленинградцах успела попасть в поле зрения политических соперников. Пройдет всего несколько дней, и, выступая в Ленинградском избирательном округе Москвы (7 февраля 1946 года), Г. М. Маленков отзовется: «Товарищ Сталин учит нас тому, чтобы не жить заслугами прошлого, а глядеть вперед... Глубоко ошибается тот, кто думает, что можно жить заслугами прошлого и почить на лаврах достигнутых успехов. Мудрая история сдает таких людей в архив... У нас есть любители вспоминать свои прошлые заслуги. Забыв, что скромность украшает человека, они готовы без конца упиваться воспоминаниями об этих заслугах. И нет заботы у них, что работы кругом непочатый край...»

Сменивший Кузнецова на посту первого секретаря Ленинградских обкома и горкома партии Петр Сергеевич Попков сделает нужные выводы. При случае — сочинялся доклад по поводу какого-то юбилея — он скажет своему помощнику В. Ф. Шишкину: «Вы это... про победу Ленинграда... прорвал осаду и вырвался из осады... вычеркните».— «Так ведь я у Жданова взял и у Кузнецова так было!» — изумился Виталий Федорович. «Я не знаю, *почему* товарищ Жданов и Кузнецов так сказали, но Ленинграду помогала вся страна и прежде всего товарищ Сталин — *так* верно».

Порывшись в газетах и архивах, Шишкин и у Попкова мог бы найти нечто подобное... Через три года переведенные на юридический язык речи, высказывания Кузнецова, Попкова, других бывших ленинградских руководителей станут материалом политических обвинений — в «авангардизме», попытке оторвать Ленинград от страны, насадить свои кадры во все регионы для захвата власти и т. д. и т. п. Когда я знакомился с приговором по их «делу», то никак не мог отделаться от впечатления, что фабула этого страшного документа буквально списана с выступления Алексея Александровича 16 января 1946 года.

Когда в тот январский вечер А. А. Кузнецов уезжал в Москву, провожали его — до самой столицы! — второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Яков Федорович Капустин и второй секретарь обкома Иосиф Михайлович Турко. О чем они, вместе пережившие блокаду Ленинграда, всю ночь говорили, восстановить невозможно. Следственным материалам (а об этой беседе с пристрастием допрашивали не только самих участников, но и проводников, охрану, помощников...) верить на грош нельзя. У Турко же из памяти прорвалась лишь, похоже, так и не зарубцевавшаяся обида — не один он, надо сказать, сильно недоумевал, почему «первым», как теперь придумали, «лицом» в Ленинграде вместо Кузнецова назначили именно П. С. Попкова? «Типичное не то» — так прозвали его с подачи Жданова, имевшего слабость к сомнительным определениям, сразу же становившимся кличками, не связанные узами личной дружбы и взаимоуважения коллеги. Как он может возглавлять *такую* организацию! Кузнецов миролюбиво оправдывался: «Любой из вас — и Турко, и Капустин — мог бы оказаться на этом посту, но товарищ Сталин назвал Попкова...» Рассказывая мне о том ночном разговоре, Турко вздохнул:

— А позже, в Москве, Кузнецов мне сказал: «Попкова выдвинул *Жданов*»,— пойди проверь...

Сам А. А. Кузнецов, на беду его, был выдвиженцем Жданова.

О Жданове сейчас публикуют и страшную правду, всплывшую еще на XXII съезде партии и сразу же спрятанную под замок, и конъюнктурные домыслы.

Безусловная правда, что за Ждановым «образца» 30-х годов тянется длинный шлейф преступлений. Обличающих его документов представлено пока мало, но историки не сомневаются: Жданов повинен в тягчайших беззакониях. Как сказал мне виднейший специалист по истории советского общества 30-х годов профессор Г. А. Трукан: *в ту пору* руки Жданова оказались по локоть в крови. Да и может ли

быть иначе, если, скажем, в Ленинграде количество коммунистов с 1934-го, когда Жданов стал здесь первым секретарем, по 1937-й уменьшилось примерно с 300 до 120 тысяч. А ведь он впрямую причастен к репрессиям не только против коммунистов и не одних лишь ленинградцев.

Однако те же специалисты-историки утверждают, что «война Жданова очистила». Конечно же, не от ответственности за содеянное в 30-е годы — она внесла какие-то коррективы в его личное душевное состояние. Может быть, всенародное горе и всенародный же героизм, самоотреченность заставили его увидеть наконец в «массах» не «винтиков», а людей, может быть, по иной причине, но он стал гораздо осмотрительнее в расправах.

Несомненный авторитет в таких делах, бывший председатель военного трибунала Ленинградского военного округа и затем Ленинградского фронта, генерал-майор юстиции в отставке Иван Фролович Исаенков в беседах со мною неоднократно подчеркивал: Жданов всегда рекомендовал ему (надо считать — приказывал, но он избегал приказных форм) «не увлекаться расстрелами». Лишь когда однотипные и серьезные преступления множатся, становятся явлениями, наставлял он председателя трибунала фронта (а через него, естественно, и многочисленные нижестоящие трибуналы), тогда нужно, тщательно подготовив, провести показательный процесс с широкой публикацией сурового приговора.

Через мои руки прошли тысячи ждановских документов военной поры: свидетельств неоправданных и, тем более, массовых репрессий в пределах Ленинградского фронта (включая и город) по инициативе его руководителей я не обнаружил. Парадоксально, но факт — десятки людей, знавших его лично, упорно навязывали мне образ «исключительно мягкого» Жданова. И не вижу причин им не верить.

Вот Анна Александровна Страхова (Хомякова), одна из двух обслуживавших «самых самых» дежурных официанток. Пришла в Смольный еще в 1931 году, в штат обслуги С. М. Кирова. Со Ждановым общалась чуть ли не ежедневно. Когда ее ему представляли, спросил, как водится, как зовут. «Аня».— «А по отчеству?» — «Да зачем? Молодая я... Анна Александровна...» — «Вот так и будем — никаких „Ань“»...

— Ой, какой хороший, какой изумительный был дядька! — вырывается у Страховой.— Никаких претензий, щи кислые, которые варил ему дядя Коля (Щенников — персональный повар.—*В. Д.*),— верх всякого удовольствия!..

Непритязательный, вежливый, улыбчивый, внимательный к окружавшим его делопроизводителям, личным телеграфисткам, медикам и другим малым мира сего (поздравлял с праздниками, днями рождения, оказывал нежданно-негаданно помощь в затруднительных ситуациях и по собственной инициативе: обращаться к нему — строжайшее «табу»...), на обслугу, включая и мир искусств, многим деятелям которого он патронировал, Жданов *должен был* и производил впечатление, исключительно выгодно выделявшее его из всей, грубоватой в основном, среды ленинградских и иных руководителей. Правда, «среду», кроме, пожалуй, А. А. Кузнецова, все это мало облагораживало: они знали Жданова и иным — резким, гневливым, весьма опасным...

Есть тут, верно, и другая правда: преданность собственного его ближайшего окружения — и не выходившего из кабинета Жданова А. А. Кузнецова, и почему-то панически боявшегося ленинградского «вождя» Я. Ф. Капустина, и заискивавшего перед ним (до небезобидных шуток со стороны товарищей) П. С. Попкова, других руководителей из этого слоя — объяснялась глубоким и вполне искренним к нему почтением. (Показательная деталь: в сугубо личной записной книжке второго секретаря обкома ВКП(б) Т. Ф. Штыкова я находил: «Соловьев», «Кузнецов», «Микоян», «Косыгин»... но обязательно — «*тов.* Сталин», «*тов.* Жданову» и т. п. В личном общении тоже никто из них не говорил просто «Жданов»; «Андрей Александрович», «товарищ Жданов» — повседневная формула.)

На чем держалось почтение? Ну, член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), первый секретарь горкома и обкома, председатель Совета Союза Верховного Совета и т. д. и т. п.— это понятно. Один из «ближайших соратников», блюдущий высшие интересы страны и всего социализма,— немаловажно. Не забывали практические заслуги — в разгроме зиновьевцев, подготовке действовавшего Устава партии, курировании строительства большого флота, артиллерийского вооружения, танкового, кадров, шефстве над культурой и вообще над всей идеологией, особенно обществоведением, исторической наукой...

— Андрей Александрович *лично*,— как о чем-то величайшем и вечном поведал мне со священным трепетом один из ветеранов,— *лично* внес в учебник «Краткий курс истории ВКП(б)» 1002 поправки. Два месяца сидел — 1002 поправки!

— Самый образованный в партии! Человек высочайшей культуры! Второй Луначарский!.. Да не спорьте вы, раз не знаете! А я знаю — второй Луначарский! — это уже другой ветеран из ждановского окружения, бывший первый секретарь Ленинградских обкома и горкома ВЛКСМ, а ныне профессор, специалист по сопротивлению материалов Всеволод Ильич Чернецов (тоже, конечно, отсидевший по «ленинградскому делу»).

А ведь знают: А. А. Жданов, как и все сталинское окружение, включая в центр круга и самого «гениального», никакого систематического образования не имел. Два курса Тверского сельхозинститута, кажется, не попали ни в одну из его биографий. Недостаток образования маскировался обширной, хотя и поверхностной, нахватанностью. Незаурядная, очень динамичная память помогала прочно удерживать и, главное, мгновенно извлекать всевозможные сведения. В блокаду Жданов часто конфузил начальников различных служб (тыла, метеообеспечения и т. п.), вылавливая в их отчетах и справках различные ошибки. Соперничать с ним в памятливости и кругозоре никто в ленинградском руководстве не мог. Как и в фонтанировании идей. Хотя далеко не всегда собственных (сравните, забавы ради, выступления Жданова и Патоличева на XVIII съезде ВКП (б) — один к одному некоторые места: Жданов просто взял текст делегата и вписал из него в свой доклад наиболее выигрышные факты и предложения) или сколько-нибудь ценных. «Василий Павлович,— позволял он себе, стоя за спиной сидевшего у рояля композитора Соловьева-Седова,— а не лучше ли этот аккорд взять несколько иначе?..» — «Да-да, конечно, Андрей Александрович, как я этого не заметил!..» Хотя знал: музыкальная образованность Жданова — миф, умение играть на баяне не уравнивает с профессионалами. Деланное «восхищение» известного композитора (актера, конструктора, обществоведа...) производило, конечно, впечатление и на окружающих. Изворотливость и многовариантность в поведении, сложный комплекс подлинных и мнимых способностей, знаний, «заслуг» и, конечно же, «посты» резко выделяли Жданова из среды его совершенно обыкновенных соратников.

И еще, все держалось на вполне расчетливой таинственности, окружавшей, как и Сталина, фигуру ленинградского «вождя». Он не только в душу — в дом свой никого не пускал. Семь лет (и война, и блокада!) просуществовало в одном и том же составе сформированное им к 1938 году основное ядро ленинградских руководителей, а в приватной, внеслужебной обстановке они с ним не встречались.

— Один раз,— с трудом вспомнила жена второго секретаря обкома Антонина Александровна Штыкова,— после какого-то представления в театре сказал вдруг: «Поехали все ко мне...»

Для насквозь пропитанного политиканством Жданова такое отчужденное отношение к товарищам по работе не случайность. Тем более что по характеру своему нелюдимым он не был и не замыкался в четырех стенах. Деятели литературы и искусства, например, постоянно обретались в его гостиной.

Помощников Жданов подбирал себе исключительно преданных. И все равно боялся. Кого?

Знающие люди мне рассказывали, как в 30-х годах первый секретарь Ленинградских обкома и горкома ВКП(б), автор 1002 поправок к «Краткому курсу» и прочая и прочая А. А. Жданов покорно ждал приглашавшегося в его театральную ложу начальника областного управления НКВД — спектакль не начинали. А тот нарочно опаздывал каждый раз минут на десять...

Еще больше ленинградский «вождь» боялся «вождя всех трудящихся и всего прогрессивного человечества».

Они были родственниками — Юрия Жданова женили на Светлане Аллилуевой, дочери Сталина. Но когда Сват-большой звонил свату-меньшему, Жданов — в пустом кабинете, один! — вставал и напряженнейше вслушивался в каждый звук, выходивший из трубки. А оттуда неслось, к примеру: «Андрей, говорят, ты себе лифт до третьего этажа завел... Ты пешком ходи лучше. А то у тебя пу-зо вырастет...» — «Хорошо, товарищ Сталин... Учту, товарищ Сталин...» А лифт этот скрипучий, говорят, с незапамятных времен бездействовал.

Патологический страх перед Сталиным, безоглядная, самоотреченная подчиненность ему, полнейшая бесхребетность и сделали из «мягкого по натуре» Жданова жестокого, равнодушного к судьбе своих жертв преступника.

И еще, конечно, неуемное честолюбие. Явно из-за честолюбия, предполагаю, черт попутал его вмешаться и натворить столько поразительно долгодействующих бед в литературе и искусстве. От природы живой, политиканством долгим вышколенный ум его диктовал держаться скромнее (на показную деликатность клюнули многие восхищавшиеся им, помогавшие громить культуру деятели), но ограниченность ума толкала к совершенно безосновательным амбициям. Ни в одном из выступлений этого претендента на роль властителя дум и «второго Луначарского» не обнаруживается следов его знакомства с мировой или хотя бы отечественной эстетической мыслью. Некомпетентность он ловко прикрывал звонкой фразой, самоуверенными дилетантскими суждениями о произведениях и течениях в литературе и искусстве.

Как Жданов готовил свои идеологические акции?

Александр Николаевич Кузнецов, бессменный его помощник и самое доверенное лицо, допускал иногда «утечку информации» — загадочно улыбаясь, сообщал узкому кругу: «А вы знаете, чем сейчас занят Андрей Александрович?.. Он нацелен на серьезную перестройку в нашей музыкальной культуре... Вот уже вторую неделю сидит и прослушивает пластинки — с классикой, народной, эстрадной музыкой...» Это — основной «материальный» базис.

Подстраховочный — мнения крутившихся возле него деятелей. Принцип — «понятность» того или иного произведения «народу» (самому Жданову). Он никогда не мог взять в толк, что лозунг «Искусство для народа!» означает не приспособление этого самого искусства к самым примитивным, неразвитым вкусам, а, напротив, такое воспитание масс, которое поднимало бы любого человека до понимания вершин прекрасного.

В политике, экономике, военно-оперативных вопросах Жданов умел быть осмотрительным. Но хор восхвалителей блокировал сдерживающие центры. С годами претензии А. А. Жданова на интеллектуальную исключительность стали приобретать тревожный оттенок.

Анализировавшие печально знаменитую философскую дискуссию по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» (июнь 1947 года), мне кажется, зря не придали значения пассажам выступавшего с докладом Жданова, касавшимся... физики. «Современная буржуазная наука снабжает поповщину, фидеизм,— бодро говорил там Жданов,— новой аргументацией, которую необходимо беспощадно разоблачать». И, не зная ни предмета, ни языков (на абсолютное владение естественными науками явно претендовал теперь Юрий Жданов, занявший высокий пост заведующего отделом науки ЦК), решился на конкретные примеры. Взялся «разоблачать» «учение английского астронома Эддингтона о физических константах мира, которое прямехонько приводит к пифагорийской мистике чисел», последователей Эйнштейна, которые «договариваются до конечности мира, до ограниченности его во времени и пространстве», астронома Милна, «„подсчитавшего“, что мир создан «два миллиарда лет тому назад», выводы, ведущие к «свободе воли» у электрона, к попыткам изобразить материю только лишь как некоторую совокупность волн и к прочей чертовщине...»

Подхваченные неразборчивыми отечественными борзописцами острокритические взгляды «второго лица в ВКП(б)» на физику наделали много шума в научной среде мира, нанесли огромный ущерб престижу советской науки. Явно встревоженный президент нашей Академии наук С. И. Вавилов рискнул на коротенькую, намекающую реплику: «Нередко «борьба» с ошибочной и враждебной нам идеологией в области науки сводится к отрицательным эпитетам в разной степени без разбора ошибочных доводов и без их убедительного опровержения. Не следует забывать, что в очень многих случаях авторы этих ошибок — выдающиеся ученые, заслуги которых в конкретном естествознании несомненны и очень велики». Увы, начатую Ждановым, Лысенко и К° «охоту на ведьм» он уже остановить не мог.

По времени беспрецедентная «борьба» с «проникновением к нам буржуазной идеологии» началась несколько раньше — с принятого 14 августа 1946 года постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Инициаторами этой истории называют Сталина и Жданова. Причиной — их «одномерное, плоскостное, авторитарное восприятие мира» или что-либо в этом роде. Однако в россыпи фактов попадаются гранулы и несколько иной окраски. Похоже, что кроме Сталина и Жданова, там был кто-то третий, ускользнувший от нашего пытливого взгляда.

Ну зачем Жданову столь крупный скандал вокруг партийной организации и культурного социума, которые он лично — одиннадцать лет! — формовал и пестовал? Для чего ему избиение созданного им же кадрового корпуса, на который он опирался, из которого (именно в это время!) широко черпал своих выдвиженцев на ключевые посты в центре и регионах? Разве же не страдал и его политический авторитет, если в документе было записано: «Ленинградский горком ВКП(б) проглядел крупнейшие ошибки журналов, устранился от руководства журналами... Более того, зная *отношение партии к Зощенко* и его «творчеству», Ленинградский горком (т. т. Капустин и Широков), не имея на то права, утвердил решением Горкома от 26.VI. с. г. новый состав редколлегии журнала «Звезда», в который был введен и Зощенко. Тем самым *Ленинградский горком допустил грубую политическую ошибку*».

Наконец, почему в фокусе травли большой группы ленинградских литераторов оказался именно Михаил Зощенко? Неужели к нему и вправду было некое негативное отношение ни больше ни меньше как *партии*, не исключая из нее, естественно, и Ленинградскую парторганизацию?

Говорят, первое, что, примчавшись на следующий же день после принятия постановления в Ленинград, спросил Жданов: «Что вы тут носились с этим Зощенко?» Второй секретарь обкома И. М. Турко, как он мне рассказывал, ответил: «Андрей Александрович, так я по вашей же рекомендации его и начитался — из вашей же библиотеки брал!» Меньше всего в идеологическом отступлении от «позиции партии» можно было бы заподозрить А. А. Кузнецова. А дочь его Галина Алексеевна на мои расспросы о литературных пристрастиях отца назвала Чехова и... Зощенко.

«Зощенко?!» — изумился я. «Да, Зощенко,— с вызовом подчеркнула она.— Я это хорошо помню, и значит, это не просто так».

Второй секретарь горкома Я. Ф. Капустин нарвался в этой истории на выговор от ЦК (жене сказал, что Сталин, вызвав его, пригрозил ссылкой) — соответствующая выписка до сих пор хранится в личном деле

давно расстрелянного Якова Федоровича, а к ней какой-то доброхот приложил всю исчирканную красным карандашом вырезку газетной статьи с ругательствами и в адрес «Звезды» и «Ленинграда», и самого Капустина. Но он тоже — как все, по рекомендации Жданова — с удовольствием читал и цитировал Зощенко...

...Оказалось, что во время войны сатирические произведения Михаила Зощенко в пропагандистских целях обильно цитировал... Геббельс. Год спустя после Победы, когда и имя-то этого гитлеровского прихвостня должно было быть забыто, кто-то не поленился — перевел сборник речей фашистского министра пропаганды на русский язык и с соответствующими подчеркиваниями подсунул Сталину.

Так, представляется, был заложен еще один камень в сооружение «ленинградского дела». Первый — реакция Маленкова и компании на некоторые места из речей Кузнецова и Попкова. (Ума не приложу — почему авторы некоторых публикаций о «ленинградском деле» и *сейчас* (!) продолжают называть их «неудачными»?)

Готовил ли Жданов себе «базу» на случай кончины Сталина и дележа власти? Наверное, готовил, хотя, убежден, ни с кем, даже с А. А. Кузнецовым, и намеком на такие планы не делился. Их выдают объективные реальности.

Вряд ли Маленков, Берия, Каганович и некоторые другие с восторгом приняли решение Сталина ввести в Оргбюро ЦК и назначить секретарем по кадрам воспитанника и ближайшего сотрудника Жданова А. А. Кузнецова, да еще с распространением его компетенции на юстицию, МВД, МГБ и т. п. Похоже, что и Берия воспрепятствовать этому не мог, поскольку с середины января сорок шестого года от руководства наркоматом внутренних дел был освобожден «ввиду перегруженности его другой центральной работой»: ему поручили святая святых из всех послевоенных забот Сталина (да и страны — будем объективны) — атомный проект.

Стал кандидатом, а потом и членом Политбюро, первым заместителем Председателя Совета Министров СССР ждановский выдвиженец Н. А. Вознесенский, членом Президиума Верховного Совета СССР — П. С. Попков, первым заместителем председателя Совмина РСФСР — бывший секретарь ЛГК ВКП(б) и зампред Ленсовета М. В. Басов. Уехала заведовать женским отделом ЦК ВКП (б) секретарь Куйбышевского райкома партии Ленинграда Т. В. Закржевская. Ушли в ЦК и на «центральную работу» редактор «Ленправды» Н. Д. Шумилов и П. Н. Кубаткин — начальник Ленинградского управления МГБ... Первым секретарем Ярославского обкома выдвинули И. М. Турко, Крымского — Н. В. Соловьева, председателя Леноблисполкома. К руководству Эстонской и Мурманской парторганизациями пришли бывшие секретари Ленгоркома Г. Т. Кедров и А. Д. Вербицкий...

Короче, выступая 22 декабря 1948 года с докладом на X областной и VIII городской объединенной Ленинградской партийной конференции, П. С. Попков с гордостью — но почему-то стали считать, что и «непродуманно»,— проинформировал: за два года Ленинградская партийная организация выдвинула на руководящую работу 12 тысяч человек, «в том числе 800 — за пределы области»...

Этих последних и разыскивали потом по всей стране заплечных дел мастера...

Жданов умер 31 августа 1948 года в 3 часа 55 минут дня. Внезапно. Еще накануне И. М. Турко, ежедневно звонивший ему под Валдай на дачу, услышал от Александра Николаевича Кузнецова: «Сегодня все хорошо. Врачи разрешили читать. Острит с невесткой». А через сутки, вспоминал Турко, звонит Маленков: «Умер Жданов. Возьмите с собою двух-трех передовых рабочих, еще кого надо для представительства и выезжайте на похороны».

Случаев резкого улучшения состояния больного в канун смерти медицина знает сколько угодно. Официально его кончина объяснялась так: «Страдал болезнью высокого кровяного давления, осложнившейся тяжелым атеросклерозом, особенно в сосудах, питающих сердце. В последние годы у него были частые приступы грудной жабы, а затем появились припадки сердечной астмы. Смерть последовала от паралича болезненно измененного сердца при явлениях острого отека легких». Ему было 52 года.

Абсолютно не ставя под сомнение приведенное заключение, считаю себя не вправе проигнорировать встречу, состоявшуюся у меня в 1959 либо в 1961 (я был там дважды) году в Старой Руссе с одним из хозяйственных работников знаменитого санатория. Он явился ко мне, командированному по далеким от внутрипартийных дел надобностям, за советом: как ему восстановиться в партии. Рассказал: в 1948 году, незадолго до смерти Жданова, к нему, работавшему, если мне не изменяет память, в исполкоме, пришла с валдайской ждановской дачи какая-то женщина и сообщила, что секретаря ЦК, по ее убеждению, «сознательно морят», просила принять меры. Собеседник мой на свой страх и риск позвонил в Москву и лишь потом сообразил, чем это может кончиться для него лично: в ту же ночь, бросив службу и дом, укатил в какую-то глухомань, затаился. Теперь вот, после XX съезда КПСС, вернулся, просит восстановить в партии, а его не восстанавливают...

Сейчас мы знаем, что политические авантюристы средств не выбирали, в банде Берии было достаточно «специалистов» по тайному умерщвлению его политических конкурентов. И, следовательно, при всей хлипкости версии о насильственном устранении Жданова, это свидетельство не может быть отброшено просто так.

Случайно ли — нет (трудно отделаться от впечатления, что далеко не случайно), но явно по предложению организатора похорон Маленкова сопровождать тело покойного из Валдая направили члена Политбюро ЦК ВКП (б), первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Н. А. Вознесенского и секретаря ЦК А. А. Кузнецова.

«Вот тут,— говорила мне Г. А. Кузнецова,— как мне кажется, что-то и случилось. Я не знаю — что, не вспоминаю ни одной подозрительной детали, но что-то случилось».

Случиться могло что угодно: подслушанный «свитой» разговор, распри вокруг личных бумаг усопшего — зачем-то ведь ездил в Валдай, вместе с Кузнецовым и Вознесенским, и ближайший помощник («верный оруженосец», иронически аттестовал его Н. С. Хрущев) Сталина А. Н. Поскребышев, бывший то ли фельдшер, то ли медбрат, ставший членом ЦК и председателем Комиссии законодательных предположений Верховного Совета СССР.

Однако прощание организовали по высшей категории.

«Верный ученик и соратник великого Сталина товарищ Жданов с пламенной энергией боролся за дело коммунизма, никогда не щадил своих сил и здоровья... Горячую любовь партии и всех трудящихся он заслужил своей беззаветной преданностью делу Ленина — Сталина, своей глубокой принципиальностью, не допускающей какое-либо отклонение от генеральной линии партии...

Выполняя волю партии, А. А. Жданов со свойственной ему большевистской страстностью воодушевляет и мобилизует Ленинградскую партийную организацию на разгром и выкорчевывание троцкистско-зиновьевских двурушников и предателей, еще теснее сплачивает ленинградских большевиков вокруг ЦК ВКП (б) и товарища Сталина».

(Товарищ Сталин тоже подписывает славословие в свой адрес. Но тогда это уже никого не шокировало и не удивляло. Люди постарше помнят, что он ничуть не стеснялся лично призывать «вперед под знаменем Сталина» и даже заканчивать свое выступление «шуткой»: «Ну и, как говорится — „Да здравствует товарищ Сталин!“»)

Странно, но *ленинградские* руководители *выпиравшую из всех* выступлений тех дней *главную* «заслугу» Жданова — в политике репрессий против мнимых троцкистов, зиновьевцев «и иных двурушников» — как-то забыли. Несколько дней спустя спохватившийся П. С. Попков попытается поправить дело — с силой подчеркнет роль Жданова в «выкорчевывании» этих самых «врагов народа, презренных наймитов международного империализма». Но оплошность уже заметят, доведут до заинтересованных персон, а через год подсунут партийным дознавателям, раскручивавшим «ленинградское дело».

Для непосвященных в интриги дравшихся за власть «вождей» этот эпизод, несомненно, утонул в мощном хоре заупокойных фальшивых дифирамбов главному сталинскому идеологу. Какое-то время — очень, между прочим, короткое — газеты заполонились статьями о его выдающемся вкладе в марксистскую теорию, воспоминаниями о «блестящих» докладах по вопросам литературы, искусства, философии... «С великой убеждающей силой товарищ Жданов дал нам урок правильного партийного подхода к решению идеологических вопросов, призвал высоко держать знамя марксистско-ленинской науки и социалистической культуры»,— не заботясь о доказательствах, привычно писали тщательно отобранные в отделах пропаганды «представители общественности». Не упустили, как в войну «он твердой рукой осуществлял веления товарища Сталина». Не забыли «заслуг» перед мировым коммунистическим движением — организованного Ждановым незадолго до смерти по прямому указанию Сталина скоропалительного и грубого разрыва с руководством Союза коммунистов Югославии, дорого обошедшегося не только нашей стране, но и всему мировому коммунистическому движению...

Погребли тело Жданова у Кремлевской стены. В последний момент — гроб опущен, могильщики взялись за лопаты — произошла какая-то неприятная пауза: Сталин вдруг вышел вперед и молча, словно завороженный, надолго застыл у разверзшейся ямы. Потом взял ком земли. Подержал, будто взвешивая. Наконец — тук, тук. Резко повернулся, надел фуражку и, ни на кого не глядя, ушел.

Ленинградские газеты еще несколько дней оплакивали бывшего своего «вождя». А в стране, в руководстве вроде как сразу же и забыли, что был такой «ближайший соратник». Постановление Совета Министров СССР об увековечении памяти Андрея Александровича Жданова появилось лишь 23 октября — почти через два месяца — и... практически не реализовывалось. Ни памятников «в Москве и Ленинграде», ни издания (в 1949—50—51 гг.) «трудов» Жданова, ни порученной Институту Маркса — Энгельса — Ленина книжки с его официальной биографией. ●дни многочисленные переименования городов, районов, улиц, заводов — но это дело по сталинским временам нехитрое, одномоментное. Отме-

ны этого теперь трудно добиться — даже по настойчивым просьбам и требованиям трудящихся.

...Галина Алексеевна Кузнецова припомнила:

— В конце сорок восьмого папу привезли от Сталина таким, каким я его никогда больше не видела. На следующий день он нам объявил, что его назначают секретарем Приморского крайкома партии.

— Вы не ошиблись — может быть, в сорок девятом?..

Она на минуточку задумалась:

— Нет. Это было вскоре после смерти Андрея Александровича. Папа реагировал на возможность такого назначения очень спокойно. Он еще припомнил тогда знаменитое ленинское, что хотя и далекий тот край, «да нашенский». У нас появилось много литературы по Дальнему Востоку, и все мы, особенно папа, с удовольствием ее читали.

Ускорила развязку скандальная история с выборами нового руководства на Ленинградской X областной и VIII городской объединенной конференции ВКП(б) — первой с довоенного времени. Шла конференция под знаком небывалой еще в Ленинграде аллилуйщины в честь Сталина. Докладчик, первый секретарь обкома и горкома П. С. Попков, и вслед за ним выступавшие не обошли елеем «незабвенного, горячо любимого всеми ленинградцами» Жданова, «его ближайшего помощника» Кузнецова и... самого Попкова, их выдающуюся роль в истории Ленинграда, верность Сталину и т. д. и т. п.

25 декабря 1948 года конференция приступила к выборам руководящих органов. Председатель счетной комиссии А. Я. Тихонов, выдвинутый незадолго до этого с секретарства в Кировском РК ВКП(б) на заведование отделом тяжелой промышленности горкома, объявил результаты голосования.

«Все прежние руководители оказались избранными «единодушно и единогласно»,— рассказывал мне делегат этой конференции от Выборгского района, тогда помощник Попкова, а ныне историк партии профессор Виталий Федорович Шишкин,— один лишь Николаев (секретарь Ленинградского горкома партии.— *В. Д.*) неожиданно получил сколько-то голосов «против». Немного, а все равно неприятно — он тем более мнительным был. Я тогда еще, помню, сразу посмотрел на него — он весь краской покрылся...»

А через несколько дней в ЦК ВКП(б) поступило письмо:

«На Ленинградской X областной и VIII городской партийной конференции я был членом счетной комиссии, и мы, все 35 человек, видели, что фамилии Попкова, Капустина и Бадаева (второго секретаря обкома.— *В. Д.*) были во многих бюллетенях вычеркнуты. Однако председатель счетной комиссии тов. Тихонов объявил на этой конференции о том, что эти лица прошли единогласно, обманув таким образом свыше тысячи делегатов. Очевидно, такой же обман на районных партийных конференциях и в первичных партийных организациях, когда объявляют об единогласном избрании секретарей. Неужели это с ведома Центрального Комитета, как пытался дать нам понять тов. Тихонов. Как это стало возможным в Ленинско-Сталинской большевистской партии?

Боясь репрессий — не подписываюсь».

Такого козыря у Маленкова и других ненавистников «ждановцев» еще не было. Закрутилось пристрастнейшее разбирательство.

Ленинградский историк В. А. Кутузов утверждает, что Тихонова вызвали в Москву к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову (немаловажно вспомнить, что в 1946 г., во времена возвышения Жданова и Кузнецова, Маленков был освобожден от должности секретаря ЦК) «в начале февраля 1949 года», а Попкова — 15 февраля, прямо на заседание Политбюро (журнал «Диалог», 1987, № 18). Представляется, однако, что предварительное разбирательство Маленков провел более оперативно. 24 января, к примеру, в ЦК ВКП(б) с отчетом «О состоянии и мерах улучшения партийного просвещения в Ярославской партийной организации» выступал первый секретарь Ярославского обкома И. М. Турко: «Вся Ярославская область следит сегодня за отчетом своей партийной организации...»

«Ну как, Леша? — не утерпел, спросил хвастливо в перерыве у А. А. Кузнецова.— Хорошо?..» — «Хорошо-то, может, оно и хорошо, да не всем понравилось...» — мрачновато отозвался Кузнецов. «Он уже, видно, догадывался, что нас арестуют»,— со вздохом заметил Иосиф Михайлович.

По заведенному тогда порядку на такие отчеты в Москву собирали всех первых секретарей — вряд ли было сделано исключение для П. С. Попкова. И маловероятно, чтобы Маленков не использовал встречу для допроса хотя бы о подтасовке результатов голосования.

— Попков *клялся* нам (своему персональному аппарату.— *В. Д.*), что не знал он ничего об этой выходке Тихонова,— вспоминал В. Ф. Шишкин.— И я ему верю. Во-первых, он был все-таки очень осмотрительным — трусоват для такого дела. Во-вторых, ну что такое — четыре голоса «против» из более тысячи? Да один он и сам мог подать — из «большевистской скромности», и недовольные, обиженные чем-то всегда могут быть. И с глаз он наших почти не исчезал — «первому» в такой обстановке трудно укрыться. А те? Что же, Тихонов

пойдет докладывать: «Мы ради вашего престижа обманули конференцию, сфальшивили...» Нет, не верю я, что он знал.

Не столь уж ощутимые потери понесли в результате голосования и другие секретари: Г. Ф. Бадаев — два голоса, Я. Ф. Капустин — пятнадцать, П. Г. Лазутин, председатель Ленгорисполкома,— два... Какой же смысл идти на такой риск?

Почему, кто, как толкнул Тихонова на эту нелепую авантюру? Исключенный из партии, потом арестованный, отсидевший, освобожденный, он тихо много лет проработал на одном из ленинградских заводов (дойдя, между прочим, до поста директора,— ни в хрущевские, ни, тем более, в «застойные» времена о подавляющем большинстве виновников «ленинградского дела» не вспоминали) и унес свою тайну в могилу.

Еще одним свидетельством того, что Маленков начал широкомасштабную операцию против Ленинградской партийной организации и ее воспитанников сразу же после конференции, можно посчитать и историю с ярмаркой. «Все дело — в ярмарке,— доверительно поделился с помощником вернувшийся из Москвы Попков и добавил: — А в действительности — гораздо глубже...»

В. Ф. Шишкин, понятно, не удержал в памяти дату разговора, но ее можно вычислить. Всероссийская оптовая ярмарка открылась в Ленинградском Дворце культуры им. С. М. Кирова 10 января 1949 года, с расчетом на десять дней работы. Первые три дня ленинградская пресса освещала ее как событие первостепенной важности. И вдруг — стоп: ни строки, даже итоги не подводили — как будто ее и не было. Без «команды» такое немыслимо. Значит, восторги по поводу ярмарки стали *уже* неудобны — атака на ее организаторов началась.

Именно *в эти*, юбилейные (!) — отмечались традиционные даты прорыва, снятия блокады и 25-летие со дня присвоения городу имени В. И. Ленина — дни исчезли ставшие в последние два года привычными славословия в адрес П. С. Попкова. Отнюдь не чуждый честолюбия, он явно сам распорядился «не поднимать» его, как еще совсем недавно, в одном ряду с «замечательными организаторами ленинградских большевиков в годы войны» А. А. Ждановым и А. А. Кузнецовым. Объяснение напрашивается лишь одно: уже с середины января Попков знал, что находится «в зоне серьезной критики», организуемой могучими силами.

Самое страшное обвинение — создание разветвленной антипартийной группы — многоопытный Маленков, очевидно, приберег для разбирательства в присутствии Сталина. Не стал бы иначе секретарь ЛГК ВКП(б) Н. Д. Синцов по-прежнему хвастать (26 января в «Ленинградской правде») посылкой «в различные районы страны лучших политических и хозяйственных работников».

15 февраля 1949 года «ленинградское дело» разбиралось на заседании Политбюро ЦК ВКП(б). Это было уже действительно — далеко ведущее «дело». Как именно шло обсуждение? Занимающаяся этим периодом истории партии старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Тамила Борисовна Томан сказала мне, что от основных фигурантов этого «дела» — члена Политбюро Н. А. Вознесенского, секретаря ЦК А. А. Кузнецова и других — «в архиве остались только учетные карточки». Признаюсь, я засомневался, подумал — такое не раз бывало в моих поисках: не хотят помочь. Потом прочитал статью самой Томан — об уничтоженном по «ленинградскому делу» председателе Совета Министров РСФСР М. И. Родионове — и понял: материалов об этих людях послевоенного времени у нее нет.

То, что Попкова на этом заседании сняли, похоже, особого удивления в Ленинграде не вызвало: подлинного масштаба надвигающейся трагедии здесь еще явно не ощутили. Реакцию Я. Ф. Капустина можно даже назвать беспечной. «Кого на твое место?» — деловито спросил он, не замечая потрясения товарища. Отрезвился, видно, только тогда, когда услышал, что на этом же заседании сняли со всех постов членов Оргбюро ЦК секретаря Центрального Комитета А. А. Кузнецова и Председателя Совета Министров РСФСР М. И. Родионова.

21 февраля в Ленинград приехали член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков и член Оргбюро ЦК В. М. Андрианов. Собрали объединенное заседание бюро Ленинградских обкома и горкома партии, продолжавшееся девять часов. На двенадцать часов следующего дня в Лепном зале Смольного назначили совместное собрание членов областного и городского комитетов партии. Изучавший его материалы ленинградский историк партии В. А. Кутузов писал, что сообщение Маленкова об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецова и кандидатов в члены ЦК М. И. Родионова и П. С. Попкова не стенографировалось и теперь лишь «по характеру прений, принятому постановлению, воспоминаниям лиц, присутствовавших на пленуме, можно попытаться восстановить основные положения» этого выступления.

Смысл его речи, по В. А. Кутузову, сводился к тому, что Кузнецов, Родионов и Попков «встали на путь групповщины, антиленинских методов работы и противопоставления себя Центральному Комитету партии; они самовольно и незаконно» —

без решения центральных органов — превратили организованную ими Всероссийскую оптовую ярмарку фактически во всесоюзную, «что привело к разбазариванию государственных товарных фондов и нанесло значительный материальный ущерб государству». Кузнецов и Попков будто бы «вынашивали также идею создания компартии России. Тем самым они якобы хотели, по примеру Зиновьева, противопоставить Ленинградскую партийную организацию ЦК ВКП(б)». «Третий тезис Маленкова — секретари обкома и горкома ВКП(б) якобы знали о неправильной информации по итогам голосования председателя счетной комиссии на отчетно-выборной партийной конференции и не сообщили об этом в ЦК ВКП(б). Однако это утверждение не получило подтверждения на пленуме».

Маленков, пишет В. А. Кутузов, максимально использовал «недостаточно продуманные формулировки, допускаемые П. С. Попковым в публичных выступлениях и беседах», преувеличенно и тенденциозно подавал факты. Хотя «в работе П. С. Попкова и некоторых других руководителей Ленинградской партийной организации действительно имели место серьезные недостатки. Участники пленума, выступая в прениях, справедливо подвергли критике этих руководителей за нарушение принципа коллективности партийного руководства, поддержку настроений самообольщения успехами военных лет и бахвальства, заседательскую суетню, бюрократические методы работы, проявления зазнайства и нескромности... По своей критической направленности данный пленум отличался от проходившей менее двух месяцев назад конференции».

Вот и сам П. С. Попков тоже взял на себя вину:

«Я должен сказать, товарищ Маленков, что антипартийное поведение касается главным образом меня и Капустина, но оно не касается Ленинградского актива. Ленинградский актив, товарищ Маленков, в этом отношении совершенно чист, и я со всей ответственностью заявляю о том, что Ленинградская партийная организация сплочена вокруг Центрального Комитета партии...

Я на партийной работе ни разу не был, за исключением института, где около четырех месяцев был секретарем партийной организации. На партийной работе на заводе не работал, в горкоме в аппарате не работал. И когда я пришел сюда, я не знал партийной работы... У меня охватывать все вопросы и политического руководства и партийного руководства не хватает ни политических, ни общих знаний. Скажем, вопросы литературы я до сих пор не знаю, вопросы философии я до сих пор не знаю...»

Пленум одобрил решение о снятии П. С. Попкова, Я. Ф. Капустина (с выговорами) и некоторых других ответственных работников с занимаемых ими постов. После минутного замешательства участников пленума, вызванного неожиданным и явно провокационным предложением Маленкова избрать новых руководителей из ленинградской же среды, секретарь ЦК заявил: «Ну, если вы оказались в таком затруднительном положении, то я от имени Центрального Комитета партии могу порекомендовать на пост первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии Василия Михайловича Андрианова».

Вместо Я. Ф. Капустина вторым секретарем горкома через несколько дней избрали Николая Александровича Николаева, бывшего (почти всю войну) директором Охтинского химического комбината, затем — первым секретарем Ленинского райкома партии, заведующим машиностроительным отделом горкома ВКП(б).

«С приходом В. М. Андрианова к руководству Ленинградской партийной организацией,— заключает историк В. Кутузов,— события начали развиваться еще более драматично. Хотя, как видно из вышеприведенных материалов, серьезные обвинения касались лишь руководства Ленинградской организации, однако в это «дело» были вовлечены и пострадали сотни ни в чем не повинных людей».

...Парадоксально и глубокой скорби достойно — сколь прочно угнездился в нас доставшийся от того периода стиль мышления. Процитированные рассуждения ученого невольно подталкивают к выводу, что, в отличие от сотен «ни в чем не повинных людей», руководители пострадали за какую-то серьезную вину, а не по злой и преступной воле. С этим согласиться нельзя. Уже сам масштаб трагедии не позволяет разделять жертвы на правых и виноватых по критериям, которые использовал ее непосредственный организатор. Зная же о явной инспирированности «ленинградского дела», мы и на критику, прозвучавшую тогда в адрес Попкова, Капустина и других, должны сегодня взглянуть иными глазами. Ее объективность и справедливость обманчивы. Историк напрасно, по-моему, игнорирует тот факт, что и пленум был частью преступной операции Маленкова и К^0 против ждановских выдвиженцев. Он рассматривает и представляет события в партии 1949—1952 годов не в контексте их конкретно-исторических условий, а с позиций никогда не существовавшего в действительности некоего идеала. Тем самым дает организаторам позорнейшего «ленинградского дела» шанс на оправдание Историей. Оправдания же им нет и быть не может!

Все обвинения Маленкова в адрес ленинградских руководителей сплошь и изначально надуманы, демагогичны. Ведь тогда не только в Ленинградской парторга-

низации, а во всей партии, начиная с Политбюро, уже давно и грубо попирался «принцип коллективности партийного руководства». Мы и сейчас еще не полностью преодолели это тяжелое наследие сталинщины. Хоть раз где-нибудь принародно Сталин, Маленков и компания «не самообольщаясь», критически оценили свою собственную деятельность? Их разрушительная «работа» до последнего времени представлялась историками лишь как цепь «неуклонного подъема», «дальнейшего совершенствования» и сплошных «успехов». Или, может быть, кому-то ведомы какие-то областные и городские парторганизации тех дней, где не было «заседательской суетни и бюрократических методов работы»? Весь сталинский режим, а не отдельные исполнители, порождал бюрократические методы, которые резко противоречили уставным требованиям и ленинским нормам партийной жизни. Культивируемый повсеместно разрыв между словом и делом, между законом и «необходимостью» позволял таким, как Берия, Маленков, Молотов, Каганович и др., любого и каждого обвинить в чем угодно. И опять-таки «по закону».

Неправомерно упрекать *сегодня* Попкова или Кузнецова — кого угодно — за беспардонно использованные организаторами «ленинградского дела» какие-то выступления, частные беседы, «недостаточно продуманные формулировки», пусть даже предложения — хотя таковых никогда не было — по поводу компартии России. Разве Устав ВКП (б) запрещал когда-либо обсуждать такого рода идеи? Зачем же нам, *солидаризируясь с Маленковым,* осуждать за походя брошенную в приватном разговоре мысль и Попкова, и Кузнецова?

А ярмарка? Кто, когда объективно показал, что, собрав вместе две тысячи представителей государственной и кооперативной торговли и промышленности (из Москвы, Ленинграда, Горького, Казахстана и Грузии, из Карелии и Прибалтийских республик, с Украины и из Белоруссии...) и представив им на 10 миллиардов товаров, организаторы ее «нанесли ущерб», а не способствовали развитию застоявшегося товарооборота в нашей стране? Реальная экономическая ситуация первых послевоенных лет — абсолютно слепое пятно в нашей исторической науке. Не будем хотя бы торопиться с критикой трагических фигур прошлого.

Скорее всего, не подошел к роли «первого лица» в Ленинграде П. С. Попков. Следовало бы переместить терявшего за собою должный контроль Я. Ф. Капустина. Возможно. И об этом не зазорно писать как об исторической проблеме. Но в контексте «ленинградского дела» их объединяет одно — большая человеческая трагедия, порожденная подлостью. Такова и цена материалам «дела».

Очень хочу, но не могу себе представить Алексея Александровича Кузнецова в день свадьбы его старшей дочери Аллы. Она выходила замуж за сына члена Политбюро ЦК А. И. Микояна — Серго, но свадьбу решили играть на служебной даче Кузнецова.

— Папа чуть задержался,— рассказывала мне Г. А. Кузнецова,— но мы привыкли к тому, что он приезжал очень поздно — в час, в два ночи... И уезжал: мы уходили в школу, а он — на работу... В субботу нам разрешалось не спать — ждать его... А свадьба?.. Свадьба прошла нормально. Много пели. Пели хорошо. И папа пел: у него был красивейший голос; у мамы очень низкое контральто — ей даже предлагали учиться...— а у папы — баритон, но... ближе к тенору... У нас в семье все пели. Дядя Сима, это мамин брат — Серафим Дмитриевич, играл на рояле, и они с папой пели оперетты — папа классические любил... Нормально прошла свадьба. Папа был жизнелюбивый, жизнерадостный, веселый... А наутро мама нам сказала, что вчера папу сняли. На дачу он больше не приезжал. Вскоре мы ее освободили — переехали в город.

В нашумевшем очерке о Кузнецове в «Комсомольской правде» «Победитель» его автор А. Афанасьев приводит «факт», будто 15 февраля 1949 года секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецов «пришел, как всегда, на работу и обнаружил на своем столе бумагу, из которой явствовало, что он от занимаемой должности освобожден». Думается, это — очередная дань отживающему мифологическому сознанию. Так, без разбирательств, без выяснений — что, почему, с кем? — даже Сталин с секретарями ЦК не поступал. Кузнецов, безусловно, был на заседании Политбюро, выслушивал обвинения Маленкова, защищался... И это только Галине Алексеевне Кузнецовой кажется, что последующие месяц-полтора «папа был дома — и утром дома, и вечером»... Его несомненно — и не раз — вызывали: в ведомство А. А. Андреева — М. Ф. Шкирятова, в аппарат центрального партийного контроля. К сожалению, нет анализа, почему оказалась неэффективной система внутрипартийного контроля, особенно его *защитная* функция, хотя именно здесь, как правило, и начинали варить чертово зелье необоснованных обвинений против коммунистов. Так было при Сталине, было при Хрущеве, при Брежневе...

«Милок» — прозвали главного партийного следователя Шкирятова в верхних этажах тогдашней партийной бюрократии: «Ты иди, милок, погуляй часик, подумай, а потом продолжим...» И снова — пять, шесть, семь часов самых настоящих допросов. «Гуманизм» этого чудаковатого, не шибко грамотного мужичка был своеобразен. Мне рассказывали, как однажды, приехав в деревенский свой (кажется, калинин-

ский), материнский дом, он поинтересовался братом. «Посадили! — заголосила мать.— Ты бы поспособствовал, сынок!..» — «За что?» — строго спросил заместитель председателя ЦКК. «Да ни за что! Говорят, два кило хлебушка без разрешения не сдал — и два года. Два года не будет кормильца!..» — «Два года, говоришь. Гм... Мало дали...» Поехал в район, устроил там всем разгон и добился, чтобы брату еще три года прибавили. «Поспособствовал»...

С этим внутрипартийным Малютой Скуратовым и «беседовали» часами на первом этапе разбирательства почти все главные фигуранты «ленинградского дела». Наращивал свое собственное расследование и Маленков. Из Ленинграда ему помогал новоиспеченный первый секретарь Андрианов. С карандашом в руке он целыми днями читал протоколы конференций, пленумов, активов, заседаний бюро, пытаясь выявить «крамолу». Откровенно выслуживался. И не только перед Маленковым. Бывший помощник П. С. Попкова В. Ф. Шишкин до того, как его «убрали из Смольного», успел обратить внимание: единственным, кому по случаю какого-то события или юбилея Андрианов послал телеграмму с приветствиями и поздравлениями, был Берия.

Опальных, чтобы не мешали, не возбуждали партийную среду и не «сговаривались», изолировали потихонечку до ареста. И. М. Турко, например, под каким-то благовидным предлогом с должности первого секретаря Ярославского обкома пересадили в кресло заместителя председателя Ивановского облисполкома... Многих вдруг определили учиться — в Высшую партийную школу, Академию народного хозяйства и т. п. Это как раз не должно было вызывать подозрений: в 1946—1949 годах значительная часть кадров прошла через созданную тогда (очень много этим занимался А. А. Кузнецов) широкую сеть подготовки и переподготовки партийных, советских и хозяйственных работников. Снятые с постов ленинградские руководители занимались наукой всерьез. В следственной прорве сгинул какой-то труд Я. Ф. Капустина. Жена его Екатерина Васильевна, расставив ладошки, показала мне объем рукописи — страниц на 400—500, не меньше. Многое могли бы мы узнать о ленинградской промышленности в дни мира и войны — лучше Якова Федоровича ее никто не знал.

...А. А. Кузнецова в конце марта или самом начале апреля облачили в форму генерал-лейтенанта и поместили за забором (по субботам он иногда приезжал в семью) подмосковных высших курсов при Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Учился он, по словам Г. А. Кузнецовой, с упоением. Очень гордился дипломом с отличием. Но... Он ему уже не понадобился...

Первым арестовали Я. Ф. Капустина.

— Когда его сняли,— рассказывал мне Владимир Яковлевич Капустин,— отец стал учиться на высших партийных курсах заочно. В июле поехал в Москву сдавать экзамены. И — ни слуху ни духу...

Арест спровоцировал (и сомнений нет, что в тесном контакте с Маленковым) тогдашний министр госбезопасности СССР В. С. Абакумов. Как докладывал 6 мая 1954 года ленинградскому партийному активу Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко, 21 июля 1949 года Абакумов довел до Сталина заведомо сфальсифицированную «информацию» («спецсообщение») о том, что Капустин... «агент английской разведки». Через два дня Сталин дал санкцию на его арест.

Банда Маленкова — Берии — Абакумова вычислила: Капустин в тайно подготовлявшейся широкомасштабной «операции» против ждановских выдвиженцев самое уязвимое звено — в 1937-м на него уже заводили «дело» и исключали из партии «за вредительство». Получилось это так. Тверской крестьянин, чернорабочий Волховстроя, помощник слесаря, шабровщик, помкомвзвода 57-го стрелкового полка 19-й дивизии Яков Капустин пробился в люди — как «профтысячник» поступил во Всесоюзный котлотурбинный институт, вполне прилично (всего две «тройки» из 43 предметов насчитал я в его дипломе) закончил учебу и был принят инженером-технологом на Кировский завод. Перед этим, еще в студенческую пору, стажировался в... Англии, на всемирно известных манчестерских предприятиях. В конце тридцать шестого вернулся, защитил диплом, стал на Кировском помощником начальника цеха турбинных лопаток.

Индустриальные беды проклятого тридцать седьмого известны, хотя совершенно еще не изучены: подхваченные мощными волнами репрессий сошли в могилы, растворились в таежно-тундровых далях опытные инженерно-технические специалисты; десятилетиями отлаживавшаяся производственная технология развалилась, заводы начал душить брак. Ну не истинным же виновникам — Сталину, Молотову, Кагановичу и т. п.— отвечать за содеянное: козлов отпущения искали пониже. На Кировском заводе в качестве одного из них наметили молодого инженера (ему еще не исполнилось и тридцати трех, а в инженерной должности — года) Якова Капустина: «в Англии ничему не научился» — только разваливать производство; брак — «черный материал» — явно «оттуда»...

Бочку катили какой-то Эндаков и инженер Зальцман. Зальцман предложил записать в протокол партийного собрания, что член ВКП(б) Капустин «недостоин политического доверия». Решение: из партии исключить. Что за этим обычно следовало — сегодня разъяснять не надо.

— Звонит мне,— рассказывала жена Капустина Екатерина Васильевна,— одна наша деревенская, Марией звали,— она тоже на Кировском заводе работала: «Катенька, горе-то какое — ты, наверно, не знаешь: Яков Федорович повесился...» С трудом разыскала его по телефону: «Ты, говорят, повесился?» — «Что ты, дура, мелешь, если я с тобою говорю?!.» — «Ну так и приезжай домой — переживем. Тачку, как на Волховстрое, надеюсь, не разучился еще катать — не надо нам инженерства...»

Якова Федоровича выручили рабочие, старые кадровые путиловцы. Я видел их коллективные письма: карандашом, корявым почерком, на засаленной от станочной смазки бумаге... Но зато подписи! (по 15—20 под каждым) — «член ВКП(б) с 1903», 905-го, 914-го... 17-го года... Писали, что из всех инженеров один Капустин и «понимает рабочих», у него — «со всеми рукопожатие», от него «получили профтехминимум» и как раз из-за него «у нас все преобразовалось — браку стало меньше...»

Короче, Капустину тогда повезло. В тридцать восьмом его уже рекомендовали в секретари парткома (он же — парторг ЦК) на Кировском заводе, через год он — первый секретарь Кировского райкома, еще через лето — секретарь Ленинградского ГК ВКП(б)...

А вот с Марией Алексеевной Вознесенской, сестрой снятого пятого марта сорок девятого года с постов первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана страны (чуть позже Сталин самолично «выведет» его и из Политбюро, и из ЦК ВКП(б)) и т. д. и т. п. Н. А. Вознесенского, в тридцать седьмом году сталинский режим обошелся гораздо круче.

— В тридцать седьмом маму — она, помоему, заведовала кабинетом партпросвещения в Пушкине, под Ленинградом,— рассказывал мне Владимир Федорович Визнер,— арестовали по ложному доносу. Что? кто? — не знаю, слышал, что по «ложному». Дядя, Николай Алексеевич Вознесенский, был уже тогда в силе, и, несмотря на это, маму около девяти месяцев продержали во внутренней тюрьме НКВД, в «Большом доме», и приговорили к ссылке... Вы читали «Дети Арбата»?.. Там упоминается село Богучаны Красноярского края. Так вот и маму сослали в этот район, в село Климино, километров восемьдесят от Богучан. Отец бросил работу, и мы все — мне — восемь, брату Евгению — три года — поехали вслед за матерью. Ну, вы читали про жизнь «спецпоселенцев»...

— А совпадает с вашими впечатлениями?

— Не совсем. Везли нас на теплоходе, потом — до Богучан — на баржах без конвоя, хотя целыми партиями, и, наверное, кто-то приглядывал все-таки. Меня там отдали в первый класс, но проучился я всего две недели: сказали, что надо сразу во второй, потому что читать, писать и считать я уже умел, требовалось только выучить таблицу умножения. Папа у меня был строгих правил: взял ремень, ночь посидел надомною, таблицу к утру я освоил, и на следующий день меня посадили во второй класс. Так вот у нас года полтора протекли. Тут вдруг и отца арестовали. Обвинили его в том, что, будучи директором МТС — это еще давно, в Чудове,— он «по заданию» какой-то «разведки» «занимался экономической диверсией» — плохо ремонтировал трактора. Семь месяцев держали в тюрьме в Богучанах, допрашивали, он ни в чем не признавался. Наконец — то ли дядя Николай Алексеевич помог, то ли Жданов отреагировал на мамино письмо — родителей освободили, мы вернулись в Ленинград. Мама стала директором дворцов-музеев в Пушкине, потом перебралась в Ленинград. Война. Отец сразу ушел на фронт — воевал в саперном батальоне под Ленинградом. Нас, детей, отправили в Галич Ярославской области. Затем — Свердловск. Мама приехала к нам из блокады летом сорок второго. Почти сразу же включилась в работу — секретарем райкома, дальше — горкома по пропаганде. Между прочим, и принимал ее, и «продвигал» тот самый Андрианов — он всю войну был первым секретарем в Свердловской области. Тогда он к ней хорошо относился...

— Ну да, сестра «сильного человека» — Вознесенский ведал всей экономикой страны.

— Наверное... А отец к нам приехал в сорок третьем: он был тяжело ранен и получил назначение в учебный танковый батальон под Свердловском. В январе сорок шестого мы вернулись. Мама стала директором Центрального лектория на Литейном, в сорок восьмом — первым секретарем Куйбышевского райкома партии Ленинграда. В апреле... может быть, в начале мая сорок девятого ее от работы в райкоме освободили. Мама наша была такая, что я, по молодости, этого даже не почувствовал. Она решила заняться диссертацией: завела ящик с картотекой, материалы разные собирала... Мы все жили на даче старшего маминого брата Александра Алексеевича, который был ректором нашего университета, а к тому времени — министром просвещения РСФСР.

Потом пришел июль. Я заканчивал второй курс Военно-механического института и часто бывал на городской квартире. В двадцатых числах так же, как ни в чем не бывало, поехал домой. Подхожу к двери, а она — опечатана. Перепуганные соседи говорят, что приходили с обыском. Я — на дачу: утром там — мать, отец, бабушка, брат — вся семья была в сборе, оказывается, уже приезжали и увезли маму.

— Больше никого?

— Тогда только ее — отец продолжал работать директором автобазы «Заготзерно». Он пытался носить ей какие-то передачи в тюрьму, на Литейный... Пытался попасть на прием к первому секретарю обкома Андрианову — он же ее хорошо знал. Не принял.

— Понятно: «сильного человека» Вознесенского у власти не стало...

— Да. Когда Николая Алексеевича освободили с постов, я слышал, как мама по секрету говорила, что у Маленкова с Берией были к нему личные счеты: Маленков видел в нем одного из реальных соперников на пути к овладению государственной властью...

...Арест М. А. Вознесенской почти одновременно с Капустиным с головой выдает организаторов «ленинградского дела». Она меньше года была на руководящей партийной работе в Ленинграде и уже по этой простой причине не могла иметь никакого отношения ни к «групповщине», ни к какой-либо «особой политике» бывшего ленинградского руководства. Но за ней — готовое «дело» тридцать седьмого, она — «слабая женщина» и, безусловно главное, родная сестра Н. А. Вознесенского — одного из ключевых объектов азартной охоты заговорщиков.

Немаловажно и другое. То ли по природному своему характеру, то ли из-за горького опыта ареста и ссылки тридцать седьмого — тридцать девятого, но Мария Алексеевна была исключительно осмотрительна, сдержанна и осторожна. Не представляю, какую фантазию должны были развить ее преследователи, чтобы найти хоть какие-то зацепки в ее поведении, отношении к соблюдению Устава ВКП(б) и партийных директив.

Хорошо знавший ее Павел (Пантелеймон) Николаевич Жучков, «курировавший» тогда как инструктор горкома партии Куйбышевскую районную парторганизацию, упорно мне доказывал:

— Для меня Мария Алексеевна была эталоном коммуниста-ленинца. Это я вам просто от души говорю! Она — не то, что ее предшественница по Куйбышевскому райкому Таисия Владимировна Закржевская, которую надо было по шерсти гладить, а против шерсти уже нельзя, с гонором. Нет, Мария Алексеевна все делала только в пределах разумного и законного. Уж если у кого учиться партийной скромности, бескомпромиссности и преданности партии, так это у Марии Алексеевны. Примеры?.. Вот, пожалуйста,— разбор персональных дел. Ни в одном райкоме не было такой тщательности, осторожности и объективности. До тех пор, пока лично не убедится, что рассматриваемый товарищ заслуживает именно того наказания, что предлагалось в проекте решения,— не поставит вопрос на голосование. Она понимала, что такое — незаслуженно обвинить человека... И притом учтите: Куйбышевский район — не промышленный, интеллектуальный: тут — вузы, НИИ, проектные институты, восемь театров... Народ все ранимый, самолюбивый, с «мнением»... И она, при всей своей занятости, для каждого была доступной — к ней не записывались на прием, прямо шли,— со всеми разговаривала спокойно и благожелательно...

— Павел Николаевич, а не расписываете ли вы мне благостную картинку?.. Именно в это время громили творческие организации — за генетику, «антипавловские» учения, космополитизм, «буржуазную идеологию» в архитектуре, драматургии, издательских делах, «паулгизм-ингольдизм» в химии... Что же, вы с Марией Алексеевной к этому непричастны?..

Жучков задумался, подавил смущенный смешок.

— Да ведь верили, что это так. Верили в лысенковскую «науку». Ну я, может быть, в ней и не разбирался, но раз партия так говорила — из Москвы, значит,— куда же нам еще вникать? Попробовал вон Юрий Жданов «вникнуть», возразить Лысенко, а потом пришлось каяться. Сложный был период... А театры мы в руках держали. К Пушкинскому театру, Большому драматическому, Театру комедии претензий, помнится, не предъявлялось... Разве что — к филармонии... Но я вам — про скромность и осторожность Марии Алексеевны: лишнего слова не проронит — умна была,— к *первым личностям* старалась не обращаться, не выносить наверх решение вопросов. Даже к братьям своим... Помню, был я свидетелем разговора с нею ректора Педагогического института имени Герцена Федора Федоровича Головачева, члена бюро Куйбышевского райкома. «Мария Алексеевна,— просит,— обратитесь к Александру Алексеевичу, министру просвещения, по вопросам, которые в Ленинграде не решаются». А она мне говорит: «Вот они *не представляют,* что если и приходится мне изредка бывать в Москве, то я даже по телефону не могу поговорить с братьями — настолько они заняты государственными делами. И вообще, у нас не принято решать служебные вопросы, используя родственные отношения...» Жаль, что с нею так поступили. Я был на пленуме райкома партии, когда ее освобождали. Приехал секретарь горкома Николаев, который потом, испугавшись ареста — или еще по какой причине,— отравился газом, и сказал: «Товарищи, есть предложение освободить Вознесенскую Марию Алексеевну от обязанностей первого секретаря райкома партии». И ничего более — ни мотивировки, ни обвинений... «Есть вопросы?..» Все молчат. «Возражений нет?..» — «Нет». Проголосовали. Я еще неудачно пошутил. «С вас,— говорю,— «отвальная»,

Мария Алексеевна...» — «Неизвестно, с кого и по какому еще будет поводу...» И ни слова больше — ушла.

Про «отвальную» Павел Николаевич Жучков упомянул не зря. Шумный и многолюдный «прощальный» банкет-складчина, устроенный в ресторане «Москва» в честь уезжавшей в столицу Т. В. Закржевской (А. А. Кузнецов ее выдвинул, если помните, на должность заведующей женотделом ЦК), дорого стоил (не в смысле, разумеется, денег — собирали по десятке) едва ли не всем его участникам. Маленков, Шкирятов и К° расценили это как «целенаправленное спаивание партийных кадров в интересах создания антипартийной организации...»

5 августа 1949 года арестовали первого секретаря Крымского обкома партии Николая Васильевича Соловьева, бывшего в 1938—1946 гг. председателем Ленинградского облисполкома, членом военного совета Ленинградского фронта по тылу. Это он с ноября 1941 года непосредственно руководил самым сложным участком — снабжением блокированного города-фронта. Деятельность его в годы войны из-за субъективистских перекосов в истории битвы за Ленинград освещена слабо и затушевана, но на самом деле она была невероятно обширной и весьма значительной.

В канун ареста Соловьева под каким-то предлогом вызвали в ЦК ВКП(б), скорее всего, к Маленкову. Так срочно, что пришлось воспользоваться самолетом старого товарища по Ленинградскому фронту — командующего Таврическим военным округом генерала армии М. М. Попова.

В Секретариате ЦК он пробыл недолго. Потом оказался в Комиссии партийного контроля у Шкирятова. Оттуда, уже поздно вечером, поехал в Министерство госбезопасности — к Абакумову. Ближайшую судьбу свою Николай Васильевич явно не предугадывал — неотступно сопровождавший Соловьева охранник («прикрепленный» — по тогдашней терминологии) В. И. Шумков, следуя его указаниям «не отлучаться — скоро поедем обратно», прождал до следующего дня, пока кто-то, имевший право распоряжаться персональной охраной высоких лиц (их главный начальник подчинялся непосредственно Сталину, а не МГБ), не приказал ему вернуться в Крым.

Больше Соловьева никто не видел.

Лишь избежавший расстрела первый секретарь Новгородского обкома партии Григорий Харитонович Бумагин — в войну он был секретарем Ленинградского обкома ВКП(б) — утверждал, что однажды в проклятой Лефортовской тюрьме внезапно повернутый конвоиром лицом к стене (заключенные не должны были видеть друг друга) он услышал у себя за спиной «характерные шаги Николая Васильевича». И все.

А в Симферополе — написал мне председатель Совета бывших партизан и подпольщиков Крыма Евгений Данилович Киселев, работавший в конце сороковых в Крымском обкоме,— 7 августа собрали внеочередной и закрытый (информация о нем прошла в крымских газетах лишь спустя две недели) пленум, «на котором заведующий оргинструкторским отделом ЦК партии (т. Дедов) представил привезенную им из Москвы «команду» новых секретарей обкома, утвержденных ЦК. О Н. В. Соловьеве, Н. П. Хованове, П. А. Чурсине и М. И. Петровском, бывших секретарях, сообщил, что они с работы сняты и из партии исключены; об их аресте мы узнали позже. Через некоторое время были сняты с работы и арестованы председатель облисполкома В. И. Никаноров и редактор газеты «Красный Крым» Л. М. Скрипченко, оба члены бюро обкома, в Севастополе — заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал П. Т. Бондаренко. Потом пришла наша очередь. Новый состав бюро прогнал нескольких завотделами, в том числе и меня, заменив нас прибывшими из других областей. На партийную работу я был возвращен лишь после смерти Сталина...

Поучительно, думаю: кое-кто из подлецов, клеветавших в 1949 году на наших товарищей, ныне здравствуют и ратуют за... перестройку».

...Спустя несколько дней (13 августа 1949 года) пришел черед А. А. Кузнецова. Страстный любитель природы, в этот день он с раннего утра отправился с младшей дочерью и Михаилом Дмитриевичем, шурином, в Измайловский парк. Так хорошо начавшуюся прогулку испортила увиденная ими пьяная драка каких-то военных, лупивших друг друга пряжками поясных ремней. В метро Алексей Александрович сидел молчаливый и мрачный, опустив голову и зажав сцепленные до побеления руки между колен. Дома Зинаида Дмитриевна ему сказала, что просил позвонить Шкирятов. Краткий телефонный разговор его оживил — он снова стал бодрым, веселым: возможно, в него вселили надежду, что *«все разъяснилось и уже позади»*... Он помыл руки. Послал племянницу жены Лиду и сына Валерия за мороженым. Предупредил: за накрытый уже стол не садиться (вся семья очень любила эти редкие совместные обеды с «Ленюшкой», как звали его теща и жена, во главе). «Вы меня ждите — я *скоро* приду!» Отодвинув штору, Зинаида Дмитриевна и ее брат смотрели, как он уходил. Обернулся, словно почувствовав их взгляды, радостно улыбнулся. Они помахали ему руками. И больше его не видели...

...Аресты пошли пачками. Первое время начинались они, как правило, с «приводов» членов ВКП (б) в органы партийного контроля, где процедура рассмотрения «персональных дел» становилась все короче и короче. В Ленинграде — особенно после того как по уши погрузившийся в «борьбу» с «охвостьем бывших руководителей» новый первый секретарь обкома и горкома Андрианов в июне сорок девятого выпросил у Москвы «подмогу» — специально подобранных «партийных» работников — сверх всякой меры и вопреки элементарной человеческой совести усердствовал председатель комиссии партконтроля Новиков. Ветераны, прошедшие это чистилище, говорят, что он докатился до того, что устанавливал своим сотрудникам «урок» — не менее двух разоблаченных «врагов народа» за день. Материалы на значительную часть исключенных из партии ленинградцев поступали в следственную группу Министерства госбезопасности. Московскую, так как местных, уверяли меня бывшие и ныне действующие сотрудники этого ведомства, к оперативной работе и следствию по «ленинградскому делу» не допускали. Один из очень немногих уцелевших и сейчас еще служащих офицеров Ленинградского управления КГБ, срочно мобилизованный тогда со второго курса университета в «органы» (почти всех его предшественников, прошедших тяжелый период борьбы с подлинными врагами в годы войны и блокады, либо арестовали, либо перевели в глухие уголки страны), мне рассказывал:

— Идешь, бывало, по каким-то делам в следственный изолятор внутренней тюрьмы, начальник предупреждает: в такие-то блоки (где арестованных по «ленинградскому делу» содержали) — ни ногой, а то «сам там останешься»...

Масштаб репрессивной операции был таким, что порой у московских следователей МГБ, похоже, отказывала фантазия на фальсификацию политических обвинений. Подключив органы МВД и прокуратуру, против партийных, советских и хозяйственных руководителей стали фабриковать общеуголовные «дела». Шаблонным, например, стало обвинение в «разбазаривании средств» на оформление агитпунктов и уголков во время избирательных кампаний. По судам прокатилась волна процессов — групповых «дел» Смольнинского района, Фрунзенского и т. д.

Вскрывались, конечно, и подлинные злоупотребления. Но это случайно, походя — как показали последовавшие после смерти Сталина прокурорские проверки, большинство обвинений оказались сфальсифицированными, а приговоры по ним необоснованными.

Во время своих поисков встречал я людей, готовых искать аргументы, оправдывающие даже таких монстров, как Маленков и Андрианов. Но и они не могли придумать ничего, что могло бы хоть как-то объяснить, зачем эти лица и их приспешники глумились над трагедией и подвигом ленинградцев в годы блокады. «Пройдут века, но дело, которое сделали ленинградцы — мужчины и женщины, старики и дети этого города... никогда не изгладится из памяти самых отдаленных поколений»,— говорил М. И. Калинин, вручая в 1945 году Ленинграду орден Ленина. Отсчитались всего четыре года, и организаторы массовых репрессий надругались над памятью, завещанной самым отдаленным поколениям. Любое упоминание о страданиях и подвиге ленинградцев в блокаду стало запретным — «мифом», придуманным «антипартийной группой».

Первым пострадал Музей обороны Ленинграда, создание которого началось еще в войну. С весны 1942 года, как в Москве и ряде других городов страны, это была выставка «Великая Отечественная война советского народа против немецких захватчиков». Но уже тогда, в блокаду и при продолжавшихся ожесточенных боях за город, руководители его обороны думали о будущем. 8 августа 1943 года был подписан приказ № 18:

«...Организовать в войсковых соединениях учет коллективного и личного оружия Героев Советского Союза, лучших бойцов и отдельных расчетов, проявивших доблесть и мужество в боях за родину.

2. Оружие, с которым отдельные бойцы и командиры или группы бойцов показали образцы мужества и героизма, заменять по возможности и сдавать в Артиллерийское Снабжение фронта для дальнейшей передачи в Артиллерийско-Исторический музей. На сдаваемое вооружение высылать описание боевых эпизодов, характеризующих его боевое применение.

3. В случаях оставления в соединениях — частях ценных реликвий стараться сохранить их в дальнейшей эксплуатации. На указанное оружие вести историю его боевого применения, учитывая, что после боевого использования его оно подлежит сдаче в Артиллерийско-Исторический музей как памятник героической обороны города Ленина...» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1258, ед. хр. 204, л. 69).

26 ноября 1943 года секретарь ЛГК ВКП(б) по пропаганде и агитации Маханов и начальник политуправления фронта генерал Холостов докладывали военному совету, что выставку «Великая Отечественная война советского народа» с 1 января по 30 августа 1943 года посетили 94 500 человек. Интерес, по блокадному времени, огромный. Но выставка расположена в неудобном помещении, в экспозиции мало материалов о битве за Ленинград; предлагалось устроить принципиально новую выставку. Военный совет поддержал это пред-

ложение. 4 декабря 1943 года он принял постановление № 1823 «Об организации выставки „Героическая защита Ленинграда“»: «Учитывая большой интерес военнослужащих и трудящихся города к материалам, отображающим защиту Ленинграда... реорганизовать выставку «Великая Отечественная война советского народа» в выставку «Героическая защита Ленинграда», пополнив ее необходимыми экспонатами... Использовать для размещения выставки «Героическая защита Ленинграда» часть здания Инженерного замка, выходящую фасадом на реку Мойка и с прилегающим садом». Организацию новой выставки поручили комиссии в составе: генерал-майор Д. И. Холостов, секретарь ГК ВКП(б) А. И. Маханов, директор Ленинградского Института истории партии С. И. Авакумов, председатель Ленинградского отделения Союза советских художников В. А. Серов, начальник Управления по делам искусств Ленгорисполкома Б. И. Загурский.

Эта выставка, развернутая неподалеку от Инженерного замка, в так называемом Соляном городке на правом берегу Фонтанки, стала базой для музея республиканского значения «Оборона Ленинграда», созданного по распоряжению Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 октября 1945 года. В мае сорок шестого музей принял первых посетителей.

И вот — новая «реорганизация» по принципу — «долой!». Долой всех без исключения руководителей битвы за Ленинград, всякие следы горя и мученичества блокады, весь «ленинградский дух»... Даже директором музея назначили «варяга» — погромщика, выписаного из Москвы.

Формально музей продолжал существовать, но с августа сорок девятого посетителей в него не пускали. Хотя ученые работали над планами новой экспозиции — ими никто не интересовался, проекты не желали рассматривать. 21 августа 1951 года по директиве из столицы все музейные помещения передавались другой организации. На сотрудников — и бывших, и настоящих — шли гонения. Четверых посадили — за прославление «антипартийной группы» и... «террористическую деятельность»... В военном (!) музее «нашли» оружие! «Так оно же просверленное — приведено в полную негодность...» — «Мало ли что!..» Апофеозом розыскных мероприятий стало изъятие пороха. Ничего удивительного в том, что он попал в музей, нет — экспонаты привозили порой с фронта «горяченькими». Порох, конечно, следовало передать специалистам или сжечь, но какой-то умник, поленясь, зарыл его в оружейной мастерской... «Компетентные органы» вынесли вердикт: разложившиеся и уже негодные «зернышки» и «макаронины» «заговорщики» содержали для... «диверсий»...

...Не потерявшие чувства ответственности и гражданской совести сотрудники музея умоляли о помощи: «Войсковая часть... в лице генерал-майора т. Бугрова требует немедленного освобождения помещения и самовольно, применяя силу, выбрасывает имущество. Так, 10 октября с. г. без ведома дирекции Музея была разломана стенка материальной кладовой и силами солдат перенесены материальные ценности... Солдаты, не подчиняясь охране Музея, заходят в экспозиционные залы с военной техникой, подвергают ее порче и растаскивают отдельные экспонаты и материалы». Куда девать 32 092 еще остававшихся (в 1949 году их было 37 654 — пять с половиной тысяч уже уничтожили) экспоната: 245 скульптур, 123 макета и диорам, 201 картину, 7 танков, 6 самолетов, 23 пушки, 2 катера, 2 самоходные установки, 131 карту-схему и т. д. и т. п.?..

Наконец, частично имущество и материалы стали раздавать (или растаскивать?) по другим музеям, часть — в... тюрьму Трубецкого бастиона, в усыпальницу Петропавловской крепости, в Мраморный дворец, в войсковые части... Но что-то еще осталось. Остались и люди — 129 человек из первичных 248. Чем их занять, за что платить деньги?..

— Отчаявшись — никто же нас и слушать не хотел, все избегали,— вспоминал один из быстро менявшихся там руководителей коллектива Василий Иванович Баранов,— я самовольно поехал в Москву, пришел на площадь Ногина и написал маленькое прошение на имя секретаря ЦК Суслова с просьбой принять меня для решения судьбы музея. Собственно, не музея уже — сотрудников. Почему к Суслову? Ко многим другим мы уже не раз обращались — взывали к уважению к ленинградцам, живым и павшим, к чувству патриотизма, гражданского долга... Безрезультатно, хотя даже пробитый осколком комсомольский билет демонстрировали, другие подобные экспонаты. Пять дней я следил по телефонам за прохождением моей записки. Наконец, через пять дней, поздно вечером, около 22 часов, ко мне пришли: «Баранов?» — «Да».— «Завтра в десять ноль-ноль быть в ЦК. Там вам все объяснят...» Привели в кабинет самого главного идеолога. «Мы, товарищ Баранов,— сказал мне своим очень характерным, немужским, голоском Михаил Андреевич Суслов,— в курсе дел этого музея, и вы нас не агитируйте (а я уже и не пытался «агитировать»), возвращайтесь домой — все решим». На следующий день меня уже материл за обращение к секретарю ЦК секретарь горкома... А еще дней через пять — через неделю мне в Смольном показали полученную из Москвы бумагу за подписью самого Сталина о ликвидации Музея обороны Ленинграда. Без всякой мотивировки — ликвидировать.

Ликвидационная комиссия работала по февраль 1953 года.

Иосиф Михайлович Турко от момента «Вы арестованы» до «Свободны и полностью реабилитированы» отсидел, по его подсчетам, четыре года, восемь месяцев, шесть дней и тридцать минут. Почти год из них — следственный изолятор, издевательства, допросы. Первый — в кабинете полковника М. Д. Рюмина, полуграмотного подонка, поднятого за усердие в пытках и грязных трюках до начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Все, кому выпала горькая доля встречаться с этим негодяем, отмечали: высокий, стройный, в глянцевых сапогах — красавец. Более наблюдательные (даже в таких условиях!) побывавшие у него на допросах женщины уточняли: «Красавец, а красота какая-то *змеиная, порочная, ужасающая*... Оскалится в усмешке — страшно становится. А говорить начнет, рот только откроет — сразу понимаешь, к кому попала: «сука» — это еще самое приличное слово в его крайне скудном лексиконе...»

— Сидит за столом и как будто носом клюет, дескать, не высыпается в борьбе с контрой,— вспоминал Иосиф Михайлович.— Ну, я понял, что это — спектакль, сижу молчу... «За что вас арестовали?..» — «Это я у вас хочу узнать, гражданин следователь...» Еще что-то хотел сказать, а он вдруг как вскочит и: «Слушай, Тур-ку, забудь, что ты первый секретарь и депутат Верховного Совета...» — Турко горько усмехнулся.— «Депутатская неприкосновенность»... Какая там! Только на третий день официально объявили, что я арестован. А он — дальше; пальцем мне у самого носа: — «...И вот что, ты нам (непечатное) не крути! Мы тебе сами, знаешь как (непечатное), накрутим, если будешь... Подпиши вот». Я прочитал, как в тумане, какую-то абракадабру, только попытался что-то спросить или возразить — хрясь он мне по физиономии! А там, знаете, бьют кулаком с маху, по-мужицки, по-извозчицки. И кивнул конвойному — убрать, дескать. А мне — в спину: «Достукаешься — пойдешь в тридцать первый кабинет...» Я потом узнал: тридцать первый — кабинет *предварительных* пыток...

В него я попал через два или три дня... Только не через «дня» — по ночам допрашивали. Сидит новый следователь, Путинцев (он потом стал моим «ведущим»). «Да вы садитесь, Иосиф Михайлович, садитесь, пожалуйста... Слышал я, что Рюмин с вами грубо обошелся?..» Молчу — что тут сказать?, чего ждать?.. «Да вы не бойтесь: этот позорный случай уже разбирался — Рюмин за побои из органов уволен. Так что, подпишите вот — и пойдете себе на свободу...» Тридцать семь страниц текста. А я размяк от такого обращения и чуть было не подписал. Потом вчитался, а там!.. «Гражданин следователь, но ведь тут то же самое...» И вдруг — вижу вполглаза: Рюмин в своих лакированных штиблетах сбоку заходит и мне со своим характерным, донбасским, акцентом: «Ну шо ты, сука, трусишься? Подписывай!» Путинцев тут, как на пружине, и — в морду: «Что (непечатное) — обрадовался?! Честного чекиста из-за тебя «уволили»?.. Все скажешь, когда пойдешь *в четвертый* кабинет!..» Вот там-то и есть настоящие пытки...

Был я в четвертом. У Комарова. Фамилия — русская, а облик — кавказский. Ввели. Совершенно пустой кабинет — только несгораемый ящик (на нем — какие-то странные предметы — орудия пыток) и два низких кресла. Комаров — в синей рубашке, расхристанный — в одном сидит, на другое ноги положил. И, вполоборота ко мне, презрительно: «За что вас арестовали, Турко?» Четвертый месяц сижу, и все — «за что арестовали»!.. Не успел ничего ответить — он уже рядом со мной. Схватил за робу — новую дали и сами же ее изодрали,— приложил так, что у меня кровь изо рта пошла... Из этого кабинета я попал на неделю в тюремный лазарет... Удивительная штука: на следствии *уже по их* (Абакумова и К^0.— *В. Д.*) делам отыскался вдруг документ, зафиксировавший нанесенные мне повреждения,— выходит, заставляли их отчитываться — кто жив, кто умер, регистрировать состояние.

— Да вы что?! — услышав от меня историю с медицинским заключением по результатам пыток, сверхэмоционально отреагировал имевший отношение к реабилитационным делам доктор юридических наук, профессор Владимир Кузьмич Глистин.— Да вы хоть представляете себе тюремную больницу и тех врачей, которые там работали? Зарплату они получают где? От тех же МВД и МГБ! И погоны на них, на врачах. Да за составление таких актов их моментально бы вышибли, если не посадили! — Подумал, остыл.— Впрочем, «дело» — особое: *такие люди* в нем — член Политбюро, секретари ЦК и обкомов... Могли кое-что документировать, чтобы и Маленкова держать «на крючке»... Известно к тому же, что и внутренняя борьба в этом ведомстве не утихала: Рюмин, например, как раз в это время «копал» под своего начальника, министра Абакумова,— написал на него донос Сталину, добился снятия и ареста... Да, могли быть и такие, *крайне редкие*, исключения,— согласился профессор,— могли...

А Турко пытался сопротивляться. Потребовал очной ставки с Кузнецовым, на «свидетельства» которого сослался следователь. Путинцев отреагировал спокойно: «Сам скажешь. Или подпишешь на полу вот здесь, когда кровь из ж... пойдет. И не *это*

подпишешь, а что ты — японский шпион... И что ты сопротивляешься следствию, Турко? Ведь следствие — это орган ЦК. Что же ты думаешь, что товарищ Сталин выйдет и скажет, что он тебя зря посадил?.. Уж лучше бы тебе подписать и просить пощады у товарища Сталина...»

— Я объявил голодовку,— продолжал Иосиф Михайлович.— Пришла молодая женщина-врач: свежая, красивая, статная, с таким вот бюстом... И нежненько так, небрежно: «Напрасно вы, Турко, это затеяли — мы вас насильно будем кормить. Вы как предпочитаете: через задний проход или — как обычно?.. Как обычно — мне зубов ваших жалко...» Тут же два молодца свалили, челюсть отжали, она туда какую-то блестящую трубку сунула, что-то влила, и сразу меня на парашу кинули... Потом, уже на суде *над ними,* генеральный прокурор Руденко с возмущением говорил: «Единственного права заключенных всего мира — права на голодовку — и того лишили!» Из зала: «Бандиты!..»

«Бандиты» — мало, звери они, выродки рода человеческого! Женщины, старики, дети — всех без разбору и угрызений совести бросали в дьявольский костер. Мать «всех» (почти двадцать членов ее семьи подверглись репрессиям!) Вознесенских, Любовь Георгиевна, уже и до войны еле ходила.

— Даст, бывало, скамеечку,— рассказывала мне единственная из оставшихся после «ленинградского дела» в живых ее детей Валентина Алексеевна Вознесенская.— «Доченька, помоги дойти до больницы». Пока дойдет — раз пять сядет...

Арестовали ее... 85-летнюю, с трудом ориентирующуюся в окружающем мире. Товарки по камере любопытничали: «Сколько же тебе дали, бабушка?» — «Ничего мне не дали: думала — хоть каши дадут, а они ничего...» Так и умерла она в Туруханском крае, где, по легендам, отбывал когда-то ссылку и сам «великий и мудрый», «лучший друг» детей и старушек. Другой женщине — еще молодой, полной сил и надежд, ответственному работнику Ленинградского обкома партии — с маху, носком лакированного сапога, в живот, и выбили так и не родившееся дитя...

Екатерину Васильевну Капустину Рюмин «допрашивал» в Лефортовской тюрьме всю ночь. Муж ее, Яков Федорович, видно, какое-то время крепко сопротивлялся. Подонки решили сломить его на ревности (из кого-то выжали, что имел он такую человеческую слабость). «Подпиши, что дети не его!» Впавшая уже в истерику женщина кричала: «Его! Что хотите делайте — его!» — «Брось! (Дальше много непечатного.) Вы даже долго не расписывались — что ты ему своих подкидываешь?! Пиши! Или я тебя на электрический стул посажу!..» Под утро к Рюмину зашел какой-то следователь, сладко потянулся: «Ну и славный допросик у меня получился!..» — «А у меня вот...» И опять много-много непечатных слов...

Жену секретаря ЦК Зинаиду Дмитриевну Воинову-Кузнецову долго держали в кандалах, измывались (уже перед самым освобождением втолкнули в душ и пустили на полную мощь кипяток)... А она писала потрясшие меня (вы только представьте себе условия!) письма:

«Дорогие мои, детки, старушка мама! (Все — убористым почерком, на одном тетрадном листочке — больше не разрешали.) Поздравляю вас с праздником 1 Мая и желаю вам всего наилучшего. С нетерпением буду ждать от вас ответа. Пишите сегодня же, т. е. в день получения от меня письма... но в один конверт вложите и пошлите заказным. Меня все интересует: как здоровье бабушки, ваше, на какой работе вы, во сколько раз больше бабушки зарабатываете, как проводите выходной день, учитесь ли? Мама, ты береги здоровье и без детей не хозяйничай, ведь ты можешь упасть, а это тебе очень опасно (еще в конце 20-х годов Анну Алексеевну Воинову парализовало.— *В. Д.*)... Сынка, у тебя скоро экзамены. Мне будет очень радостно, если ты их успешно сдашь, а летом отдыхай и помогай бабушке. Галочка, все подробно напиши об Алочке, о ее здоровье, как Володя (внук Кузнецовых и Микоянов.— *В. Д.*) рос и развивался, когда начал ходить, какие слова говорит... Мама, детки, обо мне не беспокойтесь. Конечно, скучно без семьи, но я здорова... Проводите 1 Мая весело, и мне будет спокойно. В письме, если мое получите после 1 Мая, напишите, как провели майские дни. Валерий, ты до меня сохрани ведомости об успеваемости, а в письме напиши только отметки за 6 класс, и экзаменационные, и за все четверти за 7-й класс... Сынок, этот месяц ты ложись спать раньше, а утром раньше вставай... Я вам могу два письма в год писать, а вы сразу же отвечайте по адресу: г. Владимир, п/я 21, Воиновой-Кузнецовой. Справок о нас никаких не наводите. Крепко, крепко целую, обнимаю моих дорогих маму, дочурок, племянниц и племянников и всех родных. Я тороплюсь писать, а поэтому письмо немного небрежно пишу. Еще раз обнимаю крепко и жду с нетерпением ответа. Ваша дочь, мама, тетя и т. д. Дочурка, Аленька, заранее поздравляю тебя с днем рождения и всего, всего лучшего желаю. P. S. Письмо занимает один тетрадный лист».

У З. Д. Кузнецовой и М. А. Вознесенской (жены члена Политбюро) хоть детей не тронули. У Е. В. Капустиной, как и многих других, младшего — в «спецдетдом», старшего — в лагеря.

— Майор, который меня арестовывал прямо около института,— рассказывал

Владимир Яковлевич Капустин,— добродушно сказал: «Слушай, я за тобою весь день гоняюсь — раз пять уже на квартире был. Решил — прямо здесь. Не возражаешь?..» И хоть бы какую-нибудь бумажку, санкционирующую арест, предъявил — ничего... Потом — тюрьма, допросы. Следователь зачитал «приговор» Особого совещания — восемь лет. Даже не сказал: за что и по какой статье. Уже в Сибири, в лагере, устроили очередной «шмон», проверку: каждый, по списку, должен выходить, называть фамилию, имя-отчество и статью. Меня офицер спрашивает: «Почему статью не называешь?» — «А я ее не знаю». Даже не удивились. Сказали лишь: «Запомните: ваша статья — 58-I, в». Потом кто-то разъяснил: это — член семьи «врага народа», который будто чего-то знал, но не донес...

«Великая Сталинская Конституция» провозглашала иное отношение к гражданам первого в мире социалистического государства. «Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора». Правосудие в стране осуществляется только выборными судами (ст. 102). Обвиняемому гарантируется право на защиту (ст. 111)... Соблюдение всеобщей законности в государстве надежно обеспечивается (ст. 117) строжайшим надзором «независимых» (подчиненных «только Прокурору СССР») прокуроров.

Абсолютное большинство жертв «ленинградского дела» прокурорский надзор своим вниманием обошел. Контактов удостоились лишь те, кому перед судом предъявлялись обвинительные заключения. Но что это были за контакты...

Бывший военный юрист Р. В. Платов рассказывал мне, как Н. А. Вознесенский, ознакомившись с полным абсурдных обвинений в свой адрес документом, попенял предъявлявшему заключение полномочному чину из Главной военной прокуратуры: «Вы же — прокурор, высший блюститель законности: как же вы можете допускать такое?!.» На что «блюститель», генерал-лейтенант юстиции Вавилов, якобы ответил: «Я вообще с врагами народа не разговариваю...»

Единственной надеждой обвиняемых оставался «независимый суд».

Первую девятку арестованных по «ленинградскому делу» — члена Политбюро ЦК ВКП(б), первого заместителя председателя Совмина СССР и председателя Госплана страны, академика Н. А. Вознесенского, члена Оргбюро и секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецова, члена Оргбюро ЦК, председателя Совмина РСФСР М. И. Родионова, члена Президиума Верховного Совета СССР, первого секретаря Ленинградских обкома и горкома ВКП(б) П. С. Попкова, первого секретаря Ярославского обкома ВКП(б) И. М. Турко, второго секретаря Ленинградского ГК ВКП(б) Я. Ф. Капустина, председателя исполкома Ленсовета П. Г. Лазутина, заведующую отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Ленинградского обкома партии Т. В. Закржевскую, управляющего делами Ленинградских ОК и ГК ВКП(б) Ф. Е. Михеева — решили судить «гласно», «демократически».

Выездное заседание военколлегии Верховного суда СССР состоялось 30 сентября 1950 года, в Ленинграде, в окружном Доме офицеров имени С. М. Кирова. Воспоминания о нем тех, кого туда допустили, крайне противоречивы. Изображавшая «народ» немногочисленная группа из окружения Андрианова предпочла потом помалкивать либо распускать втихомолку порочащие обвинявшихся сплетни. Основательно запутала картину процесса и сознательная «утечка информации» из следственных, маленковских, андриановских и т. п. источников.

Бесспорно одно: надежды прошедших кошмарные абакумовские застенки людей на беспристрастное рассмотрение дела не оправдались. «Независимый», наделенный, по Конституции СССР, огромной властью высокий суд — члены Военной коллегии Верховного суда СССР генералы юстиции И. О. Матулевич (кстати, 28—29 декабря 1934 года он же председательствовал на процессе по делу об убийстве С. М. Кирова и отправил на тот свет не только убийцу, но и большую группу ни в чем не повинных граждан), И. М. Зарянов и Дмитриев — покорно позволили втянуть себя в позорную и кровавую комедию.

...Нынешний председатель Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенант юстиции Георгий Иванович Бушуев, уже провожая меня к выходу, вдруг предупредил: «Влезете в это «дело» — ночами спать не будете...»

Это про то, сколько в многочисленных папках «ленинградских дел» всяких гнусностей, грязи. Одна из причин — «методы», с помощью которых фальсифицировались самые сногсшибательные обвинения. Даже опытнейший юрист-криминалист не отличит теперь с полной достоверностью, где подследственный или свидетель отвечал добровольно, где его уговорили или нагло обманули, где принудили с помощью пыток или каких-то «уколов», о которых мне тоже рассказывали...

Или такой, например, психологически немаловажный фактор. Когда подозреваемых во всяческих мыслимых и немыслимых преступлениях запирали в тюремных камерах, они твердо знали: что бы там им ни приписали — *жить* они будут. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 года, за который некоторые из

них и сами голосовали, «в мирное время смертную казнь, установленную за преступления действующими в СССР законами», отменили. Следовательно, даже самые страшные самооговоры под пытками не грозили лишением жизни, а там — может, и до самого товарища Сталина можно добраться за справедливостью... И не знали — не ведали (И. М. Турко даже спустя тридцать с лишним лет возмущался, как «беззаконно» расстреляли его товарищей), что 12 января 1950 года Президиум Верховного Совета СССР издал новый Указ: «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам».

Какому насилию подвергли даже этот закон, чтобы подвести под него подсудимых,— история, достойная внимания ученых-правоведов. Главный же вопрос в ней вообще обходился всеми реабилитационными определениями: на каком основании закон 1950 года был применен к людям, арестованным в 1949 году? Разве правовые акты в нашей стране имели когда-нибудь обратную силу?..

Сидя в кабинете председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, наблюдаю, с каким возрастающим недоумением хозяин его вчитывается в первый из длинной серии «ленинградских дел» судебный приговор: «...Вели линию на отрыв Ленинградской партийной организации от ЦК ВКП(б)», «объединились в антисоветскую группу с целью превратить ее в опору по борьбе с партией и Центральным Комитетом ВКП(б)», «взорвать партию изнутри», «создавали контрреволюционную группу», «противопоставляли правительству», «вынашивали изменческие замыслы», «распространяли клеветнические измышления в адрес руководителей партии и государства...»

— Все сформулировано в общем виде,— комментирует генерал, думая о чем-то своем, и снова принимается листать бумаги.— Странно... А прямой формулировки об «измене Родине» нет. Нет и «антисоветской направленности»... Как же они?..

Георгий Иванович так и не решился назвать все своими именами — то, что «приговор» этот вопиюще беззаконен не только по существу дела, но и по юридическому оформлению и обоснованию.

Я не случайно нарушил последовательность и от начала суда перескочил прямо к приговору. Законного судопроизводства по всей серии «ленинградских дел» и в действительности не было. Хорошо известно, что лица из сталинского окружения запросто вмешивались в ход интересовавшего их следствия, направляли его (писалось: у Берии в Лефортовской тюрьме был персональный кабинет; он, Маленков и Булганин *лично* истязали Вознесенского и Кузнецова...). *Сочинялись и правились проекты приговоров...*

На выездном заседании суда в Ленинградском Доме офицеров и тайна совещательной комнаты, безусловно, оказалась фикцией. Какая «тайна» и самостоятельность «независимых» судей, если проект приговора еще до обсуждения его судьями министр госбезопасности Абакумов, рассказывают компетентные люди, возил на согласование к Сталину? Сталин выбросил из него формулировки, относящиеся к Жданову («Обвиняемые, с попустительства Жданова, создали антипартийную группу...» — было написано еще в обвинительном заключении), лично распределил кары — кого расстрелять, а кому — тюрьма...

...30 сентября 1950 года там же, в Ленинграде, сразу же после предельно ужатого во времени (и это — по делу с запутанным клубком тягчайших обвинений, с девятью подсудимыми!) заседания Военной коллегии, Н. А. Вознесенский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков, М. И. Родионов, Я. Ф. Капустин и П. Г. Лазутин были зверски убиты. Убиты, а не расстреляны — незачем прикрывать это даже тенью законности.

27 октября после такой же, фарсовой, процедуры (уже без «представителей народа» в зале) были убиты: первый секретарь Крымского обкома ВКП(б) Н. В. Соловьев, второй секретарь Ленинградского ОК ВКП(б) Г. Ф. Бадаев, второй секретарь Мурманского обкома партии (в войну — секретарь ЛГК ВКП(б), член военного совета Краснознаменного Балтийского Флота) А. Д. Вербицкий, первый заместитель председателя Совета Министров Российской Федерации (бывший секретарь ЛГК ВКП(б)) и первый зампред исполкома Ленсовета М. В. Басов, председатель исполкома Леноблсовета И. С. Харитонов, первый секретарь Куйбышевского райкома партии Ленинграда М. А. Вознесенская, секретарь ЛГК ВКП(б) П. И. Левин... Кто еще проходил по «процессу» 27 октября, я не знаю — материалы его где-то в недрах судебно-следственной системы. В положенном им месте хранения — в архиве Военной коллегии Верховного суда СССР, заверил меня Г. И. Бушуев, их нет.

...А облавы на ленинградцев и бывших ленинградцев, тех, кто просто работал с ленинградцами («Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение об аресте Н. В. Соловьева,— написал мне из Симферополя служивший в сорок девятом году первым секретарем Крымского обкома ВЛКСМ Георгий Васильевич Ивановский,— *и о выражении политического недоверия всему составу бюро* Крымского обкома ВКП(б). Начались аресты»), продолжались с возраставшим размахом. «*Главным* направлением работы Ленинградской партийной организации за отчетный период,— говори-

лось в одном из документов марта 1951 года,— являлось искоренение последствий враждебной деятельности антипартийной группы, пробравшейся (?!) к руководству Ленинградской организации».

«Ищите мне материалы на Иванова!» — требовал Андрианов уже и от комсомольского актива. Всеволода Николаевича Иванова, работавшего всю блокаду первым секретарем Ленинградских горкома и обкома комсомола, затем секретарем ЛГК ВКП(б), в Ленинграде не было: еще в мае 1945 года он стал вторым секретарем ЦК ВЛКСМ, позже — инспектором ЦК партии. Но Маленков жаждал крови всех выдвиженцев Жданова. 4 ноября 1949 года В. Н. Иванова арестовали и уничтожили.

Когда «материалы» иссякали — новые «вожди» не брезговали и низкопробными подметными письмами. «Мы считаем,— публично и директивно заявлял первый секретарь Ленинградских ОК и ГК ВКП(б) Андрианов,— что любые заявления, подписанные или без подписи, должны быть проверены и рассмотрены. Они во многом помогли выполнить до конца решение партии (?!) по Ленинградской партийной организации в ликвидации последствий деятельности антипартийной группы...» [1]

А уже и «рассматривать»-то практически было некого: всех, кто руководил или помогал руководить, взяли; кто «скрыл враждебную деятельность» — не написал по своей охоте или при понукании андриановского аппарата доносов на своих бывших начальников или просто знакомых — исключили из партии... Почти полностью оголилось высшее и среднее звено руководителей в областной, городской, районных партийных организациях, во всех Советах (даже райвоенкомов до единого заменили), на сотнях ленинградских предприятий, в исследовательских учреждениях, вузах, в комсомольских органах, профсоюзах...

Зная это, с недоумением воспринимаешь в исторических трудах предельно скупые фразы (пять-шесть фамилий репрессированных) о «ленинградском деле» на фоне златоустнейшего и пространного о «дальнейших успехах» и «дальнейшем укреплении». Никак не повлиял, выходит, на жизнь и обстановку в городе тотальный разгром практически всего его руководства — не только высшего, но и среднего — в конце 40-х — начале 50-х годов?..

Такое же творилось и во многих других городах, руководители которых когда-то были сопричастны Жданову, Вознесенскому, Кузнецову,— в Горьком и Мурманске, Рязани и Симферополе, Новгороде и Таллине и так далее, и так далее. А Н. А. Булганин 6 ноября 1950 года (сразу же после расправы с главными действующими лицами «ленинградских дел») уверял человечество: «В мире нет ни одного буржуазного правительства, внутреннее политическое положение которого было бы так же прочно и незыблемо, как прочно и незыблемо положение Советского Правительства».

Может быть, он «не ведал» о происходившем? Я, например, как и все мои близкие, ни о чем не догадывался! Жил в Ленинграде, руководил комсомольской первичкой в курсантском дивизионе, получил в это время карточку кандидата в члены партии... И ничего такого не слышал. Однажды лишь, где-то около одиннадцати яркого солнечного дня, случайно вдруг увидели через окно выходившей на Литейный проспект аудитории: откуда-то с верхних этажей охраняемого часовыми огромного здания местного управления МГБ падает женщина — пестрый комочек безжизненно расслабленного тела... Выскочили из роскошного парадного подъезда какие-то люди, быстро, без суеты, подхватили комочек и унесли внутрь. Часовые, сверкая примкнутыми штыками, продолжали мерно шагать вдоль фасада ничем не выдававшего своей деятельности учреждения...

Это — характерная особенность серии «ленинградских дел»: при всем их размахе они, в отличие от политических репрессий 20-х и 30-х годов, раскручивались в глубочайшей тайне и от нашего народа, и от международной общественности.

Отгороженный от мировой цивилизации непроницаемым «железным занавесом» народ наш, конечно, и не представлял себе, что говорят о первой в мире социалистической стране за ее рубежами. До Сталина же, разумеется, доносились голоса, возмущавшиеся его кровавым режимом. «*Явлением* — в смысле жестокости по отношению к собственному народу — *уникальным* на многовековом пути человечества» определил этот режим заведующий кафедрой истории государства и права Ленинградского университета, доктор юридических наук, профессор Алексей Иванович Королев, к которому я обратился за комментарием к «ленинградскому делу».

Однако пока международная обстановка оставалась относительно стабильной, Сталина не очень-то и волновало, что его называют крупнейшим в истории преступником. Но вот в мире запахло порохом. Чтобы хоть сколько-нибудь оттянуть напа-

[1] Показательно: даже в 1980 году, когда гнусная роль В. М. Андрианова в послевоенной истории партии ни для кого не составляла секрета, авторы 12-томной Истории СССР (главный редактор академик Б. Н. Пономарев) не нашли для этого приспособленца и негодяя иного определения, кроме как «опытный и авторитетный». Не менее поразительно: снятый в 1953 году с поста первого секретаря Ленинградских обкома и горкома КПСС «за ошибки в работе» Андрианов еще долго служил в должности заместителя министра Госконтроля СССР, потом получил персональную пенсию...

дение на нашу страну, пришлось резко активизировать внешнеполитическую деятельность — образ кровожадного тирана в этих условиях стал нашему «великому вождю и учителю» в тягость. В 1939 году на XVIII съезде ВКП(б) он объявляет о крутом повороте в своей карательной политике: «Теперь основная задача нашего государства внутри страны состоит в мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работе. Что касается нашей армии, карательных органов и разведки, то они своим острием обращены уже не во внутрь страны, а во вне ее, против внешних врагов».

Сталин всю жизнь был мастером веских формулировок, не имевших никакого отношения к действительности. Вот и тут — «гениальный вывод вождя» был подхвачен пропагандистами, агитаторами, большими и малыми политиканами, хотя на практике все оставалось без малейших изменений. По-прежнему действовали направленные на подавление любого инакомыслия многочисленные политические статьи Уголовного кодекса РСФСР еще 1928 года. Вполне законным считался арест не совершившего никаких проступков гражданина из-за «опасного социального состояния личности» (что угодно можно подогнать под это) либо «из-за связи с преступной средой» (с родственником, случайным знакомым, сослуживцем...). «Законными» оставались отмененные еще при жизни В. И. Ленина, но возрожденные и доведенные до гигантских размеров Сталиным и его окружением массовые *внесудебные* репрессии по постановлениям так называемого Особого совещания при НКВД (позже — МГБ) СССР. Причем, говорили мне ученые-правоведы, если само Особое совещание *до принятия в 1936 году Основного Закона Союза Советских Социалистических Республик* существовало в рамках хотя бы видимости права (поскольку в октябре 1932 года оно было образовано постановлениями ВЦИК и СНК СССР), то репрессии «от имени» этого сугубо центрального органа всегда были прямым и грубейшим нарушением законов. В стране же действовали всевозможные внесудебные «тройки», пачками хранились бланки Особого совещания — фактически любой сержант «органов» мог арестовать и отправить в ссылку приглянувшегося ему гражданина, особенно в глубинке. И без какой-либо санкции прокурора. «Протокольчик составил и — на высылку»,— весело бросил мне один из бывших сотрудников «органов».

И не только на высылку. Нарушая Конституцию страны, тайные судилища приговаривали людей, часто и заочно (!), к любым видам наказания — вплоть до высшей меры. Прокурорский надзор тут не действовал: его к «политическим» делам — миллионы страданий и судеб! — просто не допускали. Лишь изредка — как в случае с наиболее заметными фигурами «ленинградского дела» — прокуроры, не глядя, скрепляли своими росчерками фальсификации следователей.

Но разве же это были следователи — знатоки права?! В 1946 году только 12 процентов работников юстиции имели высшее образование, *свыше 70 процентов (!) не имели никакой юридической подготовки,* больше 26 процентов работали в прокуратурах меньше года... На судебных процессах по делам Абакумова, Рюмина, Путинцева и других костоломов выяснилось, что подавляющее большинство из них не дотянулись до окончания даже семилетки. И таких нам долгие годы официально подставляли в качестве единственных (!) организаторов крупнейших политических провокаций? Нет, там были фигуры куда крупнее и опытнее. Но Маленков ушел, не представ перед судом, Молотов не предстал (и даже вновь получил — из рук Черненко — партийный билет), Ворошилов и Каганович избежали заслуженных кар... Все скрыли те, кому и самим было что скрывать...

После войны, не переставая творить преступления, Сталин и его окружение стали скрывать их — прежде всего от зарубежных политиков.

— Как выделенной, правовой картины страны конца сороковых — начала пятидесятых годов мы не имеем вовсе,— заявил мне историк государства и права профессор А. И. Королев. Хотя, возможно, уточняли его коллеги — ученые-правоведы, она не менее страшная, чем картина годов 1935—1937-го.

— Все началось еще с военнопленных,— убежден доктор юридических наук, профессор Николай Сергеевич Алексеев.— Этот род злодеяний сталинского режима у нас совершенно не раскрыт.

После соответствующей «фильтрации» многие освобожденные из гитлеровских лагерей военнопленные отправлялись не по домам. Их везли под конвоем восстанавливать шахты и рудники, возводить «великие стройки коммунизма», включая и ставшую известной лишь совсем недавно грандиозную «сталинку» — сухопутную магистраль почти по всему Крайнему Северу.

Сколько бывших советских военнопленных полегло там? Сколько (из почти пяти с половиной миллионов человек) репатриантов или явных и — куда больше! — фальшивых «националистов»?.. Только в 1949 году и в одной лишь маленькой Эстонии было репрессировано 70 тысяч ее жителей; в 1950-м после мартовского VIII Пленума ЦК КП Эстонии во «враги» записали едва ли не весь цвет эстонской интеллигенции. А фабриковавшееся в 1947 году Кагановичем «дело националистов» — начиная с ЦК КП(б) У — Украины?.. А уже послевоенные необоснованные аресты видных военачальников?.. Сколько их было, таких «дел»?..

В общем их потоке — и серия ленинградских. Зачем они были нужны Берии, Маленкову, Кагановичу, Молотову, Булганину, Андрианову — в общем понятно: мы сейчас все плотнее и плотнее приходим к пониманию, что к началу 50-х Сталин становился прогрессирующе недееспособным. Но зачем эти «дела» самому Сталину? Неужели он и вправду уверовал в «измены» так до гроба и оставшихся ему верными Вознесенского, Кузнецова, Попкова?..

В 1938 году был — с помпой, понятно,— опубликован «Ответ товарища Сталина на письмо комсомольца тов. Иванова». Сталин в нем пофилософствовал: есть люди, которые *субъективно* его, сталинскому, делу безусловно преданы, но *объективно* они делают что-то такое, что во вред этому делу, и, значит, они опасны — поступать с ними надо, как с врагами... Не случайно в феврале 1948-го широко и торжественно отметили 10-летие иезуитского ответа Сталина. Оставшиеся без Жданова ждановцы попали в жернова машины, работавшей от приводов этой сталинской «философии». Достаточно было убедить «вождя», что они хоть в чем-то — с оптовой ярмаркой, например,— сосвоевольничали, и участь их была решена.

Второго секретаря Рязанского обкома ВКП(б) Павла Васильевича Кузьменко (до этого он работал в Ленинградском горкоме) перед арестом Шкирятов, заместитель председателя ЦКК, вызвал на прощальную беседу: «Кузьменко, ты — самый коварный и заядлый враг: все уже признались, а ты сопротивляешься партии...» В 1954 году, когда всех оставшихся в живых заключенных по «ленинградскому делу» освободили и шел процесс полной их реабилитации, Кузьменко снова попал в кабинет к Шкирятову и услышал от него: «Спасибо вам, товарищ Кузьменко, за то, что своей стойкостью большевика — непризнанием сфальсифицированных обвинений — вы не ввели в заблуждение Центральный Комитет партии...»

Не только на следствии, но и на службе, в семейных делах, других жизненных обстоятельствах каждый вел себя по-своему. Но есть и равняющее, объединяющее их в единый образ — все они были людьми своего и только своего времени, подчиняющиеся *его* стереотипам, нацеленными на *свои* идеалы, признававшими *свои* ценности... Нелепы выдумки, будто кто-то из них был «в оппозиции» к Сталину (писали такое, не заботясь о доказательствах, о А. А. Кузнецове, например) либо боролся с пороками его режима. Напротив.

Почитайте, скажем, работы Н. А. Вознесенского, проследите его практическую деятельность. Он, безусловно, безвинная жертва сталинизма, но он же — и один из главных архитекторов задушившей нас командно-административной системы в области экономики, руководство которой он понимал (и делал таким!) лишь как «громадную централизацию средств производства и аппаратов, обслуживающих процесс обращения...» *Государственный* план, «доведенный до станка и обогащенный встречным планом»,— ведущий его идеал социалистических производственных отношений.

Доведенный до белого каления крайностями такого руководства экономикой член ЦК ВКП(б), председатель исполкома Ленсовета И. Ф. Кодацкий говорил с трибуны XVII съезда партии: «Нельзя так централизованно планировать, как в настоящее время,— до каждой школы, больницы, тысячи штук кирпича, пары обуви и белья. Это сковывает инициативу местных работников, ведет к распылению средств. В планировании надо подходить с более крупными показателями, чем те, какие мы имеем на сегодняшний день». Кодацкий пошел под расстрел, а исповедующего столь близкую «великому вождю и учителю» идею абсолютной централизации всех государственных институтов Вознесенского Сталин возвысил до главного дирижера экономики нашей державы. Не без ведома Н. А. Вознесенского принимались противоречившие основным принципам социализма драконовские нормы административного и уголовно-правового регулирования производственных отношений. Он был прав, признавая на суде вину за развал планирования. (Необходимо только внести поправку: не он один, лично, а вся система, которую он вместе с другими активно формировал, ответственна за это перед истово верившим в ценности социализма народом.)

По многим фактам и дружному мнению историков экономических учений и народного хозяйства, в том числе помнивших еще научные дискуссии 40—50-х годов, Н. А. Вознесенский был одержим честолюбивой мечтой стать основоположником политэкономии социализма как конкретной науки. Даже на суде, за два-три часа до жестокой и гнусной над ними расправы, он просил, через судей, «товарища Сталина» об одном — сохранить ему жизнь для продолжения работы над научным трудом о политэкономии. Судя по идеям, не раз высказываемым и самим Николаем Алексеевичем, труд этот вряд ли представил бы научную ценность — автор всю жизнь обосновывал оголтелый сталинизм, то, что мы называем «командно-административной системой». И не без его вины идеология этой системы въелась в нас так, что и сегодня никто из специалистов не смог мне однозначно ответить: существует ли (даже теперь!) стройное, безконъюнктурное и недогматичное учение о политической экономии социализма.

Горько скорбя об убитых сталинизмом

талантливых людях, мы должны и откровенно сказать: мученическая, насильственная смерть не всегда делает человека народным героем в политической истории его страны. Нам очень нужна правда, но более всего — *уроки* истории.

Не все причастные «ленинградскому делу» были — как Жданов в идеологии, Вознесенский в экономике и т. д.— *творцами* сталинской системы. В выступлениях, статьях, практической деятельности подавляющего большинства мы не находим самостоятельных политических идей и действий или хотя бы осмысления действительности, в рамках которой проходила их партийная и служебная жизнь. Тем более — критического подхода к ней. Но ведь многие были полномочными членами высших и региональных органов власти, блюстителями Конституции и Устава ВКП (б). Они знали о неприглядной изнанке общества неизмеримо больше, чем простой смертный. Но, работая с дьяволом, утверждали, что служат богу.

В течение тридцати с лишним лет после смерти «вождя» и расстрела его кровожадного палача нас дезинформировали, представляя дело так, будто при культе карательный аппарат целиком и полностью автономизировался — признавал лишь Сталина, Берию и своих прямых начальников. Все значительно сложнее. Сталинская система и привязывала местных партийных руководителей к беззакониям, и поощряла наиболее ретивых из них. Инициатива и бившая через край активность Маленкова, Андрианова и их приспешников в «ленинградском деле» — ярчайший тому пример. В этом же, думается, одна из важнейших причин успешного «спуска на тормозах» очистительных мер, намечавшихся XX и XXII съездами партии. Их задушила круговая порука причастных к массовым неправомерным репрессиям и осведомленных, но ничего не сделавших для их искоренения. Не исключение и многие из тех, кто сам стал жертвой кровавого сталинского режима.

Как раз по этому острому вопросу недавно прочел в каком-то еженедельнике нравоучение: поведение человека на минном поле отличается от поведения на поле разминированном, безнравственно, дескать, критически оглядывать прошлое из окна сегодняшней благоустроенной квартиры. Но ведь тем и живо человечество, что нравственные требования неподвластны ни времени, ни режимам. Именно поэтому и на минном поле, как и на «заминированной» политической арене, один обнаруживает себя эгоистом и приспособленцем, другой — мужественным гражданином.

В Ленинградском управлении КГБ мне разрешили списать с одного из планшетов, посвященных истории ВЧК — ОГПУ — КГБ, такой текст: «В период 1935—1938 годов сложившийся в стране культ личности Сталина породил произвол и беззакония в деятельности органов государственной безопасности... Старые чекисты не могли примириться и не примирились с авантюристическими антипартийными методами Ежова, Берии, Абакумова. Накануне своей трагической гибели в 1937 году один из ближайших соратников Дзержинского и Менжинского А. Артузов, выступая на собрании актива НКВД, говорил: «При установившемся после смерти Менжинского фельдфебельском стиле руководства отдельные чекисты и даже звенья нашей организации вступили на опаснейший путь превращения в простых техников аппарата внутреннего ведомства со всеми его недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными охранками капиталистов». Жертвами необоснованных репрессий, наветов и клеветы стали чекисты М. Лацис, Я. Петерс, С. Мессинг, И. Уншлихт, Е. Евдокимов, Г. Благонравов, Н. Быстрых, М. Кедров, Р. Пилляр, В. Стырне и многие другие».

Вот Артузов — он и «на минном поле» выполнил свой долг коммуниста и гражданина. Их было мало, очень мало, но именно такие уроки надо усваивать и внедрять в жизнь.

Я пытался разобраться, но так и не получил ответа: почему в списке чекистов — жертв сталинского режима нет расстрелянного по «ленинградскому делу» генерал-лейтенанта Петра Николаевича Кубаткина, с 1939-го — начальника управления НКВД Москвы, с третьего месяца войны — Ленинграда, затем — руководителя ленинградских органов госбезопасности? «Он никогда не останавливался на половине дороги и до конца вскрывал, разоблачал и выкорчевывал антисоветскую нечисть»,— писали о нем в связи с выдвижением кандидатом в депутаты в 1946 году сослуживцы. Курировавшего в период битвы за Ленинград правоприменительный аппарат города-фронта А. А. Кузнецова и П. Н. Кубаткина связывала, рассказывают, личная дружба. Когда Кузнецов стал секретарем ЦК партии — начал ведать, в числе прочего, и кадрами МВД — МГБ (производившиеся им перестановки и взбесили Берию — Абакумова), Кубаткина он выдвинул на центральную работу. Петр Николаевич был порядочным, хорошим человеком, говорили мне те немногие, что еще помнили его живым...

«Хороший, говорите? — хитро прищуривался В. И. Ленин, когда ему рекомендовали для работы того или иного товарища.— А какой *политики* он держится?.. Каковы его *деловые* качества?..»

В целом и по большому счету «политика» наиболее заметных фигур из «ленинградского дела» была сталинской по всем вопросам внутренней жизни страны. Но, важно подчеркнуть, без характерного для

ближайшего окружения Сталина авантюризма и интриганской возни. Что же касается деловых качеств, то мне представляется: воспитанное в Ленинграде поколение руководителей 40-х годов отличалось очень высокими организаторскими способностями. Н. В. Соловьева, председателя Ленинградского облисполкома, и секретаря обкома партии Т. Ф. Штыкова хорошо знавшие их люди называли мне «подлинными самородками». Среди множества моих собеседников — бывших руководителей предприятий, инженеров, ученых, рабочих — не встречались такие, кто бросил бы серьезный упрек Я. Ф. Капустину и П. С. Попкову за руководство промышленностью и городским хозяйством. В том числе и во время блокады.

О блокаде надо сказать отдельно. Хотя бы потому, что волна гласности стала в последнее время выбрасывать к нашим берегам пену каких-то смутных намеков об «ответственности» этих людей за трагедию Ленинграда во время войны. Историкам еще предстоит детально, непредвзято исследовать эффективность деятельности руководящего ядра при обороне города. Наверное, вскроются и какие-то серьезные ошибки. Но уже сейчас можно твердо сказать: даже направляемая Маленковым — Берией — Абакумовым банда костоломов-следователей, как ни старалась (а она очень старалась выполнить такой «заказ» организаторов «ленинградского дела»), не смогла приписать своим жертвам замыслов «сдать Ленинград немцам». В судебных материалах «ленинградского дела», заверил меня председатель Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-лейтенант юстиции Г. И. Бушуев, не было обвинений в каких-либо «преступных деяниях» во время войны. И в годину военных испытаний, и при восстановлении разрушенного народного хозяйства страны многие из них показали себя не только умелыми, но и образцовыми руководителями.

С 1949 года, написал мне, к примеру, бывший кандидат в члены бюро Крымского обкома партии Георгий Васильевич Ивановский, «в Крыму... сменилось шесть первых секретарей, работает седьмой; работу еще двоих я знал по Мурманскому обкому, но ни один из них не обладал в полной мере теми качествами партийного организатора, которыми обладал безвинно уничтоженный по «ленинградскому делу» Николай Васильевич Соловьев».

Жена также попавшего в дьявольский водоворот «ленинградского дела» бывшего секретаря Крымского обкома ВКП(б) М. И. Петровского — Эсфирь Филипповна вспоминает Соловьева и с иной стороны: «Николай Васильевич был очень порядочным, очень скромным человеком... Мой муж, Михаил Иванович, говорил, что Николай Васильевич даже конверта для личного письма не брал без оплаты — всегда оставит секретарю деньги. Я сама не раз могла убедиться в его скромности... Ни разу я не видела, чтобы первый секретарь ехал на работу в служебной машине. Он не позволял своей жене Вере Андреевне брать в нашем закрытом магазине продукты больше необходимого семье минимума... Николай Васильевич создавал вокруг себя атмосферу простоты, естественности и сердечности».

Лично допрашивавший Веру Андреевну Соловьеву министр госбезопасности Абакумов домогался от нее свидетельства о каких-то «вагонах крымского вина», будто бы поставлявшихся А. А. Кузнецову. А она никак не могла понять, чего от нее хотят,— муж ее в рот спиртного не брал, Кузнецов (дачный сосед его, Абакумов не мог не знать этого) лишь по торжественным случаям позволял себе рюмочку домашней наливки... Книги — единственное богатство, обнаруженное в доме Соловьевых при обыске...

«Мир обрушился бы — скажи кто, что Михаил Васильевич Басов купил себе дачу!» — не раз слышал я такие слова об уничтоженном по «ленинградскому делу» председателе Госплана РСФСР.

«Никаких излишеств»,— свидетельствует о быте П. С. Попкова бывший его помощник профессор В. Ф. Шишкин.

Золотые часы — единственная пожива оперативников на квартире Капустиных. И конечно же, как у всех,— книги, книги.

Хорошие организаторы, люди житейски порядочные... Но если мы хотим извлечь уроки из прошлого, то обязаны помнить и другое. Ослепленные сталинской демагогией, активно поддерживая тиранический режим и «вождизм» во всех его формах (сталинский, ждановский, кузнецовский, попковский...), они и сами соскользнули с ленинского пути деятельности партии. И в этом тоже их большая человеческая трагедия.

«Ленинградское дело» стало одним из убедительных доказательств внутренней несостоятельности и неотвратимости крушения сталинского абсолютизма как формы существования социалистического общества. Оно стало и последним из многочисленных ударов Сталина и сталинизма по самой партии и социализму.

Георгий Холопов

КАК СПАСЛИ «ХЛЕБ — ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»

С Михаилом Алексеевым мы познакомились самым неожиданным образом. Произошло это летом 1953 года. Приехав по служебным делам в Москву, я заодно решил зайти и в Воениздат. Но час оказался обеденный. Походив по пустынному коридору, подергав закрытые двери отделов, я уж хотел было уйти, но на всякий случай толкнул дверь ненужной мне совсем «массово-политической редакции». За столом сидел полковник. Спросив, кого я ищу, он пригласил зайти. А узнав, что я из Ленинграда, попросил сесть и рассказать, как отстраивается город после войны, что нового.

Это оказался Алексей Иванович Крутиков, человек хорошо известный в писательском мире Москвы. С интересом выслушав мой рассказ о Ленинграде, он спросил:

— Что вы принесли нам?

— Небольшую книжечку рассказов о войне. Три из них напечатаны в блокадной «Звезде», в том же 1943 году вышли отдельной книжкой в Ленинградском Гослитиздате. Остальные закончены недавно.

— Оставьте рассказы. Я их передам в отдел прозы.— Взяв у меня рукопись, он отложил ее в сторону и, подозрительно посмотрев на меня, спросил: — А разве в блокаду «Звезда» выходила?.. Что-то не слышал...

— Выходила, хотя и с небольшим перерывом. Рассказы были напечатаны в январском номере 1943 года,— ответил я.

— И в Гослитиздате народ работал? — снова подозрительный взгляд.

— В одном Гослите только и работали!..— И я стал рассказывать: — «Советский писатель» в Гостином дворе был разбомблен в первые же дни войны. А Гослит остался целым. Представьте себе знаменитый Дом книги на Невском. Витрины заколочены досками, вход тоже. В Дом можно проникнуть со стороны канала Грибоедова, по черной лестнице. Тишина, мрак, пещерный холод. И только в кабинете директора Гослита Павла Федоровича Герасимова теплится еще жизнь. Сидит он, старый питерский рабочий, опытнейший типографщик, надвинув треух на самые глаза, подняв воротник наглухо застегнутого пальто, потирает замерзшие руки, отогреваясь чаем...— И после паузы: — А рядом с ним — верный друг, жена Тина Яковлевна... Она — и редактор, и корректор, и техред, и курьер...

«Проверку» по блокаде я, кажется, выдержал и когда уходил, то мы с Крутиковым любезно попрощались. Как выяснилось потом — вечером того же дня! — Крутиков раскрыл оставленную мною папку, прочел один рассказ, второй, третий — день как раз выдался тихий, никаких совещаний, собраний, вызовов в управление — и прочел всю стостраничную рукопись. Позже он вызвал из отдела прозы подчиненного ему старшего редактора майора М. Н. Алексеева и сказал ему — как потом мне поведал Алексеев — следующее:

— Вот рукопись ленинградского писателя. По своему небольшому размеру может подойти только для «Библиотеки солдата и матроса». Не знакома ли вам фамилия автора?

— Знакома по Третьему Украинскому фронту,— ответил Алексеев, взглянув на титульную страницу рукописи.— Холопов работал в армейской газете у десантников Глаголева, а я тоже был в армейской газете, но только соседнего, Второго Украинского фронта. А в конце 1946 года мы у себя в газете, параллельно с журналом «Звезда», печатали его роман о Кирове «Огни в бухте». Лично не были знакомы.

— Прочтите рассказы.

Алексееву тоже особенно нечего было делать в тот удивительно тихий день, к тому же взяло любопытство: что мог написать брат-фронтовик, и сел читать рассказы. Позже вернулся другой редактор отдела,

Иван Фотиевич Стаднюк, который их тоже прочел. А в конце рабочего дня Крутиков и Алексеев встретились в коридоре, и Алексеев доложил своему начальнику, что рассказы прочитаны и даже подписаны к набору.

— Ну и правильно,— сказал Крутиков.— Попробуйте найти автора — завтра он уезжает, московского адреса не оставил — и порадуйте его.

— Попытаюсь, товарищ полковник,— ответил Алексеев.— Порадовать всегда приятно.

И нашел меня через нашего общего знакомого.

Вот такова история моего знакомства с писателем М. Н. Алексеевым. Потом мы узнали друг друга ближе, когда Алексеев ушел из Воениздата на творческую работу. Я успел прочесть его книги и с особым пристрастием близкую мне по тематике — роман «Солдаты», повествующий о последних годах войны. Я же позднее познакомил Алексеева с тогдашним главным редактором «Невы» Сергеем Ворониным, приехав как-то с ним в Москву на совещание в Союз писателей.

И я, и Воронин при встречах с Алексеевым обычно просили у него что-нибудь для «Звезды» и «Невы» — вскоре я ведь тоже, как Воронин, приступил к работе в журнале. Алексеев ничего конкретного не обещал, хотя мы знали, что он работает над двумя новыми книгами. В те годы недостатка в хорошей прозе в Ленинграде не было, живы были многие известные ленинградские писатели, но новое имя талантливого прозаика всегда украшает любой журнал, а потому мы с Ворониным проявляли настойчивость в своих напоминаниях Алексееву.

Прошло целое десятилетие...

И вот однажды, летом 1963 года, Алексеев приезжает в Ленинград. И привозит две завершенные книги: одну — для «Звезды», другую — для «Невы».

Предложенную мне повесть в новеллах «Хлеб — имя существительное» я прочел в тот же вечер, к тому же с большим интересом, и передал членам редколлегии. Многие из них успели ее прочесть еще до отъезда автора в Москву. Мнение у всех было единое: повестью следует открыть новогодний номер журнала, сдать ее, согласно графика, уже в августе в набор. Чем она всем нам особенно приглянулась?

Ну прежде всего, своей художественной самобытностью. Вместо пухлого романа — крепко спаянная главами-новеллами небольшая повесть на 80—90 журнальных страниц. Автор в ней рассказывает о том, что хорошо знает, что его волнует, что он любит, а что ненавидит. В роли «ведущего» он сам является одним из основных персонажей произведения. А главное достоинство повести — правда характеров, правда человеческих судеб, правда самой нелегкой жизни тружеников небольшого отсталого колхоза в приволжском селе Выселки. Не забудутся Кузьма Удальцов по прозвищу Капля, Николай Зулин — Зуля, Марфа Лукина — Журавушка, Василий Маркелов — единственный, кажется, на селе оставшийся без прозвища. Но самой большой авторской удачей, конечно, была Журавушка, трагический образ солдатской вдовы, выписанный с особой любовью, лиричностью и сочувствием.

Почти через четверть века, выступая на Всесоюзной конференции женщин, народная артистка СССР Л. А. Чурсина скажет:

— Я счастлива и горда, что получила свою первую международную награду за исполнение женской роли — Гран-при в Испании — именно за Журавушку. Была счастлива, что респектабельная, избалованная зрелищами публика сумела понять неброскую, но подлинную красоту нашей простой женщины. Помню, как американская актриса, вручая мне награду, на ломаном русском языке сказала, что я должна быть счастлива, что живу в стране, где есть такие прекрасные женщины-журавушки.

Сдав в производство «Хлеб — имя существительное», я направился в свою первую поездку в Прикарпатье — потом это повторялось каждое лето пятнадцать лет подряд! — а когда вернулся в октябре, то успел вторично прочесть повесть М. Алексеева уже в набранном виде. Она мне еще больше понравилась после пребывания в гуцульских селах, где я увидел много схожего с жизнью приволжских Выселок.

Иначе сложилась судьба романа «Вишневый омут», отданного Алексеевым в «Неву». Один из лучших в творчестве автора, он по какой-то причине не устроил редакцию и был возвращен автору. Вскоре, правда, роман увидел свет в журнале «Молодая гвардия». Он имел шумный успех, и первым — уже через несколько дней после выхода его завершающей части — в «Известиях» о романе с большой аналитической и хвалебной статьей выступил поэт Николай Асеев. Аналогичных статей и рецензий потом было множество, и в областной печати тоже, как и о повести «Хлеб — имя существительное». Но о нелегкой, если не трагической судьбе этой повести до выхода новогоднего номера «Звезды» я расскажу подробнее потому, что второго такого случая в истории журнала я не припомню за долгие годы работы в нем...

Корректуру новогоднего номера «Звезды», если не изменяет память, я подписал в середине ноября, и она вовремя ушла в горлит. Второго декабря, согласно графи-

ку выхода журнала, она должна была бы вернуться в редакцию уже утвержденной цензорской печатью для отправки в типографию.

Но этого не случилось. Обычно за несколько дней до возвращения номера из цензуры в секретариате редакции уже бывают в курсе готовящихся там замечаний. На этот раз в цензуре хранили полное молчание и ни в какие переговоры с редакционными работниками не вступали, иногда отвечали: «Позвоните через несколько дней»,— и телефонная трубка вешалась.

Все это, конечно, ничего хорошего не предвещало. Это понимали все. Но на цензуру нельзя сердиться, в отношениях с нею надо быть корректными, чтобы не испортить делового сотрудничества. Ведь право-то у нее громадные, а у тебя никаких, и ты абсолютно беззащитен даже перед произволом. Поедешь жаловаться в Москву? Оттуда твою жалобу отправят обратно в Ленинград...

Дни проходили чередой, редакция сдала в набор февральский номер и готовила уже мартовский, уже началось предновогоднее оживление в городе, а из цензуры — ни ответа ни привета.

Все мы в редакции догадывались, что дело не в отдельных замечаниях — происходит что-то серьезное, если не чрезвычайное.

В эти же дни, словно догадываясь о происходящем в «Звезде», все чаще стал звонить Алексеев из Москвы: подписан ли новогодний номер, выйдет ли он в первой декаде января?

Я отвечал ему нечто неопределенное и все больше ссылался на производственные неполадки в типографии... Вскоре он перестал звонить...

А тут нас еще начали донимать звонками из типографии: вы нарушаете график печатания очередного номера, срываете годовой план, из-за вас простаивают печатные станки...

По уже привычной схеме в контакт с цензурой вступил первый заместитель главного редактора. После долгих переговоров на самом высоком уровне наконец удалось узнать, что задержка с подписанием первого новогоднего номера журнала происходит из-за повести Алексеева, но есть серьезные замечания и по повести Жестева «Земли живая душа».

— Может быть, ознакомите с ними?

— Нет! Повести читаются!

Можно было догадаться: в цензуре они давно прочитаны, сейчас читаются в Отделе культуры обкома КПСС, может быть, там же — в идеологической комиссии, или в Главном управлении цензуры в Москве, или еще где-нибудь...

Что же предстояло делать нам? Только одно: ждать, такова наша участь.

Я многократно перелистывал страницы повести Алексеева, старался угадать, к чему в ней могут придраться, что может вызвать серьезное возражение. И никак не мог найти! Перелистывали страницы повести и многие сотрудники журнала.

Чтобы не утомить читателя всеми перипетиями создавшейся конфликтной ситуации, я перейду к ее последней фазе, к развязке.

20 января 1964 года, когда уже были получены многие новогодние номера «толстых» журналов, в Отделе культуры Ленинградского обкома КПСС собрали представителей цензуры и идеологической комиссии, пригласили и меня на обсуждение повести Алексеева. Повесть Жестева не упоминалась.

На совещание я шел с самыми широкими полномочиями, вплоть... до полной отставки всего коллектива редакции. Задача у меня была сложная, предстояло выдержать бой, который мне, несомненно, должны дать люди опытные, хорошо разбирающиеся в запретительных законах. Они явились... со свитком, склеенным из ста набранных журнальных страниц в одну непрерывную ленту наподобие телеграфной, и читать его надо было не слева направо, а сверху вниз. Когда представитель цензуры после краткой речи приступил к своим доказательствам вредности повести «Хлеб — имя существительное» и стал энергично развертывать свиток, мне впору было упасть в обморок, потому что уже начальные главы повести Алексеева почти сплошь были подчеркнуты красным карандашом, а на полях расставлено бесчисленное количество вопросительных знаков.

Присутствующих он пытался убедить, что повесть следует воспретить, не печатать, ибо она в искаженном свете показывает колхозную действительность. Доказательства?..

— Посмотрите на жизнь людей в отстающем по всем статьям колхозе. Что ни персонаж, то обязательно ущербная личность. Вот первые страницы повести, судьба старика Кузьмы Никифоровича Удальцова по кличке Капля. Чем же знаменит этот восьмидесятилетний Капля — прозвище-то какое издевательское!.. А тем, что с первых страниц повести все время ёрничает, все критикует, над всем и всеми надсмехается... Вот назначили его пасечником... Председатель колхоза дарит ему руководство по пчеловодству... И дальше автор пишет, вы послушайте: «Раскрыть ее еще не успел, когда явился какой-то уполномоченный, страсть как озабоченный пчелиным хозяйством. Вместо того, чтобы честно и прямо сказать старику, что пришел полакомиться медком, он напустил на свой лик крайнюю строгость и тут же принялся экзаменовать новоиспеченного пасечника...» А проэкзаменовав, сказал: «— Ну вот что, дед. Мне некогда. Тороплюсь в поле. Угостил бы медком-то. Мне одну каплю...»

Кузьма Никифорович угостил... И с той поры начал угощать так часто и много из района и области, что подумал однажды: не есть ли это главная его обязанность? Угощал по капле, но капель этих собралось так много, что на трудодни ничего уже не оставалось. Вот откуда выкатилась позорная капелюха, начисто замазавшая доброе имя Кузьмы Никифоровича Удальцова. «„Пчела берет взятку с цветка, а с пчелы берут взятку... кто?“ После такого вопроса, вставшего перед ним вдруг, внезапно, Капля как-то заскучал, сник, грустно задумался...»

А вот вам следующая главка — «Самонька»,— продолжал оратор.— Кто он? Выходец из деревни. Можно сказать, выдвиженец. Живет в Москве. Стал там командиром охраны, военный человек. Но смотрите, как автор издевается над ним, в каких сатирических тонах о нем пишет... (Тут следовала выдержка из повести.)

А вот другая главка — «Почтмейстер». Это про колхозника Зулина по прозвищу Зуля. Чем славен этот герой повести? А он, как и гоголевский почтмейстер из «Ревизора», вскрывает чужие письма. Но автор пытается его неуклюже оправдать: «Зуля руководствовался соображениями исключительно гуманного свойства». Каково?..

А вот одна из самых кощунственных главок повести — «Председателевка». Послушайте, что пишет автор и как пишет!..

(Я приведу этот отрывок потому, что в своем слове потом я особенно яростно защищал его.)

«О своем селе дед Капля говорит: «В коммунизм Выселки придут последними». Говорит вроде бы в шутку, а получается — всерьез. Колхоз в Выселках отсталый по всем, что называется, показателям, хотя мог бы быть и передовым — также по всем показателям. Природные условия так хороши, что лучше и не придумаешь: черноземные поля, два заливных луга, река и пойма при ней для огородов — во всем районе таких нет. Может быть, нет таких и во всей области. Почему же отстает? Отчего дела идут через пень-колоду?

А спросите дедушку Каплю.

Вместо ответа он поведет вас в Поливановку — самую благолепную, утопающую в садах, часть Выселок, укажет на полтора десятка добротных изб, выглядывающих из-под вишенья, и молвит:

— Вот она, наша беда-кручина.

— Что?

— А вы, дорогой товарищ, знаете, как энту улицу народ прозвал? Председателевка! Их, председателей то есть, меняют каждые два-три года, бывает, что и через год меняют. Этого времени, понятно, маловато, чтоб колхозные дела поправить, но зато вполне хватает, чтоб своим собственным хозяйством обзавестись — домишко покрасивше наших спроворить, гусей-уток расплодить, сад заложить, коровку-семменталовку, овечек, пару кабанчиков... Сымут с должности, а ему, председателю то есть, и горюшка мало... Во-о-на сколько их накопилось с тридцатых-то годов, не счесть! А работники их этих бывших, прости, дорогой товарищ, как из хреновины тяж. Пойти, скажем, рядовым на поле либо на трактор сесть — прежнее председательское звание не дозволяет, анбиция у каждого. К тому же новому председателю норовят все время ножку подставить, авторитет ему подпортить. А вдруг у нового-то дела пойдут хорошо — им же, бывшим, как раз укор выйдет!..»

Я, на время забывшись, с удовольствием прослушал «Председателевку», но, к сожалению, чтение продолжалось недолго...

— А вот начало другой главки — «Вечный депутат»,— продолжал оратор, раскручивая испещренный красным карандашом цензорский свиток.

— А вот о чем говорится в главке «Аполлон Стышной»...

Досталось даже бедной Журавушке!..

Слушать все, что говорилось о прочитанном, было тяжело. Конечно, можно было бы встать, демонстративно покинуть совещание, но тогда «Хлеб — имя существительное» я неминуемо и окончательно подставил бы под нож...

Надо было терпеть. Надо было выслушать и других участников совещания. Слава богу, не все перестраховывались. Некоторые ораторы высказывали и серьезные сомнения по ряду замечаний цензуры. Правда, были и «половинчатые» выступления. А в оценке повести не по частностям, а в целом, которую дал ведущий заседание завотделом обкома партии Г. П. Александров, проглядывала та соломинка, за которую я и ухватился. Я принял две или три не столь уж значительные поправки. Пообещал поговорить с автором. Но и только!.. Во всем же остальном выразил полное несогласие, опираясь, конечно, прежде всего на единодушное высокое мнение всего коллектива редакции о повести...

Но каков же был итог совещания?

А об этом мне следовало узнать минут через двадцать, когда меня пригласили к секретарю Ленинградского обкома КПСС Г. А. Богданову. Он спросил:

— Какое решение следует принять по повести Алексеева, но самое справедливое, после вашего такого долгого совещания?

— Немедленно печатать повесть Михаила Алексеева.

— А еще?

— Печатать повесть Алексеева.

— Ну, а еще?..

— Печатать безоговорочно.

— Отвечаете головой?

— Отвечаю.

— Партбилетом?

— Разумеется...

Я не вышел, а вылетел из Смольного и чуть ли не побежал по заснеженной аллее в сторону проспекта. Поскрипывал снег под ногами, морозный воздух обжигал.

Как назло, на Суворовском то и дело попадалось свободное такси, мог бы остановить любую машину и быстро доехать до редакции. Но я твердо решил, еще сбегая по лестнице, перепрыгивая, как мальчишка, через ступеньки, сперва успокоиться от волнений этого тревожного дня и сесть в такси только на стоянке.

И вот угол Суворовского проспекта и улицы Красной Конницы, стоянка такси. Но ни одной машины!.. Вышагивая некоторое время взад-вперед по улице, я потом завернул на Суворовский и оказался у углового бакалейного магазинчика. Толкнул дверь, вошел. Ни одного покупателя. Единственная продавщица, девушка лет восемнадцати, подсчитывала дневную выручку.

Я скользнул взглядом по прилавку — соль, крупы, макароны (мне ничего не нужно было!) и на одной из дальних полок, на которой стояло несколько бутылок минеральной воды и лимонада, заметил стоявшую в тоскливом одиночестве бутылку армянского коньяка, задвинутую в самый угол. Подумал: «бутафория»,— по той простой причине, что в тот год в Ленинграде не было коньяка не только армянского, но даже дагестанского и ростовского. А он всегда был нужен! Рюмка коньяка вместе с кофе традиционно подавалась в редакции во время приемов иностранных писательских делегаций.

Но на всякий случай я все же спросил у продавщицы:

— Что это там за бутылка у вас?..

— Заметили! — Продавщица стянула резинкой небогатую дневную выручку.— Я и поставила его подальше, чтобы никого не дразнить. А то ходят тут всякие...

— И много у вас таких бутылок?

— А вам одной мало?.. Ой, уж пора закрывать магазин! — спохватилась она, но поставила табуретку и достала коньяк.

— У меня важный случай,— сказал я и повертел бутылку в руках: «три звездочки» и цена обычная — 4.12.

— Женитесь, что ли?

— Дочку выдаю замуж.

— Ну тогда еще поищу.— И она ушла за перегородку. Оттуда крикнула: — Есть еще три!

— Несите! Нет ли там пустой картонки из-под макарон?

— Есть! От чешского пива «Будвар»! С гнездышками! — И с этими словами продавщица вынесла и коньяк, и картонку.

Я помог перевязать картонку, расплатился, поблагодарил и выскочил на улицу. Там уже ярко светился зеленый огонек такси.

Когда около восьми часов вечера я вернулся на Моховую, 20, то усталые от долгого ожидания сотрудники «Звезды» почти все дремали, устроившись за столами и на диванах. Взбодрить я их смог не только радостным известием о разрешении печатать повесть М. Алексеева, но и армянским коньяком. А кофе у нас всегда был.

Потом я позвонил в Москву Алексееву.

— Порадовать всегда приятно,— этими словами я начал свой долгий разговор...

«Хлеб — имя существительное» был подписан к печати с двухмесячным опозданием. Новогодний номер «Звезды» подписчики в Ленинграде получили во второй половине февраля, а иногородние — в марте.

После потока писем и рецензий на повесть Алексеева «Звезде» в номере четвертом, апрельском, благосклонно было разрешено печатать и повесть М. Жестева. Но радоваться всем нам особенно не следовало... В январском номере была опубликована статья московского критика Р. Орловой «О революции и любви, о жизни и смерти...» (К выходу романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»). Оказывается, выпуск романа в свет был отменен, и редакцию «Звезды» вместе с автором статьи обвинили в преднамеренной пропаганде вредного романа Э. Хемингуэя.

Вот любопытный пассаж из сохранившегося моего письма в идеологическую комиссию Ленинградского промышленного обкома КПСС (тогда ведь существовал и сельский, созданный при Н. С. Хрущеве из разделенного единого обкома КПСС):

«В конце августа 1963 г. «ЛГ» широко анонсировала выход романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», потом в одном из номеров напечатан отрывок из романа. Информацию о выходе романа дали и другие газеты. Я в это время находился в отпуске и с интересом прочитал и эти сообщения, и опубликованный отрывок. Подумал: «Роман этот переведен на многие языки, за исключением русского, как хорошо, что его издают и у нас. Ведь, судя и по отрывку, и по различным статьям, посвященным творчеству Э. Хемингуэя, и по рассказам читавших роман на чешском, польском, болгарском или на английском, французском и немецком, в нем нет ничего такого, что могло препятствовать его изданию. Наконец-то и я прочту роман и не буду больше чувствовать неловкость, когда возникает разговор о нем с кем-нибудь из зарубежных писателей. А то один из лучших романов Хемингуэя — не читал, Кафку — не читал, Джойса — не читал и т. д.».

Перестраховка — какое это страшное зло. Как она всем нам мешала работать и в годы недолгой «оттепели», и в период «застоя», наступивший вслед за ней, когда один генсек заменил другого, а это отразилось на направлении всей идеологической работы и особенно тяжело — на литературе и искусстве...

Аркадий Эльяшевич

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Социалистический реализм вчера, сегодня... и завтра

Статья 2

1

Крутой поворот литературы от утверждения действительности, якобы полностью воплотившей социалистические идеалы, к утверждению этих идеалов, на самом деле еще далеко не реализованных в жизни, а зачастую попросту растоптанных, и, соответственно, к критике всего, что им в жизни противостоит,— главная особенность и главное содержание современного этапа развития социалистического реализма.

Напомню: он начался еще после XX съезда партии, и даже годы застоя не смогли полностью исказить его сущность. Но лишь многочисленные публикации последних лет из писательских «архивов» придали ему стройные очертания и внутреннюю завершенность.

Произведения, пришедшие к нам спустя 25—30, а то и 50 с лишним лет... История новой и новейшей литературы ничего подобного прежде не знала.

Но еще более удивительно, что «Котлован» и «Чевенгур», «Жизнь и судьбу», «По праву памяти», «Детей Арбата» и «Белые одежды» мы воспринимаем как книги 80-х годов. Характеризуют ли эти и другие произведения, долго ждавшие своей публикации, современный литературный процесс или только время, давшее им сигнал к рождению?

Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вернуть эти книги прошлому, с научной точки зрения, возможно, было бы справедливо. Как много высветят и объяснят они в ушедших десятилетиях. И какими благонравными и раболепными покажутся рядом с ними иные из их ровесников.

И все же пусть этим «возвращением» занимается критика. Читатель же внимал и продолжает им внимать как слову, только что возникшему на устах.

Разгадка этого парадокса проста: 80-е годы доделывают то, что не успели сделать 60-е. История восстанавливает оборванные связи и идет дальше, возвращаясь к своим утраченным истокам.

Сейчас трудно вообразить, к примеру, что «Жизнь и судьба» написана раньше, чем «Война» И. Стаднюка, а «Белые одежды» предшествовали «Бессоннице» А. Крона. Таковы запутанность и отнюдь не всегда восходящее развитие литературного процесса.

Но вернусь к мысли о крутом повороте литературы.

На наших глазах в ней постепенно возникла новая концепция мира и человека. И новая концепция их взаимоотношений.

Действительность открылась теперь в своих глубинных противоречиях. И тех, что вызревают в социализме по мере его развития, и тех, что появляются в результате искажения его духовной и экономической сущности.

Пожалуй, ни в чем новаторское движение литературы не обнаружило себя с такой наглядностью, как в возрождении общечеловеческих нравственных ценностей, казавшихся прежде несовместимыми с классовым подходом к явлениям и людям.

Герои романов и повестей 30—50-х годов существовали, как правило, в самом прекрасном и самом справедливом обществе. При этом «положительные» старались превратить его в еще более справедливое и прекрасное, а «отрицательные» ему противостояли и пытались его разложить.

А вот в книгах последних десятилетий идеальная стерильность среды исчезла. Общество перестало быть абсолютным мерилом ценности личности. Исчезло и пред-

ставление об абсолютной гармонии в отношениях общества и народа, народа и государства.

Предметом изображения выступила не возвышенная, героизированная, очищенная от маяты повседневности, а самая обыкновенная жизнь. И, в частности, те ее стороны, о которых общество хотя и знало, но предпочитало молчать и уж во всяком случае не допускать их освещения в литературе.

Да и само общество перестало изображаться как некая монолитная структура. В нем открылось противостояние несовпадающих взглядов и позиций, наличие прослоек и социальных групп, бесконечное многообразие вечно текущей и петляющей, как река, жизни.

Сталинские преступления против народа и вызванный ими всеобщий страх, тенденции уравнительного коммунизма, попрание демократических конституционных ценностей, разрыв слова и дела, лозунгов и реальности, самоуправство и всесилие бюрократического аппарата, падение нравственности — карьеризм и коррупция, двоедушие и зависть, угодничество и жестокость, потребительство и цинизм — все это разглядела наша литература и обо всем успела, пусть еще далеко не полностью и не до конца, поведать читателям.

Заново была прочитана история страны. Прочитана при молчаливом, впрочем, нередко и крикливом неодобрении тех, кто должен был бы ею в первую очередь заниматься. На десятки лет опередив историков, социологов, экономистов, литература сказала горькую правду и о страданиях народа в период «сплошной коллективизации», и о голоде начала 30-х годов, и о сталинских репрессиях, длившихся не одно, а несколько десятилетий и лишь достигших апогея к 1937 году.

Трансформация представлений о мире не могла не сказаться и на представлениях литературы о «простом советском человеке».

Его духовный облик и социальное поведение предстанут теперь куда более сложными и разнообразными по сравнению с той примитивной моделью, которая фигурировала в газетных передовицах и из них нередко проникала и в прозу, и в поэзию, и в драматургию.

Платоновские «активисты», подручные Ягоды и Берии в романах Рыбакова и Гроссмана, «несгибаемые борцы» с генетикой у Дудинцева окончательно уничтожают миф об автоматическом совпадении при социализме самых «передовых взглядов» с самой «высокой нравственностью».

«Взгляды», как мы теперь понимаем, сплошь и рядом маскировали их отсутствие, а «нравственность» столь же часто оборачивалась разгулом первобытных инстинктов.

Так или иначе, но принадлежность человека к «начальству» перестала служить гарантией его высоких моральных качеств. Утратило свою нормативность и разделение общества на людей добрых и злых. Человек лишился мнимой цельности. Наиболее зоркие из художников увидели, как много всего в нем намешано и как он меняется в зависимости от той или иной конкретной ситуации и условий своего существования в целом. Однако, как бы он ни зависел от этих условий, к чему бы его ни принуждали угрозами и насилием, перед ним всегда была открыта свобода, а не единообразие выбора. И поэтому, предавая и убивая других, он предавал и убивал себя, свою подлинную человеческую сущность.

Типические характеры вновь стали рассматриваться в духе классического реализма как характеры массовидные, распространенные в обществе вчера и сегодня, а не как пока еще исключительные, но способные обрести распространенность в будущем.

Литература добровольно рассталась с прогнозирующей функцией и сопутствующим ей утопизмом. И не мало от этого выиграла.

Новая концепция человека положила конец (будем надеяться!) и многолетним спекуляциям вокруг образа положительного героя. Главный герой книг, ставших нашим достоянием в 80-е годы — нравственная позиция художника, взыскующая истинных, а не мнимых ценностей социалистического гуманизма. Хотя и сильных, смелых и честных людей в этих книгах не занимать.

Литература 60—80-х годов опровергает расхожее мнение об одной единственной модели положительного героя, близкого и дорогого для всех категорий читателей. Она знает героя для эрудированной части читателей, героев, ценимых преимущественно молодежью, читательницами, и относительно редко — героя для миллионов.

Есть персонажи, совершающие героические поступки, а есть и герои нравственных деяний. Есть даже герои, заблуждающиеся, мучительно ищущие истину и, тем не менее, подчас более дорогие нам, чем их бесспорно мыслящие и безупречно поступающие собратья.

Проза этих лет продолжает поиски многомерности человека. Она берет его не только в отношениях к миру и к другим людям, но и в отношении к самому себе. Ее волнуют субъективные мотивировки поступков, особая напряженность духовных исканий.

Конфликт у Трифонова и Тендрякова, Бондарева и Балтушиса, Быкова и Искандера часто переносится извне во внутрь человека. Человек задумывается над соответствием окружающего своим представлениям о добре и справедливости, мучительно отыскивает истину и находит или не нахо-

дит в себе силы плыть против течения. Он способен тревожиться за будущее, страшиться смерти, ощущать голос плоти, примерять на себя несхожие социальные маски и играть разнообразные роли в развертывающейся на его глазах и с его участием драме жизни.

Он бывает настолько не похож при этом на своих литературных собратьев, что, мне кажется, мы можем говорить, допустим, о человеке Василя Быкова — совестливом и молчаливом, человеке В. Гроссмана — погруженном постоянно в философское осмысление бытия, человеке Ю. Бондарева — остро переживающем часто непонятный ему самому разлад с жизнью, человеке В. Тендрякова — бросающем вызов историческим обстоятельствам и открывающем в себе смелость идти наперекор сложившемуся порядку вещей.

Человек и история. О них нельзя говорить, не рассматривая самое главное — как они проникают друг в друга.

Время творит людей. Люди углубляют противоречия времени или, напротив, преодолевают их, чтобы тут же воздвигнуть новые.

Эта концепция чужда литературе 30—50-х годов с ее отрицанием каких-либо противоречий в социалистическом обществе кроме борьбы классов или, на худой конец, борьбы «новаторов» и «консерваторов» производства. И эта же концепция становится философской опорой книг 80-х годов, придавая им своеобразие и идейно-художественную новизну.

В лучших из них поставлены самые жгучие вопросы, волнующие общество сегодня: резко возросшая роль личности в истории, взаимоотношения народа и государства, народа и власти, героическое и трагическое в судьбе поколений, выросших при Сталине, и мера их ответственности за преступления созданного им порядка.

Существует, по крайней мере, четыре основных типа отношений личности со временем, и все они встречаются в современной прозе. Первый из них — это когда эпоха штампует людей в точном соответствии со своей нравственной «колодкой». Однако человек в своем моральном облике, своими мыслями и поступками далеко не всегда идеально вписывается в очертания эпохи. Он может быть намного ниже ее, намного циничней, усердней в проведении ее директив и установок, он хотел бы выслужиться перед начальством, он требует ужесточения законов, пресечения всякого инакомыслия, усиления репрессий.

Есть и другие: они способны подняться над своим временем и взглянуть на него как бы со стороны. Они творят добрые дела, содействуют общественному прогрессу, протестуют против несправедливости и готовы скорее пожертвовать жизнью, чем изменить своим гуманным принципам и взглядам.

Есть и такие, кто выступает против времени с принципиально враждебных ему позиций, кто отрицает в нем самую его суть: его идеологию, его движущие силы, его пафос, нравственность и юридические законы.

Конкретизируя и углубляя эту типологию на примере восприятия людьми культа личности, можно сказать, что среди них были те, кто искренне верил в справедливость всех действий государства и честно исполнял свой долг, те, кто своим фанатизмом и искренним воодушевлением постоянно подбрасывал дрова в костер, чтобы он разгорался жарче, те, кто в одиночку пытался протестовать против деформаций принципов ленинизма, и, наконец, те, кто был сломлен страхом и поэтому стремился приспособиться к любому повороту событий из чувства рабской покорности власти.

Можно выстроить и другой типологический ряд, увидев в истории тех, кто строил, пахал, убирал хлеб, воевал и умирал за Родину, тех, кто честно работал и верил в лучшее будущее, и тех, кто управлял, наставлял и снимал пенки с народного труда, и тех, кто пьянствовал и халтурил, и тех, кто грабил государство, накапливал миллионы в кубышках, и тех, кто жил в острой нужде, еле сводя концы с концами.

Исполнители, фанатики, приспособленцы, пенкосниматели, устрашенные, обманутые и не давшие себя ни обмануть, ни устрашить — все они присутствуют на страницах и «архивных», и недавно созданных книг, отражая исключительную пестроту и сложность самой жизни.

2

Как ни важна для понимания литературы 80-х годов новая концепция общества и новая концепция человека, еще важнее понять точки их пересечения между собой. Вероятно, именно здесь спрятан ключ к разгадке своеобразия новаторского характера той или иной книги и современного этапа социалистического реализма в целом.

И в 20-е, и в 30—50-е годы литература социалистического реализма стремилась показать ответственность человека перед обществом и советским государством. Это была высшая цель и точка приложения усилий целой плеяды талантливых писателей и поэтов.

Человек еще не был в литературе мерой всех вещей. Этой мерой служили фундаментальные интересы общества. Общество должно было защищать себя от реальных и «потенциальных» врагов. Оно утверждало новые отношения, новую мораль, новую идейность, новые порядки. Ему нужны были смелые, энергичные люди, бескомпромиссно ставшие под знамена Октября. И не нужны — философствующие, критически настроенные, сомневающиеся и имеющие

особое мнение. И большая часть писателей, хорошо зная об этом и веря в разумность и историческую необходимость этой стратегии, безоговорочно поддерживала первых и столь же безоговорочно осуждала вторых.

Твердокаменный коммунист Курт Ван и душевно слабый и добрый в недоброе время Андрей Старцев у К. Федина («Города и годы») и братья Каревы в его же романе «Братья», непримиримо разделенные своим восприятием революции. Отдающий себя целиком борьбе с врагами шахтер Морозка и случайный попутчик революции Мечик («Разгром» А. Фадеева). Вдохновенный строитель Кузнецка комсомолец Колька Ржанов и рефлексирующий скептик студент Сафонов («День второй» И. Эренбурга). Убежденный прагматик Андрей Бабичев и завистник Николай Кавалеров («Зависть» Ю. Олеши) — в их конфликтах отразилось само время с его беспощадной требовательностью к человеку и неприятием какого-либо «абстрактного» гуманизма.

Вспомним ли мы Павку Корчагина, Глеба Чумалова («Цемент» Ф. Гладкова), Безайса и Матвеева («По ту сторону» В. Кина), Степана Кольчугина («Степан Кольчугин» В. Гроссмана), Петра Суркова («Последний из удэге» А. Фадеева), Батманова и Ковшова («Далеко от Москвы» В. Ажаева), Басова («Танкер „Дербент“» Ю. Крымова) — каждый раз перед нами образы людей, для которых принцип жизненной самореализации полностью совпадает со служением обществу, служением беззаветным, целенаправленным и добровольным.

Сохранился ли этот тип отношения человека к миру в прозе 60—80-х годов? Несомненно. Хотя приобрел при этом во многом другой характер, чем прежде, да и утратил свою насильственную монополию.

В этих книгах повествуется об ответственности человека за свои поступки перед другими людьми, как близкими ему, так и чужими, о наличии или отсутствии у него чувств справедливости и милосердия. Так противостоят друг другу, к примеру, преданный идеям революции Павел Евграфович Летунов («Старик» Ю. Трифонова) и его нравственный антагонист Кандауров, партизаны: доверяющий людям, совестливый и осторожный Буров и жестокий догматик Войтик, для которого главное выполнить приказ, а там хоть трава не расти («В тумане» В. Быкова).

Иногда этот конфликт уходит как бы внутрь человека, и тогда основой замысла книги становится мысль о величайшей ответственности человека за свое поведение перед самим собой. Об этом, пожалуй, все без исключения повести В. Быкова 70-х и 80-х годов.

Мне когда-то казалось, что нравственный героизм Мороза («Обелиск») или отчаянно смелые решения лейтенанта Ивановского («Дожить до рассвета»), при всей их внешней убедительности, недостаточно мотивированы психологически, что здесь рукой писателя водит традиция романтического понимания человека. Позже я осознал свою ошибку: не мог догадаться, что Быкова больше всего в человеке волнует какая-то таинственная сила, заставляющая его стремиться наперекор судьбе, в любой самой тяжкой ситуации к торжеству высшей справедливости, и без утоления этого стремления он не мыслит своей дальнейшей жизни.

Этой таинственной силе, объединяющей в себе и боль за поруганное человеческое достоинство, и неумолчный зов совести, обязана своим решением спалить себя вместе с хатой Степанида («Знак беды»). Ее постоянно несет и ощущает в себе Агеев («Карьер»).

Та же таинственная сила мучает и героев «Выбора» Ю. Бондарева — художника Васильева и друга его молодости Рамзина. Жить бы им, казалось, да поживать в сытости и довольстве. Да растет вина за опрометчивый нравственный выбор, за невозможность переиграть жизнь. И та же вина мучает в «Старике» Ю. Трифонова Летунова. А вот Глебов, предавший и своего учителя, и любимую женщину («Дом на набережной»), ни в чем не признает себя виноватым. Пусть за все отвечает время.

Злая судьба подстерегает у А. Адамовича попавших в плен советских командиров («Каратели»), перед лицом смерти решившихся на предательство. Никогда им, как бы они того ни хотели, не обелить себя за участие в уничтожении своих безоружных сограждан. А герою повести И. Грековой «Фазан» не надо себя ни обелять, ни очернять. Прожил он свою жизнь на обочине истории, растоптал и растратил без остатка то добро, что смолоду, казалось, таилось в его душе, и вспоминать-то ему в смертный час по сути дела нечего.

В других же случаях конфликт, о котором сейчас идет речь, резко расширяясь и обретая особую социальную остроту, предстает как ответственность человека за все современное ему общество.

«*За*», а не «*перед*»! И эта на первый взгляд малозначительная замена одного предлога на другой содержит, как выясняется, исключительно важный смысл.

Личность реализует себя теперь, принимая самостоятельные решения и совершая никем не подсказанные поступки, по внутреннему побуждению и велению нравственного долга. Или, напротив, подчиняется в конечном счете обществу только потому, что оно — общество, и тогда нравственно гибнет и в собственных глазах и во мнении потомков.

Ощущая себя ответственным за попираемые на каждом шагу социалистические идеалы, человек вступает в борьбу с догматиками, карьеристами, расхитителями го-

сударственной собственности, бюрократами, с мздоимцами, алкашами, лжеучеными и безликими исполнителями безликих инстанций. Борьба идет за научную истину, за рачительное отношение к делу, за порядок во всех сферах общества и больше всего и сильнее всего за правду и человечность там, где ее порушили и растоптали.

Наивный и прямодушный, но при этом удивительно стойкий, несмотря на жизненную неопытность, Саша Панкратов («Дети Арбата») и в тюрьме и в ссылке будет ощущать себя представителем всех таких же, как он: оклеветанных и преданных сторонников революционного переустройства жизни.

А что толкает биологов Ивана Ильича Стригалева и Федора Ивановича Дежкина («Белые одежды» В. Дудинцева) на противостояние всесильному академику Кассиану Дамиановичу Рядно, как не бесконечная преданность любимой науке вкупе с органической неспособностью посягнуть на правду. И пусть Стригалев и Дежкин идут к этой правде разными путями — один более уверенно и открыто, другой хитря и маскируясь — оба они, каждый по-своему, внесут свою лепту в ее конечное торжество над санкционированным и поэтому, казалось бы, непререкаемым земным божеством.

На свой страх и риск, презрев всякую опасность, отстаивает изгнанный из Храма еретик Авдий Каллистратов в обществе, потерявшем себя и разрушаемом жестокостью, простые ценности человеческого бытия — любовь к ближнему и ко всему живому на нашей планете, где переплетены судьбы всех и каждого, и где волки благородней и разумней людей, а люди легко уничтожают не только волков, но и себе подобных.

С нравственной вседозволенностью, попранием здравого смысла и надругательством над идейными и нравственными ценностями борется и другой герой «Плахи» Бостон Уркунчиев. И тоже терпит поражение, хотя средства борьбы у него другие и он чужд богоискательству и религиозной морали.

Мир, изображенный Айтматовым, стремительно катится в пропасть. И у писателя нет готовых рецептов спасения. Ни евангельские заповеди, ни «добро с кулаками», само по себе, пока оно остается уделом отдельных людей, не способны повернуть колесо истории. И все же повернуть его, пока не поздно, необходимо. Вот об этом-то и говорит, нет, пожалуй, кричит роман Ч. Айтматова.

Может показаться, что не с обществом, а всего лишь с плохими людьми — Обер-Кандаловым, Базарганом и Кочкорбаевым — воюет писатель. Но это не так. Многозначный обобщающий смысл несут ооразы романа. В его мифологической структуре счет идет на века и тысячелетия. Сталкиваются между собой не отдельные личности, а нравственные системы и философские концепции. А деяния людей отражают не только их собственные представления о добре и зле, но и нравственное состояние всего современного человечества.

К числу произведений, рисующих, сколь тяжкую ношу берет на себя тот, кто не может примириться с утратой широким кругом людей высоких духовных целей и идеалов, принадлежат и повесть В. Распутина «Пожар» и роман В. Астафьева «Печальный детектив».

Какое, казалось бы, дело водителю лесовоза Ивану Егорову до безобразий, творящихся в его леспромхозе. Он не начальник, ни за что, кроме своей машины, не отвечает. Но болит у него душа за то, что он видит вокруг себя. И не просто болит. В роковую минуту опустошительного пожара он бросится на защиту народного добра, спасая его не только от огня, но и от трутней и мародеров, во множестве расплодившихся на сибирской земле.

Частный случай? Нет. И сам образ Ивана Егорова, и рассказанная писателем история, на первый взгляд, всего-навсего «местного значения», приобретают в повести не только типичный, но и символический характер. Пожар, грозящий уничтожением социалистических ценностей, и люди, готовые по зову совести встать на их защиту,— этот замысел художника оказался на редкость созвучным духу нашего времени.

В отличие от Ивана Егорова бывший милиционер заштатного города Вейска, а ныне писатель Леонид Сошнин как будто уже в силу своей профессии обязан бороться со злом. Но не профессия, а что-то другое заставляло Сошнина не щадить себя в столкновениях с бродягами и бандитами. Да и к писателям ведь он прибился не оттого, что потерял в одном из этих столкновений былое здоровье.

Говорят, что Сошнин-литератор всего лишь двойник самого автора. Но это обстоятельство мало что меняет в замысле произведения и даже придает ему особую, дополнительную остроту. Ведь из романа о совестливом милиционере он тем самым превращается в роман о писателе, который смело заглянул в русский характер и в, возвышенно говоря, «русскую душу», какой эта душа, к сожалению, предстает сегодня в вейской земной глуши. А заглянув, увидел в ней не одну только красоту да доброту, но и немало темного, безответственного, безалаберного, неприглядного. Увидел и не мог промолчать, ибо нет для писателя выше счастья, чем сказать правду о своем времени и своем народе, как бы она ни была нерадостна и горька.

Но всегда ли срабатывает совесть? Всегда ли любовь к людям берет верх над какими-то посторонними соображениями,

особенно в тех случаях, когда речь идет о выполнении приказа или служебного долга?

Герой повести И. Герасимова «Стук в дверь» — директор школы Баулин, попавший после войны в Молдавию, должен принять участие в операции по выселению из республики людей, запятнавших себя сотрудничеством с оккупантами. Поначалу у него нет сомнений в необходимости депортации. Но вскоре он убедится, насколько она несправедлива. Выселяются ни в чем не повинные люди. Среди них и участники антифашистского подполья, и партизаны. Выселяются в двадцать четыре часа. Вместе с женами и маленькими детьми.

И тогда Баулина одолеют глубокие сомнения. Он даже сделает попытку остановить депортацию. Но быстро смирится с тем, что плетью обуха не перешибешь. Придя домой после бессонной ночи, он подумал: «А если раздастся стук в дверь и его снова позовут, чтобы он брел с солдатами в ночи, вбегал в чужие хаты — пойдет ли он? И с закостеневшим страхом понял: пойдет. Пойдет, потому что так привык жить всегда, отдаваясь чужой воле, которая была над ним, и еще потому, что иного пути у него не было».

С Баулиным все ясно. Он не палач. Не карьерист. Не ослепленный идеей фанатик. Он просто покорный исполнитель, и своя рубаха ему ближе к телу, чем чужая.

Сложнее с Онисимовым из романа Александра Бека «Новое назначение».

Этот крупный деятель сталинских времен — человек многих выдающихся качеств. Служба таких, как он, государству безупречна. Но «эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их девизом, их «верую» стало правило кадровика — война, приказ и никаких разговоров». И вот когда Онисимову приходится решать для себя, что важнее — борьба с экономически пагубным способом бездоменной выплавки стали или безоговорочное выполнение директивы Сталина, который требует немедленного внедрения этого изобретения в металлургию, он, растоптав в себе ученого и инженера, тут же произносит: «Будет исполнено... Под мою личную ответственность». И не потому, что он шкурник и трус. Другое им движет: убеждение всей жизни в том, что Сталин всегда прав, и отсюда солдатская верность каждому его указанию и каждому слову, верность, во имя которой он отказался от своего безвинно репрессированного брата и сделает все, что потребует вождь. А если так случится, примет от него любое наказание и любую кару.

Образ Онисимова, как мне кажется, имеет немалое значение для нашего понимания прошлого и противостоит взгляду, что *все*, кто в годы культа личности верил в Сталина, поддерживал его установки, были просто приспособленцами, конъюнктурщиками и беспринципными людьми. Взгляд этот, как видим, заметно упрощает и выпрямляет историю.

3

Но, пожалуй, самой отличительной чертой современного этапа советской литературы стало появление книг с принципиально новой для социалистического реализма структурой взаимодействия мира и человека. Ее можно обозначить как *ответственность общества, власти, государства за судьбу отдельного «маленького» человека и за судьбу народа в целом.*

Долгие годы мы полагали, что идейный замысел такого рода — знак принадлежности повести или романа критическому реализму. И вдруг... Впрочем, не так уж и вдруг. И разве в «Котловане» и «Чевенгуре» Андрея Платонова тема противостояния власти народу не составляла основу повествования? Правда, речь шла всегонавсего о ее «низших эшелонах», но самых многочисленных и типичных для эпохи.

И разве уже в этих трагических книгах, написанных еще до провозглашения социалистического реализма основным методом советской литературы, не ощущалась гражданская боль художника за неподготовленность народа к социальным переменам и одновременно за тот страшный и уродливый характер, который они подчас приобретали по воле разных «активистов» и неистовых борцов с «буржуйским элементом»: «раз буржуи теперь все равно не люди».

Независимо от того, известна или не известна была писателям 60—80-х годов платоновская концепция взаимодействия мира и человека, ей суждено было получить в их творчестве как бы второе рождение и новую жизнь.

Концепция эта, в трансформированном временем виде, исподволь пробивала себе дорогу во многих рассказах В. Шукшина, в «Живи и помни» В. Распутина и еще более откровенно в его же «Прощании с Матерой», в трифоновском «Отблеске костра», в «Доме» Ф. Абрамова и в лучшей повести Б. Васильева «Вы чье, старичье?». И все же полное представление о ее месте в нашей литературе после 1956 года мы получили только сегодня.

Немало книг, принадлежащих перу самых непохожих друг на друга художников, еще в 60-е годы, а иногда и позже, развивали одну и ту же мысль, реализуя ее на разном тематическом материале и облекая в разные художественные одежды. Вернее сказать, она сама совершенно свободно и органично возникала из содержания этих книг.

Прогресс общества — утверждалось в них — не может идти за счет унижения и порабощения человека. Он не может идти

вне человека. Вне его радостей, горестей, созидательной энергии, свободы волеизъявления и присущей ему неотъемлемо веры в конечное торжество добра и справедливости. А еще утверждалось в них, что авторитарные методы руководства, идеология тотальной подозрительности, нарочитое пренебрежение идеей сострадания и милосердия к людям несовместимы не только с принципами гуманизма, но и в корне противостоят самой сущности социалистического строя.

Мысль эта звучала у Б. Можаева в «Мужиках и бабах» и у В. Белова в «Канунах» на примере событий, связанных со «сплошной коллективизацией». Она вдохновляла художников, смело вскрывавших подспудные процессы периода застоя: утрату частью людей социалистических идеалов и возникший на их месте идейно-нравственный вакуум («Где отчий дом» А. Эбаноидзе, «Печальный детектив» В. Астафьева, «Имитатор» и «Гладиатор» С. Есина, «Пожар» В. Распутина, «Чистые воды Китежа» В. Тендрякова, «Заброшенный полигон» Г. Николаева, повести В. Маканина, Б. Васильева, Ю. Крелина, Ю. Нагибина), хищническое отношение к природе («Колесом дорога» В. Козько), стихию приобретательства («Жасмин в тени забора» Г. Семенова, «Тещина станция» В. Конова, «Незавершенка» С. Есина и т. д.).

Но масштабнее всего она проявила себя в художественных и документальных произведениях, рассказывающих о культе личности Сталина и его трагических последствиях, будь то рассказы В. Тендрякова и В. Шаламова, воспоминания К. Симонова, В. Амлинского, Л. Разгона, поэмы А. Твардовского и А. Ахматовой, повести Д. Гранина «Зубр», А. Приставкина «Ночевала тучка золотая», Л. Чуковской «Софья Петровна», С. Воронина «Наказание без преступления», А. Жигулина «Черные камни» или романы В. Дудинцева «Белые одежды», Ю. Трифонова «Исчезновение», А. Рыбакова «Дети Арбата», В. Гроссмана «Жизнь и судьба» и Б. Ямпольского «Московская улица».

Действие этих произведений протекает на широких пространствах России, в Москве и в Ленинграде, переносится на крайний север, в Сибирь и на Кавказ.

Их герои — арбатские девушки и парни, «бывшие» — раскулаченные и высланные из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла,— ответственные партийные работники, следователи и надсмотрщики тюрем и лагерей, матери, разыскивающие своих арестованных по ложному доносу сыновей, одинокие люди, парализованные страхом за завтрашний день, и другие люди, превращенные в «лагерную пыль», голодные, замордованные ребятишки из детдомов, ученые, выбрасываемые из науки, солдаты и офицеры Советской Армии, стоящие насмерть под Сталинградом.

Их содержание — ранее не известная правда о беспощадности сталинской государственной машины к ни в чем не повинному человеку, абсурдность, ирреальность происходящего. Преследование крестьян. Тотальная чистка партийных кадров. Расправа с представителями науки и искусства. Депортация целых народов. Атмосфера подозрительности, доносительства, общественного лицемерия, слепого преклонения перед Силой и Властью.

Слова, поменявшие свой смысл: жестокость, называемая теперь любовью к людям, преследование — помощью, истребление — очищением, власть одного — властью масс.

Люди, поставленные на колени и несломленные тюрьмой и пыткой. Утратившие человеческий облик, лавирующие и прямодушные, подлые и честные, отстаивающие себя и других, и вчерашние палачи, сегодня уже сами угодившие на цепь, под замок.

Человеческая вера, светлая надежда на будущее, неистребимая любовь — все отразилось в названных мною выше произведениях и всем этим они и потрясли читателей. Но вот что важно: если в одних из этих произведений социалистический идеал — лишь свет, излучаемый идейной позицией писателя, то в других, таких, как «Жизнь и судьба», «Исчезновение», «Зубр», «Ночевала тучка золотая», «Дети Арбата», это еще и само их содержание: образы героев, не поддавшихся злу, их чувства и мысли, авторские лирико-публицистические раздумья и прямые политические и нравственные оценки людей и событий.

Любопытен спор, который идет в нашей прессе, о личности человека, тридцать лет стоявшего у кормила власти. Этот спор ведут читатели и писатели, историки и публицисты, экономисты и литературоведы.

Для одних из них Сталин — личность «ничтожных масштабов», (Ю. Карякин), для других — психически больной в последние годы человек (Д. Волкогонов), для третьих и сегодня — «вождь и учитель», для четвертых — просто узурпатор власти и тиран.

А К. Симонов в своих воспоминаниях рисует Сталина не только жестоким, но и сильным, умным и хитрым человеком, наделенным первоклассным актерским талантом. Он редко бывал на людях самим собой. Изрекал одно, а думал при этом совсем другое, замысливая преступления, никогда не оставлял следов и ловко перекладывал вину на подчиненных.

И все же, мне кажется, ни одному из наших публицистов пока не удалось сказать о Сталине так много и с такой убедительностью, как это сказал А. Рыбаков.

Мы не знаем, насколько характер генсека, воссозданный А. Рыбаковым, соответствует своему жизненному прототипу. Но одно бесспорно — писателю удалось ухва-

тить главное в нем: роковое противоречие между субъективной верностью Сталина идее социализма и средствами ее реализации, которые, в конечном счете, и извратили и неузнаваемо деформировали эту идею.

Сталин, каким его показал Рыбаков, не просто жестокий правитель и уж, конечно, не «мелкая личность», неизвестно как взобравшаяся на вершину государственной пирамиды, а человек, не сомневающийся, что в его руках судьба революции, судьба первого в мире социалистического государства. И поэтому для него нет моральных преград. Власть как будто бы нужна ему для утверждения своей заветной цели — завершить дело, начатое его великим предшественником. Однако, стремясь сохранить эту власть за собой в любых обстоятельствах, при любой обстановке и уничтожая не только своих соперников, но и всех, на кого падала малейшая тень подозрения, в том числе и тех, кто вовсе не был ему и не мог быть опасен, он подчинил Идею желанию властвовать единолично над страной и, возможно, над всем миром.

В раскрытии этой роковой и для судеб социализма в нашей стране, и для судьбы советского народа, и наконец для посмертной судьбы самого Сталина диалектике его характера и заключена, как мне кажется, главная заслуга автора «Детей Арбата».

Сейчас можно услышать голоса, раздраженно твердящие, что это, мол, слабая в художественном отношении книга, а «Зубр», «Плаха» и «Белые одежды» — еще слабее.

С этим мнением я не могу согласиться. О художественности ли пекутся его сторонники? А может, дело в чем-то другом?

Диву даешься, когда один небезызвестный литератор даже повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая», написанную о тяжких испытаниях, павших на долю детдомовских ребятишек в войну, называет «далекой от большой литературы с ее действительно народными болями и бедами».

Не будем обольщаться: былые литературные нравы, оценки и вкусы, былая эстетика и былые предрассудки полностью не ушли. Люди, их еще совсем недавно насаждавшие, живы и все еще надеются на желанный для них поворот исторических событий. Не потому ли книги о страшных временах, вернувшись к нам из небытия, и сегодня остаются столь современными. Документальные поражают своей невыдуманной правдой о фактах беззакония и произвола. Художественные — глубиной обобщений, яркостью образов. А взятые все вместе — суровым предупреждением о недопустимости повторения еще когда-либо того, что так омрачило наше прошлое.

Туго сжатые как пружина, чтобы потом ударить читателей в самое сердце, сюжеты рассказов В. Тендрякова с их парадоксальными коллизиями, стремительностью тревожно нарастающего действия: то трагическая бытопись, то не менее трагический гротеск.

Зажиточный крестьянин, подаривший в предвидении грядущих роковых событий пару своих любимых гнедых лошадей бедняку и тем самым его сгубивший («Пара гнедых»).

Мальчишка, который подкармливает умирающих от голода и утративших человеческий облик людей, а затем столь же голодное самое несчастное существо в поселке — бездомную собаку, и тем самым «подкармливает» и свою совесть («Хлеб для собаки»).

Поселковая дурочка, ищущая спасения от обидчиков угрозой пожаловаться «родному и любимому Сталину» («Параня»).

Офицер, мечтавший о героических поступках и красивой смерти и погубивший на фронте из-за неимоверного рвения своих солдат. И ничего не заслуживший — ни славы, ни любви подчиненных. Ничего, кроме совсем некрасивой смерти по приговору военного трибунала («Донна Анна»).

Высокое мастерство психологического анализа, присущее В. Дудинцеву («Белые одежды») и Ю. Трифонову («Исчезновение»), в соединении с присущей их книгам идейно-политической остротой и гражданской бескомпромиссностью.

Удивительная портретная живопись Л. Разгона в документальных рассказах из цикла «Непридуманное» (Юность, 1988, № 3) — типы людей, встреченных автором в лагерях и тюрьмах и вобравших в себя разные грани эпохи, их образ мыслей, прозрения, необыкновенные судьбы.

Неровная, но умная кисть А. Рыбакова («Дети Арбата»): московские улочки и переулки, Кремль и его грозный хозяин, каторжные пересылочные этапы, сибирская ссылка...

А какие характеры! Чего стоит, к примеру, Юрий Шарок — человек из Органов — беспринципный охотнорядец, превыше всего охочий к разного рода земным благам и беспощадный к тем, кто попал в его паучьи сети. Убежденный коммунист Рязанов, наивная и чистая Варя, хищная любительница красивой жизни Вика, зубной врач Сталина, перепуганный и старательный Липман...

А маленькие «зверята» — кузьменыши («Ночевала тучка золотая» А. Приставкина), жизнь которых свелась к беспрестанному добыванию пищи и мечте когда-нибудь досыта наесться.

Властно звучит в этой бытовой повести, внезапно открывшей нам, сколь мало мы знаем о войне, какой она была для тех, кто находился за тысячи километров от фронта, интернациональная тема.

Сталинские репрессии, обрушенные на чеченцев, привели к многочисленным жертвам, и не только среди горцев. Один из

«кузьменышей», оплакав родного брата, выдает за него осиротевшего чеченского мальчишку. И вместе с ним, разумеется, не по доброй воле отправляется в новую даль.

Неожиданная дружба Кольки и Алхузура исполнена в повести высокого гуманистического смысла. Дети разных народов на кровавом пепелище войны, они больше не чувствуют себя одинокими и забытыми.

Если повесть А. Приставкина можно было бы назвать «Голод», то роман Б. Ямпольского «Московская улица» — скорее всего «Страх».

При жизни Борис Ямпольский не считался крупным художником. Однако его посмертно опубликованный роман заставляет изменить это мнение. Перед нами произведение во многих отношениях незаурядное, больше того, первоклассное.

В отличие от многих других книг из «запасников», «Московская улица» — роман камерный, глубоко личный, автобиографический. Впрочем, его художественное пространство лишено герметичности.

Старый Арбат и арбатские переулки, воссозданная с редким богатством жанровых красок огромная коммунальная квартира, населенная пестрым людом, гулкая суета вокзалов и пустота ночных улиц, где на каждом углу и за каждым выступом каменных громад, кажется, кто-то прячется, следит за тобой и дожидается.

Но и этот город, и жильцы коммунальной квартиры, и посетители ночного, ярко освещенного и веселого кафе, и дрожащие от холода беспризорные девчонки из числа тех, что приезжают в столицу для поступления в кинозвезды и из которых бедные непризнанные художники подбирают натурщиц-любовниц — все это увидено лишь глазами одного человека, лишенного даже имени и подробностей биографии, перенесено в самую глубь его сознания и все погружено в липкую и знобкую атмосферу владеющего им беспросветного и постоянно нарастающего страха.

Человек с фамилией на букву «К» не совершил никаких преступлений, но он уверен, что это его ни от чего не спасет. Ведь страхом пронизана не только его собственная жизнь, но и тех, кто его окружает. Страх угнездился в самом сердце города, заставляя его биться тревожно и аритмично.

Это не страх 1937 года, а другой, не менее лютый, рожденный кампанией против космополитов и новой вспышкой всеобщей подозрительности и распадом былых прочных и доверительных человеческих связей.

Беспросветное одиночество героя, мир его накренившейся над пропастью души — вряд ли такое можно было в прошлом встретить в советской литературе (исключая мрак, сгустившийся в «Тихом Доне» над Григорием Мелиховым). И все же, перед нами произведение, написанное не с того, а с этого «берега», обвиняющее не общество, а те черные силы, что извратили его характер, не народ, а власть, попавшую в беспощадные руки.

И хотя социалистический идеал, идеал гуманистического единства духовно богатой личности и устроенного на справедливых началах мира, нигде в открытую не провозглашается на страницах романа, его отсвет лежит здесь на всех описаниях и картинах. Здесь нет убаюкивающего конца. Но есть надежда. Надежда, что ночь кончится и настанет утро.

В финальной главке, названной Ямпольским «Хранить вечно», писатель тонко подметил одну из важнейших особенностей воссозданного им периода нашей жизни: человек, любой, всякий, какой угодно, внушал властям опасение, ибо он был человеком. А от человека следовало ожидать всего. Он мог продать, убить, снюхаться с врагами, распространять клевету, он мог... И поэтому за ним нужно было непременно подсматривать, заводить на него папки, следить, проверять, привлекать и постоянно держать на прицеле.

Неузнанная и небывшая вина человека как его собственная тень следовала за ним на протяжении всей его жизни. Она шла даже за его гробом и, лишь услышав стук о крышку гроба замерзших комков земли, уходила и засыпала « в своей дьявольски серой бронированной папке «Хранить вечно» с фотографией, на которой изображен ее хозяин, юный, веселый, полный молодой веры и мечты».

Совсем в иной тональности написал Даниил Гранин своего «Зубра». По форме это книга из серии «ЖЗЛ», казалось бы, обычный биографический жанр. Однако это не так. «Зубр» — книга о русской науке и о торных судьбах многих из тех, кто связал себя с нею.

Тема науки — сравнительно редкая в нашей литературе. Книги, ей посвященные, наперечет. Кроме романов Л. Леонова «Скутаревский» и «Русский лес», «Открытой книги» В. Каверина да прежних романов и повестей Д. Гранина, здесь вряд ли что вспомнишь. Принято считать эту тему вообще второстепенной. Одно дело жизнь народа, другое — ученых, среди которых, мол, полно бездельников, сидящих у него на шее. Как будто бы русский народ, как, впрочем, и всякий другой, мог бы существовать и развиваться, не выдвигая из своей среды выдающихся ученых — лучшее из лучшего, что есть в генофонде каждой нации, ее духовную и интеллектуальную элиту.

Автор «Зубра» возвращает русской науке — как той ее части, что попала не по своей воле в эмиграцию, так и оставшейся на родине — место, несправедливо отнятое у нее в литературе другими темами.

Он рассказывает об ученых, философах, художниках с тем увлечением и с той

проникновенностью, с какой другие наши ведущие художники рассказывают о солдатах, крестьянах, партийных работниках. И не в этом ли причина откровенного неприятия «Зубра» рядом критиков. Упреки, которые бросаются Гранину за то, что он избрал своим героем «невозвращенца», в конце концов, только удобный повод для нападок.

Как ни значительна и интересна сама по себе судьба Тимофеева-Ресовского, человека, дерзнувшего ослушаться приказа верховной власти и тем самым сохранившего себя и свои открытия для науки, еще значительнее и интереснее в повести среда, в которой жил этот человек, воздух истории, которым он дышал. Они и придают повествованию историческую масштабность (отсутствующую, чаще всего, в книгах из серии «ЖЗЛ»).

Перед нами книга одновременно и об ответственности перед государством человека, взявшего на себя нелегкую миссию двигать научный прогресс, и об ответственности власти и государства перед человеком. Многое объединилось в ней: и необыкновенный ученый, оставивший неизгладимый след в памяти всех, кто его знал и с ним соприкасался, и его многотрудная, пестрая, будто выхваченная из приключенческого романа, почти фантастическая жизнь, и еще не воспетая по достоинству замечательная русская наука. И весь наш век — грозный, переменчивый и жестокий. А надо всем этим обрамляющий повествование «закадровый» голос самого автора, всегда взволнованный и пытливый, голос свидетеля многих описываемых событий и их неподкупного летописца.

4

И, наконец, роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

На страницах этого произведения переплелись все типы, все модели взаимоотношений мира и человека, характерные для нового витка развития советской литературы. И ответственность человека перед самим собой, перед обществом и за общество, и ответственность власти, государства за свой народ и его историческую судьбу.

Монументальность художественного здания, возведенного Гроссманом, подчеркнута всем его замыслом и особенностями его построения.

О чем этот роман? О войне? Да, конечно, о Войне. Точнее сказать, об одном лишь переломном сражении этой войны, предопределившем и карту послевоенной Европы, и многие из событий ее послевоенной истории. Но это еще и роман о Мире, о мирной жизни людей в далеком тылу и о Мире в обобщенном и философском значении этого понятия.

Писатель монтирует время с десятками, а быть может, сотнями человеческих судеб. Сюжета в обычном смысле этого слова нет. Но нет и калейдоскопа случайных фактов и наблюдений. Все плотно пригнано друг к другу, сбито: события, биографии, коллизии, связи людей, их надежды, любовь, ненависть, жизнь и смерть. И все пронизано цементирующим повествование, и в целом, и его отдельные части, напряженным философским смыслом.

Образы своих героев Гроссман вписывает в эпоху. Эпоху видит и познает через поступки и мысли героев. Их судьбы чаще всего нарочито в романе не завершены. Жизнь продолжается. Она доводится почти до того самого рубежа, с которого художник старается ее запечатлеть своей снимающей камерой с широкоугольным «объективом» и необычайной светочувствительностью «пленки».

Огромна галерея проходящих через роман людей. Они представляют разные народы, поколения, профессии, классы и слои общества и разное отношение к жизни. У каждого из них своя особая судьба, но едва ли не всех их объединяет вера в будущее, страх перед уничтожением, сомнения в правильности избранного пути, тревога за родных и близких, ревность, душевная боль и множество других простых человеческих чувств.

Одним характерам художник уделяет больше внимания, другим — меньше, но привычное деление на главных и второстепенных героев к персонажам романа неприменимо. И не только потому, что все они остаются в нашей памяти с почти физической реальностью, но и потому, что каждый из них несет в себе частицу общего художественного замысла и каждый сопряжен с его философской концепцией, и отсутствие в структуре повествования этой частицы ее бы чем-то неизбежно обеднило.

Человеколюбивый и бесстрашный командир танкового корпуса полковник Новиков и умный, образованный, но ослепленный партийными догмами батальонный комиссар Крымов. Выдающийся ученый — физик Штрум — критически мыслящий, совестливый человек, и мучительно раздвоенная в своих отношениях с Новиковым и Крымовым Женя Шапошникова.

Генерал Неудобнов — в прошлом один из бериевских костоломов, и житель русской «Атлантиды» бывший дворянин Шаргородский.

Потерявшая на войне единственного сына, убитая горем жена Штрума Людмила Николаевна и вальяжный писатель Лимонов, преуспевающий и в эвакуации.

Летчик Викторов, мечтавший увидеть и так и не увидевший в Сталинграде любимую женщину и своего ребенка, и обрусевшая немка старушка Генрихсон с ее жалкой судьбой.

Военврач Софья Осиповна Левинтон, сумевшая стать перед смертью в фашистской

газовой камере последней опорой и защитой чужому ребенку, и штурмбанфюрер Кальтлуфт, хладнокровно убивший пятьсот девяносто тысяч заключенных.

Суровые и мужественные военачальники — генералы Чуйков, Еременко, Родимцев, и один из бывших начальников Гулага Каценеленбоген, пророчествующий в тюремной камере о грядущем счастье человечества.

Военнопленный Антон Хмельков, когда-то скромный парикмахер из Керчи, спасший свою шкуру в обмен на службу в фашистской зондеркоманде и насилующий, между делом, обреченных на смерть девочек и женщин; и отважная радистка Катя, заброшенная войной в самое пекло сталинградской обороны.

Бежавший из фашистского плена водитель Семенов и выходившая его украинская крестьянка Христя Чуняк.

Высокое фашистское начальство Эйхман и Лисс, и палач по призванию, в прошлом вор-взломщик Кейзе, которому убить человека так же просто и приятно, как подставить кому-нибудь из озорства ногу.

Адъютант Паулюса Адамс, заботливо укладывающий в чемодан фельдмаршала теплые вещи: ведь у русских в плену не будет жарко, и сам Паулюс, озабоченный своей судьбой после капитуляции и безразличный к судьбе своей армии.

Политзаключенные в фашистских лагерях — ветеран партии Мостовской, бескорыстно преданный ее идеям, и одержимый любовью к людям беспартийный «старик-парашютист» Иконников, и коммунисты Абарчук и Магар в таежных лагерях Дальстроя.

И, наконец, возникающий только на одно мгновение, готовый присвоить себе в дни Победы на Волге солдатский подвиг и солдатскую славу Сталин: «Это был час его торжества не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохранят спокойную немоту».

А рядом с ними и поодаль от них советские и немецкие солдаты и офицеры, крестьяне, надсмотрщики в тюрьмах и лагерях, ученые-физики, военные врачи, тыловые бюрократы, партийные работники, одинокие женщины и маленькие дети.

Все они живут и движутся в романе по своим собственным, не всегда пересекающимся между собой орбитам. И из этой одновременности жизни десятков и сотен раскрытых с необычайной естественностью и редкой пластической мощью человеческих судеб и возникает в романе впечатляющая картина миров и общественных систем, столкнувшихся между собой в неразрешимых противоречиях и смертельной схватке.

Романное время у Гроссмана сжато, сплющено до нескольких месяцев. В настоящее включается подчас не только прошлое, но и будущее. А горизонты раздвинуты. И пространство выстраивается по эпическим законам, сближая и перетасовывая людей, расстояния, дали.

Осажденный, терзаемый огнем и содрогающийся от взрывов Сталинград, и Сталинград в первые дни после капитуляции Шестой армии — темный, молчаливый, утонувший в сыром деревенском покое, охватившем землю, город, Волгу.

Эшелоны, в которых фашисты везут на бойню обреченных людей, и аванпост сталинградской обороны, дом шесть/один, непрерывно обстреливаемый из всех видов оружия, и пустынная Москва 1943 года, принимающая своих вернувшихся из эвакуации жителей.

Фашистские газовые камеры с отменной организацией процесса умерщвления людей: и калмыцкая ковыльная степь, неустанно рассказывающая человеку об утерянной им свободе: «Огромное чугунное солнце в вечернем дыму, этот горький вечер, полный до краев полынью...»

Вошедшие в решающий прорыв советские танки и серое ущелье бериевской тюрьмы на Лубянке.

Укрывшийся в глубоких сталинградских подземельях штаб Шестой фашистской армии и лесной и озерный Калининский край, еще сохранивший дыхание древней Руси, где когда-то ходил, наверное, серый волк и сидела на бережку Аленушка. Старинные церкви и дороги, прямоствольные рощи, в пестрых крутых берегах, в зелени леса, в голубых и красных цветных узорах Волга.

Как ни важно сказать об эпическом размахе и эпической композиции романа, этого еще мало для того, чтобы понять его особый художественный мир.

Изобразительная палитра Гроссмана вбирает в себя и рассказ о происходящем, и авторский комментарий к нему, и прямое публицистическое вмешательство автора в повествование, и раздумье героев о жизни, и их письма и дневниковые записи. Диалог здесь преобладает над монологом, слово над действием, авторское видение действительности над «точкой зрения» персонажа.

Эпическое отставание рассказа о событиях от самих событий и свойственная ему объективность нарушаются неожиданным вторжением лирического переживания природы, неизменно построенного как «пейзаж души». Эпическое, равное самому себе слово — словом, подсвеченным особым эмоциональным ореолом.

Библейская приподнятость и ритмическая оснащенность речи уживаются с толстовской емкостью повествовательных периодов, призванных вобрать в себя разлитую в романе энергию мыслей, постоянно присутствующее в нем интеллектуальное начало.

Все это, вместе взятое, не дает однознач-

но определить жанр произведения. Эпопея? Никакого сомнения. Психологический роман? Конечно. Роман лирико-публицистический? И это верно. Интеллектуальный? Бесспорно.

Мне кажется, что это многоцветие жанровых признаков опровергает расхожее мнение о традиционности избранной Гроссманом формы. При несомненной близости «Жизни и судьбы» к «Войне и миру», это произведение, свободное от распространенного ныне рабского подражания манере великого русского классика и подлинно новаторское не только по содержанию, но и по форме.

5

Как ни интересно было бы сейчас остановиться на лирических страницах романа, подобно морскому прибою захлестывающих его эпические берега (недаром ведь завершится он на пронзительной лирической ноте), еще важнее остановиться на другом.

«Жизнь и судьба» — роман не только лиро-эпический и одновременно исполненный глубокого психологизма, это еще роман «политический» и «социально-философский». И то, что стоит за этими определениями, пожалуй, в наибольшей степени характеризует его художественную природу.

Политический, потому что судьбы его героев поставлены в прямую связь с политической ситуацией в стране. Никто из них не может и не хочет уклониться от ее оценки и выбора своего отношения к ней.

Если в романе «За правое дело» Гроссман рассматривал мир только как борьбу двух взаимоисключающих общественных систем, то теперь в его замысел входит и анализ извращенной Сталиным структуры социалистического государства, его идейная и нравственная суть.

Человеку, живущему под постоянным прессом всеведущей власти,— говорит нам роман — трудно остаться самим собой. Неведомо, какими путями и почему он изменяет своим принципам и своей вере. И далеко не всегда его на это толкают низость и страх. Еще совсем недавно подвергался Штрум у себя в институте травле. Но вот после того, как ему позвонил Сталин, все чудесным образом сразу же переменилось. И его сослуживцы, еще вчера переходившие на другую сторону улицы, чтобы не здороваться с ним, сегодня рассыпаются в любезностях и улыбках.

Но что-то случилось и с самим Штрумом. Непримиримый к неправде, он, пусть не без мучительных колебаний, подпишет коллективное письмо, обвиняющее честных и ни в чем не повинных людей в преднамеренном убийстве. И тяжкий груз совершенного расплющит его душу.

Под стать нравственным терзаниям Штрума и то, что произойдет в душе Крымова, безвинно брошенного в тюрьму на Лубянке. Он тоже придет, правда, под давлением обстоятельств к осознанию неправедности, но уже не одного ложного поступка, а всей своей, казалось бы, безупречной жизни партработника и фронтового командира.

Крымов никогда не сомневался в «праве партии действовать мечом диктатуры, в святом праве революции уничтожать своих врагов». Он не защищал своих друзей, в чьей невиновности был уверн, он не знал жалости к людям, недостойным, как он полагал, этой жалости, бестрепетной рукой докладывая о их политической неблагонадежности. И вот теперь он с ужасом думает, что революционная цель освобождала его и миллионы ему подобных «во имя морали от морали... Она объясняла, почему человеку во имя счастья народа должно толкать в яму невинных».

Вновь и вновь Крымова охватывает недоумение: «Ведь мы были беспощадны к врагам революции. Почему же революция беспощадна к нам? А может быть, потому и беспощадна. А может быть, не революция, черная сотня, шпана?»

Жестоко избитый, располосованный и сокрушенный, Крымов не подпишет облыжных показаний, он не сдастся на милость следователям и тем, кто за ними стоит. И как бы он ни ошибался, какая бы вина за прошлое ни лежала на нем, он останется и в тюрьме человеком заблудшим, одураченным своей нерассуждающей верой в мудрость государства и в решающую роль революционного насилия, но не способным на низость во имя низости, на предательство во имя спасения своей собственной шкуры.

И видя терзания Крымова, писатель не только его осуждает, но и, вероятно, гордится им, преклоняется перед его душевной чистотой и недюжинной внутренней силой.

Признание человеком своей неправоты, по мысли Гроссмана, ни от чего его не освобождает — ни от суда современников, ни от суда потомков,— но нет на земле высшего суда, чем суд совести, суд грешного над грешным. Лишь он один высветляет человеческую душу и дает ей возможность увидеть в темноте ночи слабый лучик надежды на воскресение из мертвых.

И даже палачи и убийцы, привыкшие валить свои злодеяния на обстоятельства и исполнение независящих от них приказов, втайне понимают свою собственную виновность: «в каждом шаге человека, совершенном под угрозой нищеты, голода и смерти, всегда наряду с обусловленным проявляется и нескончаемая воля человека... Судьба ведет человека, но человек идет, потому что хочет, и он волен не хотеть».

Ничто не заставляло Евгению Николаевну заботиться о человеке, с которым она решительно и навсегда порвала. Но когда Крымов оказался в тюрьме, она, несмотря на всю свою любовь к Новикову, вернулась к нему, заботилась, думала о нем и готовилась за ним ехать, куда только придется.

Ничто не заставляло старуху Христю Чуняк напоить русского пленного молоком и укрыть его в своей хате.

И ничто не заставляло Софью Левинтон отдавать маленькому Давиду часть своего хлеба, и держать его за руку в газовой камере, и говорить ему: «Крепко держись за меня, мой хлопчик», и обнимать его, и думать в самую последнюю минуту о том, что она стала матерью.

В самое тяжелое время люди не забывают своей ответственности не только за другого человека, но и за все окружающее, за общество, за народ. И не эта ли память придавала силу миллионам солдат и офицеров 62 армии в Сталинграде? Не она ли заставила полковника Новикова задержать наступление на восемь минут, чтобы дать возможность артиллерии подавить огневые точки врага и тем самым спасти своих танкистов от ненужных и неоправданных потерь? Не она ли внушила мужество капитану Грекову в доме шесть/один и не давала ему расслабиться и запаниковать.

Это чувство величайшей ответственности за торжество справедливости и правды руководило нравственными исканиями Иконникова, когда он трудился в сельскохозяйственной коммуне, проповедовал, глядя на страдания раскулаченных, Евангелие и пытался спасти еврейских женщин и детей.

Это же чувство вело по дорогам войны подполковника Даренского и предопределило судьбу майора Ершова, возглавившего в концлагере сопротивление фашистам, человека, от которого к узникам всегда исходил «„веселый жар“, как от простой и нужной всем русской печи».

И, напротив, забвение великих истин, начертанных на знамени революции, помноженное на уверенность, что для достижения исконного конечного результата хороши все средства, непомерная гордыня, ослепление собственным могуществом и уверенность в безнаказанности явились причиной нравственного падения человека, стоявшего у государственного руля, чью волю послушно исполняли чиновники всех уровней и рангов.

Безграничная преданность «вождю народов» загубила смысл и ценность партийной работы Мостовского и Абарчука, хотя и не спасла их от мук и страданий. Она превратила в кровавых подонков надсмотрщиков и следователей бериевских тюрем и лагерей и выдвинула на авансцену истории таких интриганов и догматиков, как Гетманов, и таких палачей, как генерал Неудобнов.

Не людям служит секретарь обкома, а позже фронтовой комиссар Гетманов, а богу по имени «дух партийности». Бог этот суров и неумолим. Он предписывает Гетманову не колеблясь отказываться от личных симпатий и от учителей и земляков, не считаться ни с любовью, ни с жалостью. Да, можно и погубить, и предать, и отвернуться, если так предписывает всевластный «дух», если это нужно, чтобы оправдать «доверие партии, за которой стоит сам Сталин».

Гетманову дана огромная власть, для которой ему не надо обладать ни дарованиями, ни знаниями, ни талантом. Он ничего не понимал в музыке, литературе, искусстве, но его жадно слушали сотни людей, разбирающиеся в этом, потому что он был доверенным лицом партии.

Может показаться, что Гетманов мало чем отличается, принципиально, от Крымова и Мостовского, но это не так. Он человек всецело принадлежащий «новой истории», плоть от плоти сталинского режима, его выдвиженец, куда более удобный вождю, чем «старая гвардия», способная мыслить и рассуждать, образованная, помнящая Ленина, а поэтому ненадежная и опасная.

Не одна война, а сразу две ведутся на страницах романа: война советского общества и советского государства с угрожающей им смертельной опасностью и война Сталина и его приспешников со своим собственным народом.

Первая из них, благодаря усилиям миллионов людей и их неисчислимым жертвам, завершилась полным разгромом фашизма. И Сталинградская битва, как показал Гроссман, была на пути к нему генеральной репетицией, залогом грядущей окончательной победы.

Во второй народ потерпит поражение. И потребуются еще долгие годы, прежде чем удастся освободить страну от оставленного Сталиным политического и экономического наследства.

Несколько событий постоянно привлекают внимание писателя и его героев: раскулачивание, 1937 год и дело «врачей-отравителей», смело вырубленное из своих подлинных хронологических рамок и перенесенное в 1943 год, поскольку, считает Гроссман, все необходимые предпосылки для него уже созрели в ту пору.

Меньше всего писатель при этом собирался отбивать хлеб у историков. Пусть они восстанавливают канву событий и их детали, его же волнуют не сами события, а то, что стоит за ними, не следствия, а причины.

Их много: тоталитарный характер сталинского государства, отход от ленинских установок, беспощадность к человеку и народу, террор как средство всеобщего устрашения для захвата единоличной власти, забвение неотъемлемых основ нравственности, идеология и политика «казарменного» социализма.

Среди сцен, образно раскрывающих эти процессы,— лагерных, тюремных и просто

бытовых — одна из наиболее запоминающихся, сцена, в которой Штрум ночью заполняет анкету («царь-анкету», «анкету анкет»), столь привычную для каждого, кто жил в ту эпоху. Из всех ее пунктов он особенно долго и тревожно думает над «пятым» и «шестым», и ему кажется, что они между собой тесно связаны. «Он не знал, что вскоре будет значить ответить на пятый вопрос анкеты: калмык, балкарец, чеченец, крымский татарин, еврей... для сотен тысяч людей.

Он не знал, что год от года будут сгущаться вокруг этого пятого пункта мрачные страсти, что страх, злоба, отчаяние, безысходность, кровь будут перебираться, перекочевывать в него из соседнего шестого пункта «социальное происхождение», что через несколько лет многие люди станут заполнять пятый пункт анкеты с чувством рока, с которым в прошлые десятилетия отвечали на соседний шестой вопрос дети казачьих офицеров, дворян и фабрикантов, сыновья священников».

И этот шестой пункт заставляет его невольно прийти к выводу, что если для Гитлера не важно, каким является человек — хорошим, злым, тупым, талантливым, веселым, добрым,— а важна только его кровь, национальность, раса, то для Сталина важно лишь социальное происхождение человека — уж не из дворян ли, а может, из купцов или священников? А если нет, то, может, ими были отец, мать, дед, бабка, жена, ее родители, тоже ведь неизвестно чем занимавшиеся до 1917 года.

Эти раздумья Штрума в романе не случайны, как не случайна в нем и другая ночная сцена: разговор эсэсовца Лисса с Мостовским. Без сомнения, в них для ищущей аналитической мысли писателя заложен особый смысл.

На протяжении всего романа Гроссман постоянно сравнивает и взвешивает на весах Клио две политические системы, созданные Сталиным и Гитлером. Лисс старается уверить Мостовского, что различий между ними нет, а если и есть, то они носят чисто внешний характер. К сходным выводам, как бы неосознанно, близок и Штрум.

Любопытно при этом, что, хотя Мостовской доводы Лисса с возмущением отверг, он не переубедил своего собеседника, не нашел при всем своем опыте и эрудиции достаточных контраргументов.

А ведь найти их было ему под силу. И Гроссману, как доказывает все содержание романа, они хорошо известны. Гроссману, но не Мостовскому, так как советское общество и Сталин были для него нераздельны, и это тождество выбило у него оружие из рук.

Между тем все обстояло не столь уж сложно: звериное лицо фашизма совпадало с его внутренней сущностью. Фашизм просто не мог быть другим, чем он был. Он нес смерть народам. Он проповедовал глобальное рабство, власть арийской элиты над миром, торжество уродливых форм возведенного в религию национализма.

Сталинский же режим оставался лишь грубейшим искажением и деформацией ленинских идей и того дела, за которое народ сражался в революцию, в Гражданскую и Великую Отечественную войну.

Суть одного общества была уже первоначально преступна. Суть другого — гуманна и лишь омрачена сначала гражданской войной, а затем деяниями человека, который поставил себя выше революции, выше Ленина и выше народа, хотя и неустанно клялся им в верности.

Советскому народу была чужда национальная спесь, не он прибегал к газовым камерам, не он мечтал о покорении земного шара. Народ, а не Сталин выиграл войну, и он не был ни явным, ни тайным сообщником преступных действий генсека.

Вот о чем мог сказать, но не сказал Лиссу Мостовской. И обо всем этом сказал в романе Гроссман, иногда впрямую, а чаще между строк, рисуя народ как могучую силу, от которой в конечном счете зависит последнее слово в истории советского общества.

Впрочем, Гроссман ни на чем как будто категорически не настаивает. В романе развернут широкий веер политических взглядов. Каждый из персонажей имеет возможность высказать свое отношение к ним, и писатель почти никогда их не одергивает, не учит уму-разуму и не поправляет. Он предпочитает остро ставить вопросы и выслушивать разные ответы. Хотя у него, конечно же, есть своя страстная, чуждая какой-либо половинчатости и недомолвок гражданская позиция, и она далеко не всегда совпадает с тем, что говорят и о чем думают его герои.

Многоголосие — вообще одна из важнейших примет романного мышления Гроссмана.

Штрум и Чепыжин, Крымов и Гетманов, Абарчук и Магар, Чернецов и Осипов, Иконников и Мостовской, а наряду с ними и сам писатель в своих лирико-публицистических монологах несходно оценивают действительность и приходят к самостоятельным выводам.

«Жизнь и судьба» писалась Гроссманом после победы над фашистской Германией, после XX-го съезда партии, но она писалась еще под свежим впечатлением от массового уничтожения людей в газовых камерах.

Конечно, Гроссман понимал, что в годы коллективизации и на войне русских погибло намного больше, чем евреев. Но он не мог примириться с фактом уничтожения людей только потому, что они принадлежат к определенной нации, с истреблением целого народа, ответственного за несовершенные им грехи и преступления. И поэтому его так страшила и возмущала попытка Сталина насаждать идеологию государ-

ственного национализма. Ведь она означала полный отход от идей русской социал-демократии и одновременно грубейшую спекуляцию на справедливо возникшем у народа в войну могучем и прекрасном чувстве национального самосознания.

Народное национальное самосознание в дни народных бедствий — считает Гроссман — «прекрасно потому, что оно человечно, а не потому, что оно национально. Это — человеческое достоинство, человеческая верность свободе, человеческая вера в добро... Но пробудившееся в годы бедствий национальное сознание может развиваться многообразно. Нет спору, что у начальника отдела кадров, оберегающего коллектив учреждения от космополитов и буржуазных националистов, и у красноармейца, отстаивающего Сталинград, по-разному проявляется национальное сознание».

6

Нетрудно заметить: социальное и конкретно-историческое поднято у Гроссмана на уровень фундаментального исследования жизни в ее глобальном масштабе, и поэтому «Жизнь и судьба» может быть по праву названа романом не только политическим, но и философским.

Философский жанр редко встречается в нашей литературе. Тем отраднее его появление в прозе последних лет.

Нельзя не вспомнить в этой связи «Покушение на миражи» В. Тендрякова, «Плаху» Ч. Айтматова, сатирическую сказку Ф. Искандера «Кролики и удавы». Философия истории занимает и Д. Гранина в «Зубре», и А. Рыбакова в «Детях Арбата», и Б. Можаева в «Мужиках и бабах».

Правда, за философскую повесть и роман критика нередко выдает произведения, в которых автор довольно примитивно рассуждает о судьбах России, а его герои столь же примитивно беседуют на всякие возвышенные темы. В отличие от этих претенциозных подделок роман Гроссмана не только стремится в своих лирико-публицистических главах к всеохватному, обобщающему постижению жизни, но еще и подчиняет ему все свое действие и всю логику судеб своих героев.

Центральная проблема прозы Гроссмана — человек. Его мало интересуют подробности событий. Он заменяет их, по-толстовски, подробностями чувств, диалектикой души, лишенной покоя, ввергнутой в пучину сомнений, страданий и тревог.

Человек у Гроссмана слаб, ничтожен, пылинка — дунуть и нет ее, изменчив, вероломен, жесток, способен на любые унижения и одновременно добр, отзывчив, мудр, совестлив и прекрасен.

Какая-то тень раскаяния, пусть не видная людям, преследует даже убийцу Антона Хмелькова. Ведь он иногда сам ужасался своей работе и вечерами, прислушиваясь к смеху другого убийцы — убийцы по призванию, чувствовал тяжелую холодную оторопь. Этот убийца был страшен ему, потому что врожденное душевное уродство оправдывало его. А Хмельков не был уродом. Он был человеком и знал, хотя и смутно, что «в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь,— смерть».

И, напротив, что-то недоброе — эгоистическое и мелочное — иногда появляется в, казалось бы, умном и высокопорядочном Штруме с его уступчивостью обстоятельствам, в душевно чистых Людмиле и Жене, не говоря уже о глубоко противоречивых характерах Крымова, Мостовского и Абарчука.

Все люди похожи один на другого, но одинаковых людей нет, и как бы ни было перемешано в их душах зло и добро, есть в человеке какая-то доминанта, позволяющая объективно считать его хорошим, не слишком хорошим или вовсе плохим человеком. И доминанта эта заключена для писателя в том, как ведет себя и как поступает человек в экстремальных ситуациях, хотя — считает он — способность к покаянию и вырывает его у зла, и высветляет его ожесточившуюся грешную душу.

В своей концепции человека Гроссман ближе всего, вероятно, к Толстому, а из современных писателей — Юрию Трифонову, так же, как он, видевшему и глубокую противоречивость своих героев, и в то же время их нравственную цельность. Причем, оба они, в отличие от Толстого, соизмеряли человека со страшной действительностью XX века, с мощью и неумолимостью рожденного этим веком тоталитарного государства.

Войны, лагеря, пытки, голод обрекали людей на неслыханные мучения: «государство по своей воле способно принудительно, искусственно сжать, сдавить плотинами жизнь, и тогда, подобно воде среди тесных берегов, страшная сила голода истребляет, коверкает, ломает, уничтожает человека, племя, народ... Человеческое иногда полностью погибает в человеке, и голодное существо становится способно на убийство, на пожирание трупов, на людоедство». А что не доделает голод, завершат тюрьма, каторга, пытка, людское ожесточение.

Гроссман не идеализирует то, что он называет «населением», «массой», а Пушкин называл «чернью». «Опыт показал,— пишет он,— что при проведении тоталитарным государством разного рода человеконенавистнических кампаний большая часть населения гипнотически послушна всем указаниям властей. Причем в ней есть меньшая часть, создающая воздух кампании: кровожадные, радующиеся и злорадствующие, идейные идиоты, либо заинтересованные в сведении личных счетов,

в грабеже вещей и квартир, в открывающихся вакансиях. Большинство людей, внутренне ужасаясь массовым убийствам, скрывает свое душевное состояние не только от своих близких, но и от самих себя. Эти люди заполняют залы, где происходят собрания, посвященные истребительным кампаниям, и, как бы ни были часты эти собрания, вместительны эти залы, почти не бывало случая, чтобы кто-либо нарушил молчаливое единогласие голосования».

Самое страшное открытие XX века — открывшаяся при массовом забое людей их удивительная покорность: «гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных». А когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам.

В этой огромной покорности людей для Гроссмана таится страшная загадка. Неужели человеческая природа изменилась? Нет, приходит он к выводу, изменился мир: «Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет зловещее, несущее гибель рабство единственным и истинным добром». Страсть к самосохранению ведет к «соглашательству инстинкта и совести». «В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей...» А с ней — «ужас перед беспредельным насилием могущественного государства».

И все же «природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить... Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего».

У людей — убежден Гроссман — всегда есть выбор. И самые сильные и самые честные кинут вызов тоталитарному государству, а если борьба окажется невозможной, предпочтут смерть предательству и рабству. И весь его роман не что иное, как гимн человеческой свободе. Сама жизнь представляется писателю миром свободы, а смерть погружает человека в царство рабства.

И о чем бы ни толковали герои Гроссмана, эта мысль постоянно возникает за их словами. Одни ее отвергают, другим она не нужна. Третьи в нее истово верят. И почти каждый из них непременно размышляет и о настоящем, и о будущем. Что-то оно принесет людям?

Академик Чепыжин уповает на разум. Человек когда-нибудь станет решать задачи, непосильные богу.

Каценеленбоген мечтает превратить всю нашу планету в систему лагерей с их укладом и режимом. Тогда не нужна будет проволока и будет полностью преодолен «пещерный принцип личной свободы».

Но, вероятно, интереснее всего и чем-то близки писателю мысли Иконникова. Иконников убежден, что человеческая история — не борьба добра, стремящегося победить зло. История человека — это битва великого зла, тщетно стремящегося размолоть зернышки человечности. Идея добра прекрасна и велика, но во имя ее в разные века были уничтожены миллионы и миллионы людей. Добро часто оборачивается злом. И ни одному государству, ни одному вероучению не удалось до сих пор уйти от этой печальной закономерности.

Вот почему Иконников противопоставляет Добру вероучителей, пророков, великих социологов, народных вождей и философов доброту обыкновенных людей, несущих в своих сердцах любовь к живому. Доброту вне религиозного и политического добра — «доброту старухи, вынесшей кусок хлеба пленному... Доброту молодости, пожалевшей старость, доброту крестьянина, прячущего на сеновале старика-еврея, доброту стражников, передающих письма пленных и заключенных.

Она, эта дурья доброта и есть человеческое в человеке, она отличает человека, она высшее, чего достиг дух человека. Жизнь не есть зло, говорит она».

Я не уверен, что Гроссман полностью разделяет отрицательное отношение Иконникова к общественному добру, но он, конечно, никогда бы не сказал об его идеях, как сказал неисправимый фанатик Мостовской: «Писания юродивого... Катастрофа убогого духа».

Кому-то может показаться, что «Жизнь и судьба» принадлежит вовсе не социалистическому, а критическому реализму. Ведь на вопрос, что такое «соцреализм», один из персонажей романа — Мадьяров — высказывается достаточно скептически: «Это зеркальце, которое на вопрос партии и правительства «Кто на свете всех милее, всех прекрасней и белее?» отвечает: „Ты, ты, партия, правительство, государство всех прекрасней и милее!“»

И хотя Мадьяров не Гроссман, его устами, вероятно, в данном случае все же глаголет сам писатель.

Но какой «соцреализм» имеется при этом в виду? Конечно же, тот, что насаждался и пестовался в 30—50-е годы Сталиным и Ждановым. К этому реализму роман Гроссмана с его бескомпромиссным отрицанием теории и практики культа личности и впрямь не имеет никакого отношения.

Важно другое: с каких позиций ведется огонь. Не только то, что отрицается, но и то, что утверждается в романе. А утверждаются здесь идеалы свободы и гуманизма, утверждается свет идей, зажженных Октябрьской революцией. И утверждается великая победа многонационального советского народа над фашизмом во имя подлинно социалистического строя, освобожденного от несправедливостей, беззакония и преступлений сталинщины.

Во имя этого идеала живут, воюют и творят Новиков, Ершов, Спиридонов, Штрум, Чепыжин. К нему рано или поздно придет Крымов, а возможно, пришли бы и такие

честные и несгибаемые, но ослепленные партийной ортодоксией люди, как Мостовской и Абарчук. Во имя этого идеала народ и сражался и принес до сих пор не подсчитанные жертвы. И другой программы у него не было и нет. А ведь народ выступает в социально-философской концепции Гроссмана как высший судья, как вершитель всех судеб государства, и того, в чем отказывают ему правители, он добивается сам, хотя и после десятилетий вынужденного молчания и вынужденной покорности.

Народ бессмертен. Эти слова, взятые писателем для названия своей повести военных лет, остаются для него ключевыми.

Странное дело, но читая «Жизнь и судьбу», невозможно отделаться от мысли, что этот роман не только соответствует духу нашего времени, но еще и многое в нем предваряет. Жизнь наша идет сегодня в соответствии с надеждами героев романа, мечтавших о тех днях, когда восторжествует правда («...правда одна. Нет двух правд... Часть правды — это не правда».) и совесть («...социализм,— говорит Штрум,— не только в тяжелой промышленности. Он прежде всего в праве на совесть»).

И уж разве не вовсе пророчески звучат слова Мадьярова: «Вы представляете себе, что такое свобода печати? Вот вы мирным послевоенным утром открываете газету и вместо ликующей передовой, вместо письма трудящихся великому Сталину, вместо сообщения о том, что бригада сталеваров вышла на вахту в честь выборов в Верховный Совет и о том, что трудящиеся Соединенных Штатов встретили Новый год в обстановке уныния, растущей безработицы и нищеты... вы читаете: недород в Курской области, инспекторский отчет о режиме в Бутырской тюрьме, спор, нужен ли Беломоро-Балтийский канал, вы читаете о том, что рабочий Голопузов высказался против выпуска нового займа... Вы узнаете, почему нет гречневой крупы, а не только то, что из Ташкента в Москву была доставлена самолетом первая клубника. Вы знаете, сколько граммов получают в колхозе на трудодень из газет, а не от домработницы, к которой приехала племянница из деревни покупать в Москве хлеб. Да, да, и при этом вы целиком и полностью остаетесь советским человеком».

Торжественен, суров и неподкупно правдив этот поистине великий роман, равного которому наша литература, вероятно, не знала со времен «Тихого Дона». Потрясают его героические и трагедийные эпизоды, его лирические страницы, исполненные горькими раздумьями о судьбах родины и человечества. И его щемящий радостный и печальный финал.

7

Произведения, ставшие известными читателям в последние годы, примечательны своим жанровым и стилевым разнообразием. Многолинейная эпическая композиция «Жизни и судьбы». Биографическая повесть «Зубр». Роман «воспитания», слитый с романом политическим,— «Дети Арбата». Многофигурное пространство «Белых одежд». «Мифологический» роман «Плаха» и монографический — «Московская улица». Невыдуманные рассказы Л. Разгона и бытовая, и в то же время исполненная драматизма повесть «Ночевала тучка золотая». Осложненные документальными справками трагические истории, рассказанные В. Тендряковым и незавершенный социально-психологический роман «Исчезновение» Ю. Трифонова.

Думается, для В. Гроссмана, Б. Ямпольского, В. Дудинцева, А. Приставкина, А. Рыбакова, да, пожалуй, и для В. Тендрякова — это высший взлет их таланта, творческая вершина, к которой они шли долгие годы.

Конечно, не все названные мной произведения в равной степени художественно совершенны и свободны от тех или иных недостатков.

Можно, к примеру, говорить о натуралистических излишествах в повести А. Приставкина, перенасыщенности диалогами и разговорами на отвлеченные темы в «Белых одеждах», о недописанности и эскизности отдельных характеров в «Исчезновении». Сибирские сцены в «Детях Арбата» намного слабее кремлевских, а отдельным образам этого романа (Киров, Орджоникидзе) не хватает ни реалистической емкости, ни глубины.

Проблемы стилей и жанров сейчас мало кого волнуют. А жаль. И в этой сфере накопилось немало любопытного: необычайный взлет, к примеру, публицистики — обилие и острота социологических, исторических и экономических выступлений.

Ю. Афанасьев, В. Селюнин, Ю. Черниченко, Г. Попов, А. Нуйкин, Д. Волкогонов, Ф. Бурлацкий, А. Ваксберг, Ю. Помпеев — эти фамилии сегодня у всех на устах. Хотя многие социологи и историки, как набрали после апреля 1985 года воды в рот, так и продолжают молчать.

Публицистика переполняет ныне и художественные жанры (откроем ли мы, к примеру, «Пожар» В. Распутина или «Зрячий посох» В. Астафьева, «Мужиков и баб» В. Можаева или «Все впереди» В. Белова). А рядом с ней документальная проза: письма, воспоминания, очерки, эссе.

Другая примета времени — удивительный полистилизм, расширяющаяся вселенная несхожих индивидуальных творческих методов и стилей. Причем, если методы все же объединены идейно-эстетическим единством, то стили восходят к самым разным художественным традициям отечественной и зарубежной литературы. И увидеть за ними некий «большой стиль» эпохи пока еще трудновато.

Хотелось бы отметить все увеличивающийся ныне разрыв между «серьезными» жанрами литературы и беллетристикой. Первые заставляют читателей думать и переживать. Вторая — его развлекает. Головокружительные подвиги разведчиков и диверсантов, альковные тайны цариц и царедворцев, блеск и нищета современных куртизанок, то бишь «валютных девочек», божественная мудрость следователей и отменная доблесть милиционеров — истории с их благосклонным участием пользуются у многих читателей шумным и устойчивым успехом.

Конечно, и развлекательная литература нужна. Да и существует она, поскольку на нее есть неутоленный спрос. И до тех пор, пока она не становится средством возбуждения в обществе дурных вкусов и нездоровых страстей, с ней необходимо мириться.

Для ученых-типологов, в отличие от простых смертных, эта литература весьма неприятна, так как они не знают, к какому направлению ее отнести. Реализм? Романтизм? Модернизм? Увы, ни то, ни другое, ни третье. И, конечно же, не социалистический реализм. Сказать об этом во всеуслышание давно приспело время.

Пора подводить итоги.

Как мы только что убедились, социалистический реализм в 60—80-е годы *радикально изменил свое содержание и свои формы*. Но он жив и продолжает успешно развиваться.

Каюсь, у меня нет каких-либо новых сенсационных формул, исчерпывающих его суть, да я и не верю в возможность их существования. Зачем ставить перед собой непосильную задачу: объять необъятное, пытаясь в нескольких словах обобщить сложное и противоречивое эстетическое явление, к тому же постоянно пребывающее в движении.

Однако всякое понятие должно быть както определено, иначе разговор о нем становится беспредметным. И с этой точки зрения можно сказать, не открывая никаких Америк, социалистический реализм — это новая ветвь на могучем стволе реализма. Она резко обособилась на первых этапах своего существования от соседней с ней ветви — реализма критического,— а сегодня заметно с ней сблизилась, не утратив при этом свою самостоятельность и свою собственную природу.

Главное в социалистическом реализме — этом интернациональном методе литературы и искусства — как и в реализме вообще, нерушимая верность действительности, глубокий анализ ее движущих сил и социальных противоречий, новаторская концепция мира и человека в их неустойчивых и динамичных связях.

Семидесятилетняя история советской литературы подтверждает, что сердце и душу социалистического реализма составляет стремление художника не только к познанию, но и к преобразованию текучей действительности с позиций *творческого*, а не схоластического марксизма и *драматического* опыта строительства социалистического общества.

Это метод, пронизанный социалистической идейностью, однако меняющий на каждом этапе своего бытия свои эстетические установки вместе с изменением жизни.

На современном этапе литература социалистического реализма нацелена на революционную перестройку общества, на его демократическое обновление и высвобождение созидательной энергии масс.

Она борется за идеалы социалистического гуманизма, интернационализма и патриотизма, против всего, что в действительности им противостоит.

Она утверждает ответственность человека за идейно-нравственное состояние общества и одновременно ответственность общества за человека и перед ним.

Она восстанавливает правду о нашей трудной истории, безбоязненно рисует наш сегодняшний день, отстаивает свободу мысли, слова и чувства.

Опыт развития социалистического реализма доказывает наличие в нем не одной, а многих национальных и исторических моделей и отсутствие среди них моделей идеальных, моделей-эталонов. Его единство не означало и не означает ни эстетического, ни художественного единообразия.

Взгляните на нашу литературу в вертикальном и горизонтальном разрезе, и вы убедитесь, насколько отличны в ней пути воплощения социалистического идеала.

Багрицкий и Твардовский, Фадеев и Трифонов, Н. Островский и Гроссман, Панферов и Абрамов, Гладков и Гранин, Вс. Иванов и Залыгин, оставаясь приверженцами одного и того же метода, достаточно далеко отстоят друг от друга в своем понимании действительности и ее эстетической трактовке, так же, как и многие писатели, творившие и продолжающие творить в одно и то же время.

Плюралистические модели социалистического реализма мы наблюдаем, обращаясь и к книгам Шолохова и Платонова, Горького и Маяковского, Малышкина и Паустовского, Айтматова и Шукшина, Быкова и Искандера, Тендрякова и Астафьева, Бондарева и Матевосяна и т. д. Это большая и еще не исследованная тема научного разговора.

Одни очертания метод приобретает в психологическом романе, другие — в сатирических жанрах, третьи — в лирике. Надо считаться и с существованием поливалентных, стертых, переходных форм и наличием, подчас, в творчестве художника противоречивых эстетических тенденций.

Творческий метод писателя, направление, объединяющее десятки и сотни произведений, и на их основе метод как теоретическое осознание главных закономерностей литературного процесса — лишь проследив этот непростой процесс восхождения от отдельного к общему, мы сможем наконец поставить теорию социалистического реализма с головы на ноги.

А это означает, что начинать нужно с создания новой, более объективной, более насыщенной фактами и более научной *истории* нашей *литературы*. В ней и только в ней — источник всех наших теорий и концепций. В ней же и требование их непрерывного обновления.

Вот о чем мне хотелось сказать в заключение этой работы. Создавая ее, я не рассчитывал, разумеется, что мне удастся ответить на все спорные вопросы и дать им полное и, тем более, единственно возможное толкование.

Давно известно: «Каждое решение какой-либо проблемы есть новая проблема» (Гете). Но разговор о реализме советской литературы необходим — это не праздная тема — и я думаю, он будет продолжен.

Поистине всенародным интересом к себе современная литература обязана в основном «вчерашним» и «позавчерашним» повестям и романам. Прошлое пока еще застит от нас современность. Для творческого осознания житейской нови требуется время. Но когда иссякнет поток произведений из «кладовых» и «архивов», в литературу неизбежно хлынет множество книг о нашем сегодняшнем мире. О тех, кто его создает. И о тех, кто жаждет его разрушения.

Мы не знаем, какими будут эти книги и кто их напишет. Однако есть все основания предполагать, что с них начнется еще один — уже *четвертый* по счету — этап социалистического реализма.

Утверждение социалистических идеалов сольется здесь с изображением революционной перестройки страны на демократической основе. А беспощадная критика всего, что им противостоит, будет вестись с позиции нового политического мышления и нового рождающегося в муках курса нашего общества.

Геннадий Муриков

ОНИ И «МЫ»

(Несколько мыслей после прочтения романа Е. Замятина «Мы»)

Возвращение. Оно стало приметой нашей эпохи, знаком доверия к человеческой мысли, чувству и воле. Ведь полнота исторической памяти, о которой часто говорят и пишут, на практике означает предоставление права голоса не только живущим ныне, но и тем, кого нет среди нас, но чья речь слышна и поныне. Или как совет, или как раздумье, или — предостережение.

С будущим спорить трудно, особенно из прошлого. Опровергая или подтверждая прогнозы и пророчества, оно показывает, насколько глубоки они были, насколько прозорливо смотрели вдаль их авторы. Но будущее еще и иронично. Зачастую, словно в насмешку, оно осуществляет самые удивительные утопии, расставляя нравственные акценты так, что солнечные «икарии» и «фаланстеры» превращаются на деле в ГУЛаги и трудармии.

Наверное, здесь одна из причин того, что за последние сто лет жанр антиутопии по сравнению с традиционной утопией стал не просто преобладающим, а, судя по всему, окончательно подавил все вполне конкурентоспособные в прошлом жанры социальной фантастики. Будущее стало страшным: каждый новый опыт воплощения в жизнь социальных, технических, экономических фантазий с ужасающей закономерностью обнаруживает несостоятельность «фантазеров» и их проектов, якобы долженствующих наконец-то принести долгожданное счастье на эту грешную землю.

Как некий суровый «ревизор» (не об этом ли и писал Гоголь в тайной глубине сердечной?) проверяет история предъявленные счета и векселя, приводя в шоковое состояние изолгавшихся «пророков» и их оболваненных последователей. О любви к Единому Государству устами одного из героев говорит и Е. Замятин: «Боишься — потому что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное». Правда, необходимо одно существенное уточнение: «любовь» здесь синоним холуйского усердия, желания угадать и угодить, ибо только такая «любовь» может поселиться в сердце, в котором через край плещется страх.

«Шок от будущего» — так назвал свою книгу выступавший и на страницах советской печати футуролог Э. Тоффлер. Название, вполне подходящее к десяткам, сотням и тысячам разнообразных антиутопий, скорбных, страшных и трагических предвидений, адресованных и современникам и людям завтрашнего дня, увидевших свет у нас и за рубежом.

Если социальный смысл фантастики, скажем, Жюля Верна сводился в основном к тому, что общество, спасая гуманистические ценности, обуздывало авантюристические и диктаторские замашки бунтаря-одиночки, маленького наполеончика и сверхчеловечка, то конец прошлого века создал картину прямо противоположную. «Легенда о Великом инквизиторе» и «Бесы» Достоевского, страшные пророчества Ф. Ницше, предупреждения о «грядущем Хаме» Д. Мережковского и даже романы Г. Уэллса, Дж. Лондона рисуют бесчеловечный мир, получивший впоследствии название тоталитаризма. Мир, в котором нет и не может быть места для личности, ее инициативы, разума, свободы. В котором нет места для человека.

Роман Е. Замятина, увидевший свет в 1924 году, был написан по горячим следам не только эпохи военного коммунизма, но и всего послереволюционного исторического периода, породившего и радужные надежды и горестные предчувствия. В нем теоретическая и философская мысль нашла адекватное художественное подтверждение. А впоследствии сам роман стал отправной точкой для новых, еще более политически заостренных антиутопий О. Хаксли и Дж. Оруэлла, подхвативших также и традиции своих соотечественников Г. Уэллса и Б. Шоу, немало поработавших в этом жанре.

«Мы знаем о самих себе, что, совершив социалистическую революцию и начальные социалистические и тоже революционные преобразования, мы вообразили, что тем самым нами детерминировано наше будущее, разумеется, самое-самое светлое.

Мы знаем, что вот из этих-то светлых представлений и возникают нередко темные лики реальной действительности.

Мы знаем, что диктатура может сопровождаться не только жестокой и неумолимой деятельностью, но и мягкотелой бездеятельностью — мы теперь знаем это явление «от» и «до»...

Мы пришли к этим знаниям своим не только опытом, но и своим собственным умом, никто нам в этом не помогал, учителей, а тем более покровителей История нам не подготовила и — увы! — никогда не подготовит»,— писал С. Залыгин, размышляя о знаменитом романе Дж. Оруэлла «1984». С не меньшим основанием можно отнести эти слова и к замятинскому роману «Мы».

Сейчас, когда через шесть с половиной десятилетий после первой — лондонской — публикации он увидел свет в нашей стране, читаешь и удивляешься: в чем же, собственно, те причины, которые заставили целые поколения наших литературных и политических деятелей не просто замалчивать это произведение, но и придавать ему порой прямо противоположный действительному смысл? А ведь такие определения, как «злобный пасквиль», «антисоветский роман», «клевета», «происки классового врага» звучали со страниц печати и даже академических изданий вплоть до самого последнего времени.

Та же история впоследствии повторялась — будучи однажды уже опробованной — и по отношению к творчеству Ахматовой и Зощенко, и по отношению к «Доктору Живаго» Пастернака и творчеству Платонова, и еще не раз впоследствии. Впрочем, к ответу на этот вопрос мы еще вернемся, когда будем говорить о психологическом и социальном подтексте явлений, описанных Замятиным, о том, насколько точно он сумел предвидеть работу того механизма подавления, который описал сам в своем романе,— работу, проведенную уже по отношению к самому автору.

Задавшись целью показать, к каким последствиям могут привести определенные тенденции, заложенные в современном ему обществе, Замятин создал емкую социально-философскую модель нежелаемого будущего, и именно сейчас настало время поговорить о ее сильных и слабых сторонах, о том, насколько она «работает» сегодня.

Утопическое Единое Государство, изображенное в романе, создалось на Земле через несколько сот лет после разрушительной и катастрофической Двухсотлетней Войны, в результате которой выжило 0,2 % населения земного шара. Причудливый синтез впечатлений от первой мировой войны, военного коммунизма и английской технократии (писатель не раз бывал в Англии и хорошо знал ее) придал раздумьям Замятина вселенский масштаб. Любопытно, что и Дж. Оруэлл в своем романе шел тем же путем, с той лишь разницей, что основой для военных эпизодов послужила ему еще более катастрофическая вторая мировая война, а опыт военного коммунизма совместился с опытом сталинской диктатуры.

Чтобы сохранить остатки цивилизации и самих себя, оставшиеся жители Земли за великой Зеленой Стеной, отделяющей их мир от всего, что находится за его пределами, создали тотально организованное и функционирующее как единый механизм общество. Личностей, людей в точном смысле этого слова в этом обществе нет. Нет у них даже личных имен. Есть только «нумера» — злая пародия на измышления пролеткультовцев, в первые послеоктябрьские годы предлагавших отказаться от личных имен и перейти к номерам.

Это общество, в котором никто не «один», но «один из». Общество строжайшей регламентации, точнейшего распорядка. «Все мы (а может быть, и вы),— признается главный герой романа, математик по «имени» Д-503,— еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод,— но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку в аудиторию, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...»

Обращает на себя внимание определение «шестиколесный» — уродливый синтез идеи всеобщего муравейника, тревожившей еще Достоевского, с достижениями «технического прогресса». Еще одно достижение прогресса — стеклянные дома с правом опустить шторы только в «сексуальный» день, когда в определенные часы, по предварительной записи, разрешаются интимные свидания.

Строжайше запрещено все, что отклоняется от установленного порядка, начиная от алкоголя и никотина, кончая сомнением в справедливости и целесообразности установленного тоталитарного строя. Для надзора существует институт как профессиональных шпионов, так и добровольных доносчиков. Их деятельность наполнена не

просто государственным, а глубоким религиозно-мистическим смыслом: «Как лампады в древней церкви, теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей, себя».

Донос, опоэтизированный как жертвоприношение, как акт священнодействия, как высшее, что может совершить человек в этом «прекрасном новом мире» — такова одна из граней философии рисуемого писателем общества.

Есть в Едином Государстве и свое искусство, и наука. О задачах первого Государственная Газета говорит однозначно: «Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства». Задача науки тоже предельно ясна — она упрочивает и охраняет благосостояние жителей этого государства в дозволенных пределах, а главное — охраняет святость и незыблемость самих этих пределов, святость строя, установленного за Зеленой Стеной...

И наконец, идейное обоснование всего этого режима, его философия. Так же, как впоследствии в своем воображаемом государстве будущего Оруэлл изобразит его идеологию тремя лозунгами: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила», у Замятина изложена концепция мироздания в Едином Государстве, базирующаяся на Ветхом Завете, на якобы извечной тяге человека к состоянию рабства, понимаемого как высшее счастье.

«Древняя легенда о рае... — размышляет один из персонажей романа.— Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах». Горькой иронией наполнено в изложении автора сказание об Адаме и Еве. Действительно, если считать раем изображенный Замятиным мир, то что же тогда ад?

«Мы помогли Богу окончательно одолеть дьявола,— продолжает тот же герой,— это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ёму — ррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это добро, все это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье».

Дилемма свобода или счастье создана, конечно, не Замятиным, но именно в романе «Мы» она приобрела такую направленность. Счастье стало синонимом обывательского «достатка», плата за который относительно невелика — готовность поступиться свободой, тем более что для обывателя слово это испокон веков практически ничего не обозначало. Итак, общество всеобщего материального благополучия и романтический бунт одиночки — вот полюса, определяющие структуру романа. Естественно, что свободный дух воспринимает Единое Государство и все, что с ним связано, как невыносимую муку — в этом корни того протеста, который зреет в изображенном писателем мире.

Еще у Байрона Каин восклицал:

Я сеял, рыл, я был в поту, согласно
Проклятию; но что еще мне делать?
Смиренным быть — среди борьбы с стихией
За мой насущный хлеб? Быть благодарным
За то, что я во прахе пресмыкаюсь,
Зане я прах и возвращусь во прах?
Что я? Ничто. И я за это должен
Ханжою быть и делать вид, что очень
Доволен мукой? Каяться — но в чем?

(перевод И. Бунина)

Этот бунт романтического духа, нашедший впоследствии отражение во многих крупнейших в мировой литературе произведениях, преломившись сквозь призму гротескной социальной фантастики, вновь обнаружил свое присутствие и в романе «Мы». И не мог не обнаружить. Потому что этот дух — знак присутствия бесконечного в конечном, знак свободы и «самостоянья» человека.

В контексте этой традиции вся «теоретическая» база Единого Государства выглядит зловещей карикатурой, сюрреалистическим гротеском, наполняющим прямо противоположным смыслом все близкие человеку и дорогие для него понятия веры, любви, надежды, свободы или счастья. Но именно эти убогие слова-перевертыши, их якобы неразрывная взаимосвязь и необходимость составляют «идейные основы» замятинского чудовищного мира.

Уже многие его произведения, созданные до знаменитой антиутопии, несли в себе начала — пока еще только чисто конструктивные,— из которых будет впоследствии создано здание романа. Сказовые начала, присущие тогда — в 10—20-е годы нашего века — многим писателям, в прозе Замятина неизменно тяготели к своего рода фантасмагоричности, удивительным образом сочетаемой с холодноватой логикой стиля и подчеркнутой «антиэмоциональностью» интонации. Единственное чувство, которое знает Замятин — ирония. Такое впечатление оставляют его рассказы «Бог» (1915), «Дрянь-мальчишка» (1915), «Африка» (1918), «Икс» (1926) и особенно блистательный гротеск «Слово предоставляется товарищу Чурыгину» (1926), от которого, кажется, рукой подать, с одной стороны, к Платонову, с другой,— к Зощенко, а если преодолеть еще два десятка лет — то и к «Скотному двору» Дж. Оруэлла.

«И пишет Степка,— говорит герой рассказа,— что у них теперь на фабрике вполне известно, что насчет бога — это суеверный факт, а напротив того есть книга Маркс, и что в столице Петербурге произошло очень значительное убийство, и потому ждите — в скорости еще и не то будет».

Впрочем, рассказ «Слово предоставляется товарищу Чурыгину» написан уже после антиутопии «Мы» и скорее может представить нам живую реакцию рядовых «нумеров» Единого государства на свой портрет, о котором еще в древности сказано, что «неча на зеркало пенять, коли рожа крива...»

Сказовое начало, переходящее в притчу, в злую и едкую иронию, в обличение уже не просто отдельных несправедливостей отдельного социального строя, будь то капитализм или нарождающийся социализм, а обобщающая сатира на некое изначальное несовершенство всего мирского, земного, сиречь ограниченного, узкого — так, видимо, можно определить некую сверхзадачу замятинского романтического протеста. А то, что его инвективы нашли вполне благодатную почву в конкретную эпоху и показались опасными конкретным людям, то, как говорится, «им же хуже». Таким же точным «стрелком» был и великий сатирик на мироздание Дж. Свифт, до сих пор выглядящий опасным для иных властителей «мира сего».

И вместе с тем, поскольку писатель понял главное в механизме подавления личности: запрет на личную свободу, равнозначный запрету на Правду, то, что Достоевский называл «богоубийством», то даже мелкие прогнозы в романе, рассеянные там и сям на его страницах, оказались провидчески точными.

Пафос мыслей, осужденных Замятиным, пафос насильственного «осчастливливания» в 20-е —30-е годы охватил, словно пламенем безумия, не только рядовых граждан нашей страны, но так или иначе отразился в исследованиях теоретиков, чьи имена прочно вошли в наше сегодня, вошли со знаком «плюс». Но из песни, как говорится, слова не выкинешь.

«Индивидуальную психологию считаю несуществующей»,— писал в 1922 году наш знаменитый педагог А. С. Макаренко, и он же впоследствии развил эту мысль еще дальше: «В диалектике чувств социалистического общества любовь никогда не может быть основанием человеческого поступка». А вот его же раздумья о коллективном воспитании (1936): «Нормальный тон может быть только один. Прежде всего он должен отличаться явной мажорностью...

Мажор в коллективе должен иметь очень спокойный и крепкий вид. Это прежде всего проявление внутреннего, уверенного спокойствия, уверенности в своих силах, в силах своего коллектива и в своем будущем. Этот крепкий мажор должен принимать вид постоянной бодрости...»

А ведь аналогичные мысли можно безо всякого труда найти в сочинениях почти любого теоретика тех лет. И это тем более удивительно, что тому же Макаренко принадлежат замечательные слова: «Самым опасным моментом еще долго будет страх перед человеческим разнообразием... Поэтому у нас всегда будут жить попытки остричь всех одним номером, втиснуть человека в стандартный шаблон».

Причудливое сплетение правды и лжи в самой атмосфере общества растущего тоталитаризма и породило двойственность идеологии, непрерывно балансирующей между правдой и ложью. Но призывы беспощадно расправиться со всеми, кто мешает «всеобщему счастью», очень быстро обнаружили свою обоюдоострую природу — от высокопоставленных партийных деятелей, павших жертвами словно накликанных ими репрессий, до рядовых ученых, писателей, деятелей культуры и искусства, которые порой выглядят фантастическими персонажами, сошедшими со страниц Замятина, в ослеплении исступленно призывающими «искоренять», «ликвидировать», «истреблять», «уничтожать» по первому призыву свыше... В разжиженном и, несомненно, более разбавленном виде эта волна докатилась до середины восьмидесятых, в последнее десятилетие перейдя в серию анекдотов, лишний раз подтвердивших истину, что «человечество смеясь расстается со своим прошлым»...

Однако расстается ли навсегда или только на время? Здесь возникают новые вопросы, ответить на которые роман Замятина, увы, не может. Да, в общем-то, и не должен. В своей задаче — создать блистательную пародию на заземленное, принципиально бездуховное общество, будь оно «казарменным коммунизмом» или «машинным раем» — писатель, вероятно, и не искал каких-то конкретно-исторических решений и ответов. Потому и время действия отнесено к неопределенно далекой эпохе.

И все же образ диктатора — в романе он выступает как Благодетель — занимает у писателя важное место. Важное не тем, что ему уделено много места и его сверхчеловеческое величие поражает сознание, как это происходило не раз при близком знакомстве с диктаторами прошлого (вспомним потрясение Гете при беседе с Наполеоном или восторженное преклонение Макиавелли перед Цезарем Борджиа, герцогом Валентино). Важное иным — тем неожиданным ощущением какой-то внутренней пустоты и даже мелочности Благодетеля, которое возникает и у героя романа, и у автора, и у современного читателя.

Благодетель выглядит откровенно примитивным, его мысли не выходят за круг банальных понятий, его чувства убоги и жалки, а воля невелика. Более того, обыч-

ный животный страх оказывается едва ли не главным руководящим мотивом всех его поступков. В сравнении с ничтожным замятинским «Благодетелем» действительно значительным выглядит даже Великий инквизитор в «Братьях Карамазовых». В чем же тут загвоздка? Верховный властитель становится воплощенной персонификацией вселенской пошлости — сплошное общее место, за которым ничего — ни мысли, ни дела, ни личности. Некий мираж, возникший в пустыне, мираж, тщательно поддерживаемый и охраняемый — и Зеленой Стеной, и особыми шпионами-Хранителями, и...

И теми, кому этот образ великого, верховного и мудрого Благодетеля, вождя и Отца народов, Старшего брата необходим для собственного, может, не столь внешне блестящего и величественного, но зато реально обеспеченного властью и привилегиями существования. Замятин подводит читателя к этой мысли, но далее предоставляет его себе самому.

Власть привилегированной группы... Эта проблема на рубеже 20-х годов лишь слегка просматривалась. В полный рост она встала уже позже, хотя и ныне мы едва ли видим более, чем вершину айсберга. Айсберга, составленного усилиями многих тысяч и миллионов людей, о который разобьется еще не один грядущий «Титаник».

«Благодетель» в романе — лишь верхняя соломинка в сложном здании муравейника Единого Государства. Величие, приданное ему — плод усилий реальных руководителей этого государства, предпочитающих оставаться за сценой, и одновременно плод недомыслия и самообмана оболваненных «нумеров», населяющих этот государственный концлагерь.

Вопросы, вопросы, вопросы... При чтении романа их возникает множество. Механизм власти, созданной не на основах, уходящих в сферу бесконечного добра и предвечной милости, неминуемо становится механизмом угнетения и подавления. Стремление к повседневному благополучию ведет к духовной деградации. Точно сказано об этом в романе: «... работа высшего, что есть в человеке — рассудка — сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко переваримые порции...»

Это ли не идеал пошлости: бесконечность, расписанная по параграфам «для служебного пользования». Кому не памятна знаменитая сказка Г. Х. Андерсена «Снежная королева» — и та ее сцена, когда уязвленный осколком дьявольского зеркала мальчик Кай упорно пытается в чертогах своей повелительницы сложить из льдинок слово «Вечность»... Как известно, это не получилось. Не получилось и в замятинском Едином Государстве.

Не получилось и позднее — и при Сталине, и при Гитлере, и при Пол Поте. Какими бы ни были сильными стремления той или иной мафии, одетой в одежды какого угодно цвета, но не в «белые одежды», если воспользоваться метафорой, счастливо найденной В. Дудинцевым, расчленить вечность, единство и неделимость души человека ей не удастся.

Борясь с дьявольской, обывательской, повседневной «чертовщиной» мещанского сознания, чертовщиной, которая способна породить и порождает бесконечно самые дикие и уродливые фантасмагории, жуткие и кровавые или просто вызывающие насмешку, Замятин, как и его мудрый современник Булгаков, не получивший «розового билетика» при своей жизни от властей предержащих и даже не вышвырнутый за рубеж, шли, конечно же, путем Гоголя — великим путем русской сатиры.

Смех сквозь слезы, гротеск — в котором корчится боль затравленной души — так можно, видимо, точнее всего определить духовную сущность романа, в котором, как и встарь, мы снова и снова различаем бесконечные вереницы «мертвых душ», возведших в перл создания свое тоскливое и жалкое состояние и претендующих на то, чтобы и в немногих сохранивших человеческий облик загасить искорку жизни, любви, свободы и надежды.

Строго говоря, в романе «Мы» перед нами действует уже не человечество в точном смысле этого слова — и даже не притчевый «Скотный двор» Дж. Оруэлла, а нечто иное — уровень воплощения и приятия вселенской пошлости, «мелкого беса» достиг того, что человеческая индивидуальность находится буквально на грани исчезновения, человек становится как бы лишь клеткой некоего «Сверхорганизма», элементарным «белковым образованием»... Эта грань сатиры Замятина в романе тоже намечена, но не раскрыта.

Однако давно уже известно, что объять необъятное нельзя. Тем и важен роман сейчас, что тревожит, будит ищущую мысль, не дает ей покоя, зовет к тому, чтобы «перестройка» завершилась не построением хозрасчетного муравейника мнимоблагополучного Единого Государства со всеми внешними приметами изобилия, а привела к подлинному духовному возрождению народа, к новым, доселе, может быть, неведомым измерениям свободы духа. Вот почему последнюю страницу романа мы закрываем с осторожной, но все-таки надеждой: мы теперешние — не «они» у Замятина...

Литературное обозрение

НОВЫЕ ЖАНРЫ ЭКОНОМИСТОВ

Л. И. Абалкин. Перестройка: пути и проблемы. Интервью с академиком. Изд-во «Экономика», М., 1988;
Г. С. Лисичкин. Тернистый путь к изобилию. Очерки. Изд-во «Советский писатель», М., 1988.

Леонид Иванович Абалкин — академик, директор Института экономики Академии наук СССР. Геннадий Степанович Лисичкин занимает в экономической иерархии видное, но более скромное место. Однако у них есть, по крайней мере, три (кроме профессии) общие черты, которые проявились и в их недавно вышедших книгах.

Во-первых, эти люди принадлежат к одному поколению. Их первые шаги в науке пришлись на время XX съезда КПСС, годы больших надежд, когда после долгих лет оцепенения экономическая наука снова, хотя и с немалым трудом, стала привыкать к критическому анализу, борьбе мнений, поискам нового. Первая книга Абалкина «Планомерное развитие и пропорции мирового социалистического хозяйства» вышла в 1965 г., когда пропорции эти представлялись вполне подвластными директивным указаниям, а планомерное развитие — естественным продуктом деятельности государства.

Во-вторых, оба автора хорошо известны среди экономистов как люди, умеющие выдвигать новые идеи и отстаивать их до конца, невзирая на неудовольствие коллег. В книге Лисичкина первый и последний очерк разделяют 11 лет. Многие экономисты за эти годы совершили небывалые пируэты в своих воззрениях. Лисичкин оставался на той же позиции, суть которой автор послесловия в книге А. Стреляный выразил словами: «Социализм мысли против „социализма чувства“». Рецензент лет десять назад по просьбе молодежной программы Ленинградского телевидения «Горизонт» рассказывал о вышедшей в то время книге Лисичкина. Речь шла о необходимости социалистического рынка: как потратить свои деньги, должен решать тот, кто честно их заработал, идет ли речь об отдельном человеке или целом предприятии, а не чиновник, который не несет никакой ответственности за свои решения. В 70-х годах такая позиция вызывала тихий ужас. Считалось, что лишь мудрое государство может знать, что человеку, а тем более предприятию надо. Для меня это выступление в «Горизонте» было последним, а Лисичкин продолжал исследовать эту тему.

Абалкин одним из первых разработал концепцию хозяйственного механизма — тонкой и сложной сети организационных и экономических отношений, которые представляют собой промежуточное звено между объективными экономическими законами и экономическим мышлением людей, их реальным поведением. Большинство политэкономов в те годы считало, что это не входит в предмет их науки. Их дело — формулировать законы, подтверждая эти формулировки цитатами, а то, почему эти законы не действуют, почему большинство людей и организаций действуют вопреки их требованиям, — это уже не забота политэкономов, этим пусть занимаются партийные и государственные органы. Многие годы экономические монографии у нас покупали лишь те, кто сам собирался писать монографию или защищать диссертацию. Абалкин вслед за В. С. Немчиновым и В. В. Новожиловым вырвался из этой цепи сообщающихся сосудов. Однако именно ему на XIX партийной конференции предъявляли претензии за общий застой политической экономии.

Есть и третья общая черта у названных авторов. Они не ограничиваются работами, рассчитанными на специалистов. В Институте экономики проводятся исследования о новом качестве экономического роста, социалистическом рынке, экономическом

соревновании и борьбе с монополизмом, кооперации, теории хозяйственного механизма и управления, истории экономических реформ, структуре отношений социалистической собственности. Здесь Абалкин выступает в жанре интервью с советскими и иностранными журналистами. Как он сам считает, это новая, рожденная динамизмом происходящих перемен форма общения с читателем. Она позволяет оперативно откликнуться на волнующие людей вопросы, освобождает от необходимости пересказа общеизвестных положений, создает ощущение непосредственной связи с аудиторией и в то же время немалый задел для книг и учебников.

Очерк — жанр, избранный Лисичкиным,— также получил широкое признание в годы перестройки. Без преувеличения, миллионы людей, многие из которых никогда не держали в руках монографий, приобщились к живому обсуждению экономических проблем благодаря работам Валового, Селюнина, Г. Х. Попова, Шмелева и других. Автор монографии может, подобно орлу, парить в высотах абстракции, лишь изредка поглощая земную добычу, очеркист же или собеседник журналиста подобен пчеле, которая вынуждена облетать каждый конкретный цветок, ни на минуту не отрываясь от земных дел.

В выступлении на партконференции Абалкину особенно удался один аспект: он показал сложность стоящих перед нами проблем, глубину и необходимость перестройки в экономике, отсутствие других альтернатив, трудности перехода к новому экономическому мышлению. Оппоненты поставили перед ним еще два вопроса. Какова позитивная программа, выдвигаемая экономической наукой? Какова связь реформ в экономике и политике? Найти ответ на эти вопросы можно в рецензируемых работах.

Есть ли общий корень у всех отрицательных явлений в нашей экономике, как бы разнообразны они ни были? — спрашивает Лисичкин. Есть ли своеобразная таблица Менделеева, объясняющая эти явления? Дело здесь не только и не столько в несознательности или недисциплинированности руководителей или ошибках плановиков,— отвечает он. Проблему не решить обучением, воспитанием или подбором «железных» начальников на все важные должности, не решить и подчинением своих интересов интересам высшим. Нужно отказаться от многих догм, которые десятилетиями проповедовались экономической наукой. Догм о роли кооперации, товарно-денежных отношений, планомерности при социализме, о сути распределения по труду. Лисичкин немало поездил по стране. Свои выводы о недопустимости отношения к кооперации как групповой, а потому ущербной, неполноценной форме собственности, сделанные еще в 60-х годах, он подтверждает обстоятельным рассказом о хозяйствах Ставрополья, Крыма, Молдавии, Белгородской и многих других областей. На опыте Венгрии и ГДР показано, что ленинский подход к кооперированию крестьянства, без трагических событий нашей коллективизации, позволил этим странам обеспечить высокую производительность сельского хозяйства, устойчивое снабжение населения, значительный экспорт мясопродуктов. А ведь земли, особенно в ГДР, гораздо беднее наших черноземов. У нас же богатыми остались лишь те колхозы, которые сумели сохранить товарный характер своей экономики, воспротивиться административному нажиму, привлечь работников к непосредственному решению тех вопросов, от которых зависит судьба хозяйства. Многие руководители были наказаны за свою инициативу. Нельзя без волнения читать очерк о Н. А. Снимщикове, которому на суде предъявлялись обвинения, что он разлагает народ высокой оплатой (за счет развития промыслов) и из карьеристских побуждений расширяет строительство жилья.

Многие очерки носят острополемический характер. Перед нами проходят экономисты, партийные работники, хозяйственники, которые считают, что уровень зарплаты должен зависеть не от конкретных результатов труда, а лишь от его общественной производительности, то есть от общего котла, а не итогов своей работы, что план — это обязательно директива, установленные наверху детальные показатели по выпуску конкретных видов продукции и фонды на материалы, а закон стоимости — враг нашего планового хозяйства. Такой подход разделяет общество на управляющих, которые могут дать ресурсы, а могут и не дать, могут утвердить, а могут и отказать, и управляемых — исполнителей, которые лично ни в чем не заинтересованы и ни за что не отвечают. Не со всеми конкретными выводами Лисичкина можно согласиться. Так, в большинстве случаев не оправдали себя защищаемые им громадные межхозяйственные комплексы по производству мяса, созданные в 70-е годы в Молдавии. Однако в целом его позиция прошла проверку жизнью.

Абалкин исходит из того, что курс на ускорение не является чисто экономическим, а включает развитие демократических начал в общественной жизни, политические, социальные и духовные преобразования, подъем культурной жизни. Он предлагает ввести раздельное и поименное голосование депутатов по важнейшим законопроектам, считает, что реформа 1965 г. потерпела неудачу, ибо проводилась как автономная, без комплексного преобразования политической системы. В книге, на наш взгляд, нельзя найти следы экономического детерминизма, хотя автор и считает, что положение человека как хозяина стра-

ны должно иметь прежде всего экономические корни, а в основе ускорения или замедления развития народного хозяйства лежат экономические причины.

В чем же состоит позитивная экономическая программа, конечно, с учетом того, что она излагается в беседах с массовым читателем, а не в докладной записке в Госплан? Прежде всего речь идет о преобразовании отношений собственности: ее формы должны стать многообразными, кооперация возрождается как эффективный способ сочетания личных, коллективных и общественных интересов, а главное — на основе подряда рабочий становится хозяином и на государственном предприятии. Абалкин отвергает расхожие взгляды о том, что рабочий, простояв всю смену у станка, не может реально влиять на работу коллектива и его оплата не должна зависеть от сбыта и качества конечной продукции предприятия. Главная задача экономической науки — до конца выяснить, почему экономика, основанная на общем владении средствами производства, нередко оказывалась неэффективной, малоподвижной, невосприимчивой к нововведениям.

Одним из первых Абалкин показал, что путь ускорения — не увеличение темпов роста производства всех видов продукции, а новое качество этого роста. Нам не нужно увеличивать выплавку стали, выпуск металлорежущих станков, обуви и т. д. Поэтому темпы в конце этого века могут и должны быть ниже, чем в начале 70-х годов. Главное — структурная перестройка, смена ассортимента продукции.

Полный хозрасчет автор рассматривает как способ объединения противоположностей — плана и рынка. Полный хозрасчет предполагает самоокупаемость не только текущей хозяйственной деятельности, но и технического перевооружения предприятий, самоуправление в сфере стратегических решений, существенное усиление дифференциации доходов в соответствии с реальным трудовым вкладом. Все, что двигает экономику вперед, не приводя к эксплуатации и угнетению определенных социальных групп, соответствует идеалам социализма. В то же время, в отличие от ряда своих «ленивых» коллег, Абалкин ясно видит, что хозрасчет — только звено общей системы. Крупные структурные сдвиги могут осуществиться только на основе централизованных плановых решений, конкурсного распределения ресурсов, в первую очередь тем, кто способен использовать их с большей эффективностью, вернуть с процентами. Сторонники «рыночного социализма», которые полагают, что товарно-денежные отношения способны заменить план и решить все проблемы, призывают нас вернуться в прошлый век. Сегодня и капитализм предполагает государственное регулирование (яркий пример — Япония), ведущую роль транснациональных монополий. Рынок должен регулировать соответствие производства изменяющимся потребностям, но не может обеспечить развитие принципиально новых направлений в науке и технике. С этих позиций автор рассматривает роль государственных заказов, контрольных цифр, экономических нормативов, развивающих ленинскую идею продналога. С этих позиций он обосновывает сохранение социальных дотаций (например, на жилье в пределах нормы), отличие экономического соревнования от конкуренции (многие сейчас рассматривают эти понятия как синонимы), роль министерств как нехозрасчетных органов, призванных руководить не предприятиями, а отраслью, ее выводом на мировой уровень, а не выполнением квартальных планов.

Не во всех случаях мысль автора идет впереди практики хозяйствования. Как заинтересовать коллектив в освоении принципиально новых технологий, которые дадут громадный эффект, но лет через 10, когда одни уйдут на пенсию, другие найдут работу поближе к жилью, а самого директора, возможно, переизберут?

Абалкин видит, что это «требует формирования каких-то новых теоретических концепций». Но ведь практика уже использует для этой цели акционерные формы социалистического хозяйствования. В прочем, остановимся. Один читатель сегодня способен задать столько вопросов, на которые не ответит и сотня мудрецов. Прочитайте эти книги сами.

Леонид Бляхман,
доктор экономических наук

НА СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТОВ

А. Г. Кавтарадзе. Военные специалисты на службе Республики Советов. 1917—1920 гг. Изд-во «Наука», М., 1988.

В становлении Советской Республики, в ее защите и строительстве значительна роль интеллигенции. Уже 29 октября (11 ноября) 1917 года Совет Народных Комиссаров обратился с воззванием «К интеллигенции России», призывая ее принять участие в социалистическом строительстве. В начале 1918 года интеллигенция страны

насчитывала около миллиона человек. Значительный отряд ее составляли бывшие генералы, адмиралы и офицеры старой армии и флота. Роль этой социальной группы была исключительно велика: из ее состава формировались командные кадры Красной Армии и Красного Флота. Работа по привлечению буржуазных специалистов, в том числе военных, проводившаяся под неослабным руководством В. И. Ленина, была новым и сложным делом. Ее содержанием была борьба за интеллигенцию, за изменение отношения к ней со стороны трудящихся масс. Понятно, что изменить отношение к привлекаемым в Красную Армию и Красный Флот было особенно трудно. Между тем без использования в качестве военных специалистов бывших генералов, адмиралов и офицеров не могло быть и речи о создании необходимых советской власти вооруженных сил.

В течение десятилетий в нашей исторической литературе (да и в художественной также) утверждалось, что большая часть бывших офицеров старой армии пошла на службу контрреволюции, составила ядро белогвардейских армий. О той же части, которая привлекалась в Красную Армию и Красный Флот, говорилось, что в ней в большом числе оказались предатели и шпионы, понесшие заслуженную кару. Эти ошибочные стереотипы, порожденные эпохой культа личности И. В. Сталина, впервые нашли всесторонне достоверное и доказательное опровержение в этой книге.

На обширном архивном материале автор анализирует социальный, культурный и имущественный состав офицерского корпуса старой армии. Важен его вывод о том, что к осени 1917 года офицерский корпус включал почти всех мужчин России, имеющих какое-либо образование и годных к военной службе. Причем прапорщики (первый офицерский чин), составлявшие не менее 50 % от общего числа офицеров военного времени, в подавляющем большинстве (80 %) происходили из крестьян и только 4 % были из дворян. Знаменателен и вывод автора, что кадровые офицеры армии, за редким исключением, не имели иных доходов, кроме жалованья. Лишь офицеры некоторых привилегированных полков гвардейской кавалерии обладали земельной собственностью или капиталом.

В ходе первой мировой войны произошло значительное «полевение» большинства офицеров. Это проявилось, как указывает автор, в том, что из 250 тысяч офицеров армии лишь менее 3 % сразу же с оружием в руках выступили против Октябрьской революции. В то же время ряд генералов и офицеров активно сотрудничали с советской властью с первых дней ее существования. Так, генерал Н. М. Потапов принял от СНК назначение начальником Генерального штаба. С началом наступления германских войск после срыва Л. Д. Троцким Брестских переговоров В. И. Ленин 22 февраля принял группу генералов Ставки в Смольном. В те дни генералы и полковники возглавили боевые участки, созданные для отпора стремительно наступавшим кайзеровским дивизиям. Инженерную оборону Петрограда тогда возглавил генерал К. И. Величко.

До октября 1918 г., в начальный период формирования Красной Армии, в ее состав добровольно вступили 8 тыс. офицеров и генералов. Начавшаяся интервенция Антанты, все усиливавшийся пожар гражданской войны вызвали необходимость создания многомиллионной армии. В ее рядах оказалось 70—75 тыс. бывших офицеров и генералов, то есть треть офицерского корпуса старой армии в 1917 г. По подсчетам автора, в их числе было 775 генералов, 1726 полковников и подполковников. Около трети офицерского корпуса не приняло участия в гражданской войне, и приблизительно 40 % влилось в белые армии. Бывшие генералы и офицеры внесли существенный вклад в защиту Республики Советов. Они руководили высшими штабами и фронтами, штабами фронтов и военными округами, военно-учебными заведениями, командовали армиями и дивизиями. Так, фронтами командовали Ф. М. Афанасьев, И. И. Вацетис, В. М. Гиттис, А. И. Егоров, В. Н. Егорьев, С. С. Каменев, П. П. Лебедев, М. А. Муравьев, Д. Н. Надежный, В. А. Ольдерогге, Д. П. Парский, А. А. Самойло, М. С. Свечников, П. А. Славен, П. П. Сытин, М. Н. Тухачевский и В. И. Шорин. Все они, за исключением подпоручика Тухачевского, в старой армии имели звания генерала, полковника или подполковника. Из 100 командующих армиями были бывшими офицерами 82; 93 бывших офицера служили начальниками штабов армий (49 из них были из офицеров Генштаба); из 485 начальников дивизий лишь около 10 % не были в прошлом офицерами. Приведенные цифры говорят о многом.

Рассматривая вклад офицерского корпуса в разгром армий интервентов и белогвардейцев, буржуазно-националистических формирований в ходе гражданской войны, автор справедливо отмечает, что, за небольшим исключением, военные специалисты честно выполняли свой воинский долг. Сделать это было не всегда легко. Зачастую бывших офицеров и генералов оскорбляли недоверием, подвергали необоснованным репрессиям. Тяжелым было материальное положение офицеров и генералов, не служивших в Красной Армии, т. к. практически прекратилась выплата военных пенсий вышедшим в запас или отставку и до революции и после нее, а также членам семей погибших на фронте. Между тем отчисления на эти пенсии шли из жалованья офицеров в течение всей их службы до Октябрьской революции.

Книга Кавтарадзе имеет, как я думаю, и большое нравственное значение. В ее тексте и многочисленных таблицах приведены фамилии многих офицеров и генералов, служивших в Красной Армии в 1917—1920 гг. в высших штабах, командовавших фронтами и армиями и т. д. Многие, слишком многие из них погибли в годы сталинских репрессий. Теперь мы можем узнать имена этих настоящих патриотов Родины, русских военных интеллигентов, сумевших подняться над кастовыми предрассудками, пренебречь не раз оскорбленным самолюбием и в трудные годы гражданской войны отдать народу все свои знания, весь свой воинский талант.

Уверен, что книга Кавтарадзе с большим интересом будет прочитана всеми, кому дорого наше военно-историческое наследие, кто хочет знать героическое прошлое Отечества без «белых пятен». Этот труд — итог многих лет самоотверженной работы историка — должен встать на полки библиотек ветеранов войны и Вооруженных Сил, наших офицеров — всех, кому дорого героическое прошлое Республики Советов. И хочется надеяться, что издательство «Наука» в дальнейшем даст читателям и соответствующий труд о военных специалистах РККФ — Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

С. Зонин

ДВОЯКОЕ ЧУВСТВО ВОЗНИКАЕТ...

Анатолий Калинин. Запретная зона. Роман. «Дон», № 1—2, 1988.

Что ни говорите, а с годами, читая каждое новое произведение Анатолия Калинина, всякий раз убеждаешься в том, что страницы, посвященные войне, людям, прошедшим через горнило «сороковых»,— лучшие в его прозе. И в послевоенные годы бывшие солдаты отличаются от других той же нравственной чистотой и фронтовой дружбой, о которой испокон веков говорят: «Нет уз святее товарищества».

Об этих героях, об их солдатской дружбе писатель часто вспоминает то в одном, то в другом произведении. И получается, что Анатолий Калинин все эти годы пишет как бы одну-единственную книгу, хотя она и выходит под разными названиями. Некоторые герои пришли из романов, написанных еще в годы войны, но значительно переработанных в последние годы. Это Щербинин, Луговой, Греков и многие другие, вплоть до безымянного «цыгана из полковой разведки», который упоминается в романе «На юге».

Вот и в новом романе, о котором пойдет здесь речь, мы встречаем Павла Щербинина, ныне члена ЦК партии, а нам памятного по роману «Товарищи» как коммунист-подпольщик, полковника Привалова, известного по роману «Цыган», Грекова и Лугового, о которых как о командирах-фронтовиках прочитали в романе «На юге». Позже Луговому, его послевоенной судьбе Калинин посвятил роман «Гремите, колокола!», а Грекову — роман «Запретная зона».

В «Колоколах» Грекову дана его друзьями отличная, емкая по содержанию характеристика, которой он остается верен и в новом произведении: «Он никогда не выпячивался ни на фронте, ни после войны, всегда предпочитая оставаться в тени и радуясь успехам своих друзей не меньше, если не больше, чем своим. Между тем и на фронте он не прятался за чужие спины...» Там же упоминается, что Луговой не встречался с Грековым «с тех самых дней, как его после Цимлянской стройки взяли оттуда, из политотдела, на работу в Москву...»

«Запретная зона» (первая часть) была напечатана в 1963 году, «Гремите, колокола!» — в 1966-м.

Писатель строго социального зрения, живущий исключительно проблемами современности (таким он сложился в сознании читателей за полвека своей литературной деятельности), Анатолий Калинин года два назад вдруг резко изменяет, на первый взгляд, своим привязанностям, возвращается к старому роману, первая часть которого была опубликована в «Огоньке» более четверти века назад, правит его и печатает теперь уже весь (три части) в журнале «Дон». Роман этот — «Запретная зона». Он посвящен незабываемым в народной памяти событиям, связанным с завершением в начале 50-х годов строительства Цимлянской ГЭС и образованием огромного водохранилища, целого моря, затопившего сотни гектаров плодородных земель, сады и виноградники, станицы и хутора, жители которых нехотя переселились в основном на правый, возвышенный берег Дона.

Этой драматической в жизни коренного населения эпопее, связанной с появлением «первенца великих строек коммунизма» (ГЭС по берегам русских рек), посвящено немало произведений советской литературы, в том числе известный в нашей стране и за рубежом роман «Память земли» ростовского писателя Владимира Фоменко.

Это сегодня в газетах и журналах открыто пишут о том, что по воле Сталина была отброшена рациональная схема воссоеди-

нения Волги и Дона и была принята нелепая схема возведения подпорного узла в Цимлянском створе, что потребовало затопления обширной плодородной поймы Дона с ее знаменитыми виноградниками, что канал строили в основном заключенные (ЗК), что тогда было положено начало порочной практике перевыполнения плановых работ за счет снижения их качества, которое маскировалось парадными рекордами суточной укладки бетона. (См. об этом, например, в журнале «Коммунист», № 2, 1988.)

А в 50—60-е годы о Волго-Доне писали иначе. И Анатолий Калинин писал иначе. Вспомним хотя бы его газетный очерк «Рассказ казачки» (1952). Это теперь герой «Запретной зоны» полковник в отставке Привалов с возмущением говорит о том, что затоплены благодатные донские займища, куда ходила нерестовать чудо-рыба, где паслись табуны чудесных лошадей.

Двоякое чувство возникает при чтении «Запретной зоны» у тех, кто читал первую часть романа двадцать пять лет назад. С одной стороны, это как бы встреча со старым другом, а с другой — с полузнакомым человеком, в котором трудно угадать, рассмотреть близкие когда-то черты. «Вмешательство» автора в первоначально изданный текст не всегда, к сожалению, касалось только формы произведения. Например, обозначились другие причины смерти жены Автономова, а также появления путевки на Черное море у Алеши Грекова, изменилась до неузнаваемости сцена первой встречи Василия Гавриловича Грекова с Зинаидой Махровой в станице Приваловской... Да и новая первая глава романа, в которой читатель знакомится на палубе парохода с руководителями стройки Автономовым и Грековым, слышит их беседу с бесконечным игривым повторением мысли «донской Вандее», напоминает (даже повторяет в главном) известную по первой публикации и оставшуюся теперь задушевную беседу этих героев на гребне плотины в один из поздних летних вечеров...

Появление «Запретной зоны» в начале 60-х годов было закономерно в творчестве Анатолия Калинина, вызвало большой интерес у читателей. Идти за сегодняшним днем, зорко улавливая и художественно запечатлевая общественные настроения и нравственные искания времени,— задача не из легких для писателя. Роман о тех, кто строил Цимлянский гидроузел, о командирах и рядовых, о вольных и заключенных, о судьбах тех, кто невинно попал в зону,— такой роман и его продолжение жадно ждали. А он в завершенном виде появился только через четверть века.

Почему? Кто мешал? Судя по авторскому вступлению к новой журнальной публикации, никто не мешал писателю рассказать об одном эпизоде того исторического времени, да и сейчас, готовя старую рукопись к печати, он не сделал якобы поправок задним числом «на время».

Соглашаясь с этим, хочется сказать: может быть, именно это, последнее (отсутствие острой злободневности), и снизило читательский интерес к публикации «Запретной зоны» в журнале «Дон». Другие времена — другие песни. Жизнь наша настолько усложнилась, стала настолько стремительной, что, право, писателю порой нетрудно ошибиться, приняв явление за сущность. Вот почему читатель ищет в романе других «зэков», не только Коптевых, осужденных, как и он, невинно, но по другим причинам и статьям... Он ищет в книге, в чувствах писателя и героев так необходимое сегодня (как, впрочем, и во все времена) чувство исторической перспективы. Без этого немыслимо наше нынешнее духовное существование.

Нельзя, конечно, отрицать, что в новом романе Калинина — целое богатство положительных типов и характеров советских людей, особенно — прошедших войну и молодых, только поднявшихся к самостоятельной жизни.

Яркой, хотя и противоречивой фигурой крупного руководителя сталинской эпохи является Автономов — начальник строительства Цимлянской ГЭС. В этом образе угадывается реальное лицо — В. А. Барабанов — герой многих строек, а также и романов известных советских писателей. Что это был за человек? Волевой, трудолюбивый, широко мыслящий организатор большого дела. Однако, как пишет Калинин, Автономов больше всего не любил, даже презирал в людях сентиментальность. Он считал — раз страна в походе, надо идти вперед без оглядки на слезы и несчастные судьбы... Во имя великой цели, убеждал он себя и других, приходится и в мирные дни нести жертвы...

Рядом с ним — духовно более богатый, нравственно более честный и цельный человек — партийный руководитель стройки Греков. Писатель показал нам искреннюю заинтересованность настоящего коммуниста в судьбах простых людей — строителей гидроузла и колхозников придонской станицы, он не равнодушен к их поступкам и мыслям, верит в лучшие качества каждого советского человека. Греков пытается разобраться и помочь находящимся в запретной зоне Дмитрию Коптеву, Молчанову и другим.

Писатель уделил большое внимание, правда, только в начале романа, и семейной жизни Грекова, его взаимоотношениям с сыном от первого брака Алешей, со второй женой Валентиной Ивановной. Назревал серьезный, острый, поучительный для молодежи сюжет. Но, к сожалению, острота этого сюжета ушла из романа как-то незаметно, уступив место другой сюжетной линии: Греков — Паша Кравцова... Эпизоды, рассказывающие о романтических вза-

имоотношениях этих двух добропорядочных людей, познакомившихся еще в годы коллективизации, как-то не стыкуются, диссонируют с прямолинейно, грубовато написанной сценой ухаживания Автономова за Валентиной Ивановной — женой Грекова. Ненужной выглядит, как мне кажется, эта сцена на пароходе в общем контексте романа, в общей характеристике названных героев, отличающихся высоким благородством.

По-своему интересны сложные судьбы молодых героев романа — будь то Тамара Чернова и Игорь Матвеев или Зинаида Махрова и Дмитрий Коптев. Их любовь, их жизнь проходят через суровые испытания и от этого становятся еще крепче и светлее.

А рядом с молодыми ходит зло. Оно то в лице грязного эгоиста и карьериста инженера Гамзина, то в лице прожженной мещанки Клепиковой — жены одного из руководителей стройки, то в лице молодого строителя из «зэков» Молчанова, не сумевшего разобраться в сложившейся вокруг него обстановке, поверившего в последнюю минуту рецидивистам и в праздничный день открытия Волго-Дона поднявшего руку на друга-комсомольца Федора Сорокина... Из-за него не пришел и никогда не придет больше Федя на свидание с любимой девушкой... А над донской степью и цимлянской волной гремела музыка, «напоминая о том, что ничто и никогда не повторяется на земле».

На этой ноте заканчивается роман.

Мне кажется, что и писателю не надо было «повторяться», издавая старую рукопись романа без глубокого ощущения перспективы. Читатель, внимательно следящий на протяжении многих лет за творчеством талантливого донского прозаика, не может не почувствовать этого. Ложка не к обеду. Вряд ли читатель (да и сам автор) назовет «Запретную зону» сегодня (именно сегодня!) новым шагом в творческом развитии писателя. Помнится, Шолохов называл подобные «танцевальные па» както иначе...

Хотя, повторяю, по богатству типов и характеров людей 50-х годов, по достоверности в передаче примет быта и духа того времени, по лиризму донских пейзажей и психологической глубине и тонкости в обрисовке интимных чувств героев, короче говоря, по художественному мастерству роман «Запретная зона» не уступает некоторым произведениям и самого Калинина, и современной российской прозы, не говоря уж о донской...

Вл. Котовсков

ВМЕСТЕ И РЯДОМ

Слонимский М. Завтра (Проза. Воспоминания). Изд-во «Советский писатель», Л., 1987.

«Из литературного наследия Михаила Слонимского с годами все более выдвигаются, становятся дороже литературные воспоминания»,— отметил в предисловии к этой книге Д. Гранин. В таком замечании можно было бы усмотреть некий негативный подтекст: мол, работа Слонимского в литературе не самоценна и важна прежде всего тем, что соприкасалась с творчеством индивидуальностей более ярких и первостепенных, например: Михаила Зощенко, Всеволода Иванова, Константина Федина. Тем более что в мемуарных произведениях Слонимский сознательно уходит — в отличие, скажем, от Валентина Катаева или Вениамина Каверина — на вторые роли по отношению к тем, о ком пишет.

Но этого подтекста, конечно, нет. О Слонимском можно сказать так, как он сам сказал в воспоминаниях о Николае Тихонове: его произведения «прозвучали и сразу же покорили тогда, когда еще не вошли в наш быт слова «советская литература», «советский писатель». В ту пору еще не отгремели последние бои гражданской войны, в ту пору советская литература только рождалась: она еще не имела своих традиций, а лишь начинала создавать их». И, несомненно, весь полувековой творческий путь писателя — от первой книги рассказов «Шестой стрелковый» и семейной хроники «Лавровы» до послевоенных романов о людях технического труда и науки «Инженеры», «Друзья», «Ровесники века» — одна из живых ветвей нашей литературной истории.

Однако воспоминания Слонимского со временем действительно становятся дороже. В самом общем плане — благодаря качественно новой ситуации в общественном и литературном процессе. Повальное увлечение (впрочем, часто поверхностное) современного читателя литературой двадцатых — начала тридцатых годов с ее отчетливым эстетико-философским «плюрализмом» и стилевым разнообразием, интерес к жизненно противоречивым творческим личностям является сейчас закономерной реакцией на недавнюю интеллектуальную жажду, утолить которую можно только «из реки по имени Факт».

И воспоминания Слонимского, хотя и написанные главным образом в середине 60-х годов, не тускнеют в ряду самых свежих материалов, посвященных тем, кто вместе с автором составлял знаменитую литера-

турную группу «Серапионовы братья», а также Александру Грину, Корнею Чуковскому, Евгению Шварцу, Борису Пильняку и многим другим. Пожалуй, они даже выгодно отличаются от некоторых новых публикаций нескороспелостью суждений, точностью психологических характеристик, тщательной работой над фразой, одним словом, всем тем, что может сделать воспоминания явлением художественной прозы.

В начале мая 1921 года Максим Горький писал Слонимскому: «...надо бы мне поговорить со всей компанией вашей по вопросу об альманахе, который вам следовало бы сделать». Под веселым и каким-то не очень обязательным словом «компания» Горький подразумевал только что народившихся в Петрограде «Серапионовых братьев»; речь шла об одноименном альманахе прозы, который и увидел свет в апреле следующего года.

На первый взгляд, возникновение новой литературной группы, члены которой были объединены не столько общей эстетической платформой, сколько одинаково бедственным бытовым положением и выбитыми Горьким продуктовыми карточками, казалось случайным, как и ее название. «В сущности, совершенно случайно назвались мы «Серапионовыми братьями»,— вспоминает Слонимский.— Просто книга Гофмана лежала на столе во время одного из собраний, и вот ее название приклеилось к нам. Было только внешнее сходство — герои Гофмана тоже рассказывали друг другу разные истории». На деле же появление «Серапионов» было обусловлено серьезными причинами и потребностями, связанными с развитием новой по духу литературы. Как пишет Слонимский, «это была творческая лаборатория, в которой мы с полной беспощадностью критиковали друг друга, в ожесточенных спорах решали множество возникающих проблем, определяли свое отношение к классикам и к современным писателям, стремились найти лучшие средства изображения для проникновения в суть действительности, в души людей. Да и в самих себе надлежало как следует разобраться».

Это была удивительная эпоха и удивительные литературные взаимоотношения! Ю. Тынянов и В. Шкловский почти одновременно писали о Слонимском следующее. Первый: «В «Машине Эмери» он значительно вырос. Психология, которая у «отражающих» натуралистов выдвинута на первый план, у него спрятана. Рассказы его сжаты, построены на отталкивающих пружинах...»; второй: «Михаил Слонимский, начавший прекрасным скетчем и советскими небылицами, ушел в обыкновенные рассказы. «Машина Эмери» — способная книга, но писать ее не стоило».

Можно представить себе, насколько разными бы получились в воспоминаниях иного автора портреты двух критиков, столь неодинаково (и неоднократно) высказывавшихся по поводу его творчества! Слонимский же, посвятив отдельную главу воспоминаниям о Юрии Тынянове, часто и с большим уважением говорит и о Викторе Шкловском, который «рассматривал прямо как преступление самый даже мельчайший признак эпигонства, повторения пройденного... Но это не мешало благоговейной любви к сокровищам классики, русской и зарубежной, может быть, даже помогало».

Еще один удивительный факт — критики писали статьи и рецензии на еще не опубликованные произведения. Так, об альманахе «Серапионовых братьев», до его появления, высказались в печати Мариэтта Шагинян, Сергей Городецкий, тот же Виктор Шкловский. Потребность осмыслить текущую литературу, а через нее и быстро меняющуюся действительность приводила к тому, что критики не только констатировали, но и прогнозировали,— чего так не хватает литературе нашего, не менее калейдоскопического времени!

«Внимание, которым окружено небольшое литературное общество «Серапионовых братьев»,— писал Ю. Тынянов,— достаточно оправдано: это кружок *прозаиков*. Проза должна занять вскоре место, которое еще недавно принадлежало исключительно поэзии. Еще пять лет назад кружок молодых прозаиков был бы вовсе не замечен, года три назад казался бы странным. Во время подъема поэзии проза шла за нею... Перед прозой стоит трудная задача: использовать смещение прозаического слова, которое возникло из общения с поэтическим, и вернуть ему вместе с тем самостоятельность, снова отмежевав его от поэзии. И здесь одна из первых задач — создание сюжетной прозы».

Из воспоминаний Слонимского, ценных как для рядового читателя, так и для специалиста в области литературы, хорошо видно, как непросто эта задача решалась. «Тогда, на рубеже 1920—1921 годов... многое, что сейчас совершенно ясно, было еще абсолютно неясно. Первые советские прозаики шли по целине. Совершеннейшая новизна, грандиозность, масштабность событий, глубина идей, породивших эту новизну,— все звало к новаторству, к напряженным поискам каких-то новых форм, новых средств изображения».

Разумеется, в книге воспоминаний не воспроизводится широкий социально-литературный контекст этих поисков, но портрет времени у Слонимского довольно полон. Это происходит за счет особого угла зрения автора, когда в каждом из персонажей своих мемуаров он подчеркивает пафос первооткрывателя в литературе, не убывающий при любых непогодах эпохи и бытовых лишениях.

Со страниц книги «Завтра» перед нами встает и еще один образ, который Михаил Слонимский, конечно по скромности, не

старался создавать. Это образ самого автора, который «вместе и рядом» — так называются воспоминания о Шварце — с друзьями шел по целине нарождавшейся литературы. Писатель был рядом с друзьями в дни «Серапионов», был вместе и тогда, когда, по словам Зощенко, с ним вместе стало «опасно показываться на улице».

Вот этой-то преданностью литературному братству, раз и навсегда избранному делу, думаю, и обеспечивается высокая ценность воспоминаний Михаила Слонимского.

Н. Павлов

ТРОПЫ ПАМЯТИ

Владимир Чивилихин. Память. Роман-эссе. Изд-во «Художественная литература», М., 1988.

Вряд ли где, кроме литературы, успех произведения имеет столько степеней «громкости» и оттенков. Последние два-три года познакомили читателей с книгами, популярность которых иначе как повальную определить трудно. И именно это массовое стремление прочитать вознесенную на гребень известности вещь оказалось и оказывается сильнее присущего серьезной литературе вдумчивого, неторопливого читательского осмысления, позволяющего вслед за упоением впервые познанного взглянуть критически на слабости и промахи новинки.

Успех «Памяти» Владимира Чивилихина не назовешь громким в общепринятом смысле, ибо нельзя вот так запросто поименовать «громкой» ту широчайшую потребность в этом романе, проявившуюся у людей с момента появления первых же его глав. Потребность, наверное, самую ценную для писателя,— читая, яростно спорить и обсуждать, высказывать разносторонние мнения, искать иные толкования тех же фактов в других источниках. Бессмертная тема Родины, ее исторического и культурного наследия оказалась затронутой Чивилихиным чрезвычайно вовремя, найдя внимательную, по-хорошему жадную и благодарную аудиторию.

И вместе с тем роман не прост. Даже более того — сложен, нелегок для восприятия. Невиданная энциклопедичность, совокупность многих, подчас противоположных знаний, затронутая писателем, уникальна. Исследуя, например, род декабриста Н. О. Мозгалевского, Чивилихину пришлось с каждым последующим этапом касаться все большего круга причастных изображаемым событиям людей и вслед за новыми героями входить в присущие им сферы — философию, географию, историю, теоретическую физику, химию, архитектуру, биологию... Ход, поначалу кажущийся уводящим в сторону, оправдан: благодаря ему во весь рост предстают потомкам российские ученые Менделеев и Чижевский, архитектор и реставратор Барановский, основоположники космической науки Циолковский, Цандер и Кондратюк, семья металлургов Грум-Гржимайло. Вот здесь и очевидны богатейшие возможности такого жанра, как роман-эссе, использованные в полной мере: сплав художественного и документального, преломленный через авторское восприятие, приобретает нерасторжимую силу. В нем масштабность поднимаемых знаний дана читателю доступным, естественным языком, дана не догматически, а с приглашением опять же критически осмыслить приводимые факты. Не остается в стороне от серьезного научного спора и сам Чивилихин, с увлечением вступая в аргументированную полемику с теми или иными взглядами на ход исторических событий.

Их панорама удивляет размахом. Но прозаик не скрывает своей особой любви к познанию тайн происхождения древней славянской культуры. Основание первого оплота государственной нации — Киевской Руси, трагические страницы лихолетья татаро-монгольского ига, героизм предков на Куликовом поле — все эти этапные события нашего прошлого отразились в «Памяти». Можно принимать или сомневаться в суждениях писателя, утверждающего собственные версии, скажем, стратегических замыслов хана Батыя, избранных завоевателем маршрутов похода, численности его войск или подробностей вооружения русских дружин в Куликовском сражении. Но в любом случае нельзя не оценить воспевание Владимиром Чивилихиным *человека* — невыдуманного героя, стоящего за всеми делами и событиями минувших лет и веков. Одной из ведущих тем романа-эссе становится подвижничество, беззаветный труд людей во славу отечества. Такими предстают Дмитрий Самоквасов, пожертвовавший в дореволюционное время личными средствами для организации раскопок на Черниговщине, энтузиаст освоения Сибири, революционер Николай Ядринцев, знаменитый этнограф и путешественник Николай Миклухо-Маклай, многие другие, живущие и в наши дни.

Нетрудно определить авторские пристрастия, отразившиеся в «Памяти». Зачастую, например, обращается Чивили-

хин к горячо любимому им «Слову о полку Игореве». Возвращение к строкам поэмы возникает у него осознанной потребностью прикоснуться к кладезю народной мудрости в трудные, переломные, порой же возвышенные моменты при создании произведения. Кстати, прозаик последовательно и доказательно отстаивает мысль о пользе и необходимости этого неудачного похода русичей на половцев.

Меньше всего, однако, можно предпослать «Памяти» упрек в возвеличивании лишь одной нации. Иначе вряд ли бы столько места на страницах романа заняли увлеченные повествования о народе ди (динлинах), давшем Китаю династию Джоу, создавшего прекрасные образцы прикладного искусства. Или средневековых чжурчженях, обладателях немалых достижений в культуре, ремеслах, погибших под пятой Чингисхана. Кстати, и самим монголам, их истории уделено весьма большое, заинтересованное внимание.

Совокупность развития наций и народностей, их мирное сосуществование — единственный путь, по которому может идти мировое сообщество. На этот единственно приемлемый тезис в конечном счете и «работает» роман Владимира Чивилихина. Трудно не согласиться с ним, ежедневно «окунаясь» в поток тревожных сообщений со всех континентов...

Потому страстный призыв всемерно беречь и приумножать историческую память чрезвычайно своевремен, актуален. Чивилихин подал убедительный пример такой деятельности в главных направлениях. Он был ратоборцем и в большом, и в малом — касалось ли это убеждения в славянском происхождении «варяга» Рюрика с братьями или же неколебимого отрицания насквозь лживого тезиса о «плодотворности» почти трехвекового ига Золотой Орды для Руси. Он оставил открытую дорогу для пытливых читателей разного возраста, особо, впрочем, надеясь на молодых, подразумевая у них особую жажду познания прошлого отчизны. Это к юным обращены слова Чивилихина: «...Сила людей, их вера в будущее основывается на опыте каждого, включающем и знания — опыт ума, и чувства — опыт сердца, на том самом ценном, что, слагаясь, формирует народную память, передается из поколения в поколение и становится опытом историческим».

Миновавшие несколько последних лет со всей убедительностью доказали предвидение писателя о резком повышении интереса к событиям прошлого. Это и понятно — начав обновление во всех сферах нашей жизни, расчищая себе дорогу в завтрашний день, мы не можем обходить молчанием события в биографии страны, долгое время закрытые для обсуждения и изучения. Не столь уж дальние 30-е, 40-е, 60-е... Тем труднее писать о них, ибо живы целые поколения, оценивающие те периоды с диаметрально противоположных позиций. Оживленные, подчас непримиримые дискуссии ведутся вокруг первых художественных и публицистических произведений, где авторы выходят на запретные ранее темы. Безусловно, дело создания подобной литературы еще в самом начале. Вот здесь бы и обратиться к опыту Владимира Чивилихина, столь убедительно продемонстрировавшего потенциал, заложенный в жанре романа-эссе, показавшего сокрытые в нем пути для многомерного отражения действительности. И учтя при этом наиболее ценное, что отличает строй «Памяти», — отсутствие в ней претензий на «истину в последней инстанции», чем, к сожалению, грешит ныне подавляющее большинство исторической публицистики.

«Память», оставленная нам Чивилихиным, — не только прекрасный учебник и отличная проза. Это и школа любви к отечеству, необходимая его истинному гражданину.

С. Антонов

ЗЛА, БЫТЬ МОЖЕТ, И НЕТ...

Лилли Промет. Шиповник. Стихи. Изд-во «Советский писатель», М., 1987;
Я. Каплинский. Вечер возвращает все. Стихи.
Изд-во «Советский писатель», М., 1987.

Я получил из Эстонии в подарок эти две отлично изданные книги современных эстонских поэтов.

Переводчик и художник «Шиповника» (А. Печерская и В. Медведев), сборника «Вечер возвращает все» (соответственно С. Семененко и А. Яркина) прекрасно потрудились, чтобы книги получили достойное русское звучание, нарядный, праздничный облик.

Книготорговля, видимо, не щедро заказала эти сборники, да и тираж их невелик, но всякий любитель стиха, которому они достанутся, получит истинное удовольствие.

Одухотворенную, полную глубокого смысла прозу Лилли Промет читатели знают хорошо. Книга стихов «Шиповник» представляет ее как мастера живого, афористического стиха, покоряющего мудрой

непосредственностью, чистотой, изяществом. Верлибр, которым написаны многие стихи Лилли Промет и Яана Каплинского, дает возможность и русскому читателю в переводах распознать таинственную силу и магию подлинника.

В обеих книгах очень явственен национальный колорит, сочетающийся с достижениями русской и мировой культуры.

Это поэзия гуманистическая, защищающая мир и правду на земле, поэзия непреходящих ценностей, внутреннего духовного богатства. «Мои слова принадлежат не мне. Они — подснежники, сорванные в зарослях, они из песен народа»,— говорит Лилли Промет. Для того, кто знает и любит Эстонию, стихи Промет раскрывают ее простую красу, свободолюбивую душу.

Дочь художника и одаренный художник слова, поэтесса умеет штрихом, скупыми красками нарисовать запоминающуюся картину. «Чернеют картофельные поля, чернеют тучи, несущие снегопад... Да изредка каркают сверху такие же черные вороны. А больше ничего черного нет по дороге к родному дому».

Лилли Промет часто присущ и юмор. Таково прелестное, брызжущее искрометным смехом стихотворение «Протест», в котором на чужбине в шутку, в ответ на просьбу раскрыть какое-либо тайное желание, она говорит: «Мои тайные желания весьма скромны, всего-навсего маленькая вилла на опушке Булонского леса или замок в долине Луары...»

Или такое же славное стихотворение «Зимнее солнце» о привезенных в северный город южных плодах: «В магазине лежат апельсины, налитые оранжевым соком, золотые посланники солнца».

И все же, если сопоставить основные мотивы книги «Шиповник», кажется, что тревожного в ней больше, чем такого безоблачного, беззаботного.

Слишком непрост и противоречив мир, который окружает поэта, обязанного каждою своею строкою дать ответ, за что он борется.

Душа, где нежности нет,
подобна пустыне,
и наряд ее ядовит,
словно горький цветок аконит,—
аконит синий.

Так пишет Лилли Промет в стихотворении «Обнищание».

Происходит борьба между пробивающимся, подобно зеленому весеннему ростку, новым и убивающим смелую мысль старым. И хотя смерть — это неизбежный процесс, жизнь, восклицает поэтесса, «вечно впереди!».

Книга «Шиповник» полна мотивами нравственного очищения, в этом ее современность и высокая духовность. «Ни зова горных вершин, ни звона бездны он не узнал, потому что всегда искал только попутный ветер» — так сказано в глубоком афористическом четверостишии, обращенном к человеку, предпочитающему заведомо легкий путь.

Лилли Промет — это и стремление художника, и его сомнение: «И зачем мне деревья слов сотрясать если все слова не то и не то Но другое занятье себе под стать отыскать не могу все не то».

Записанные без пунктуации, без знаков препинания, стихи эти выглядят как разговор с собой, исповедь.

К числу сильнейших стихотворений в книге мне бы хотелось отнести такое, как «Из железа можно выковать ворота, крест, каминную решетку, кандалы...», заканчивающееся словами: «Из железа можно выковать все, что хотите, подчас даже сердце».

О страшной угрозе всему живому, исходящей от тех, кто несет миру зло, уничтожение, стихотворение «Плоды»:

Красно-черные в листве мерцают ягоды,
на руки из них сочится кровь.
О, не возжелай подобной ягоды!
Посмотри, из каждой каплет кровь.

Таково и входящее в цикл «Черная бабочка» стихотворение «Саласпилские монументы» с его гипнотическим, произнесенным без точек и запятых поэтическим заклинанием:

Они поднимаются из земли
в этом жутком пространстве не знающем стен
на ладони сквозных ветров
...Метроном отсчитывает время
Слушай.

И все же, если попытаться найти доминанту длящегося на протяжении всей книги монолога, она будет оптимистична.

Это — вера в будущее, воплощенная в крошечном стихотворении, полемически названном «Война».

Дети с криком лепили снежки
и геройски,
добровольно сражались
в снежном войске.

Да, сейчас, когда мир с надеждой следит за намечающимся сперва частичным, а потом, может быть, и полным разоружением, такой сюжет, предвидимый поэтом, кажется уже не фантазией.

А квинтэссенция книги, возможно,— в конце стихотворения «Шиповник», давшего сборнику свое название.

Я буду счастлива,
если в зимний, завьюженный день
птица
найдет у тебя в ветвях
красную ягоду.

А что обещает для себя и для своих читателей автор книги «Вечер возвращает все» Яан Каплинский?

Он, прежде всего, поэт философской мысли, выраженной в метафоре, емком образе. Его поиски близки восточной поэзии, японским танкам, и в то же время, как уже было сказано, они глубоко национальны. Взять хотя бы такие строки:

Косу ставишь
Под стреху. Грабли в сарай.
Сено — на сеновал.
Но трава снова растет и ничего
Не помнит.

Реальные черты жизни сегодняшнего эстонского села сливаются в одно с непреходящей мудростью природы.

Стихотворения Каплинского лапидарны, их хочется щедро цитировать, так важно в них каждое слово. «Глаза в глаза»:

Бабочка перелетела
с одного берега реки,
где родилась,
на другой берег
и умерла.

Старик переплыл в лодке реку;
в темной воде
он увидел свое отраженье
и сказал: это жизнь.

Мальчик с девочкой
переплыли в лодке через реку.
Они посмотрели друг другу в глаза
и ничего не сказали.

Мальчик с девочкой
увидели друг у друга в глазах,
отразившихся бесконечно,
себя, и весь мир,
и белую бабочку,
летящую над темной водой.

Вы спросите: и это все? Да, все. Но как много и торжественно просто в строках сказано!

Каплинский владеет подлинными секретами стиха. Из них главный — это образная концентрация мысли. И чувства. Поэт часто обращается к темам древности, к Греции, Риму, истории изгнания и боли народов. Но если войти в строй стиха, вдуматься в его суть, возникнет, обязательно возникнет сопоставление с испытаниями нашего века: «Жизнь так коротка чтоб научиться жить научиться быть с глазу на глаз с сердцем болящим с собою с тобой, дорогая».

Что это — давний мотив или хроника жизни и борьбы нашего века? Впрочем, иногда автор стихов дает нам четкие опознавательные знаки.

Дети Огненной Земли в челноках на холодном море
Дети Варшавы идущие в газовые камеры
Дети Тарту на темной заснеженной улице
мне страшно за всех за вас вы такие маленькие
все в мире растет быстрей чем растете вы
вы спросите и мы должны отвечать.

В книге Каплинского «Вечер возвращает все» и содержатся многие ответы на вопросы грядущего поколения. Советы того, кто прошел дорогами испытаний.

Поэтические ответы Каплинского приносят читателю многое. Вот один из них. «Минные поля вперемежку с полями тюльпанов тучные танки на полях вместе с коровами река Нигер залив Биафра в груди слева братья Кеннеди на кладбище рядом с дедушкой с дядей Мартом миллион голодающих детей тянущих ко мне тонкие руки сквозь мои закрома и стены». Вслушайтесь, вчитайтесь, разве не кажется, что эти стихи соединены с хроникой газет, с проходящими по телевизионному экрану кадрами «Сегодня в мире»?!

И с природой, что и сегодня сопротивляется уничтожению, подобно озеру Байкал, о котором Каплинский пишет так одухотворенно и горячо, подобно засыпаемым песком пустыни оазисам.

«Время сочится с клена по капле ростком бобовым горит на вспаханной грядке время ждет у пустого почтового ящика уже несколько дней одинокая звездочка меж яблонь и облаков».

Так живут эта книга поэзии и ее автор — одинокий мечтатель из университетского города Тарту, создающий свои строки для нас и для наших детей. Вот только один запечатленный миг:

Опадаю осенней
листвою. Хорошо
под дождем.

И те строки, которые стоят в заглавии этих заметок: «Зла быть может и нет а есть только боль летящая с зимнего неба холодным дождем растущая изнутри наружу в течение лет неодолимая твоя и моя наша общая боль».

Всеволод Азаров

«УЗДА ЛИМИТА», ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УРОКАХ ПОДПИСКИ 1988 ГОДА

Обзор писем, пришедших в редакцию журнала «Звезда»

Письма, письма, письма... Три месяца — неиссякаемым потоком. Казалось бы, редакции только радоваться надо, видя такую беспрецедентную доселе активность читателей. Но радости в те дни не было, как не было, впрочем, и надежды, что людям, написавшим в «Звезду», удастся дать положительный ответ. Да и легко ли вообще ответить на сотни писем с одним и тем же вопросом, буквально заполонившим редакционные отделы, секретариат, кабинет главного редактора?

Как объяснить людям, как и за кого извиниться перед ними, наконец, как помочь им в решении столь неожиданно возникшей во всесоюзном масштабе проблемы, неожиданно оказавшейся для народа куда более болезненной, чем введение талонов на сахар? «С какого времени на духовную пищу — лимит?» — предельно ясно сформулировала всеобщее недоумение читательница И. А. Строгалова из поселка Тейково Ивановской области. Действительно, трудно представить себе весь масштаб последствий, обрушившихся на многомилионную читательскую аудиторию и редакции «толстых» журналов с введением ограничений на подписку. «Звезда» же в довершение всего угодила в ловушку, приготовленную собственными руками: ничего не подозревая о дальнейших событиях, еще в апреле прошедшего года редакция подписала в печать рекламный проспект на 1989 год, где по традиции сообщалось о свободной подписке на журнал. Буря возмущения в ответ спустя четыре месяца, горькие обвинения в публикации заведомой дезинформации... Оправдываться трудно, хочется лишь пояснить — узнав о вводимом лимите всего недели на две раньше подписчиков, мы ничего уже не могли исправить. Давно сверстанный и набранный восьмой номер «Звезды», равно как и рекламная листовка, полным ходом печатались типографией.

Итак, впервые за много лет вводился жесточайший лимит на ознакомление с популярной периодикой. Отношение к подобному новшеству редакционных работников, писателей и журналистов лучше всех, пожалуй, сформулировал главный редактор «Нового мира» Сергей Залыгин: «...Где-то, в недрах каких-то министерств — вернее всего, Министерства связи, проделана поистине колоссальная, не только никому не нужная, но и попросту вредная «работа».

Вот так: существуют у нас — и в немалом числе — всякого рода идеологические и культурные организации, библиотеки, творческие союзы, но, оказывается, не они и не сами читатели определяют, что, кому и когда читать, а знают все это чиновники и они же все распределяют. Теперь подписчиками будут уже не те, кто хочет, а те, кто имеет для этого «возможности».

...Ну не торжество ли это нашей бюрократии и всей той системы «распределения», при которой она и процветает, которой связаны в единую цепочку все, начиная с Совмина и Госплана и кончая продавцом уличного ларька? Без которой множество людей не найдет себе применения, поскольку дефицит — это надежный источник их существования».

Добавить что-либо к суждениям видного советского писателя затруднительно, равно как и возразить ему.

Однако, совсем не желая выглядеть кощунственным, хочется здесь же вспомнить старинную поговорку «нет худа без добра». Впервые за всю собственную историю «Звезда» получила довольно точное представление о масштабах своей аудитории, ее наглядный портрет в «разрезе». Цифры журнального тиража, исчисляемые десятками тысяч, растущие год от года, все-таки обезличены. Другое дело — узнать конкретных людей, обратившихся к «Звезде», не скрывающих пристрастий к тем или иным журнальным публикациям, высказывающим, разумеется, и критику. Те памятные месяцы осени 1988-го подтвердили и очень отрадный факт: «звездинский» читатель не ограничен рамками какой-либо одной «социальной прослойки» общества. Журнал, некогда строгого «академического» направления, рассчитанный ранее преимущественно на интересы творческой интеллигенции, ныне обрел друзей по

самым разным адресам. Демократичность — веление времени, и нас радует, что предпринятая перестройка в деятельности нашего издания приносит положительные результаты.

«Я работаю учителем английского и русского языков (школа № 48 Черемушкинского района Москвы),— пишет Маргарита Илларионовна Смирных.— Вы помогаете работе с учениками, особенно старших классов. Неужели теперь не будет возможности иметь этот журнал? Наша семья (муж — кандидат медицинских наук, сын — врач-ординатор Филатовской больницы и дочь, ученица 9 класса) являлась постоянным читателем Вашего журнала». И далее — обычная приписка, просьба помочь в подписке на «Звезду» вместе с конкретным, участливым предложением: «Может, перечислить дополнительные средства на бумагу?»

«На 1989 год вы поместили довольно интересный анонс, и я хотел бы выписать журнал и на следующий год. Теперь у нас в части подписку очень лимитировали: ни одного экземпляра «толстых» журналов не поступило ни к нам, ни в ближайшие почтовые отделения... Но в данном случае меня интересует именно „Звезда“»,— обращается в редакцию из Калининградской области военнослужащий А. А. Шурашкевич. «...На наше почтовое отделение не дали ни одного комплекта „Звезды“!» — с горечью сообщает наш постоянный подписчик Иван Алексеевич Кузин, проживающий в Московской области.— «Я принимал участие в боях под Ленинградом в составе 201-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии, был ранен. Прошу Вас помочь с подпиской.» — «Я, инвалид Великой Отечественной войны Пантюшкин Виктор Алексеевич, на протяжении последних восьми лет выписываю «Звезду». Журнал мне очень нравится своей военно-исторической и революционной тематикой, публикациями из области международной политики... Убедительно прошу Вас выслать мне разрешение на подписку... (г. Жданов)».

И таких писем от ветеранов, увы, немало. Значит, не везде оказались осуществимыми обещанные им льготы. Отвечать этим людям общепринятым официальным языком — «редакция, к сожалению, лишена возможности помочь» — более чем неловко. А как быть?

И как быть с нижеследующими письмами? Некоторое время назад их адресатов не воспринимали всерьез. Но они есть, они граждане нашей страны и справедливо хотят наравне с другими через произведения литературы и публицистики участвовать в жизни общества.

«Обращается к вам осужденный, отбывающий наказание в одном из ИТУ... Простите за беспокойство, но в создавшейся огорчительной ситуации мне и моим товарищам нужна ваша помощь. Я не могу подписаться на «Звезду» 1989 года. Ни одного журнала не поступит к нам на следующий год... Посылки и бандероли книжные нам не разрешают. Имеем право держать не более пяти книг. Помогал мне в этих условиях ваш журнал: воистину является на сегодня звездой над горизонтом, помогая мне удержаться на верном пути... Не сокрушайте веры моей, помогите подписаться. Врацких Василий Викторович.»

Огромное количество писем пришло в редакцию с одной и той же жалобой: благодаря волевому решению «сверху», упомянутому С. Залыгиным (приказ Министерства связи № 315), многие районы и области страны вообще не получили «Звезду» для распространения, словно бы подобного издания не существовало вовсе.

«Коротко о себе. Мне 28 лет, отец двух дочерей (3 года и 6 месяцев). Давний Ваш подписчик. ...Только что получил № 8 с анонсом. Все мне нравится. Но на наш город со 150-тысячным населением не дали ни одного номера для подписки. Делал несколько попыток подписать «Звезду» в деревнях через «третьих» лиц... Результат тот же: ни одной деревне «Звезды» не дано ни одного экземпляра. По-моему, все это некоторым образом сродни известному постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград». Идти в библиотеку? Но с двумя маленькими детьми я могу сесть читать в лучшем случае только после 9 часов вечера... В рознице же «Звезда» не бывает... С уважением В. Федотов, г. Муром».

«...Сказали мне в Теребовлянском районном агентстве «Союзпечать», что, дескать, журнал «Звезда» очень лимитирован и на район не выделено ни одного экземпляра. Я же более десяти лет подписываюсь на Ваш журнал. Панас П. В. (пос. Микулинцы Тернопольской области)».

«Я геолог, работаю в экспедиции около города Ангрена, выписываю ваш журнал с 1961 года без перерыва, и вот теперь лишилась возможности его читать. Нашей экспедиции город Ангрен не дал на него лимита... Нельзя ли перевести вам деньги и подписаться где-то у вас? Ваша публицистика мне — пропагандисту с многолетним стажем — очень помогает. Сушенцова Сусанна Яковлевна».

«...Живу и работаю в поселке геологов-нефтеразведчиков, поселок небольшой, немногим более шести тысяч жителей, одно отделение связи. Какие-то журналы и газеты у нас разрешено подписать сотни экземпляров, какие-то — десятки, есть три разрешенных на поселок журнала по одному экземпляру. А против вашего журнала в каталоге, извините, прочерк. Как мне объяснили, Союзпечать города Ханты-Мансийска — нашего районного центра — не выделила ни одного экземпляра. Я являюсь вашим подписчиком не один год. По-

чему теперь мы не можем читать «Звезду»? Аксенов Анатолий Витальевич (пос. Горноправдинск Тюменской области)».

«...Обычно в поселке журнал ваш выписывали библиотека да я, а нынче не дали ни единого экземпляра!!! Помогите, пожалуйста!! Походатайствуйте за меня перед нашим почтамтом!!! С уважением Св. Сальникова, педагог, пос. Мокшино, Конаковский р-н Калининской области».

И еще письма, и еще, и еще...

«...Если в прошлом году в результате свободной подписки журналы попали в руки наиболее социально активной части населения, то отныне их будут получать преимущественно „лимитчики“»,— из телеграммы в ЦК КПСС Юрия Николаевича Чехового, доктора технических наук.

Пока что можно еще по пальцам пересчитать те месяцы, за которые народ, благодаря гласности, прикоснулся к фактам, ранее закрытым наглухо. Не будет преувеличением сказать — пока еще далеко не все смогли до конца поверить в необратимость этого процесса. Очень важно именно теперь не подавать людям ни малейшего повода для сомнений и колебаний, тактично и доказательно укреплять у них осознание преимуществ, даваемых новым подходом в освещении исторической и оперативной информации. К сожалению, лимит на подписку в некоторых случаях подтолкнул людей к весьма скептическим рассуждениям.

«Пишет Вам работник ТЭЦ-18 «Псковэнерго» Васильев Николай Сергеевич по просьбе коллектива. Дело в том, что нашему предприятию не выделили ни одного комплекта вашего журнала, а у нас многие выписывают его и я в том числе. Мы просим Вас помочь нам подписаться на «Звезду», хотя бы два номера на все предприятие. Мы понимаем, что виновата в этом перестройка, она сделала свое темное дело, народ не доволен таким поворотом дела».

«...Много лет выписываю (и покупал, когда не удавалось в «период застоя» подписаться) «Звезду». Поэтому гораздо обиднее в период перестройки и гласности остаться «с носом». Что посоветуете делать? В. Чуприянов, ваш читатель с 1964 года (г. Москва)».

Трудна борьба за человеческие души, и два вышеприведенных письма наглядно доказывают непреходящую значимость народной мудрости: «семь раз отмерь — один раз отрежь», дабы ни у кого не возникали представления о временности, эпизодичности перемен, в общем-то, из-за скоропалительных мелочных недочетов оборачивающихся после глобальными просчетами. И все-таки при том следует заметить: возможно, незаметно для адресатов, перестройка свое дело делает. Всего два-три года назад послания, подобные письму Н. С. Васильева, обычно не рисковали приходить подписанными....

Позитивные перемены ощутимы и в отношении читателей, и в разработке планов «Звезды». Если прежде обычными были лишь отклики на состоявшиеся публикации, то сейчас все ощутимее заинтересованность аудитории в оценке будущих материалов, желание предотвратить возможные промахи и ошибки. Советы, подобные высказанным А. Е. Лимановским из Сызрани,— важное подспорье для формирования оптимального «портфеля» журнала, подчеркивающее все возрастающую роль общественного мнения для деятельности прессы.

«Выписываю ваш журнал уже третий год, ранее доставал его эпизодически. Могу сказать, что он становится все лучше с каждым месяцем. Конечно, много в «Звезде» и балласта (главным образом, из-за современной прозы). Что привлекает? Раздел публицистики, мемуарная проза и переводы. ...Теперь же с восторгом (не преувеличиваю!) прочитал ваш анонс на 1989 год. ...Прекрасно, что будут Фолкнер и Буццати. И (с оговорками) Стивен Кинг — тут вы подстраиваетесь к «широкой аудитории». Но как было бы хорошо дать не американца, коль скоро будет Фолкнер, а, например, Жапризо, или Кристи, или Каннинга, а еще лучше прекрасных английских пищущих лэди — Айрис Мэрдок или Мюриэл Спарк».

Наконец, подписка на 1989 год принесла «Звезде» главное огорчение, может быть, более ощутимое в сравнении с другими литературно-художественными изданиями. По самым скромным меркам, аудитория журнала сменилась процентов на 40—50. Конечно, мы рады каждому новому читателю, сумевшему преодолеть планку лимита. Но «Звезда» при этом лишилась «старой гвардии» подписчиков, не изменявших ей долгие годы, справедливо считавших ее своей верной собеседницей, советчицей, другом. Большинство из них не расставалось с журналом, даже когда — что греха таить! — выходили далеко не сильные по подбору прозаических произведений номера. Судьба старых подписчиков особенно тревожит «Звезду».

«В течение ряда лет выписывали мы ваш журнал. ...В списке тиражей «на уровне прошлых лет» напротив журналов «Знамя», «Звезда» и «Молодая гвардия» стояло красноречивое «нет». ...Что же не боретесь за своих читателей? С надеждой и уважением Колодкина Нина Петровна, Колодкин Владимир Михайлович, Колодкин Владимир Владимирович. (г. Пермь)».

«...Являюсь постоянным подписчиком журнала «Звезда». С последней надеждой обращаюсь к вам в редакцию с просьбой подписать меня... С уважением М. В. Чубарова (г. Калуга)».

«...Ваш журнал читаю последние шесть лет, жду каждый номер с нетерпением. Спасибо. ...В Союзпечати нашего города

в подписке мне отказали: мотивировка — лимит. Почему? Как же читать?

И как же продолжение публикации 1988 года? Как быть?

С уважением И. А. Строгалова, г. Тейково Ивановской области».

«Давно ваш постоянный подписчик и друг. Всегда очень жду очередной номер, а в этот раз не смогла подписаться на любимый журнал, в киоске же его не купишь. Понимаю, что вы не занимаетесь подпиской, но у меня единственная надежда на вас. Почему бы вам не последовать примеру журнала «Москва», который предоставил преимущество в подписке своим прежним подписчикам, это было бы справедливо... С глубоким уважением и признательностью Торчук Галина Гавриловна (г. Смоленск)».

«Дело в том, что я — давний почитатель и подписчик вашего журнала. Более десяти лет я выписываю «Звезду», но таких препятствий, как в этом году, не было, пожалуй, ни разу. Во всех странах есть привилегии для постоянных клиентов, почему же подобного нет у нас? Я привыкла к вашему журналу, все его рубрики неизменно интересны. Как же мне быть без «Звезды» в будущем году? С глубоким уважением к вам и вашему журналу Чередниченко Антонина Владимировна (г. Курск)».

Предложения, высказанные в письмах Г. Г. Торчук и А. В. Чередниченко, представляются заслуживающими внимания. Действительно, постоянному читателю, могущему подтвердить свой интерес к тому или иному изданию документально, должно оказываться преимущество в подписке. Ведь та же «Звезда» публикует, скажем, из года в год все новые и новые материалы, воспоминания, исследования, касающиеся личности Марины Цветаевой. 1989 год не станет исключением. Справедливо ли лишать ценителей выдающейся поэтессы, изучающих ее творчество специалистов возможности регулярно знакомиться с появляющимися «звездинскими» публикациями на эту тему? Или же взять очерки и воспоминания, повествующие о героической обороне города на Неве в годы Великой Отечественной. Широко по стране развела мирная жизнь бывших участников блокады Ленинграда, выстоявших в битве с врагом, но они продолжают пополнять «блокадную книгу» «Звезды» бесценными рассказами о пережитом. И конечно, стараются не пропускать труды своих товарищей по борьбе на журнальных страницах. А сколько же ветеранов лишилось подобной возможности теперь?

Тем более досадно, если вспомнить при этом панорамное историческое повествование Юрия Помпеева «Октябрь 1917-го». Роман-хроника печатался в течение пяти лет и вызвал живейший интерес. Сейчас готовится его продолжение «Семь лет революции». Логично предположить, что наибольший интерес это произведение вызовет у той части аудитории, которая знакома и с предыдущими главами работы Помпеева. Если же «преемственность» подписчиков нарушается — ослабляются позиции журнала, теряются сложившиеся связи. Подобный разрыв еще заметнее при программной публикации материалов на злободневные современные темы — скажем, по вопросам нравственности, культуры.

Стремясь поправить сложившееся положение, редакция «Звезды» вела интенсивные переговоры с Союзом писателей СССР, Госкомиздатом СССР и Главным Управлением Союзпечати. Удовлетворить максимально большую часть читательских требований, сохранив заинтересованных в журнале прежних подписчиков, возможно, разумеется, лишь при полном снятии лимита или, хотя бы, увеличении тиража.

Именно так мы ставили вопрос — самый, без преувеличения, насущный. И вот наконец 1 октября 1988 года получили телеграмму за подписью заместителя Председателя Госкомиздата И. И. Симдянкина, вместе с которой появилась и надежда на возможный выход из кризиса: «Вопрос об увеличении тиражей ряда литературно-художественных и общественно-политических журналов, в том числе журнала «Звезда», на 1989 год в настоящее время рассматривается в соответствующих органах в установленном порядке».

Хочется верить, что наступивший год не повторит ошибок минувшего. У «Звезды» есть что предложить читателям и в 1990-м. Во всяком случае, редакция очень надеется — ей больше не придется отрывать от текущих дел сотрудников всех отделов и устраивать субботники ради написания сотен ответов с вынужденными отказами в подписке. «Узда лимита на коне гласности», по образному выражению одного из читателей, не должна мешать поступательному развитию литературы в столь ответственный, решающий период перестройки.

Обзор подготовил Антон Савенков

Первый номер «Звезды» 1989 года уже подписывался в печать, когда пришло долгожданное известие об отмене лимита на подписку. Поздравляя читателей с этим переломным и справедливым решением, редакция выражает всем нашим читателям, выступившим в защиту прав печати на свое свободное распространение, самую искреннюю признательность. Высказанные в письмах доводы и суждения помогли нам, как и другим литературно-художественным изданиям, отстоять интересы подписчиков. Надеемся на помощь и поддержку общественности и впредь, твердо веря, однако, что чиновничье-административным запретам, подобным прошлогоднему, решительно положен конец.

СОДЕРЖАНИЕ

Сурен ГАЗАРЯН. Это не должно повториться. *Документальное повествование* 3

Александр КУШНЕР. Мне скучен был бы в эти дни... Я думал вот о чем... Бег с барьерами. Наши дела то прекрасны, то плохи... Помнишь, в любимом романе... Есть где-то церковка... Венгерские лавочки пухнут от разноголосых вещей... Музыкант просил в стихотворенье... *Стихи* 81

Марк ПАЙКИН. 25 часов 16 минут. *Повесть* 85

Голоса молодых. Стихи Бориса Бойченко, Сергея Белова, Анны Ибрагимовой, Алексея Ахматова, Александры Сандомирской, Валентины Лелиной, Валерия Слуцкого 112

45-ЛЕТИЕ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Алексей ЛИВЕРОВСКИЙ. Блокадные рассказы 117

В. ВАСИЛЬЕВ. Чтобы жили ленинградцы 124

ПУБЛИЦИСТИКА

Прошлое: факты и версии. Виктор ДЕМИДОВ. «Ленинградское дело» (Попытка реконструкции) 131

ВОСПОМИНАНИЯ

Георгий ХОЛОПОВ. Как спасли «Хлеб — имя существительное» 163

КРИТИКА

Аркадий ЭЛЬЯШЕВИЧ. Приглашение к разговору (Социалистический реализм вчера, сегодня... и завтра) 168

Геннадий МУРИКОВ. Они и «Мы» (Несколько мыслей после прочтения романа Е. Замятина «Мы») 187

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Леонид БЛЯХМАН. Новые жанры экономистов. (Л. И. Абалкин. Перестройка: пути и проблемы. Интервью с академиком. Г. С. Лисичкин. Тернистый путь к изобилию.) 192

С. ЗОНИН. На службе Республики Советов (А. Г. Кавтарадзе. Военные специалисты на службе Республики Советов) 194

Вл. КОТОВСКОВ. Двоякое чувство возникает... (Анатолий Калинин. Запретная зона. Роман) 196

Н. ПАВЛОВ. Вместе и рядом. (Слонимский М. Завтра. Проза. Воспоминания) 198

С. АНТОНОВ. Тропы памяти. (Владимир Чивилихин. Память. Роман-эссе) 200

Всеволод АЗАРОВ. Зла, быть может, и нет... (Лилли Промет. Шиповник. Стихи. Я. Каплинский. Вечер возвращает все. Стихи) 201

ИЗ ПОЧТЫ «ЗВЕЗДЫ»

Антон САВЕНКОВ. «Узда лимита», или размышления об уроках подписки 1988 года. (Обзор писем, пришедших в редакцию журнала «Звезда») 204

Главный редактор Г. К. ХОЛОПОВ

Редакционная коллегия:

Л. Э. ВАРУСТИН (первый зам. главного редактора), А. А. ГОРЕЛОВ, В. С. ДЯКИН, П. В. ЖУР, В. Н. КУЗНЕЦОВ, Г. А. НЕКРАСОВ, Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ, М. М. ПАНИН, Н. Н. СКАТОВ, А. А. ФУРСЕНКО, А. П. ЭЛЬЯШЕВИЧ

Ответственный секретарь О. А. ЛЮБИН

Корректоры О. А. Назарова, Л. А. Привалова **Технический редактор В. Т. Молоткова**

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, первый заместитель главного редактора — 273-52-56, заместитель главного редактора — 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 16.09.88. Подписано к печати 09.11.88. М-40456. Формат 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 23,31 уч.-изд. л. Тираж 180 000 экз. Заказ № 1430. Цена 90 коп.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

90 коп.

Индекс
70327

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Виктор КОНЕЦКИЙ. Вампука. Пьеса.
Радий ПОГОДИН. Я догоню вас на небесах. Повесть.
Глеб ГОРЫШИН. Глядя в глаза Ладоге.
Л. И. АБАЛКИН, академик. Обоснована ли тревога?

В РАЗДЕЛЕ «НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

Дино БУЦЦАТИ. Пустыня Тартари. Роман (с итал.).
Андрэ ЖИД. Возвращение из СССР (с франц.).

Звезда, 1989, № 1, 1—208.